

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ
МИР

1989

8



1989



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 8

Август, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР ЗОРИН — Прогулка по городу, стихи	3
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Архипелаг ГУЛАГ Опыт художественного исследования. Главы из книги. Предисловие С. Залыгина	7
ЕЛЕНА МАТУСОВСКАЯ — Два стихотворения	95
ЮРИЙ КРАСАВИН — Полоса отчуждения, повесть	97
СЕМЕН ЛИПКИН — Вячеславу. Жизнь переделкинская, стихи	149
ОЛЕГ ЕРМАКОВ — Благополучное возвращение, рассказ	156
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА — Санитарки, святые сестрички..., стихотворение	165
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ — Новые Робинзоны. (Хроника конца XX века)	166

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ — Сад, наполненный плодами, стихи Публикация Е. Е. Данилова	173
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

СТАНИСЛАВ КОНДРАШОВ — Из мрака неизвестности. Проблески гласности в царстве военных тайн	178
--	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ — Мария Ивановна Бабанова: письма и встречи	207
---	-----

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВЛ. ГУСЕВ — Свободы сеятель пустынный...	221
В. КАМЯНОВ — Где тонко — там не рвется	226
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Елена Ермилова. Там осеняет землю сад...	241
Марина Новикова. Круг и путь.	
<i>Политика и наука</i>	
Сергей Ушанов. Меж информацией и интуицией.	248
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
РЕВОЛЬТ ПИМЕНОВ — Как мне видятся сегодняшние задачи	251
М. ПЕТРОВ — Культура в провинции	257
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Н. Дмитриева.— Б. Зингерман. Театр Чехова и его мировое значение. ✦	
С. Кормилов.— Вяч. Полонский. О литературе. Избранные работы. ✦	
А. Кредер.— Й. Хейзинга. Осень Средневековья	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272



АЛЕКСАНДР ЗОРИН

★

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

* * *

О, вечная гордыня Вавилона!
Язык распался, как во время оно.
Лишь вспыхивает в рудиментах, в квантах,
в архаике толковых фолиантов.

И вот уж говорящие друг друга
не понимают. Напуская мрак,
шарахаются сами от испуга.
Шептали «друг», а получилось «враг».

Семантика ушла, как Атлантида,
на дно веков. Стал популярен жест —
красноречивой мимикой гибрида —
в дни митингов и горестных торжеств.

Родная речь клокочет, мчит рекою...
Мой собеседник, в воздухе рукою
выписывая лихо антраша,
спросил: «Душа? А что это такое?
Ты говоришь, у каждого душа?..»

Без словаря не объяснюсь на русском.
И уточнить не постесняюсь вновь
в беседе с образованным моллюском —
что понимать под термином «любовь»?

К истокам слова ревностный паломник,
люблю я закопаться в закрома.
О, Даля золотой четырехтомник!
О, Фасмера бесценные тома!

В семье, в гостях у тещи, в трибунале,
увы, договориться нам едва ли...
И даже вряд ли одолеть букварь...
Пока не вспомним: ЧТО БЫЛО ВНАЧАЛЕ?
Пока, как Моисеевы скрижали,
не соберет нас подлинный словарь.

* * *

Внебрачное наследие ГУЛАГа,
 дитя единокровное — общага.
 Раскрыла пасть на трассе Усть-Илима.
 Как ни крути, а не проехать мимо.

Гром и литавры бесконечной стройки,
 целинные былинные края.
 Фанерной стенкой стиснутые койки.
 Одна из них, из десяти, моя.

А на соседней, с Панькой Волосатой,
 живет подросток
 из породы статуй.
 Сильногомуч и абсолютно лыс.

Столовая и туалет дощатый
 в замерзшей луже, в наледях слились.
 Пристанище для обнаглевших крыс.

О, разве всем ниспослано терпенье
 идти на свет сквозь мерзость запустенья!
 И где он есть, тот благодатный свет,
 когда кругом, как я, такие ж люди?..

Простым словам о святости, о чуде
 поверил бы я в девятнадцать лет?..

* * *

Сталин встал на ветровом стекле.
 Тягачи, свирепые «КАМАЗы»,
 с грохотом проносят по земле
 оспину неистребимой язвы.

Позабыл беспамятный народ —
 пропил память, или же отбили —
 мало вразумляли нас, гноили,
 в джезказганы загнанных, как скот.
 Или, отродясь ослеплены,
 Божество мы ищем в позументе?
 Позабыли, как он полстраны
 заживо замуровал в цементе.

А водитель — молод, белозуб.
 Черной лапой поправляет чуб
 конопляный — из-под шапки пляшет...
 Знал бы он, дурила, что за труп
 над кабиной поднял, жизнелюб!..
 Да и кто ему о том расскажет?..

Отгрызнется парень: «Черта с два!
 Ну сажали, ну веревки вили,
 а зато при Бате воровства
 не было такого, да и пили,
 говорят, поменьше... Нет, нужна
 власть... чтобы которая сильна...
 кой-чему тогда и нас научит...»

Ох ты, Русь, родная сторона!
 Темная могучая спина —
 Просим палок...
 Просим и — получим.

* * *

Мы разные в одной семье.
 Уж так от Каина ведется.
 Найдет ли веру на земле
 Христос — у всех, когда вернется?..

Что логика!.. Она скудна
 твои сомнения развеять...
 Когда нам равная дана
 свобода — верить и не верить.

Прогулка по городу

Я не только свидетель распада.
 Но и завязи новой, иной.
 Чтобы дать описание ада,
 глубоко опускаться не надо.
 Он же рядом, пойдёмте со мной.

Вот, напротив, в ухоженной раме
 бороды
 молодое лицо —
 шевелит голубыми клешнями.
 Вот, на рыбьем меху, палец
 не спеша рядом с ним проплывает.
 И внезапно и громко зевает.

Вот кассирша сидит, как в карете.
 Но ее головы головня
 гневно тлеет... метнула огня
 мрачный ком,
 и в руках у меня
 молоко закипело в пакете.

Вот знакомый пивной автомат.
 Здесь и правда так много знакомых.
 Все у Босха встречались подряд.
 Что вы, что вы... Я тоже там, над
 луною, в клубке насекомых...

Но послушаем, что говорит
 нам философ, приличный на вид.
 Он как будто великоросс!
 Он как будто очень подросток...
 «Я Россию люблю... но, признаться,
 развезло ее вдрызг после гроз...
 Я бы нынешнюю отнес
 к категории вязких субстанций...»

О, подальше от них, от смутьянов,
 от мыслителей-политиканов.

Словом, редкость, чтоб мимо лица
 удалось вам пройти не отпрянув.

Между прочим, у истуканов
ледяная акуля лянца.

И так далее, до без конца...

Но не зря я о завязи новой
перед нашей прогулкой суровой
намекнул. Пробуждается дух!
В полумраке душевных клетух
пробуждается. Верю я свято.

Райских красок еще маловато,
чтобы мне это выразить вслух.

* * *

С молитвой заснуть и проснуться
с молитвой. И днем прикоснуться
к ее откровенью не раз.
Конечно же, не напоказ.

Заснуть и проснуться с молитвой..
Как будто бы дверь в монолитной
стене, распирающей грудь,
замкнуть и опять отомкнуть.



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

1918—1956

Опыт художественного исследования

Итак, перед вами — первые главы «Архипелага ГУЛАГ», одного из наиболее капитальных произведений Александра Солженицына. Всегдашний и острый критик нашей действительности, нашего общества и его политической системы, Солженицын, надо думать, останется таковым до конца своей жизни. Вместе с тем у меня есть основания думать, что к происходящим у нас переменам он присматривается, как и все мы, с надеждой на мирное выздоровление страны.

Но вот что главное: чем трагичнее, чем ужаснее было пережитое нами время, тем больше «грузей» било челом до земли, восхваляя великих вождей и отцов народов. Злодейство, кровь и ложь всегда сопровождаются одами, которые долго не смолкают даже и после того, как ложь разоблачена, кровь оплакана и принесены уже громкие покаяния. Так, может быть, умные и честные оппоненты нужнее нашему обществу, чем дешёво приобретенные и даже — искренние, но недалекие грузья? А если так, Александр Солженицын с его непоколебимым упорством нам нынче попросту необходим — мы должны его знать и слышать, а не знать и не слышать не имеем ни морального, ни умственного права.

Пусть далеко не все, что высказано автором в его «Архипелаге», мы разделяем. Но когда мы сейчас рассчитываемся со своим прошлым, мы убеждаемся, что он-то противостоял ему чуть ли не всю свою сознательную и уж во всяком случае всю свою творческую жизнь. Этот факт обязывает нас задуматься о многом. Тем более что нынче мы тоже ведь другие, уже не те, к кому зывал и зывал когда-то наш писатель. Будучи другими, многое узнав, поняв и пережив, мы по-другому читаем и его, вполне возможно, что даже и не так, как он того хотел бы.

Но это и есть та долгожданная свобода — свобода печатного слова и свобода прочтения, без которой нет и не может быть действительной, с несомненной пользой для общества литературной жизни — которую на равных правах веками создают и литература, и общество.

С. ЗАЛЫГИН.

ПОСВЯЩАЮ

всем, кому не хватило жизни
об этом рассказать.
И да простят они мне,
что я не всё увидел,
не всё вспомнил,
не обо всём догадался.

Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда — замёрзший древ-

© А. Солженицын. 1980. Главы из книги Подготовка текста В. М. Борисова.
В публикации сохранены основные особенности авторской пунктуации и орфографии.

ний поток, и в нём — замёрзшие же представители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал учёный корреспондент, что присутствующие, расколов лёд, тут же охотно съели их.

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбе мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы — сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточённой поспешностью кололи лёд; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех *присутствующих*, из того единственного на земле могучего племени *зэков*, которое только и могло охотно съест тритона.

А Колыма была — самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ *зэков*.

Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую страну, он врезался в её города, навис над её улицами — и всё ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали всё.

Но будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание.

Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо ворошить прошлое!.. Кто старое помянет — тому глаз вон!» Однако доканчивает пословица: «А кто забудет — тому два!»

Идут десятилетия — и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его, и кости его обитателей, вмёрзшие в линзу льда, — представятся неправдоподобным тритоном.

Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь — достанется ли?.. У тех, не желающих *вспоминать*, довольно уже было (и ещё будет) времени уничтожить все документы дочиста.

Свои одиннадцать лет, проведённые там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь ещё, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, — может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса? — ещё, впрочем, живого мяса, ещё, впрочем, живого тритона.

В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имён, — а всё было именно так.

Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, — материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах —

(перечень 227 имён).

Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым.

Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтоб эта вещь была снабжена библиографически опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что найти сохранённый экземпляр требовало большого упорства; ещё более — тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить её.

Но не настала та пора, когда я посмею их назвать.

Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги. Однако полжизни, проведенные там (его лагерные мемуары так и называются «Полжизни»), отдались ему преждевременным параличом. Уже с отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всём б у д е т р а с с к а з а н о.

А если долго ещё не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будет большой опасностью — так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться — от тех, от погибших.

Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне не известны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях. За годы работы до 1967 мне постепенно стали известны «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и воспоминания Д. Витковского, Е. Гинзбург, О. Адамовой-Слиозберг, на которые я и ссылаюсь по ходу изложения как на литературные факты, известные всем (так и будет же в конце концов).

Вопреки своим намерениям, в противоречии со своей волей дали бесценный материал для этой книги, сохранили много важных фактов, и даже цифр, и сам воздух, которым дышали: чекист М. Я. Судрабс-Лацис; Н. В. Крыленко — главный государственный обвинитель многих лет; его наследник А. Я. Вышинский со своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить И. Л. Авербах.

Материал для этой книги также представили тридцать шесть советских писателей во главе с Максимом Горьким — авторы позорной книги о Беломорканале, впервые в русской литературе восславившей рабский труд.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В эпоху диктатуры и окружённые со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность.

Крыленко, речь на процессе «Промпартии».

Глава 1

АРЕСТ

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда — но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты «Совтуриста» и «Интуриста» будут изумлены, если вы спросите у них туда билет. Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять, — попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять, — призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, — те должны пройти непременно и единственно — через арест.

Арест! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это не вмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: «Вы арестованы!»

Если уж вы арестованы — то разве ещё что-нибудь устояло в этом землетрясении?

Но затмившимся мозгом не способные охватить этих перемещений мироздания, самые изошрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг изо всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как:

— Я?? За что?!? —

вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не получивший ответа.

Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое.

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались — что за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть — а там-то и начинается страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас! — и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белых мужских руки, не привыкших к труду, но схватчивых, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.

Всё. Вы — арестованы!

И нич-ч-чего вы не находите на это ответить, кроме ягнячьего бляенья:

— Я-а?? За что??..

Вот что такое арест: это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим.

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это — резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это — бравадный вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это — за спинами их напуганный прибитый понятой. (А зачем этот понятой? — думать не смеют жертвы, не помнят оперативники, но положено так по инструкции, и надо ему всю ночь просидеть, а к утру расписаться. И для выхваченного из постели понятого это тоже мука: ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых.)

Традиционный арест — это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и

обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят — для страха.)

Традиционный арест — это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это — взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание — и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребёнком. Юристы выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки¹. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У любителя старины Четверухина захватили «столько-то листов царских указов» — именно, указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебствие против холеры 1830 года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изыали драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через тридцать лет!). При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через двадцать пять лет за расшифровку их посмертно присуждена покойному Ленинская премия). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь — и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так: *ищут, чего не клали*.

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного — как Нина Александровна Пальчинская потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно деятельного покойного мужа, великого инженера России — в пасть к *ним*, навсегда, без возврата.

А для оставшихся после ареста — долгий хвост развороченной, опустошённой жизни. И попытка пойти с передачами. Но изо всех окошек лающими голосами: «такой не числится», «такого нет!». Да к окошку этому в худые дни Ленинграда ещё надо пять суток толпиться в очереди. И только, может быть, через полгода-год сам арестованный аукнется или выбросят: «Без права переписки». А это уже значит — навсегда. «Без права переписки» — это почти наверняка: расстрелян.

Одним словом, «мы живём в проклятых условиях, когда человек пропадает без вести и самые близкие люди, жена и мать... годами не знают, что случилось с ним». Правильно? нет? Это написал Ленин в 1910 году в некрологе о Бабушкине. Только выразим прямо: вёз Бабушкин транспорт оружия для восстания, с ним и расстреляли. Он знал, на что шёл. Не скажешь этого о кроликах, нас.

Так представляем мы себе арест.

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, не достигнувшего брюк; за время сборов и обыска наверняка не соберётся у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью и в четвёртую даёт возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют.

¹ Когда в 1937 громили институт доктора Казакова, то сосуды с *лизатами*, изобретенными им, «комиссия» разбивала, хотя вокруг прыгали исцелённые и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства. (По официальной версии лизаты считались ядами — и отчего ж было не сохранить их как вещественные доказательства?)

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не событие. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали «воронки», — днём шагает молодое племя со знамёнами и цветами и поёт неомрачённые песни.

Но у *берущих*, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них — большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. Арестознание — это важный раздел курса общего тюремоведения, и под него подведена основательная общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и стариков в лагерь.

И ещё отдельно есть целая Наука Обыска (и мне удалось прочесть брошюру для юристов-заочников Алма-Аты). Там очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились перевернуть две тонны навоза, шесть кубов дров, два воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок, вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали с тел пластырные наклейки и даже рвали металлические зубы, чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется, начав с личного обыска, им же и закончить (вдруг человек подхватил что-либо из обысканного); и еще раз потом прийти в то же место, но в новое время суток — и снова сделать обыск.

Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повёз её... прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, какой-то молодой фронт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и хмурится: *Органы* не заплатят ему) — то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в чёрную пасть ворот. И если (двадцать две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский, в белом кителе, с запахом дорогого одеколona, покупает торт для девушки — не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдьи. Однако он исполняется чисто, и — вот удивительно! — сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обречённого.

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а если уж стучит, то «управдом», «почталъон»), не всякого следует арестовывать и на работе. Если арестуемый злоумен, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки — от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников: он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Какой же нибудь безвестный смертный, замерший от повальных арестов и уже неделю угнетённый исподлобными взглядами начальства, — вдруг вызван в местком, где ему, сияя, преподносят путёвку в сочинский санаторий. Кролик

прочувствовался — значит, его страхи были напрасны. Он благодарит, он, ликуя, спешит домой собирать чемодан. До поезда два часа, он ругает неповоротливую жену. Вот и вокзал! Ещё есть время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичный молодой человек: «Вы не узнаёте меня, Пётр Иванович?» Пётр Иванович в затруднении: «Как будто нет, хотя...» Молодой человек изливается таким дружеским расположением: «Ну, как же, как же, я вам напомню...» — и почтительно кланяется жене Петра Иваныча: «Вы простите, Ваш супруг через *одну минутку...*» Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Иваныча доверительно под руку — навсегда или на десять лет!

А вокзал снуёт вокруг — и ничего не замечает... Граждане, любящие путешествовать! Не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер.

Эта назойливость мнимых знакомых так резка, что человеку без лагерной волчьей подготовки от неё как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы — сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Долган, то вас не могут арестовать среди бела дня на улице Горького близ Центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув грабастые руки. «Са-ша! — не таится, а просто кричит он.— Керюха! Сколько лет, сколько зим?!.. Ну, отойдём в сторонку, чтоб людям не мешать». А в сторонке-то, у края тротуара, как раз «победа» подъехала... (Через несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра Долгана.) Да что тут мудрого? Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе (так взят Жора Бледнов), не то что в Москве.

Надо воздать Органам заслуженное: в век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими с конвейера,— аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском,— и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39° (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка (Н. М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) — и еле живого, в крови, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь свидания с осуждённой матерью, вам дают его! — а это оказывается очная ставка и арест! Вас в «Гастрономе» приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор — все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение.

Иногда аресты кажутся даже игрой — столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь, кажется, достаточно разослать всем назначенным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и минуте покорно явятся с узелком к чёрным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут. Чернорабочего вызывают в контору.)

Конечно, у всякой машины свой заглот, больше которого она не может. В натужные налитые 1945—1946 годы, когда шли и шли из Европы эшелоны, и их надо было все сразу поглотить и отправить в ГУЛАГ,— уже не было этой избыточной игры, сама теория сильно полиняла, облетели ритуальные перья, и выглядел арест десятков

тысяч как убогая переключка: стояли со списками, из одного эшелона выкликали, в другой сажали, и вот это был весь арест.

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление (при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ-НКВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий день прощались с семьёй, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером, — даже тогда они почти не бежали (а в редких случаях кончали с собой). Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.

Это происходило ещё от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора — какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольной цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приёмную новочеркасского НКВД пришла женщина спросить: как быть с некормленным сосунком-ребёнком её арестованной соседки? «Посидите, — сказали ей, — выясним». Она посидела часа два — её взяли из приёмной и отвели в камеру: надо было спешно заполнять число, и не хватало сотрудников рассылать по городу, а эта уже была здесь! Наоборот, к латышу Андрею Павлу под Оршей пришло НКВД его арестовать; он же, не открывая двери, выскочил в окно, успел убежать и напрямиком уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией, и ясно было по документам, что он — из Орши, он никогда не был посажен, ни вызван в Органы, ни подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска: всесоюзный, республиканский и областной, и почти по половине арестованных в те эпидемии не стали бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно А. Павлу и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те же часы бежать, ещё до первого допроса, — никогда не ловились и не привлекались; а те, кто оставались дожидаться справедливости, — получали срок. И почти все, подавляюще, держались именно так: малодушно, беспомощно, обречённо.

Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица брало подписку о невыезде с родственников, и ничего, конечно, не составляло *оформить* оставшихся вместо бежавшего.

Всеобщая невинность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и не возьмут? Может, обойдётся? А. И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В тридцать седьмом году на базаре к нему подошёл мужик и от кого-то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты в *списках!*» Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся — как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) Не каждому дано, как Ване Левитскому, уже в четырнадцать лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят». (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся — выпустят!» Других сажают повально, это тоже нелепо, но там ещё в каждом случае остаются потёмки: «А может быть этот как раз...?» А уж ты! — ты-то наверняка невиновен! Ты ещё рассматриваешь Органы как учреждение человечески логичное: разберутся — выпустят.

И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. Ведь ты только ухудишь своё положение, ты помеша-

ешь разобратся в ошибке. Не то что сопротивляться — ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали.

Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернётся ли он живым, и прощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например, в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картусы не с добрыми намерениями идут, — так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу. Или тот «воронок» с одиноким шофером, оставшийся на улице, — угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, — остановилась бы проклятая машина! Если бы... если бы... Мы просто заслужили всё дальнейшее.

И потом — чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков — и ни из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить (когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса: «за что?!») — а все-то вместе эти околичности неминуемо и складываются в арест.

Да мало ли что бывает на душе у свежearестованного! — ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году девятнадцатилетнюю Евгению Дояренко, и три молодых чекиста рылись в её постели, в её комод с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать, — и это чтение её строк враждебными чужими парнями поразило её сильнее, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического института Академии наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1948 году, забаррикадировался и два часа жёл бумаги.

Иногда главное чувство арестованного — облегчение и даже... радость, особенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что-то не идут, всё что-то медлят, — ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста и не только для слабой души. Василий Власов, бесстрашный коммунист, которого мы ещё поманем не раз, отказавшийся от гонимства, предложенного ему беспартийными его помощниками, изнемогал оттого, что всё руководство Кадынского района арестовали (1937), а его всё не брали, всё не брали. Он мог принять удар только лбом — принял его и успокоился, и первые дни ареста чувствовал себя великолепно. — Священник отец Иеракс в 1934 поехал в Алма-Ату навестить ссыльных верующих, а тем временем на его московскую квартиру трижды приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой, восемь лет перепрыгивали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что когда его в 1942 всё-таки арестовали — он радостно пел Богу хвалу.

В этой главе мы всё говорим о массе, о кроликах, посаженных неведомо за что. Но придётся нам в книге ещё коснуться и тех, кто и в новое время оставался подлинно *политическим*. Вера Рыбакова, студентка социал-демократка, на воле мечтала о суздальском изолаторе: только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами (на воле их уже не оставалось) и там выработать своё мировоззрение. Эсерка Екатерина Олицкая в 1924 даже считала себя

недостойной быть посаженной в тюрьму: ведь её прошли лучшие люди России, а она ещё молода и ещё ничего для России не сделала. Но и воля уже изгоняла её из себя. Так обе они шли в тюрьму — с гордостью и радостью.

«Сопrotивление! Где же было ваше сопротивление?» — бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста.

Не началось.

И вот — вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас — неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами, — *ведут* сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы кричать! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши оцетинились бы? может, аресты не стали бы так легки?!

В 1927, когда покорность ещё не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днём два чекиста пытались арестовать женщину. Она охватила фонарный столб, стала кричать, не даваться. Собралась толпа. (Нужна была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа! Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо!) Расторопные эти ребята сразу смутились. Они не могут *работать* при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали. (И тут бы женщине сразу на вокзал и уехать! А она пошла ночевать домой. И ночью отвезли её на Лубянку.)

Но с *ваших* пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей.

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы — добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь под предлогом конвоирования меня отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения — улики на меня.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с Министерством иностранных дел).

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокamerники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад; в неотклонимости *десятки*), — я чудом вырвался вдруг и вот уже четыре дня еду как *вольный*, и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параша, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды, — почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы — но, может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но, может быть, поляков это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск — но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому пер-

рону — но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская-радиальная», он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания — тянутся, тянутся под сияющей купол ко мне хоть за словечком истины — так что ж я молчу?!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту, и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смиренного, ни в чём не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И наконец, ещё есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках.

А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — мало! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И ещё я в Охотном ряду смолчу.

Не крикну около «Метрополя».

Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади...

* * *

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, — и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, — и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

— Вы — арестованы!!

И обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёл-ся ничего умней как:

— Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно — я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу, — раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне — да! через этот глухой обруб между оставшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, — перешли немислимые, сказочные слова комбрига:

— Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось — стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из мешка, где оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею — и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

— У вас... — веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте?

— Нельзя!.. Вы не имеете права! — закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы — и готовясь дать на комбрига материал). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждёт мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно:

— Желаю вам — счастья — капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья — врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что этого не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти².

Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не разбирались) и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить.

Она имела длину человеческого роста, а ширину — троим лежать тесно, а четвёрым — впритыску. Я как раз был четвёртым, втолкнул уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклиниваться. Так на истолчённой соломке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больней было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затёклости бока, и мы разом переворачивались.

К утру они отоспались, зевнули, крикнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы, и началось знакомство.

² И вот удивительно: человеком всё-таки можно быть! — Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в союзе охотников.

— А ты за что?

Но смутный ветерок настороженности уже опажнул меня под отравленной кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился:

— Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?

Однако сокамерники мои — танкисты в чёрных мягких шлемах — не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца — род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое-где торчало и нитяное мясо. На замызганных гимнастёрках светлые пятна были — следы свинченных орденов, тёмные и красные рубцы на лицах и руках — память ранений и ожогов. Их дивизион на беду пришёл ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отвогнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохо-послушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не чья-нибудь, а — начальника контрразведки армии.

Да! Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали: окажись девушки немки — их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие; окажись они польки или наши угнанные русачки — их можно было бы, во всяком случае, гонять голыми по огороду и хлопать по ляжкам — забавная шутка, не больше. Но поскольку эта была «походно-полевая жена» начальника контрразведки — с трёх боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утверждённые приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета, — и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка ещё б и не добрался до этой деревни.

Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла всё, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал не прямой свет коридора. Будто беспокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же *подкинули* пятого. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапке тоже новой, и, когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку.

— Откуда, брат? Кто такой?

— С той стороны, — бойко ответил он. — Шпиён.

— Шутить? — обомлели мы. (Чтобы шпион и сам об этом говорил — так никогда не писали Шейнин и братья Тур!)

— Какие могут быть шутки в военное время! — рассудительно вздохнул паренёк. — А как из плена домой вернуться? — ну, научите.

Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтоб он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошёл в ближайший батальон сдаваться, и бессонный измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток, — вдруг новые впечатления ворвались к нам.

— На оправку! Руки назад! — звал через распахнувшуюся дверь старшина-лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки.

По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой-то невежа старшина смел командовать нам, офицерам, «руки назад», но танкисты взяли руки назад, и я пошёл вослед.

За сараем был маленький квадратный загон с ещё не стаявшим утоптаным снегом — и весь он был загажен кучками человеческого

кала так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача — найти, где бы поставить две ноги и присесть. Всё же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас, низко присевших, автоматы, а старшина, не прошло минуты, резко понукал:

— Ну, поторапливайся! У нас быстро оправляются!

Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налётом металлической пыли или дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нём заметен.

— Где это — у вас? — тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином.

— В контрразведке СМЕРШ! — гордо и звончей, чем требовалось, отрубил старшина. (Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное — из «смерть шпионам» — слово. Они находили его пугающим.)

— А у нас — медленно, — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его плем сбился назад, обнажая на голове ещё не состриженные волосы. Его одубелая фронтальная задница была подставлена приятному холодному ветерку.

— Где это — у вас? — громче, чем нужно, гавкнул старшина.

— В Красной Армии, — очень спокойно ответил старший лейтенант с короточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного.

Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.

Глава 2

ИСТОРИЯ НАШЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Когда теперь бранят *произвол культа*, то упираются всё снова и снова в настрявшие тридцать седьмой — тридцать восьмой годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни *до* не сажали, ни *после*, а только вот в тридцать седьмом — тридцать восьмом.

Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: *поток* тридцать седьмого — тридцать восьмого ни единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, — одним из трёх самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации.

До него был поток двадцать девятого — тридцатого годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе). Но мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили — довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей.

И после был поток сорок четвёртого — сорок шестого годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам целые нации и ещё миллионы и миллионы — побывавших (из-за нас же!) в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. (Это Сталин прижигал раны, чтоб они поскорей заструпились и не стало бы надо всему народному телу отдохнуть, раздышаться, подправиться.) Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал.

А поток тридцать седьмого года прихватил и понёс на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколько с пером! — и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!

А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «тридцать седьмой» — он только плечами пожмёт. А Ленинграду что́ тридцать седьмой, когда прежде был тридцать пятый? А *повторникам* или прибалтам не тяжче были сорок восьмой — сорок девятый? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что ещё упустил я в России реки, так и потоки ещё не названы, дайте страниц! Из потоков и остальные сольются.

Известно, что всякий орган без упражнения отмирает.

Итак, если мы знаем, что *Органы* (этим гадким словом они называли себя сами), воспетые и приподнятые надо всем живущим, не отмирали ни единым щупальцем, но, напротив, наращивали их и крепили мускулатурой, — легко догадаться, что они упражнялись постоянно.

По трубам была пульсация — напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча — в которые были выжаты мы — хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения, только половодья сменялись меженьями и опять половодьями, потоки сливались то бóльшие, то меньшие, ещё со всех сторон текли ручейки, ручеёчки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки.

Приводимый дальше повременной перечень, где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков, — очень ещё не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое. Тут потребуются много дополнений от людей знающих и оставшихся в живых.

* * *

В этом перечне труднее всего начать. И потому, что чем глубже в десятилетия, тем меньше осталось свидетелей, молва загасла и затемнилась, а летописей нет или под замком. И потому, что не совсем справедливо рассматривать здесь в едином ряду и годы особого ожесточения (Гражданская война), и первые мирные годы, когда ожидалось бы милосердие.

Но ещё и до всякой Гражданской войны увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена. Один из первых ударов диктатуры пришёлся по кадетам (при царе — крайняя зараза революции, при власти пролетариата — крайняя зараза реакции). В конце ноября 1917, в первый не состоявшийся срок созыва Учредительного Собрания, партия кадетов была объявлена вне закона, и начались аресты их. Около того же времени проведены *посадки* «Союза защиты Учредительного Собрания» и системы «солдатских университетов».

По смыслу и духу революции легко догадаться, что в эти месяцы наполнялись Кресты, Бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы — крупными богачами; видными общественными деятелями, генералами и офицерами; да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти. Одна из первых операций ЧК — арест стачечного комитета Всероссийского союза служащих. Один из первых циркуляров НКВД, декабрь 1917: «Ввиду саботажа чиновников... проявить максимум самодеятельности на местах, не отказываясь от конфискаций, принуждения и арестов»³.

И хотя В. И. Ленин в конце 1917 для установления «строжайшего революционного порядка» требовал «беспощадно подавлять попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов», контрреволюционеров и дру-

³ «Вестник НКВД», 1917, № 1, стр. 4.

гих лиц⁴, то есть, главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц, а контрреволюционеры толпились где-то там в третьем ряду,— однако он же ставил задачу и шире. В статье «Как организовать соревнование» (6 и 9 января 1918) В. И. Ленин провозгласил общую единую цель «очистки земли российской от всяких вредных насекомых». И под *насекомыми* он понимал не только всех классово-чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы», например наборщиков питерских партийных типографий. (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став *диктаторами*, тут же склонились отлынивать от работы на себя самих.) А ещё: «...в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне... нет... саботажников, называющих себя интеллигентами?»⁵. Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где по отбытии карцера выдадут жёлтые билеты, где *расстреляют тунеядца*; тут на выбор — тюрьма или «наказание на принудительных работах тягчайшего вида»⁶. Хотя, усматривая и подсказывая основные направления кары, Владимир Ильич предлагал нахождение лучших мер очистки сделать объектом соревнования «коммун и общин».

Кто попадал под это широкое определение насекомых, нам сейчас не исследовать в полноте: слишком неединообразно было российское население, и встречались среди него обособленные, совсем не нужные, а теперь и забытые малые группы. Насекомыми были, конечно, земцы. Насекомыми были кооператоры. Все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Сплошь насекомые обседали церковные приходские советы, насекомые пели в церковных хорах. Насекомыми были все священники, а тем более — все монахи и монахини. Но и те толстовцы, которые, поступая на советскую службу или, скажем, на железную дорогу, не давали обязательной письменной присяги защищать советскую власть с оружием в руках,— также выявляли себя как насекомых (и мы ещё увидим случаи над ними). К слову пришлось железные дороги — так вот очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было *выдёргивать*, а кого и *шлёпать*. А телеграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к Советам. Не скажешь доброго и о ВИКЖЕЛе, и о других профсоюзах, часто переполненных насекомыми, враждебными рабочему классу.

Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число — на несколько лет очистительной работы.

А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых ещё Пётр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому Режиму?

И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести, да ещё в условиях войны, если бы пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: *внесудебную расправу*,— и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя ВЧК — Часовой Революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение *решения*.

В 1918 году, чтобы ускорить также и культурную победу революции, начали потрошить и вытряхивать мощи святых угодников и отбирать церковную утварь. В защиту разоряемых церквей и монастырей вспыхивали народные волнения. Там и сям колоколили наба-

⁴ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 35, стр. 66.

⁵ Там же, стр. 204.

⁶ Там же, стр. 203.

ты и православные бежали, кто и с палками. Естественно приходилось кого *расходовать* на месте, а кого арестовывать.

Размышляя теперь над 1918 — 1920 годами, затрудняемся мы: относить ли к тюремным потокам всех тех, кого *расшлёпали*, не доводя до тюремной камеры? И в какую графу всех тех, кого комбеды *убирали* за крылечком сельсовета или на дворовых задах? Успевали ли стать хоть ногою на землю Архипелага участники заговоров, раскрывавшихся гроздьями, каждая губерния свой (два рязанских, костромской, вышневолоцкий, велижский, несколько киевских, несколько московских, саратовский, черниговский, астраханский, селигерский, смоленский, бобруйский, тамбовский кавалерийский, чембарский, великолукский, мстиславльский и другие), или не успевали и потому не относятся к предмету нашего исследования? Минуя подавление знаменитых мятежей (Ярославский, Муромский, Рыбинский, Арзамасский), мы некоторые события знаем только по одному названию — например, Колпинский расстрел в июне 1918 — что это? кого это?.. И куда записывать?

Немалая трудность и решить: сюда ли, в тюремные потоки, или в баланс Гражданской войны отнести десятки тысяч *заложников*, этих ни в чём лично не обвинённых и даже карандашом по фамилиям не переписанных мирных жителей, взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей массе? После 30.8.18 НКВД дал указания на места «немедленно арестовать всех правых эсеров, а из буржуазии и офицерства взять *значительное количество заложников*»⁷. (Ну, как если бы, например, после покушения группы Александра Ульянова была бы арестована не она только, но и все студенты в России и *значительное количество земцев*.) Это так открыто и объяснялось (Лацис, газета «Красный террор», 1 ноября 1918): «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом — смысл и сущность красного террора». Постановлением Совета Обороны от 15.2.19 — очевидно, под председательством Ленина? — предложено ЧК и НКВД брать заложниками *крестьян тех местностей, где расчистка снега с железнодорожных путей «производится не вполне удовлетворительно»*, — с тем, что «если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны»⁸. Постановлением СНК конца 1920 разрешено брать заложниками и социал-демократов.

Но даже узко следя лишь за обычными арестами, мы должны отметить, что уже с весны 1918 полился многолетний непрерываемый поток изменников-социалистов. Все эти партии — эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов — они десятилетиями только притворялись революционерами, только носили личину — и на каторгу для этого шли, всё притворялись. И лишь в порывистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал-предателей. Естественно же было приступить к их арестам! Вскоре за кадетами, за разгоном Учредительного Собрания, обезоружением Преображенского и других полков стали брать помалу, сперва потихоньку, и эсеров с меньшевиками. С 14 июня 1918, дня исключения их из всех Советов, эти аресты пошли гуще и дружнее. С 6 июля — туда же погнали и левых эсеров, коварнее и дольше притворявшихся союзниками единственной последовательной партии пролетариата. С тех пор достаточно было на любом заводе или в любом городке рабочего волнения, недовольства, забастовки (их много

⁷ «Вестник НКВД», 1918, № 21-22, стр. 1.

⁸ «Декреты советской власти». М. 1968, т. 4, стр. 627.

было уже летом 1918, а в марте 1921 они сотрясли Петроград, Москву, потом Кронштадт и вынудили НЭП), чтобы одновременно с успокоением, уступками, удовлетворением справедливых требований рабочих — ЧК неслышно бы выхватывало ночами меньшевиков и эсеров как истинных виновников этих волнений. Летом 1918, в апреле и октябре 1919 густо сажали анархистов. В 1919 была посажена вся досягаемая часть эсеровского ЦК — и досидела в Бутырках до своего процесса в 1922. В том же 1919 видный чекист Лацис писал о меньшевиках: «Такие люди нам больше, чем мешают. Вот почему мы убираем их с дороги, чтобы не путались под ногами... Мы их сажаем в укромное местечко, в Бутырки, и заставляем отсиживаться, пока не кончится борьба труда с капиталом»⁹. В июле 1918 беспартийный рабочий съезд весь арестован отрядом латышской охраны Кремля, и в Таганке едва не перестреляны все тотчас.

Уже в 1919 году была понята и вся подозрительность наших русских, возвращающихся из-за границы (зачем? с каким заданием?), — и так сажались приезжавшие офицеры экспедиционного (во Франции) русского корпуса.

В девятнадцатом же году с широким замётом вокруг истинных и псевдозаговоров («Национальный Центр», Военный Заговор) в Москве, в Петрограде и в других городах расстреливали *по спискам* (то есть брали вольных сразу для расстрела) и просто гребли в тюрьму интеллигенцию, так называемую околкадетскую. А что значит «околкадетская»? Не монархическая и не социалистическая, то есть: все научные круги, все университетские, все художественные, литературные, да и вся инженерия. Кроме крайних писателей, кроме богословов и теоретиков социализма, вся остальная интеллигенция, 80 процентов её, и была «околкадетской». Сюда, по мнению Ленина, относился, например, Короленко — «жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками», «таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме»¹⁰. Об отдельных арестованных группах мы узнаём из протестов Горького. 15.9.19 Ильич отвечает ему: «...для нас ясно, что и тут ошибки были»¹¹, но — «какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость!», и советует Горькому не «тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов»¹².

С января 1919 года расширена продрозвёрстка, и для сбора её составляются продотряды. Они встретили повсюдное сопротивление деревни — то упрямо-уклончивое, то бурное. Подавление этого противодействия тоже дало (не считая расстрелянных на месте) обильный поток арестованных в течение двух лет.

Мы сознательно обходим здесь всю ту большую часть помола ЧК, Особотделов и Реввоен трибуналов, которая связана была с продвижением линии фронта, с занятием городов и областей. Та же директива НКВД от 30.8.18 направляла усилия «к безусловному расстрелу всех замешанных в белогвардейской работе». Но иногда теряешься: как правильно разграничивать? Если с лета 1920 года, когда Гражданская война ещё не вся и не всюду кончена, но на Дону уже кончена, оттуда, из Ростова и Новочеркасска, во множестве отправляют офицеров в Архангельск, а дальше баржами на Соловки (и несколько барж потоплено в Белом море — как, впрочем, и в Каспийском), — то относить ли это всё ещё к Гражданской войне или к началу мирного строительства? Если в том же году в Новочеркасске расстреливают беременную офицерскую жену за укрытие мужа, то по какому разряду её списывать?

В мае 1920 года известно постановление ЦК «О подрывной деятельности в тылу». Из опыта мы знаем, что всякое такое постанов-

⁹ М. Я. Лацис. Два года борьбы на внутреннем фронте. Популярный обзор деятельности ЧК. М. ГИЗ. 1920, стр. 61.

¹⁰ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 48.

¹¹ Там же, стр. 47.

¹² Там же, стр. 48, 49.

ление есть импульс к новому всеместному потоку арестантов, есть внешний знак потока.

Особой трудностью (но и особым достоинством!) в организации этих всех потоков было до 1922 года отсутствие Уголовного кодекса, какой-либо системы уголовных законов. Одно лишь революционное правосознание (но всегда безошибочно!) руководило изымателями и канализаторами: кого брать и что с ними делать.

В этом обзоре не будут прослеживаться потоки уголовников и бытовиков, и поэтому только напомним, что всеобщие бедствия и недостачи при перестройке администрации, учреждений и всех законов лишь могли сильно увеличить число краж, разбойных нападений, насилий, взяток и перепродаж (спекуляций). Хотя и не столь опасные существованию Республики, эти уголовные преступления тоже частично преследовались и своими арестантскими потоками увеличивали потоки контрреволюционеров. А была спекуляция и совершенно политического характера, как указывал декрет Совнаркома за подписью Ленина от 22.7.18: «...виновные в сбыте, скупке или хранении для сбыта в виде промысла продуктов питания, монополизированных Республикой (крестьянин хранит хлеб — для сбыта в виде промысла, а какой же его промысел?? — А. С.)... лишение свободы на срок не менее 10 лет, соединённое с *тяжайшими* принудительными работами и конфискацией *всего* имущества».

С того лета черезильно напрягшаяся деревня год за годом отдавала урожай безвозмездно. Это вызывало крестьянские восстания, а стало быть, подавление их и новые аресты («Самая трудолюбивая часть народа положительно искоренялась», — Короленко, письмо Горькому от 10.8.21). В 1920 году мы знаем (не знаем...) процесс «Сибирского Крестьянского Союза». В конце 1920 происходит предварительный разгром тамбовского крестьянского восстания, руководимого Союзом Трудового Крестьянства (как и в Сибири). Тут судебного процесса не было...

Но главная доля людских изъятий из тамбовских деревень приходится на июнь 1921 года. По Тамбовской губернии раскинуты были концентрационные лагеря для семей крестьян, участвующих в восстании. Куски открытого поля обтягивались столбами с колючей проволокой, и три недели там держали каждую семью, заподозренную в том, что мужчина из неё — в восстании. Если за три недели тот не являлся, чтобы своей головой выкупить семью, — семью ссылали¹³.

Ещё ранее, в марте 1921, на острова Архипелага через Трубецкой бастион Петропавловской крепости отправлены были, за вычетом расстрелянных, матросы восставшего Кронштадта.

Тот 1921 год начался с приказа ВЧК № 10 (от 8.1.21): «...в отношении буржуазии репрессии усилить!» Теперь, когда кончилась Гражданская война, не ослабить репрессии, но усилить! Как это выглядело в Крыму, сохранил нам Волошин в некоторых стихах.

Летом 1921 был арестован Общественный Комитет Содействия Голодающим (Кускова, Прокопович, Кишкин и другие), пытавшийся остановить продвижение небывалого голода на Россию. Дело в том, что эти кормящие руки были не те руки, которым можно было разрешить кормить голодных. Поощрённый председатель этого Комитета умирающий Короленко назвал разгром Комитета — «худшим из политиканств, правительственным политиканством» (письмо Горькому от 14.9.21). (И Короленко же напоминает нам важную особенность тюрьмы 1921 года — «она вся пропитана тифом». Так подтверждают Скрипникова и другие, сидевшие тогда.)

В том 1921 году уже практиковались и аресты студентов (например, Тимирязевская академия, группа Е. Дояренко) за «критику по-

¹³ Тухачевский, «Борьба с контрреволюционными восстаниями» («Война и революция», 1926, № 7/8).

рядков» (не публичную, но в разговорах между собой). Таких случаев было ещё, видимо, немного, потому что указанную группу допрашивали сами Менжинский и Ягода.

Но и не так мало. Чем же как не арестами могла кончиться неожиданная смелая забастовка студентов МВТУ весной 1921? С годов лютой стольпинской реакции в этом училище была традиция, что ректор его выбирался из своих же профессоров. Таков и был профессор Калинин (мы его ещё встретим на скамье подсудимых), революционная власть прислала вместо него какого-то серенького инженера. Это было в разгар экзаменационной сессии. Студенты отказались сдавать экзамены, собрались на бурлящую сходку во дворе, отвергли присланного ректора и потребовали сохранить статут самоуправления училища. А потом вся сходка отправилась пешком на Моховую для товарищеской встречи со студентами университета.— Вот и загадка: что же делать власти? Загадка, да не для коммунистов. В царское время забурлила бы вся благородная печать, весь образованный мир: долой правительство, долой царя! А теперь — записали ораторов, дали сходке разойтись, прекратили экзаменационную сессию, а в летние каникулы по одному в разных местах взяли всех, кого надо. Другие так и не получили инженерного образования.

В том же 1921 расширились и унаправились аресты социалистических инопартийцев. Уже, собственно, поконали все политические партии России, кроме победившей. (О, не рой другому яму!) А чтобы распад партий был необратим — надо было ещё, чтобы распались и сами члены этих партий, тела этих членов.

Ни один гражданин Российского государства, когда-либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал, он был обречён (если не успевал, как Майский или Вышинский, по доскам крушения перебежать в коммунисты). Он мог быть арестован не в первую очередь, он мог дожить (по степени своей опасности) до 1922, до тридцать второго или даже до тридцать седьмого года, но списки хранились, очередь шла, очередь доходила, его арестовывали или только любезно приглашали и задавали единственный вопрос: состоял ли он... от... до...? (Бывали вопросы и о его враждебной деятельности, но первый вопрос решал всё, как это ясно нам теперь, через десятилетия.) Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов (счастливым образом централы все хорошо сохранились, и некоторые социалисты попадали даже в те самые камеры и к тем же надзирателям, которых знали уже). Иным предлагали проехать в ссылку — о, ненадолго, годика на два — на три. А то ещё мягче: только получить минус (столько-то городов), выбрать самому себе местожительство, но уж дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикрепленно и ждать воли ГПУ.

Операция эта растянулась на многие годы, потому что главным условием её была тишина и незамечаемость. Важно было неукоснительно очищать Москву, Петроград, порты, промышленные центры, а потом просто уезды от всех иных видов социалистов. Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам, очертания которого мы можем оценить только теперь. Чей-то дальновидный ум это спланировал, чьи-то аккуратные руки, не пропуская ни мига, подхватывали карточку, отбившую три года в одной кучке, и мягко переключивали её в другую кучку. Тот, кто посидел в центральном — переводился в ссылку (и куда-нибудь подальше), кто отбыл «минус» — в ссылку же (но за пределами видимости от «минуса»), из ссылки — в ссылку, потом снова в централ (уже другой), терпение и терпение господствовало у раскладывающих пасьянс. И без шума, без вопля постепенно затсривались инопартийцы, роняли всякие связи с местами и людьми, где прежде знали их и их революционную деятельность, — и так незаметно и неуклонно подготавливалось уничтожение тех, кто когда-то бушевал на

студенческих митингах, кто гордо позванивал царскими кандалами. (Короленко писал Горькому 29.6.21: «История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим». О, если бы только так! — они бы все выжили.)

В этой операции Большой Пасьянс было уничтожено большинство старых политкаторжан, ибо именно эсеры и анархисты, а не социал-демократы, получали от царских судов самые суровые приговоры, именно они и составляли население старой каторги.

Очередность уничтожения была, однако, справедлива: в 20-е годы им предлагалось подписать письменные отречения от своих партий и партийной идеологии. Некоторые отказывались — и так естественно попадали в первую очередь уничтожения, другие давали такие отречения — и тем прибавляли себе несколько лет жизни. Но неумолимо натекала и их очередь, и неумолимо сваливалась с плеч и их голова.

Иногда прочтёшь в газете статейку и дивисься ей до головокружения. «Известия» 24.5.59: через год после прихода Гитлера к власти Максимилиан Хауке арестован за принадлежность к... не к какой-нибудь партии, а к коммунистической. Его уничтожили? Нет, осудили на два года. После этого, конечно, новый срок? Нет, выпустили на волю. Вот и понимай, как знаешь! Он тихо жил потом, создал подполье, в связи с чем и статья о его бесстрашии.

Весной 1922 года Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести ещё и «церковную революцию» — сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве — распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде — митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой — протоиереи, монахи и дьяконы, о которых в газетах не сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору.

Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова, серебряные седины их мелькали в каждой камере, а затем и в каждом соловецком этапе.

Попадали с ранних 20-х годов и группы теософов, мистиков, спиритов (группа графа Палена вела протоколы разговоров с духами), религиозные общества, философы бердяевского кружка. Мимходом были разгромлены и пересажены «восточные католики» (последователи Владимира Соловьева), группа А. И. Абрикосовой. Как-то уж сами собой садились и просто католики — польские ксёндзы.

Однако коренное уничтожение религий в этой стране, все 20-е и 30-е годы былое одной из важных целей ГПУ-НКВД, могло быть достигнуто только массовыми посадками самих верующих православных. Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так зачернявшие прежнюю русскую жизнь. Арестовывали и судили церковные активы. Круги всё расширялись — и вот уже гребли просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили упорнее и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже прозвали *монашками*.

Правда, считалось, что арестовывают и судят их будто бы не за самую веру, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как написала Таня Ходкевич:

Молиться можешь ты свободно,
Но... так, чтоб слышал Бог один.

(За это стихотворение она получила десять лет.) Человек, верящий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать её от... своих детей!! Религиозное воспитание детей стало в 20-е годы квалифицироваться как 58-10, то есть, контрреволюционная агитация! Правда, на суде ещё давали возможность отречься от религии. Нечасто, но бывало так, что отец отрекался и оставался растить детей, а мать семейства шла на Соловки (все эти десятилетия женщины проявляли в вере большую стойкость). Всем религиозным давали десятку, вышший тогда срок.

(Очищая крупные города для наступающего чистого общества, в те же годы, особенно в 1927, вперемешку с «монашками» слали на Соловки и проституток. Любительницам грешной земной жизни, им давали лёгкую статью и по три года. Обстановка этапов, пересылок, самих Соловков не мешала им зарабатывать своим весёлым промыслом и у начальства, и у конвойных солдат и с тяжёлыми чемоданами через три года возвращаться в исходную точку. Религиозным же закрыто было когда-нибудь вернуться к детям и на родину.)

Уже в ранние 20-е годы появились и потоки чисто национальные — пока ещё небольшие для своих окраин, а уж тем более по русским меркам: мусаватистов из Азербайджана, дашнаков из Армении, грузинских меньшевиков и туркменов-«басмачей», сопротивлявшихся установлению в Средней Азии советской власти. В 1926 году было полностью пересажено сионистское общество «Гехалуц», не сумевшее подняться до всеувлекающего порыва интернационализма.

Среди многих последующих поколений утвердилось представление о 20-х годах как о некоем разгуле ничем не стеснённой свободы. В этой книге мы ещё встретимся с людьми, кто воспринимал 20-е годы иначе. Беспартийное студенчество в это время билось за «автономию высшей школы», за право сходов, за освобождение программы от избытка политграмоты. Ответом были аресты. Они усилились к праздникам (например, к 1 мая 1924). В 1925 ленинградские студенты (числом около сотни) все получили по три года политизолятора за чтение «Социалистического вестника» и штудирование Плеханова (сам Плеханов во времена своей юности за выступление против правительства у Казанского собора отделался много дешевле). В двадцать пятом году уже начали сажать и самых первых (молоденьких) троцкистов. (Два наивных красноармейца, вспомнив русскую традицию, стали собирать средства на арестованных троцкистов — получили тоже политизолятор.)

Уж разумеется, не были обойдены ударом и эксплуататорские классы. Все 20-е годы продолжалось выматывание ещё уцелевших бывших офицеров: и белых (но не заслуживших расстрела в Гражданскую войну), и бело-красных, повоевавших там и здесь, и царско-красных, но которые не всё время служили в Красной Армии или имели перерывы, не удостоверенные бумагами. Выматывали — потому что сроки им давали не сразу, а проходили они — тоже пасьян! — бесконечные проверки, их ограничивали в работе, в жителях, задерживали, отпускали, снова задерживали, — лишь постепенно они уходили в лагерь, чтобы больше оттуда не вернуться.

Однако отправкой на Архипелаг офицеров решение проблемы не заканчивалось, а только начиналось: ведь оставались матери офицеров, жёны и дети. Пользуясь непогрешимым социальным анализом, легко было представить, что у них за настроение после ареста глав семей. Тем самым они просто вынуждали сажать и их! И лётся ещё этот поток.

В 20-е годы была амнистия казакам, участникам Гражданской войны. С Лемноса многие вернулись на Кубань и на Дон, получали землю. Позже все были посажены.

Затаились и подлежали вылавливанию также и все прежние государственные чиновники. Они умело маскировались, они пльзова-

лись тем, что ни паспортной системы, ни единых трудовых книжек ещё не было в Республике, — и пролезали в советские учреждения. Тут помогали обмолвки, случайные узнавания, соседские доносы... то бишь, боевые донесения. (Иногда — и чистый случай. Некто Мова из простой любви к порядку хранил у себя список всех бывших губернских юридических работников. В 1925 случайно это у него обнаружили — всех взяли — и всех расстреляли.)

Так лились потоки «за сокрытие происхождения», за «бывшее социальное положение». Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и *личных дворян*, то есть попросту — окончивших когда-то университет. А уж взят — пути назад нет, сделанного не воротишь. Часовой Революции не ошибается.

(Нет, всё-таки есть пути назад! — это тонкие, тощие противоположности — но иногда они пробиваются. И первый из них упомянем здесь. Среди дворянских и офицерских жён и дочерей не в редкость были женщины выдающихся личных качеств и привлекательной наружности. Некоторые из них сумели пробиться небольшим обратным потоком — встречным! Это были те, кто помнил, что жизнь даётся нам один только раз и ничего нет дороже *нашей* жизни. Они предложили себя ЧК-ГПУ как осведомительницы, как сотрудницы, как кто угодно — и те, кто понравились, были приняты. Это были плодотворнейшие из осведомителей! Они много помогли ГПУ, им очень верили «бывшие». Здесь называют последнюю княгиню Вяземскую, виднейшую послереволюционную стукачку (стукачом был и сын её на Соловках); Конкордию Николаевну Иоссе — женщину, видимо, блестящих качеств: мужа её, офицера, при ней расстреляли, самую сослали в Соловки, но она сумела выпроситься назад и вблизи Большой Лубянки вести салон, который любили посещать крупные деятели этого Дома. (Вновь посажена она была только в 1937 году со своими ягодинскими клиентами.)

Смешно сказать, но по нелепой традиции сохранялся от старой России Политический Красный Крест. Три отделения было: Московское (Е. Пешкова), Харьковское (Сандомирская) и Петроградское. Московское вело себя прилично — и до 1937 не было разогнано. Петроградское же (старый народник Шевцов, хромой Гартман, Кочеровский) держалось несносно, нагло, ввязывалось в политические дела, искало поддержки старых шлиссельбуржцев (Новорусский, одноплец Александра Ульянова) и помогало не только социалистам, но и *казрам* — контрреволюционерам. В 1926 оно было закрыто, и деятели его отправлены в ссылку.

Годы идут, и неосежаемое всё стирается из нашей памяти. В обёрнутой дали 1927 год воспринимается нами как беспечный сытый год ещё не обрубленного НЭПа. А был он — напряжённый, содрогался от газетных взрывов и воспринимался у нас, внушался у нас как канун войны за мировую революцию. Убийству советского полпреда в Варшаве, залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения.

Но вот незадача: Польша приносит извинения, единичный убийца Войкова¹⁴ арестован там, — как же и над кем же выполнить призыв поэта:

Спайкой,
стройкой,
выдержкой
и расправой
Спущенной своре
шею сверни!

¹⁴ Видимо, монархист Борис Коверда мстил Войкову персонально: уральский облкомпрод П. Л. Войков в июле 1918 руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов расстрела (разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла).

С кем же расправиться? кому свернуть шею? Вот тут-то и начинается *войковский набор*. Как всегда, при всяких волнениях и напряжениях, сажают *бывших*, сажают анархистов, эсеров, меньшевиков, а и просто так интеллигенцию. В самом деле — кого же сажать в городах? Не рабочий же класс! Но интеллигенцию «околокадетскую» и без того хорошо перетрясли ещё с 1919 года. Так не пришла ли пора потрясти интеллигенцию, которая изображает себя передовой? Перелистать студенчество. Тут и Маяковский опять под руку:

Думай
о комсомоле
дни и недели!

Ряды
свои
оглядывай зорче.

Все ли
комсомольцы
на самом деле

Или
только
комсомольца корчат?

Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: *социальная профилактика*. Он введён, он принят, он сразу всем понятен. (Один из начальников Беломорстроя, Лазарь Коган, так и будет скоро говорить: «Я верю, что лично вы ни в чём не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика!») В самом деле, ненадёжных попутчиков, всю эту интеллигентскую шать и гниль — когда же сажать, если не в канун войны за мировую революцию? Когда большая война начнётся — уже будет поздно.

И в Москве начинается планомерная проскрёбка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. Лозунг: «Мы так трахнем кулаком по столу, что мир содрогнётся от ужаса!» К Лубянке, к Бутыркам устремляются даже днём «воронки», легковые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в воротах, затор во дворе. Арестованных не успевают разгружать и регистрировать. (Это — и в других городах. В Ростове-на-Дону, в подвале Тридцать третьего дома, в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывшей Бойко еле находится место сесть.)

Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай по сколько-то копеек они самовольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка — прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. И их арестовывают всех, дают от трех до десяти лет (Анне Скрипниковой — пять), а не сознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Варенцов и другие) — расстреливают!

Или, в том же году, где-то в Париже собираются лицеисты-эмигранты отметить традиционный «пушкинский» лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это — затея смертельно раненного империализма. И вот арестовываются все лицеисты, ещё оставшиеся в СССР, а заодно — и «правоведы» (другое такое же привилегированное училище).

Только размерами СЛОНа — Соловецкого Лагеря Особого Назначения — ещё пока умеряется объём войковского набора. Но уже начал свою злокачественную жизнь Архипелаг ГУЛАГ и скоро разошлёт метастазы по всему телу страны.

Отведан новый вкус, и возник новый аппетит. Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой и не привыкшую подхватывать приказания на лету.

То есть мы никогда инженерам и не доверяли — этих лакеев и прислужников бывших капиталистических хозяев мы с первых же лет Революции взяли под здоровое рабочее недоверие и контроль. Однако в восстановительный период мы всё же допускали их работать в нашей промышленности, всю силу классового удара направляя на интеллигенцию прочую. Но чем больше зрело наше хозяйственное руководство, ВСНХ и Госплан, и увеличивалось число планов, и планы эти сталкивались и вышибали друг друга — тем ясней становилась вредительская сущность старого инженерства, его неискренность, хитрость и продажность. Часовой Революции прищурился зорче — и куда только он направлял свой прищур, там сейчас же и обнаруживалось гнездо вредительства.

Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года и сразу въявь показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостат. НКПС (железные дороги) — вредительство (вот и трудно на поезд попасть, вот и перебои в доставке). МОГЭС — вредительство (перебои со светом). Нефтяная промышленность — вредительство (керосина не достанешь). Текстильная — вредительство (не во что одеться рабочему человеку). Угольная — колоссальное вредительство (вот почему мёрзнем)! Металлическая, военная, машиностроительная, судостроительная, химическая, горнорудная, золото-платиновая, ирригация — всюду гнойные нарывы вредительства! со всех сторон — враги с логарифмическими линейками! ГПУ запыхалось хватать и таскать вредителей. В столицах и в провинции работали коллегии ОГПУ и пролетарские суды, проворачивая эту тягучую нечисть, и об их новых мерзостных делишках каждый день, ахая, узнавали (а то и не узнавали) из газет трудящиеся. Узнавали о Пальчинском, фон Мекке, Величко¹⁵, а сколько было безымянных. Каждая отрасль, каждая фабрика и кустарная артель должны были искать у себя вредительство и едва начинали — тут же и находили (с помощью ГПУ). Если какой инженер дореволюционного выпуска и не был ещё разоблачённым предателем, то наверняка можно было его в этом подозревать.

И какие же изощрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по-разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный его совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжело гружённых. Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён (и расстрелян): он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить Республику на случай интервенции без железных дорог! Когда же, малое время спустя, новый наркомпути товарищ Каганович распорядился пускать именно тяжело гружённые составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые (и за это открытие он и другие руководители получили ордена Ленина), то злостные инженеры выступили теперь в виде *предельщиков* — они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта.

Этих предельщиков бьют несколько лет, они — во всех отраслях, трясут своими расчётными формулами и не хотят понять, как мостам и станкам помогает энтузиазм персонала. (Это годы изворота всей народной психологии: высмеивается оглядчивая народная мудрость, что быстро хорошо не бывает, и выворачивается старинная поговорка «тише едешь...») Что только задерживает иногда арест старых ин-

¹⁵ К. И. Величко, военный инженер, бывший профессор Военной академии Генштаба, генерал-лейтенант, в царском военном министерстве руководил Управлением военных сообщений. Расстрелян. Ох, как пригодился бы в 1941!

женеров — это неготовность смены. Николай Иванович Ладыженский, главный инженер военных ижевских заводов, сперва арестовывается за «предельные теории», за «слепую веру в запас прочности», исходя из каковой считал недостаточными суммы, подписанные Орджоникидзе, для расширения заводов. (А Орджоникидзе, рассказывают, разговаривал со старыми инженерами так: клал на письменный стол по пистолету справа и слева.) Но затем его переводят под домашний арест — и велят работать на прежнем месте (дело без него разваливается). Он налаживает. Но суммы как были недостаточны, так и остались — и вот теперь-то его снова в тюрьму «за неправильное использование сумм»: потому и не хватило их, что главный инженер плохо ими распорядился! В один год Ладыженский умирает на лесоповале.

Так в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героям Гарина-Михайловского и Замятина.

Само собой, что и в этот поток, как во всякий, прихватываются и другие люди, близкие и связанные с обречёнными, например и... не хотелось бы запятнать светло-бронзовый лик Часового, но приходится... и несостоявшиеся осведомители. Этот вовсе секретный, никак публично не проявленный, поток мы просили бы читателя всё время удерживать в памяти — особенно для первого послереволюционного десятилетия: тогда люди ещё бывали горды, у многих ещё не было понятия, что нравственность — относительна, имеет лишь узко-классовый смысл, — и люди смели отказываться от предлагаемой службы, и всех их карали без пощады. Как раз вот за кругом инженеров предложили следить молоденькой Магдалине Эджубовой, а она не только отказалась, но рассказала своему опекуну (за ним же надо было и следить); однако тот всё равно был вскоре взят и на следствии во всём признался. Беременную Эджубову «за разглашение оперативной тайны» арестовали и приговорили к расстрелу. (Впрочем, она отдалась двадцатипятилетней цепью нескольких сроков.) В те же годы (1927), хоть в совсем другом кругу — среди видных харьковских коммунистов, также отказалась следить и доносить на членов украинского правительства Надежда Витальевна Суровцева — за то была схвачена в ГПУ и только через четверть столетия, еле живую, выбарахталась на Колыме. А кто не всплыл — о тех мы и не знаем.

(В 30-е годы этот поток непокрных сходит к нулю: раз требуют осведомлять, значит, надо — куда ж денешься? «Плетью обуха не перешибёшь». «Не я — так другой». «Лучше буду сексотом я, хороший, чем другой, плохой». Впрочем, тут уже добровольцы прут в сексоты, не отобьёшься: и выгодно, и доблестно.)

В 1928 году в Москве слушается громкое Шахтинское дело — громкое по публичности, которую ему придают, по ошеломляющим признаниям и самобичеванию подсудимых (ещё пока не всех). Через два года, в сентябре 1930, с треском судятся организаторы голода (они! они! вот они!) — сорок восемь вредителей в пищевой промышленности. В конце 1930 проводится ещё громче и уже безукоризненно отретегированный процесс Промпартии: тут уже все подсудимые до единого взваливают на себя любую омерзительную чушь — и вот перед глазами трудящихся, как монумент, освобождённый от покрывала, восстаёт грандиозное хитроумное сплетение всех отдельных донныне разоблачённых вредительств в единый дьявольский узел с Милуковым, Рябушинским, Детердингом и Пуанкаре.

Уже начиная вникать в нашу судебную практику, мы понимаем, что общеизвестные судебные процессы — это только наружные кротовые кучи, а всё главное копанье идёт под поверхностью. На эти процессы выводится лишь небольшая доля посаженных, лишь те, кто соглашается противоестественно оговаривать себя и других в надежде на послабление. Большинство же инженеров, кто имел мужество и

разум отвергнуть следовательскую несуразицу, — те судятся неслышно, но лепятся и им — не сознавшимся — те же *десятки* от коллегии ГПУ.

Потоки льются под землёю, по трубам, они канализируют поверхностную цветущую жизнь.

Именно с этого момента предпринят важный шаг ко всенародному участию в канализации, ко всенародному распределению ответственности за неё: те, кто своими телами ещё не грохнулся в канализационные люки, кого ещё не понесли трубы на Архипелаг, — те должны ходить поверху со знамёнами, славить суды и радоваться судебным расправам. (Это предусмотрительно! — пройдут десятилетия, история очнётся — но следователи, судьи и прокуроры не окажутся более виноваты, чем мы с вами, сограждане! Потому-то мы и убелены благопристойными сединами, что в своё время благопристойно голосовали за.)

Если не считать ленинско-троцкого эксперимента при процессе эсеров в 1922 году, то Сталин начал такие пробы с *организаторов голода* — и ещё бы пробе не удалась, когда все оголодали на обильной Руси, когда все только и озираются: куда ж наш хлебушка запропастился? И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодяям подсудимым. А уже к Промпартии — это всеобщие митинги, это демонстрации (с прихватом и школьников), это печатный шаг миллионов и рёв за стёклами судебного здания: «Смерти! Смерти! Смерти!»

На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или воздержания — очень, очень много мужества надо было в том хоре и рёве, чтобы сказать «нет!», — несравнимо с сегодняшнею лёгкостью! (А и сегодня не очень-то возражают.) На собрании ленинградского Политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский *воздержался* (он, видите, вообще противник смертной казни, это, видите ли, на языке науки необратимый процесс) — и тут же посажен! Студент Дима Олицкий воздержался — и тут же посажен! И все эти протесты заглохли при самом начале.

Сколько знаем мы, седоусый рабочий класс одобрял эти казни. Сколько знаем мы, от пылающих комсомольцев и до партийных вождей и до легендарных командармов — весь авангард единодушествовал в одобрении этих казней. Знаменитые революционеры, теоретики и провидцы, за семь лет до своей бесславной гибели приветствовали тот рёв толпы, не догадываясь, что при пороге их время, что скоро и их имена поволокнут в этом рёве — «нечистью» и «мразью».

А для инженеров как раз тут вскоре разгром и кончался. Летом 1931 года вымолвил Иосиф Виссарионович «шесть условий» строительства, и угодно было Его Единодержавию пятым условием указать: от политики разгрома старой технической интеллигенции — к политике привлечения и заботы о ней.

И заботы о ней! И куда испарился наш справедливый гнев? И куда отделились все наши грозные обвинения? Проходил тут как раз процесс вредителей в фарфоровой промышленности (и там нашкодили!) — и уже дружно все подсудимые поносили себя и во всём сознавались — и вдруг так же дружно воскликнули: невиновны!! И их освободили!

(Даже намечился в том году маленький антипоток: уже засуженных или заследованных инженеров возвращали к жизни. Так вернулся и Д. А. Рожанский. Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным? Что граждански-мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги?)

Давно опрокинутых навзничь меньшевиков ещё покопытил в марте 1931 Сталин в публичном процессе «Союзного Бюро меньшевиков», Громан — Суханов — Якубович (Громан — скорее кадет,

Якубович — почти большевик, а Гиммер-Суханов — тот самый, теоретик Февраля, на квартире которого в Петрограде на набережной Карповки 10 октября 1917 собрался большевистский ЦК и принял решение о вооружённом восстании). И вдруг — задумался.

Беломорцы так говорят о приливе — вода *задумалась*: это перед тем, как пойти на спад. Ну, негоже сравнивать мутную душу Сталина с водою Белого моря. Да может быть он несколько и не задумался. Да и спада никакого не было. Но ещё одно чудо в том году произошло. Вслед за процессом Промышленной Партии готовился в 1931 году грандиозный процесс Трудовой Крестьянской Партии — якобы (никогда не!) существовавшей огромной подпольной организованной силы из сельской интеллигенции, из деятелей потребительской и сельскохозяйственной кооперации и развитой верхушки крестьянства, готовившей свержение диктатуры пролетариата. На процессе Промпартии эту ТКП уже поминали как прихваченную, как хорошо известную. Следственный аппарат ГПУ работал безотказно: уже ты ся чи обвиняемых полностью *сознались* в принадлежности к ТКП и в своих преступных целях. А всего было обещано «членов» — две сти ты ся ч. «Во главе» партии значились экономист-аграрник Александр Васильевич Чайнов; будущий «премьер-министр» Н. Д. Кондратьев; Л. Н. Юровский; Макаров; Алексей Дояренко, профессор из Тимирязевки, — будущий «министр сельского хозяйства».

А может быть, и получше бы тех, кто эту должность потом сорок лет занимал. И вот человеческий жребий! Дояренко был принципиально всегда вне политики! Когда дочь его приводила в дом студентов, высказывающих как бы эсеровские мысли, он их из дому выгонял.

И вдруг в одну прекрасную ночь Сталин передумал — почему, мы этого, может быть, никогда не узнаем. Захотел он душеньку отмаливать? — так рано. Пробило чувство юмора, что уж больно однообразно, оскомина? — так никто не посмеет попрекнуть, что у Сталина было чувство юмора. А вот что скорей: прикинул он, что скоро вся деревня и так будет от голода вымирать, и не двести тысяч, так нечего и трудиться. И вот была отменена вся ТКП, всем «сознавшимся» предложили отказаться от сделанных признаний (можно себе вообразить их радость!) и вместо этого засудили внесудебным порядком, через коллегия ОППУ, небольшую группу Кондратьева—Чайнова¹⁶. (А в 1941 году измученного Вавилова обвинят, что ТКП — была и он-то, Вавилов, тайно её и возглавлял.)

Теснятся абзацы, теснятся года — и никак нам не выговорить всего по порядку, что было (а ГПУ отлично справлялось! а ГПУ ничего не упустило!). Но будем всё время помнить:

— что верующих сажают непрерывно, само собою. (Тут выплывают какие-то даты и пики. То «ночь борьбы с религией» в рождественский сочельник 1929 в Ленинграде, когда посадили много религиозной интеллигенции, и не до утра, не в виде рождественской сказки. То там же в феврале 1932 закрытие многих сразу церквей и одновременно густые аресты духовенства. А ещё больше дат и мест — никем до нас не донесено);

— что не упускают громить и секты, даже сочувственные коммунизму. Так, в 1929 посадили всех сплошь членов *коммуны* между Сочи и Хостой. Всё у них было по-коммунистически — и производство и распределение, и всё так честно, как страна не достигнет и за сто лет, но, увы, слишком они были грамотны, начитанны в религиозной литературе, и не безбожие было их философией, а смесь баптизма, толстовства и йоговства. Стало быть, такая коммуна была преступ-

¹⁶ Присуждённый к тюремному изолятору, Кондратьев заболел там психически и умер. Умер и Юровский. Чайнов после пяти лет изолятора был выслан в Алма-Ату, в 1948 посажен вновь.

на и не могла принести народу счастья. В 20-е же годы значительная группа толстовцев была сослана в предгорья Алтая, там они создали поселки-коммуны совместно с баптистами. Когда началось строительство Кузнецкого комбината, они снабжали его продуктами. Затем начали арестовывать — сперва учителей (учили не по государственным программам), дети с криком бежали за машинами, затем — руководителей общин;

— что как-то же расчистили (и не всех воспитанием, а кого и свинцом) те тучи беспризорной молодёжи, какая в 20-е годы осаждала городские асфальтные котлы, а с 1930 года вся исчезла вдруг;

— что не упускаются случаи недозволенного милосердия (за собиранье в цеху денег для жены заключённого рабочего — арест);

— что Большой Пасьянс социалистов перекладывается непрерывно, само собой;

— что в 1929 сажают не сосланных вовремя за границу историков (Платонов, Тарле, Любавский, Готье, Измайлов), выдающегося литературоведа М. М. Бахтина, молодого тогда Лихачёва;

— что текут и национальности то с одной окраины, то с другой.

Сажают якутов после восстания 1928 года. Сажают бурят-монголов после восстания 1929 года. (Расстреляно, как говорят, около тридцати пяти тысяч. Проверить нам не дано.) Сажают казахов после героического подавления их конницей Будённого в 1930—1931 годах. Судят в начале 1930 Союз Вызволения Украины (профессор Ефремов, Чеховский, Никовский и другие), а зная наши пропорции объявляемого и тайного — сколько там ещё за их спинами? сколько там негласно?..

И подходит, медленно, но подходит очередь садиться в тюрьму членам правящей партии! Пока (1927—1929) это — «рабочая оппозиция» или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их пока — сотни, скоро будут — тысячи. Но лиха беда начало. Как эти троцкисты спокойно смотрели на посадки инопартийных, так сейчас оставшаяся партия одобрительно взирает на посадку троцкистов. Всем свой черёд. Дальше потечёт несуществующая «правая» оппозиция. Членик за члеником прожевав с хвоста, доберётся пасть и до собственной головы.

С 1928 же года приходит пора рассчитывать с буржуазными последышами — нэпманами. Чаще всего им приносят всё возрастающие и уже непосильные налоги, с какого-то раза они отказываются платить, и тут их сажают за несостоятельность и конфискуют имущество. (Мелких кустарей — парикмахеров, портных да тех, кто чинит примусы, — только лишают патента.)

В развитии нэпманского потока есть свой экономический интерес. Государству нужно имущество, нужно золото, а Кольмы ещё нет никакой. С конца 1929 начинается знаменитая золотая лихорадка, только лихорадит не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового «золотого» потока в том, что этих своих кроликов ГПУ, собственно, ни в чём не винит и готово не посылать их в страну ГУЛАГ, а только хочет отнять у них золото по праву сильно. Поэтому забыты тюрьмы, изнемогают следователи, а пересылки, этапы и лагеря получают непропорционально меньшее пополнение.

Кого сажают в «золотом» потоке? Всех, кто когда-то, пятнадцать лет назад, имел «дело», торговал, зарабатывал ремеслом и мог бы, по соображениям ГПУ, сохранить золото. Но как раз у них очень часто золота и не оказывалось: держали имущество в движимости, в недвижимости, всё это сгнуло, отобрано в Революцию, не осталось ничего. С большой надеждой сажаются, конечно, зубные техники, ювелиры, часовщики. О золоте в самых неожиданных руках можно узнать по доносу: стопроцентный «рабочий от станка» откуда-то взял и хранит шестьдесят николаевских золотых пятёрок; известный сибирский партизан Муравьёв приехал в Одессу и привёз с собой

мешочек с золотом (наградил в Гражданскую войну); у петербургских татар—извозчиков ломовых у всех спрятано золото. Так это или не так — разобраться можно только в застенках. Уж ничем — ни пролетарской сущностью, ни революционными заслугами не может защититься тот, на кого пала тень золотого доноса. Все они арестуются, все напихиваются в камеры ГПУ в количествах, которые до сих пор не представлялись возможными, — но тем лучше, скорей *отгадут!* Доходит до конфузного, что женщины и мужчины сидят в одних камерах и друг при друге ходят на парашу — кому до этих мелочей, отдайте золото, гады! Следователи не пишут протоколов, потому что бумажка эта никому не нужна, и будет ли потом намотан срок или не будет, это мало кого интересует, важно одно: отдай золото, гад! Государству нужно золото, а тебе зачем? У следователей уже не хватает ни горла, ни сил на угрозы и пытки, но есть общий приём: кормить камеры одним солёным, а воды не давать. Кто золото сдаст — тот выпьет воды! Червонец за кружку чистой воды!

Люди гибнут за металл...

От потоков предшествующих, от потоков последующих этот отличается тем, что хоть не у половины, но у части этого потока своя судьба трепыхается в собственных руках. Если у тебя на самом деле золота нет — твоё положение безвыходно, тебя будут бить, жечь, пытать и выпаривать до смерти или пока уж действительно не поверят. Но если у тебя золото есть, то ты сам определяешь меру пытки, меру выдержки и свою будущую судьбу. Психологически это, впрочем, не легче, это тяжелей, потому что ошибёшься и навсегда будешь виноват перед собой. Конечно, тот, кто уже усвоил нравы сего учреждения, уступит и отдаст, это легче. Но и слишком легко отдавать нельзя: не поверят, что отдал сполна, будут ещё держать. Но и слишком поздно отдать нельзя: душеньку выпустишь или со зла влепят срок. Один из тех татар-извозчиков выдержал все пытки: золота нет! Тогда посадили и жену, и её мучили, татарин своё: золота нет! Посадили и дочь — не выдержал татарин, сдал сто тысяч рублей. Тогда семью выпустили, а ему врезали срок. — Самые аляповатые детективы и оперы о разбойниках серьёзно осуществились в объёме великого государства.

Введение паспортной системы на пороге 30-х годов тоже дало изрядное пополнение лагерям. Как Пётр I упрощал строение народа, прометая все желобки и пазы между сословиями, так действовала и наша социалистическая паспортная система: она выметала именно промежуточных насекомых, она настигала хитрую, бездомную и ни к чему не приставленную часть населения. Да поперву и ошибались люди много с теми паспортами — и не прописанные, и не выписанные подгребались на Архипелаг, хоть на годок.

Так пузырились и хлестали потоки — но через всех перекатился и хлынул в 1929—1930 годах многомиллионный поток *раскулаченных*. Он был непомерно велик, и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем (к тому ж забитая «золотым» потоком), но он миновал её, он сразу шёл на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ. Своей единовременной набухлостью этот поток (этот океан!) вышпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ-ГУЛАГА, что города ничего б и не заметили! — если б не потрясший их трёхлетний странный голод — голод без засухи и без войны.

Поток этот отличался от всех предыдущих ещё и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьёй. Напротив, здесь сразу выжигали только гнёздами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей четырнадцати, десяти или шести лет не отбилсЯ бы в сторону:

все наподскрёб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был первый такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями.)

Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех «кулаков», по которым назван был для отвода глаз. «Кулаком» называется по-русски прижимистый бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции-то были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности. Затем, уже после семнадцатого года, по переносу значения «кулаками» стали называть (в официальной и агитационной литературе, отсюда вошло и в устный обиход) тех, кто вообще использует труд наёмных рабочих, хотя бы по временным недостаткам своей семьи. Но не упустим из виду, что после революции за всякий такой труд невозможно было не уплатить густо — на страже батраков стояли комбед и сельсовет, попробовал бы кто-нибудь обидеть батрака! Справедливый же наём труда допускается в нашей стране и сейчас.

Но раздувание хлёсткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян — крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы разموжить в крестьянстве *крепость*. Вспомним, очнёмся: лишь двенадцать лет прошло с великого Декрета о земле — того самого, без которого крестьянство не пошло бы за большевиками, и Октябрьская революция бы не победила. Земля была роздана по едокам, равно. Всего лишь девять лет, как мужики вернулись из Красной Армии и накинулись на свою завоёванную землю. И вдруг — кулаки, бедняки. Откуда это? Иногда — от неравенства инвентаря, иногда — от счастливого или несчастливого состава семьи. Но не больше ли всего — от трудолюбия и упорства? И вот теперь-то этих мужиков, чей хлеб Россия и ела в 1928 году, бросились искоренять свои местные неудачники и приезжие городские люди. Как озверев, потеряв всякое представление о «человечестве», потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, — лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу.

Такое массовое движение не могло не осложниться. Надо было освободить деревню также и от тех крестьян, кто просто проявлял нерхоту идти в колхоз, несклонность к коллективной жизни, которой они не видели в глаза и о которой подозревали (мы теперь знаем, как основательно), что это будет руководство бездельников, принудилровка и голодаловка. Нужно было освободиться и от тех крестьян (иногда совсем небогатых), кто за свою удачу, физическую силу, решимость, звонкость на сходках, любовь к справедливости были любимы односельчанами, а по своей независимости — опасны для колхозного руководства. (Этот крестьянский тип и судьба его бессмертно представлены Степаном Чаусовым в повести С. Залыгина.) И ещё в каждой деревне были такие, кто лично стал поперёк дороги здешним *активистам*. По ревности, по зависти, по обиде был теперь самый удобный случай с ними расчитаться. Для всех этих жертв требовалось новое слово — и оно родилось. В нём уже не было ничего «социального», экономического, но оно звучало великолепно: *подкулачник*. То есть, я считаю, что ты — пособник врага. И хватит того! Самого оборванного батрака вполне можно зачислить в подкулачники! (Хорошо помню, что в юности нам это слово казалось вполне логичным, ничего неясного.)

Так охвачены были двумя словами все те, кто составлял суть деревни, её энергию, её смекалку и трудолюбие, её сопротивление и совесть. Их вывезли — и коллективизация была проведена.

Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки:

— поток *вредителей* сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками (разумеется, по указаниям московского института, ныне полностью разоблачённого. Да это же и есть те самые не посаженные двести тысяч членов ТКП!). Одни агрономы не выполняют глубокоумных директив Лысенко (в таком потоке в 1931 отправлен в Казахстан «король» картофеля Лорх). Другие выполняют их слишком точно и тем обнажают их глупость. (В 1934 псковские агрономы посеяли лён по снегу — точно как велел Лысенко. Семена набухли, заплесневели и погибли. Обширные поля пропустовали год. Лысенко не мог сказать, что снег — кулак или что сам дурак. Он обвинил, что агрономы — кулаки и извратили его технологию. И потянулись агрономы в Сибирь.) А ещё почти во всех МТС обнаружено вредительство в ремонте тракторов (вот чем объяснялись неудачи первых колхозных лет!);

— поток «за потери урожая» (а «потери» сравнительно с произвольной цифрой, выставленной весной «комиссией по определению урожая»);

— «за невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче» (райком обязался, а колхоз не выполнил — садись!);

— поток *стригущих колоски*. Ночная ручная стрижка колосков в поле! — совершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая! Это был немалый поток, это были многие десятки тысяч крестьян, часто даже не взрослые мужики и бабы, а парни и девки, мальчишки и девчонки, которых старшие посылали ночами *стричь*, потому что не надеялись получить из колхоза за свою дневную работу. За это горькое и малоприбыльное занятие (в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды!) суды отвешивали сполна: десять лет как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года (в арестантском просторечии *закон семь восьмых*).

Этот «закон от седьмого-восьмого» дал ещё отдельный большой поток со строек первой и второй пятилеток, с транспорта, из торговли, с заводов. Крупными хищениями велено было заниматься НКВД. Этот поток следует иметь в виду дальше как постоянно текущий, особенно обильный в военные годы, — и так пятнадцать лет (до 1947, когда он будет расширен и осуровлен).

Но наконец-то мы можем и передохнуть; наконец-то сейчас и прекратятся все массовые потоки! — товарищ Молотов сказал 17 мая 1933: «...мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях». Фу-у-уф, да и пора бы. Прочь ночные страхи! Но что за лай собак? Ату! Ату!

Во-ка! Это начался *кировский* поток из Ленинграда, где напряжённость признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено «ускоренное» (оно и раньше не поражало медлительностью) и без права обжалования (оно и раньше не обжаловалось). Считается, что четверть Ленинграда была *расчищена* в 1934—1935. Эту оценку пусть опровергнет тот, кто владеет точной цифрой и даст её. (Впрочем, поток этот был не только ленинградский, он достаточно отозвался по всей стране в форме привычной, хотя и бессвязной: в увольнении из аппарата всё ещё застрявших где-то там детей священников, бывших дворянок, да имеющих родственников за границей.)

В таких захлёстывающих потоках всегда терялись скромные неизменные ручейки, которые не заявляли о себе громко, но лились и лились:

— то шущбундовцы, проигравшие классовые бои в Вене и приехавшие спасаться в отечество мирового пролетариата;

— то асперантисты (эту вредную публику Сталин выжигал в те же годы, что и Гитлер);

— то недобитые осколки Вольного Философского Общества, нелегальные философские кружки;

— то учителя, не согласные с передовым бригадно-лабораторным методом обучения (в 1933 Наталья Ивановна Бугаенко посажена в ростовское ГПУ, но на третьем месяце следствия узналось из правительственного постановления, что тот метод — порочен. И её освободили.);

— то сотрудники Политического Красного Креста, который стараниями Екатерины Пешковой всё ещё отстаивал своё существование;

— то горцы Северного Кавказа за восстание (1935); национальности текут и текут. (На Волгоканале национальные газеты выходят на четырех языках — татарском, тюркском, узбекском и казахском. Так есть кому их читать!);

— и опять — верующие, теперь не желающие идти на работу по воскресеньям (вводили пятидневку, шестидневку); колхозники, саботирующие в церковные праздники, как привыкли в индивидуальную эру;

— и всегда — отказавшиеся стать осведомителями НКВД. (Тут попадали и священники, хранившие тайну исповеди, — Органы быстро сообразили, как им полезно знать содержание исповедей, единственная польза от религии.);

— а сектантов берут всё шире;

— а Большой Пасьянс социалистов всё переключивается.

И наконец, ещё ни разу не названный, но всё время текущий поток *Десятого Пункта*, он же КРА (КонтрРеволюционная Агитация), он же АСА (АнтиСоветская Агитация). Поток Десятого Пункта — пожалуй, самый устойчивый из всех — не пресекался вообще никогда, а во времена других великих потоков, как тридцать седьмого, сорок пятого или сорок девятого годов, набухал особенно полноводно.

Уж этот-то безотказный поток подхватывал кого угодно и в любую назначенную минуту. Но для видных интеллигентов в 30-е годы иногда считали более изящным подстрять какую-нибудь постыдную статейку (вроде мужеложства; или будто бы профессор Плетнёв, оставаясь с пациенткой наедине, кусал ей грудь. Пишет центральная газета — пойдёшь опровергни!).

* * *

Парадоксально: всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно бодрствующих Органов дала силу всего-навсего одна статья из ста сорока восьми статей не-общего раздела Уголовного Кодекса 1926 года. Но в похвалу этой статье можно найти ещё больше эпитетов, чем когда-то Тургенев подобрал для русского языка или Некрасов для Матушки-Руси: великая, могучая, обильная, разветвлённая, разнообразная, всеподметающая, Пятьдесят Восьмая, исчерывающая мир не так даже в формулировках своих пунктов, сколько в их диалектическом и широчайшем истолковании.

Кто из нас не изведал на себе её всеохватывающих объятий? Воистину, нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть наказаны тяжёлой дланью Пятьдесят Восьмой статьи.

Сформулировать её так широко было невозможно, но оказалось возможно так широко её истолковать.

58-я статья не составила в Кодексе главы о политических преступлениях, и нигде не написано, что она «политическая». Нет, вместе с преступлениями против порядка управления и бандитизмом она сведена в главу «преступлений государственных». Так, Уголовный кодекс открывается с того, что отказывается признать кого-либо на своей территории преступником политическим — а только уголовным.

58-я статья состояла из четырнадцати пунктов.

Из первого пункта мы узнаём, что контрреволюционным признаётся всякое действие (по ст. 6-й УК — и бездействие), направленное... на ослабление власти...

При широком истолковании оказалось: отказ в лагере пойти на работу, когда ты голоден и изнеможён, есть ослабление власти. И влечёт за собой — расстрел. (Расстрелы *отказчиков* во время войны.)

С 1934 года, когда нам возвращён был термин Родина, были и сюда вставлены подпункты *измены Родине* — 1-а, 1-б, 1-в, 1-г. По этим

пунктам действия, совершённые в ущерб военной мощи СССР, караются расстрелом (1-б) и лишь в смягчающих обстоятельствах и только для гражданских лиц (1-а) — десятью годами.

Широко читая: когда нашим солдатам за сдачу в плен (ущерб военной мощи!) давалось всего лишь десять лет, это было гуманно до противозаконности. Согласно сталинскому кодексу они по мере возврата на родину должны были быть все расстреливаемы.

(Или вот ещё образец широкого чтения. Хорошо помню одну встречу в Бутырках летом 1946. Некий поляк родился в Лемберге, когда тот был в составе Австро-Венгерской империи. До второй мировой войны жил в своём родном городе в Польше, потом переехал в Австрию, там служил, там в 1945 и арестован нашими. Он получил десятку по статье 54-1-а украинского кодекса, то есть за измену своей родине — Украине! — так как ведь город Лемберг стал к тому времени украинским Львовом! И бедняга не мог доказать на следствии, что уехал в Вену не с целью изменить Украине! Так он иссобачился стать предателем.)

Ещё важным расширением пункта об измене было применение его «через статью 19-ю УК» — «через намерение». То есть, никакой измены не было, но следователь усматривал *намерение* изменить — и этого было достаточно, чтобы дать полный срок, как и за фактическую измену. Правда, статья 19-я предлагает карать не за намерение, а за *подготовку*, но при диалектическом чтении можно и намерение понять как подготовку. А «приготовление наказуемо так же (то есть равным наказанием), как и само преступление» (УК). В общем,

мы не отличаем намерения от самого преступления, и в этом *превосходство* советского законодательства перед буржуазным!¹⁷

Необъятную широту прочтения любой статьи ещё давала статья 16-я УК — «по аналогии». Когда прямо ни к одной статье поступок не подходил, судья мог квалифицировать его «по аналогии».

Пункт второй говорит о вооружённом восстании, захвате власти в центре и на местах, и в частности для того, чтобы насильственно отторгнуть какую-либо часть Союза Республик. За это — вплоть до расстрела (как и в *каждом* следующем пункте.)

Расширительно (как нельзя было бы написать в статье, но как подсказывает революционное правосознание): сюда относится всякая попытка осуществить право любой республики на выход из Союза. Ведь «насильственно» — не сказано, по отношению к кому. Даже если всё население республики захотело бы отделиться, а в Москве этого бы не хотели, отделение уже будет *насильственным*. Итак, все эстонские, латышские, литовские, украинские и туркестанские националисты легко получали по этому пункту свои десять и двадцать пять.

Третий пункт — «способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с СССР в состоянии войны».

Этот пункт давал возможность осудить любого гражданина, бывшего под оккупацией, прибил ли он каблук немецкому военному служащему, продал ли пучок редиски; или гражданку, повысившую боевой дух оккупанта тем, что танцевала с ним и провела ночь. Не всякий был осуждён по этому пункту (из-за обилия оккупированных), но мог быть осуждён всякий.

Четвёртый пункт говорил о (фантастической) помощи, оказываемой международной буржуазии.

Казалось бы: кто может сюда относиться? Но, широко читая с помощью революционной совести, легко нашли разряд: все

¹⁷ «От тюрем к воспитательным учреждениям» (сборник Института уголовной политики. Под ред. Вышинского. М. «Советское законодательство». 1934, стр. 36).

эмигранты, покинувшие страну до 1920 года, то есть за несколько лет до написания самого этого Кодекса, и достигнутые нашими войсками в Европе через четверть столетия (1944 — 1945), получали 58-4: десять лет или расстрел. Ибо что ж делали они за границей, как не способствовали мировой буржуазии? (На примере музыкального общества мы уже видели, что способствовать можно было и изнутри СССР.) Ей же способствовали все эсеры, все меньшевики (для них и статья задумана), а потом инженеры Госплана и ВСНХ.

Пятый пункт: склонение иностранного государства к объявлению войны СССР.

Упущенный случай: распространить этот пункт на Сталина и его дипломатическое и военное окружение в 1940 — 1941 годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Кто ж, как не они, ввергли Россию в позорные невиданные поражения, не сравнимые с поражениями царской России в 1904 или 1915 году? поражения, каких Россия не знала с XIII века?

Шестой пункт — шпионаж,

был прочтён настолько широко, что если бы подсчитать всех осуждённых по нему, то можно было бы заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ни чем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж — это было нечто очень удобное по своей простоте, понятное и неразвитому преступнику, и учёному юристу, и газетчику, и общественному мнению¹⁸.

Широта прочтения ещё была здесь в том, что осуждали не прямо за шпионаж, а за

ПШ — Подозрение в Шпионаже;

НШ — Недоказанный Шпионаж, и за него всю катушку! И даже за

СВПШ — Связи, Ведущие к Подозрению (!) в Шпионаже.

То есть, например, знакомая знакомой вашей жены шила платье у той же портнихи (конечно, сотрудницы НКВД), что и жена иностранного дипломата.

И эти 58-6, ПШ и СВПШ были прилипчивые пункты, они требовали строгого содержания, неусыпного наблюдения (ведь разведка может протянуть щупальцы к своему любимцу и в лагерь) и запрещали расконвоирование. Вообще всякие *литерные статьи*, то есть не статьи вовсе, а вот эти пугающие сочетания больших букв (мы в этой главе ещё встретим другие) постоянно носили на себе налёт загадочности, всегда было непонятно, отrostки ли они 58-й статьи или что-то самостоятельное и очень опасное. Заключённые с литерными статьями во многих лагерях были притеснены даже по сравнению с 58-й.

Седьмой пункт: подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кооперации.

В 30-е годы этот пункт сильно пошёл в ход и захватил массы под упрощённой и всем понятной кличкой «вредительство». Действительно, всё перечисленное в пункте седьмом с каждым днём наглядно и явно подрывалось — и должны же были быть тому виновники?.. Столетиями народ строил, создавал, и всегда честно, даже на бар. Ни о каком *вредительстве* не слыхано было

¹⁸ А пожалуй, шпиономания не была только узколобым пристрастием Сталина. Она сразу пришлась удобной всем, вступающим в привилегии. Она стала естественным оправданием уже назревшей всеобщей секретности, запрета информации, закрытых дверей, системы пропусков, огороженных дач и тайных распределителей. Через броневую защиту шпиономания народ не мог проникнуть и посмотреть, как бюрократия сговаривается, бездельничает, ошибается, как она ест и как развлекается.

от самых Рюриков. И вот когда впервые достояние стало народным — сотни тысяч лучших сынов народа необъяснимо кинулись вредить. (Вредительство в сельском хозяйстве пунктом не предусматривалось, но так как без него нельзя было разумно объяснить, почему поля зарастают сорняками, урожаи падают, машины ломаются, то диалектическое чутьё ввело и его.)

Восьмой пункт — террор (не тот террор, который «обосновать и узаконить» должен был советский Уголовный кодекс¹⁹).

Террор понимался очень и очень расширительно: не то считалось террором, чтобы подкладывать бомбы под кареты губернаторов, но, например, набить морду своему личному врагу, если он был партийным, комсомольским или милицейским активистом, уже значило террор. Тем более убийство активиста никогда не приравнивалось к убийству рядового человека (как это было, впрочем, ещё в кодексе Хаммурапи в XVIII столетии до нашей эры). Если муж убил любовника жены, и тот оказался беспартийным — это было счастье мужа, он получал 136-ю статью, был бытовик, социально-близкий и мог быть бесконвойным. Если же любовник оказывался партийным — муж становился врагом народа с 58-8.

Ещё более важное расширение понятия достигалось применением восьмого пункта через ту же статью 19-ю, то есть через *подготовку* в смысле намерения. Не только прямая угроза около пивной «ну, погоди!», обращённая к активисту, но и замечание запальчивой базарной бабы «ах, чтоб ему повылазило!» квалифицировалось как ТН — Террористические Намерения, и давало основание на применение всей строгости статьи. (Это звучит перебором, фарсом — но не мы сочиняли этот фарс, мы с этими людьми — сидели.)

Девятый пункт — разрушение или повреждение... взрывом или поджогом (и непременно с контрреволюционной целью), сокращённо именуемое как *диверсия*.

Расширение было в том, что контрреволюционная цель приписывалась (следователь лучше знал, что делалось в сознании преступника!), а всякая человеческая оплошность, ошибка, неудача в работе, в производстве — не прощались, рассматривались как диверсия.

Но никакой пункт 58-й статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как Десятый. Звучание его было: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти... а равно и распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержания». И оговаривал этот пункт в *мирное* время только *нижний* предел наказания (не ниже! не слишком мягко!), верхний же не ограничивался!

Таково было бесстрашие великой Державы перед словом подданного.

Знаменитые расширения этого знаменитого пункта были:

- под «агитацией, содержащей призыв», могла пониматься дружеская (или даже супружеская) беседа с глазу на глаз или частное письмо; а *призывом* мог быть личный совет. (Мы заключаем «могла, мог быть» из того, что *так оно и бывало.*);
- «подрывом и ослаблением» власти была всякая мысль, не совпадающая или не поднимающаяся по накалу до мыслей

¹⁹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 190.

сегодняшней газеты. Ведь ослабляет всё то, что не усиляет! Ведь подрывает всё то, что не полностью совпадает!

И тот, кто сегодня поет не с нами,—
Тот
против
нас!

(Маяковский);

— под «изготовлением литературы» понималось всякое написание в единственном экземпляре письма, записи, интимного дневника.

Расширенный так счастливо — какую мысль, задуманную, произнесённую или записанную, не охватывал Десятый Пункт?

Пункт одиннадцатый был особого рода: он не имел самостоятельного содержания, а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию.

На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изыщное применение пункта я испытал на себе. Нас было *двое*, тайно обменивавшихся мыслями, — *то есть* зачатки организации, *то есть* организация!

Пункт двенадцатый наиболее касался совести граждан: это был пункт о *недонесении* в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения наказание не имело верхней границы!!

Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что дальнейшего расширения не требовал. *Знал и не сказал* — всё равно, что сделал сам!

Пункт тринадцатый, по видимости давно исчерпанный, был: служба в царской охранке. (Аналогичная более поздняя служба, напротив, считалась патриотической доблестью.)

Есть психологические основания подозревать И. Сталина в подсудности также и по этому пункту 58-й статьи. Далеко не все документы относительно этого рода службы пережили февраль 1917 и стали широко известны. Поспешный поджог полицейских архивов в первые дни февральской революции похож на дружный порыв некоторых заинтересованных революционеров. В самом деле, зачем бы в момент победы сжигать архивы неприятеля, столь интересные?

Пункт четырнадцатый карал «сознательное неисполнение определённых обязанностей или умышленно небрежное их исполнение» — карал, разумеется, вплоть до расстрела. Кратко это называлось «саботаж» или «экономическая контрреволюция»,

а отделить умышленное от неумышленного мог только следователь, опираясь на своё революционное правосознание. Этот пункт применялся к крестьянам, не сдающим поставок. Этот пункт применялся к колхозникам, не набравшим нужного числа трудодней. К лагерникам, не вырабатывающим норму. И рикошетом стали после войны давать этот пункт блатарям за побег из лагеря, то есть расширительно усматривая в побеге блатного не порыв к сладкой воле, а подрыв системы лагерей.

Такова была последняя из костяшек веера 58-й статьи — веера, покрывшего собой всё человеческое существование.

Сделав этот обзор великой Статьи, мы дальше уже будем меньше удивляться. Где закон — там и преступление.

* * *

Булатная сталь 58-й статьи, опробованная в 1927, сразу после отковки, омоченная во всех потоках следующего десятилетия, — с

полным свистом и размахом была применена в атаке Закона на Народ в 1937—1938 годах.

Надо сказать, что операция 1937 года не была стихийной, а планировалась, что в первой половине этого года во многих тюрьмах Союза произошло переоборудование — из камер выносились койки, строились сплошные нары, одноэтажные, двухэтажные. (Как не случайно и Большой Дом в Ленинграде был закончен в 1934 году, как раз к убийству Кирова.) Вспоминают старые арестанты, что будто бы и первый удар был массивным, чуть ли не в какую-то августовскую ночь по всей стране (но зная нашу неповоротливость, я не очень этому верю). А осенью, когда к двадцатилетию Октября ожидалась с верою всеобщая великая амнистия, шутник Сталин добавил в Уголовный кодекс невиданные новые сроки — пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет.

Нет нужды повторять здесь о тридцать седьмом годе то, что уже широко написано и ещё будет многократно повторено: что был нанесён крушащий удар по верхам партии, советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ-НКВД. Вряд ли в какой области сохранился первый секретарь обкома или председатель облисполкома — Сталин подбирал себе более удобных.

Теперь, видя китайскую «культурную революцию» (тоже на семнадцатом году после окончательной победы), мы можем с большой вероятностью заподозрить тут историческую закономерность. И даже сам Сталин начинает казаться лишь слепой и поверхностной исторической силой.

Ольга Чавчавадзе рассказывает, как было в Тбилиси: в тридцать восьмом году арестовали председателя горисполкома, его заместителя, всех (одиннадцать) начальников отделов, их помощников, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. Назначили новых. Прошло два месяца. И вот опять сажают: председателя, заместителя, всех (одиннадцать) начальников отделов, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. На свободе остались: рядовые бухгалтеры, машинистки, уборщицы, курьеры...

В посадке же рядовых членов партии был, видимо, секретный, нигде прямо в протоколах и приговорах не названный мотив: преимущественно арестовывать членов партии со стажем до 1924 года. Это особенно решительно проводилось в Ленинграде, потому что именно все те подписывали «платформу» Новой оппозиции. (А как бы они могли не подписывать? как бы могли «не доверять» своему ленинградскому губкому?)

И вот как бывало, картинка тех лет. Идёт (в Московской области) районная партийная конференция. Её ведёт новый секретарь райкома вместо недавно посаженного. В конце конференции принимается обращение преданности товарищу Сталину. Разумеется, все встают (как и по ходу конференции все вскакивали при каждом упоминании его имени). В маленьком зале хлещут «бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Три минуты, четыре минуты, пять минут они всё ещё бурные и всё ещё переходящие в овацию. Но уже болят ладони. Но уже затекли поднятые руки. Но уже задыхаются пожилые люди. Но уже это становится нестерпимо глупо даже для тех, кто искренно обожает Сталина. Однако: кто же *первый* осмелится прекратить? Это мог бы сделать секретарь райкома, стоящий на трибуне и только что зачитавший это самое обращение. Но он — недавний, он — вместо посаженного, он сам боится! Ведь здесь, в зале, стоят и аплодируют энкаведисты, они-то следят, кто покинет первый!.. И аплодисменты в безвестном маленьком зале безвестно для вождя продолжают шесть минут! семь минут! восемь минут!.. Они погибли! Они пропали! Они уже не могут остановиться, пока не падут с разорвавшимся сердцем! Ещё в глуби зала, в тесноте, можно хоть чуть сжальничать, бить реже, не так сильно, не так яростно, — но в президиуме, на виду?! Директор местной бумажной фабрики, независимый сильный

человек, стоит в президиуме и, понимая всю ложность, всю безвыходность положения, аплодирует! — девятую минуту! десятую! Он смотрит с тоской на секретаря райкома, но тот не смеет бросить. Безумие! Повальное! Озираясь друг на друга со слабой надеждой, но изображая на лицах восторг, руководители района будут аплодировать, пока не упадут, пока их не станут выносить на носилках! И даже тогда оставшиеся не дрогнут!.. И директор бумажной фабрики на одиннадцатой минуте принимает деловой вид и опускается на своё место в президиуме. И — о, чудо! — куда делся всеобщий несдержанный неописуемый энтузиазм? Все разом на том же хлопке прекращают и тоже садятся. Они спасены! Белка догадалась выскочить из колеса!..

Однако вот так-то и узнают независимых людей. Вот так-то их и изымают. В ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому поводу десять лет. Но после подписания 206-й (заключительного следственного протокола) следователь напоминает ему:

— И никогда не бросайте аплодировать первый!

(А как же быть? А как же нам остановиться?..)

Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью.

Но сегодня создаётся новый миф. Всякий печатный рассказ, всякое печатное упоминание о тридцать седьмом годе — это непременно рассказ о трагедии коммунистов-руководителей. И вот уже нас уверили, и мы невольно поддаемся, что 37/38-й тюремный год состоял в посадке именно крупных коммунистов — и как будто больше никого. Но от миллионов, взятых тогда, никак не могли составить видные партийные и государственные чины более 10 процентов. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц.

Из косвенных данных статистики не миновать вывода, а показанием свидетелей подтверждается: что не вымершие спецпосёлки «раскулаченных» были в 1937 году переведены на Архипелаг: либо переселены в лагерь, либо на месте оцеплены лагерной зоной. Так великий поток 1929 года влился в поток 1937, ещё миллионно увеличив его.

Состав захваченных в 1937-38 и отнесённых полумёртвыми на Архипелаг так пёстр, причудлив, что долго бы ломал голову, кто захотел бы научно выделить закономерности. (Тем более современникам они не были понятны.)

А истинный посадочный закон тех лет был — заданность цифры, разрядки, развёрстки. Каждый город, район, каждая воинская часть получали контрольную цифру и должны были выполнить её в срок. Всё остальное — от сноровки оперативников.

Бывший чекист Александр Калганов вспоминает, как в Ташкент пришла телеграмма: «Шлите двести». А они только что выгребли и как будто «некого» брать. Ну, правда, подвезли из районов с полсотни. Идея! Взятых милицией бытовиков — переквалифицировать в 58-ю! Сказано — сделано. Но контрольной цифры всё равно нет. Донесит милиция: что делать? на одной из городских площадей цыгане нахально разбили табор. Идея! Окружили — и всех мужчин от семнадцати до шестидесяти загребли как Пятьдесят Восьмую! И — выполнили план!

А бывало и так: чекистам Осетии (рассказывает начальник милиции Заболовский) дана была развёрстка расстрелять по республике пятьсот человек, они просили добавить, им разрешили ещё двести пятьдесят.

Эти телеграммы, слегка зашифрованные, передавались обычной связью. В Темрюке телеграфистка в святой простоте передала на коммутатор НКВД: чтобы завтра отправили в Краснодар двести сорок

ящиков мыла. Наутро она узнала о больших арестах и отправке — и догадалась! и сказала подруге, какая была телеграмма. Тут же её и посадили.

(Совсем ли случайно зашифровали человека как *ящик мыла*? Или — зная мыловарение?..)

Конечно, какие-то частные закономерности осмыслить можно. Садятся:

— наши за границей истинные шпионы. (Это часто — искреннейшие коминтерновцы или чекисты, много — привлекательных женщин. Их вызывают на родину, на границе арестовывают, затем дают очную ставку с их бывшим начальником из Коминтерна, например Миrowsым-Короной. Тот подтверждает, что сам работал на какую-нибудь из разведок, — и, значит, его подчинённые — автоматически, и тем вреднее, чем честнее.);

— кавэжединцы. (Все поголовно советские служащие КВЖД оказываются сплошь, включая жён, детей и бабушек, японскими шпионами. Но надо признать, что их брали уже и несколькими годами раньше);

— корейцы с Дальнего Востока (ссылка в Казахстан), первый опыт взятия по крови;

— ленинградские эстонцы (все берутся по одной лишь фамилии, как белоэстонские шпионы);

— все латышские стрелки и латыши-чекисты — да, латыши, акушеры Революции, составлявшие совсем недавно костяк и гордость ЧК! И даже те коммунисты буржуазной Латвии, которых выменяли в 1921, освободив их от ужасных латвийских сроков в два и в три года. (Закрываются в Ленинграде: латышское отделение Института Герцена; дом культуры латышей; эстонский клуб; латышский техникум; латышская и эстонская газеты.)

Под общий шум заканчивается и перекладка Большого Пасьянса, гребут ещё недозятых. Уже незачем скрываться, уже пора эту игру обрывать. Теперь социалистов забирают в тюрьму целыми ссылками (например, Уфа, Саратов), судят всех вместе, гонят на бойни Архипелага — стадами.

В прошлых потоках не забывали интеллигенцию, не забывают её и теперь. Достаточно студенческого доноса (сочетание этих слов давно не звучит странно), что их вузовский лектор цитирует всё больше Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует, — и лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он *вообще не цитирует?*.. Садятся все ленинградские востоковеды среднего и младшего поколения. Садится весь состав Института Севера (кроме сексотов). Не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело тридцати преподавателей средних школ во главе с их завоблоно Перелем, одно из ужасных обвинений: устраивали в школах ёлки *для того, чтобы жечь школы!*²⁰ А по лбу инженеров (уже советского поколения, уже не «буржуазных») дубина опускается с равномерностью маятника. У маркшейдера Николая Меркурьевича Микова из-за какого-то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 58-7, двадцать лет! Шесть геологов (группа Котовича) «за намеренное сокрытие запасов олова в недрах (! — то есть за неоткрытие их!) на случай прихода немцев» (донос) — 58-7, по десять лет.

Вдгонку главным потокам — ещё *спец-поток*: ж ё н ы, Че-эСы (члены семьи). Жёны крупных партийцев, а местами (Ленинград) — и всех, кто получил «10 лет без права переписки», кого уже нет. Че-эСам,

²⁰ Из них пятеро замучены на следствии, умерли до суда. Двадцать четыре умерли в лагерях. Тридцатый — Иван Аристаулович Пунич, вернулся, реабилитирован. (Умри и он, мы пропустили бы здесь всех этих тридцать, как и пропускаем миллионы.) Многочисленные «свидетели» по их делу — сейчас в Свердловске и благоденствуют: номенклатурные работники, персональные пенсионеры. Дарвиновский отбор.

как правило, всем по *восьмёрке*. (Всё же мягче, чем раскулаченным, и дети — на материке.)

Груды жертв! Холмы жертв! Фронтальное наступление НКВД на город: у С. П. Матвеевой в одну и ту же волну, но по разным «делам», арестовали мужа и трёх братьев (и трое из четверых никогда не вернутся);

— у техника-электрика оборвался на его участке провод высокого напряжения. 58-7, двадцать лет;

— пермский рабочий Новиков обвинён в подготовке взрыва Камского моста;

— Южакова (в Перми же) арестовали днём, за женой пришли ночью. Ей предъявили список лиц и потребовали подписать, что все они собирались в их доме на меньшевистско-эсеровские собрания (разумеется, их не было). За это её обещали выпустить к оставшимся троим детям. Она подписала, погубила всех, да и сама, конечно, осталась сидеть;

— Надежда Юденич арестована за свою фамилию. Правда, через девять месяцев установили, что она не родственница генерала, и выпустили (ну, там ерунда: за это время мать умерла от волнений);

— в Старой Руссе смотрели кинофильм «Ленин в Октябре». Кто-то обратил внимание на фразу: «Это должен знать Пальчинский!» — а Пальчинский-то защищает Зимний дворец. Позвольте, а у нас медсестра работает — Пальчинская! Взять её! И взяли. И оказалось, действительно — жена, после расстрела мужа скрывшаяся в захолустье;

— братья Борушко (Павел, Иван и Степан) приехали в 1930 из Польши ещё мальчиками к своим родным. Теперь юношами они получают ПШ (подозрение в шпионаже), десять лет;

— водительница краснодарского трамвая поздно ночью возвращалась из депо пешком и на окраине, на свою беду, прошла мимо застрявшего грузовика, близ которого суетились. Он оказался полон трупов — руки и ноги торчали из-под брезента. Её фамилию записали, на другой день арестовали. Спросил следователь: что она видела? Она призналась честно (дарвиновский отбор). Антисоветская агитация, десять лет;

— водопроводчик выключал в своей комнате репродуктор всякий раз, как передавались бесконечные письма Сталину. (Кто помнит их?! Часами, ежедневно, оглушающе одинаковые! Вероятно, диктор Левитан хорошо их помнит: он их читал с раскатами, с большим чувством.) Сосед донёс (о, где теперь этот сосед?). СОЭ, социально опасный элемент, восемь лет;

— полуграмотный печник любил в свободное время *расписываться* — это возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, он расписывался на газетах. Его газету с росчерками по лику Отца и Учителя соседи обнаружили в мешочке в коммунальной уборной. АСА, антисоветская агитация, десять лет.

Сталин и его приближённые любили свои портреты, испещряли ими газеты, расплюскали их в миллионных количествах. Мухи мало считались с их святостью, да и газеты жалко было не использовать — и сколько же несчастных получило на этом срок!

Аресты катились по улицам и домам эпидемией. Как люди передают друг другу эпидемическую заразу, о том не зная — рукопожатием, дыханием, передачей вещи, — так рукопожатием, дыханием, встречей на улице они передавали друг другу заразу неминуемого ареста. Ибо если завтра тебе суждено признаться, что ты сколачивал подпольную группу для отравления городского водопровода, а сегодня я пожал тебе руку на улице — значит, я обречён тоже.

Семь лет перед тем город смотрел, как избивали деревню, и подходил это естественным. Теперь деревня могла бы посмотреть, как избивают город, — но она была слишком темна для того, да и саму-то её добивали:

— землемер (!) Саунин получил пятнадцать лет за... падёж скота (!) в районе и плохие урожаи (!) (а головка района вся расстреляна за то же);

— приехал на поле секретарь райкома подгонять с пахотой, и спросил его старый мужик, знает ли секретарь, что за семь лет колхозники не получили на трудодни ни грамма зерна, только соломы, и то немного. За вопрос этот получил старик АСА, десять лет;

— а другая была судьба у мужика с шестью детьми. Из-за этих шести ртов он не жалел себя на колхозной работе, всё надеялся что-то выколотить. И впрямь вышел ему — орден. Вручали на собрании, речи говорили. В ответном слове мужик расчувствовался и сказал: «Эх, мне бы вместо этого ордена — да пудик муки! Нельзя ли так-то?» Волчьим смехом расхохоталось собрание, и со всеми шестью своими ртами пошёл новый орденосец в ссылку.

Объединить ли всё теперь и объяснить, что сажали безвинных? Но мы упустили сказать, что само понятие *вины* отменено ещё пролетарской революцией, а в начале 30-х годов объявлено *правым оппортунизмом!*²¹ Так что мы уже не можем спекулировать на этих отсталых понятиях: вина и невиновность²².

Обратный выпуск 1939 года — случай в истории Органов невероятный, пятно на их истории! Но, впрочем, этот антипоток был невелик, около одного-двух процентов взятых перед тем — ещё не осуждённых, ещё не отправленных далеко и не умерших. Невелик, а использован умело. Это была сдача копейки с рубля, это нужно было, чтобы всё свалить на грязного Ежова, укрепить вступающего Берия и чтобы ярче воссиял Вождь. Этой копёйкой ловко вбили оставшийся рубль в землю. Ведь если «разобрались и выпустили» (даже газеты бестрепетно писали об отдельных оклеветанных) — значит, остальные-то посаженные — наверняка мерзавцы! А вернувшиеся — молчали. Они дали подписку. Они онемели от страха. И мало кто мало что узнал из тайн Архипелага. Разделение было прежнее: «воронки» ночью, демонстрации — днём.

Да впрочем, копейку эту быстро добрали назад — в тех же годах, по тем же пунктам необъятной Статьи. Ну кто заметил в сороковом году поток жён за *неотказ* от мужей? Ну кто там помнит и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый джаз, игравший в кино «Модерн», так как все они оказались врагами народа? А кто заметил тридцать тысяч чехов, ушедших в 1939 из оккупированной Чехословакии в родную славянскую страну СССР? Нельзя было поручиться, что кто-нибудь из них не шпион. Их отправили всех в северные лагеря (и вот откуда во время войны выплывает «чехословацкий корпус»). Да позвольте, да не в тридцать девятом ли году мы протянули руку помощи западным украинцам, западным белорусам, а затем в сороковом и Прибалтике и молдаванам? Наши братья все-таки оказались нечищенные, и потекли оттуда потоки *социальной профилактики* — в северную ссылку, в среднеазиатскую — и это были многие, многие сотни тысяч. (Интересно, что им клеили: западным украинцам — «сотрудничество с белой Польшей», буковинцам и бессарабам — с Белорумынией. А — евреям, перебежавшим из немецкой части Польши к нам? Да сотрудничество с гестапо, конечно! М. Пинхасик.) Брали слишком состоятельных, влиятельных, заодно и слишком самостоятельных, слишком умных, слишком заметных, всюду брали офицеров, в бывших польских областях — особенно густо поляков (тогда-то была наберёвана злополучная Катюнь, тогда-то в северных лагерях заложили силос под будущую армию Сикорского — Андерса). Всюду брали — офицеров. И так население встряхивалось, смол-

²¹ «От тюрем к воспитательным учреждениям», стр. 63.

²² В 1946 понадобилось (12.7.46. № 8/5/у) специальное постановление пленума Верховного Суда СССР «О возможности применения наказания лишь к лицам, совершившим определённое преступление» (!). Но и оно далее обходилось так же свободно.

кало, оставалось без возможных руководителей сопротивления. Так внушалось благоразумие, отсыхали прежние связи, прежние знакомства.

Финляндия оставила нам перешеек без населения, зато по Карелии и по Ленинграду в сороковом году прошло изъятие и переселение лиц с финской кровью. Мы этого ручейка не заметили: у нас кровь не финская.

В финскую же войну был первый опыт: судить наших сдавшихся пленников как изменников Родине. Первый опыт в человеческой истории! — а ведь вот поди ж ты, мы не заметили!

Отрепетировали — и как раз грянула война, а с нею — грандиозное отступление. Из западных республик, оставляемых врагу, надо было спешить в несколько дней выбрать ещё кого можно. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зенитные и артиллерийские дивизионы — но управились вывезти несколько тысяч семей неблагонадёжных литовцев (четыре тысячи из них отдали потом в Красноярском лагере на разграб уркам). С 23 июня спешили арестовывать в Латвии, в Эстонии. Но жгло, и отступить пришлось ещё быстрее. Забыли вывезти целые крепости, как Брестскую, но не забывали расстреливать политзаключённых в камерах и дворах львовской, ровенской, таллинской и многих западных тюрем. В тартуской тюрьме расстреляли сто девяносто два человека, трупы бросали в колодезь.

Это как вообразить? — ты ничего не знаешь, открывается дверь камеры, и в тебя стреляют. Ты предсмертно кричишь — и никто, кроме тюремных камней, не услышит и не расскажет. Говорят, впрочем, были и недострелянные. Может быть, мы ещё прочтём об этом книгу?..

В 1941 немцы так быстро обошли и отрезали Таганрог, что на станции в товарных вагонах остались заключённые, подготовленные к эвакуации. Что делать? Не освобождать же. И не отдавать немцам. Подвезли цистерны с нефтью, полили вагоны, а потом подожгли. Все сгорели заживо.

В тылу первый же военный поток был — *распространители слухов и сеятели паники*, по специальному внекодекскому Указу, изданному в первые дни войны. Это было пробное кровопускание, чтобы подержать общую подтянутость. Давали всем по пять лет, но не считалось 58-й статьёй (и те немногие, кто пережил лагеря военных лет, были в 1945 амнистированы).

Мне едва не пришлось испытать этот Указ на себе: в Ростове-на-Дону я стал в очередь к хлебному магазину, милиционер вызвал меня и повёл для счёту. Начинать бы мне было сразу ГУЛАГ вместо войны, если б не счастливое заступничество.

Затем был поток не сдавших радиоприёмники или радиодетали. За одну найденную (по доносу) радиолампу давали десять лет.

Тут же был и поток *немцев* — немцев Поволжья, колонистов с Украины и Северного Кавказа и всех вообще немцев, где-либо в Советском Союзе живших. Определяющим признаком была кровь, и даже герои Гражданской войны и старые члены партии, но немцы — шли в эту ссылку.

А о крови судили по фамилии, и инженер-конструктор Василий Окорок, *находя* неудобным так подписываться на проектах и переименованный в 30-е годы, когда ещё было можно, в Роберта Штеккера — красиво! и графическую роспись разработал, — теперь ничего не успевал доказать, и взят был как немец. «Какие задания получили от фашистской разведки?..» — А тот тамбовец Каверзнев, ещё в 1918 сменивший свою неблагозвучную фамилию на Кольбе, — когда он разделил судьбу Окорокова?..

По своей сути ссылка немцев была то же, что раскулачивание, только мягче, потому что больше вещей разрешили взять с собой и не слали в такие гиблые, смертные места. Юридической же формы, как и у раскулачивания, у неё не было. Уголовный кодекс был сам по себе, а ссылка сотен тысяч — сама по себе. Это было личное распоряже-

ние монарха. Кроме того, это был его первый национальный эксперимент подобного рода, это было ему интересно теоретически.

С конца лета 1941, а ещё больше осенью хлынул поток *окруженцев*. Это были защитники отечества, те самые, кого несколько месяцев назад наши города провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и, в общем хаосе и не по своей совсем вине, побывать не в плену, нет! — а боевыми разрозненными группами сколько-то времени провести в немецком окружении, и выйти оттуда. И вместо того чтобы братски обнять их на возврате (как сделала бы всякая армия мира), дать отдохнуть, съездить к семье, а потом вернуться в строй, — их везли в подозрении, под сомнением, бесправными обезоруженными командами — на пункты проверки и сортировки, где офицеры Особых Отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже — те ли они, за кого себя выдают. А метод проверки был — перекрёстные допросы, очные ставки, показания друг на друга. После проверки часть окруженцев восстанавливалась в своих прежних именах, званиях и доверии и шла на воинские формирования. Другая часть, пока меньшая, составила первый поток «изменников Родины». Они получали 58-1-б, но сперва, до выработки стандарта, меньше десяти лет.

Так очищалась армия Действующая. Но ещё была огромная армия бездействующая, на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой армии — была благородная задача Особых Отделов. У героев Халхин-Гола и Хасана при бездействии начинали развязываться языки, тем более, что им теперь дали изучать до сих пор засекреченные от собственных солдат дегтярёвские автоматы и полковые миномёты. Держа в руках такое оружие, им трудно было понять, почему мы на западе отступаем. Через Сибирь и Урал им никак было не различить, что, отступая по сто двадцать километров в день, мы просто повторяем кутузовский заманивающий манёвр. Облегчить это понимание мог только поток из восточной армии на Архипелаг. И уста стянулись, и вера стала железной.

Само собою, в высоких сферах тоже лился поток виновников отступления (не Великий же Стратег был в нём повинен!). Это был небольшой, на полсотни человек, генеральский поток, сидевший в московских тюрьмах летом 1941, а в октябре увезённый на этап. Среди генералов больше всего было авиационных — командующий воздушными силами Смушкевич, генерал Е. С. Птухин (он говорил: «Если б я знал — я бы сперва по Отцу Родному отбомбился, а потом бы сел!») и другие.

Победа под Москвой породила новый поток: виновных москвичей. Теперь, при спокойном рассмотрении, оказалось, что те москвичи, кто не бежал и не эвакуировался, а бесстрашно оставался в угрожаемой и покинутой властью столице, уже тем самым подозреваются: либо в подрыве авторитета власти (58-10); либо в ожидании немцев (58-1-а через 19-ю, этот поток до самого 1945 кормил следователей Москвы и Ленинграда).

Разумеется, 58-10, АСА, никогда не прерывалась и всю войну довела тылу и фронту. Её получали эвакуированные, если рассказывали об ужасах отступления (по газетам же ясно было, что отступление идёт планомерно). Её получали в тылу клеветавшие, что мал паёк. Её получали на фронте клеветавшие, что у немцев сильная техника. В 1942 её получали повсюду и те, кто клеветал, будто в блокированном Ленинграде люди умирали с голоду.

В том же году после неудач под Керчью (сто двадцать тысяч пленных), под Харьковом (ещё больше), в ходе крупного южного отступления на Кавказ и к Волге прокачан был ещё очень важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и отступавших без разрешения, — тех самых, кому, по словам бессмертного сталин-

ского приказа № 227 (июль 1942), Родина не может простить своего позора. Этот поток не достиг, однако, ГУЛАГа: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был цемент фундамента сталинградской победы, но в общероссийскую историю не попал, а остаётся в частной истории канализации.

(Впрочем, и мы здесь пытаемся уследить лишь те потоки, которые шли в ГУЛАГ извне. Непрерывная же в ГУЛАГе внутренняя перекачка из резервуара в резервуар, так называемые *лагерные судимости*, особенно свирепствовавшие в годы войны, не рассматриваются в этой главе.)

Добросовестность требует напомнить и об антипотоках военного времени: уже упомянутые чехи; поляки; отпускаемые из лагеря на фронт уголовники.

С 1943, когда война переломилась в нашу пользу, начался, и с каждым годом до 1946 всё обильней, многомиллионный поток с оккупированных территорий из Европы. Две главные его части были:

— гражданские, побывавшие под немцами или у немцев (им заворачивали десятку с буквой «а»: 58-1-а);

— военнослужащие, побывавшие в плену (им заворачивали десятку с буквой «б»: 58-1-б).

Каждый оставшийся под оккупацией хотел всё-таки жить и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущей состав преступления: если уж не измену Родине, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить подоккупационность в сериях паспортов, арестовывать же всех было хозяйственно неразумно — обезлюживать столь обширные пространства. Достаточно было для повышения общего сознания посадить лишь некий процент — виноватых, полувиноватых, четвертьвиноватых и тех, кто на одном плетне сушился с ними онучи.

А ведь даже один только процент от одного только миллиона составляет дюжину полнокровных лагпунктов.

И не следует думать, что честное участие в подпольной противонемецкой организации наверняка избавляло от участи попасть в этот поток. Не единый был случай, как с тем киевским комсомольцем, которого подпольная организация послала для своего осведомления служить в киевскую полицию. Парень честно обо всём осведомлял комсомольцев, но с приходом наших получил свою десятку, ибо не мог же он, служа в полиции, не набраться враждебного духа и вовсе не выполнять враждебных поручений.

Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы *ost'*овским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а рассказы эти, и всегда нам неприятные (кроме, разумеется, путевых заметок благоразумных писателей), были зело неприятны в годы послевоенные, разорённые, неустроенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем жить нельзя, — не каждый умел.

По этой-то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен, и судили большинство наших военнопленных — особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря.

Это не сразу так ясно обозначилось, и ещё в 1943 были какие-то отбившиеся, ни на кого не похожие потоки вроде «африканцев», долго так и называвшиеся в воркутинских строевках. Это были русские военнопленные, взятые американцами из армии Роммеля в Африке («hiwi») и в 1948 отправленные на «студебекерах» через Египет — Ирак — Иран на родину. В пустынной бухте Каспийского моря их сразу же расположили за колючей проволокой, содрали с них воинские различия, освободили их от дареных американских вещей (разумеется, в пользу сотрудников госбезопасности, а не государства) и отправили на Воркуту до особого распоряжения, не дав ещё по неопытности ни срока, ни статьи. И эти «африканцы» жили на Воркуте в межеумочных

условиях: их не охраняли, но без пропусков они не могли сделать по Воркуте ни шагу, а пропусков у них не было; им платили зарплату вольнонаёмных, но распоряжались ими как заключёнными. А особое распоряжение так и не шло. О них забыли...

Эта причина наглядно проступает и в том, что неуклонно, как военнопленных, судили и *интернированных*. Например, в первые дни войны на шведский берег выбросило группу наших матросов. Всю потом войну она вольно жила в Швеции — так обеспеченно и с таким комфортом, как никогда до и никогда впоследствии. Союз отступал, наступал, атаковал, умирал и голодал, а эти мерзавцы наедали себе нейтральные ряшки. После войны Швеция нам их вернула. Измена Родине была несомненная — но как-то не клеилась. Им дали разъехаться и всем клепанули антисоветскую агитацию за прельстительные рассказы о свободе и сытости капиталистической Швеции (группа Каденко).

С этой группой произошёл потом анекдот. В лагере они уже о Швеции помалкивали, опасаясь получить за неё второй срок. Но в Швеции прознали как-то об их судьбе и напечатали клеветнические сообщения в прессе. К тому времени ребята были рассеяны по разным ближним и дальним лагерям. Внезапно по спецнарядам их всех стянули в ленинградские Кресты, месяца два кормили на убой, дали отрасти их причёскам. Затем одели их со скромной элегантностью, отрепетировали, кому что говорить, предупредили, что каждая сволочь, кто пикнет иначе, получит «девять грамм» в затылок, — и вывели на пресс-конференцию перед приглашёнными иностранными журналистами и теми, кто хорошо знал всю группу по Швеции. Бывшие интернированные держались бодро, рассказывали, где живут, учатся, работают, возмущались буржуазной клеветой, о которой недавно прочли в западной печати (ведь она продаётся у нас в каждом киоске), — и вот списались и съехались в Ленинград (расходы на дорогу никого не смущали). Свежим, лоснящимся видом своим они были лучшее опровержение газетной утки. Посрамлённые журналисты поехали писать извинения. Западному воображению было недоступно объяснить происшедшее иначе. А виновников интервью тут же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и разослали по тем же лагерям. Поскольку они вели себя достойно — вторых сроков не дали никому.

Среди общего потока освобождённых из-под оккупации один за другим прошли быстро и собранно потоки провинившихся наций:

в 1943 — калмыки, чечены, ингуши, балкары, карачаевцы;
в 1944 — крымские татары.

Так энергично и быстро они не пронесли бы на свою вечную ссылку, если бы на помощь Органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетия — в двадцать четыре часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны — и сразу трогались в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию, на Север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам.

Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет, — и члены партии, и герои труда, и герои ещё не закончившейся войны катились туда же.

Само собою, последние годы войны шёл поток немецких военных преступников, отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд переводимых в систему ГУЛАГа.

В 1945 году, хотя война с Японией не продолжалась и трёх недель, было забрано множество японских военнопленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. (И не зная подробностей, можно быть уверенным, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удерживать рабочую силу на дольший срок.)

С конца 1944, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945, когда она достигла Центральной Европы, — по каналам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов — стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дёрпали на родину обыч-

но мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за двадцать пять лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их, в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью,— не трогали.) Главные потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньше — из Австрии и Германии; в других странах Восточной Европы русские почти не жили.

Отзывно и из Маньчжурии в 1945 полился поток эмигрантов. (Некоторых арестовывали не сразу: целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уже здесь разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму.)

Весь 1945 и 1946 годы продвигался на Архипелаг большой поток истинных наконец противников власти (власовцев, казаков-красновцев, мусульман из национальных частей, созданных при Гитлере) — иногда убеждённых, иногда невольных.

Вместе с ними захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны — гражданских лиц всех возрастов и обоих пола, благополучно укрывшихся на территории союзников, но в 1946-47 коварно возвращённых союзными властями в советские руки²³.

Какое-то число поляков, членов Армии Крайовой, сторонников Миколайчика, прошло в 1945 через наши тюрьмы в ГУЛАГ.

Сколько-то было и румын и венгров.

С конца войны и потом непрерывно много лет шёл обильный поток украинских националистов («бандеровцев»).

На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов мало кто замечал такие маленькие потоки, как:

— «девушки за иностранцев» (1946-47) — то есть давшие иностранцам ухаживать за собой. Клеймили этих девушек статьями 7-35 (социально-опасные);

— испанские дети — те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после второй мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо срачивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7-35, социально-опасные, а особенно настойчивым — 58-6, шпионаж в пользу... Америки.

(Для справедливости не забудем и короткий, в 1947, антипоток... священников. Да, вот чудо! — первый раз за тридцать лет освободили священников! Их, собственно, не искали по лагерям, а кто из вольных помнил и мог назвать имена и точные места — тех, названных, этапировали на свободу для укрепления восстанавливаемой церкви.)

* * *

Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечислить все потоки, унавозившие ГУЛАГ, — а только те из них, которые

²³ Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются, — именно тайна этого предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами — воистину последняя тайна второй мировой войны или из последних. Много встречаясь с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог бы, что общественность Запада и ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 (Sunday Oklahoman, 21 января) прорвалась публикация Юлиуса Эшштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого доныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. «Прожив два года в руках британских властей, в ложном чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох, они даже не поняли, что их репатрируют... Это были главным образом простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков». Английские же власти поступили с ними «как с военными преступниками: помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда». Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? (Примечание 1973 года.)

имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки *бытовиков* и собственно *уголовников*. И это описание тоже заняло бы немало места. Здесь получили бы освещение многие знаменитые Указы, теперь уже частью и забытые (хотя никогда законом не отменённые), поставлявшие для ненасытного Архипелага избыточный человеческий материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачественной продукции. То указ о самогоноварении (разгул его — в 1922 году, но и все 20-е годы брали густо). То указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней. То указ о военном положении на железных дорогах (апрель 1943, отнюдь не начало войны, а поворот её к лучшему).

Указы эти появлялись всегда как важнейшее во всем законодательстве и без всякого разума или даже памяти о законодательстве предыдущем. Согласовывать эти ветви предлагалось учёным юристам, но они занимались этим не столь усердно и не весьма успешно.

Эта пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровство, ни убийства, ни самогоноварение, ни изнасилования не совершались в стране то там, то сям, где случаются, вследствие человеческой слабости, похоти и разгула страстей, — нет! В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то — только убийцами, то — самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока Указу, чтобы поскорее исчезнуть! Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и устроено мудрым законодательством.

Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали. Указ о невыработке обязательной нормы трудодней очень упростил процедуру высылки нерадивых колхозников, которые не хотели довольствоваться выставленными им *палочками*. Если раньше для этого требовался суд и применение «экономической контрреволюции», то теперь достаточно было колхозного постановления, подтверждённого райисполкомом; да и самим колхозникам не могло не полегчать от сознания, что хотя они и ссылались, но не зачислялись во враги народа. (Обязательная норма трудодней разная была для разных областей, самая льготная у кавказцев — семьдесят пять трудодней, но и их немало потекло на восемь лет в Красноярский край.)

Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам при 1932 годе упомянуть знаменитый Закон «от седьмого-восьмого», или «семь восьмых», закон, по которому обильно сажали — за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», всё-таки стыдно было писать «катушка ниток») — всё на десять лет.

Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та *десятка*, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно-исторической победы, выглядела слабовато. И опять пренебрегая кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве, — 4 июня 1947

года огласили перекрывающий их все Указ, который тут же был окрещён безунывными заключёнными как Указ «четыре шестых».

Превосходство нового Указа, во-первых, в его свежести: уже от самого появления Указа должны были вспыхнуть эти преступления и обеспечиться обильный поток новоосуждённых. Но ещё большее превосходство было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или яблоками — несколько двенадцатилетних пацанов, — они получали до *двадцати лет* лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до *двадцати пяти* (самый этот срок, *четвертная*, теперь заменял смертную казнь, за несколько дней перед тем гуманно отменённую²⁴). Наконец выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление, — теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей или семь лет ссылки.

В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забывая каналов госбезопасности, и без того перенапряжённых в послевоенные годы.

Эта новая линия Сталина — что теперь-то, после победы над фашизмом, надо сажать как никогда энергично, много и надолго, — тотчас же, конечно, отозвалась и на политических.

1948-49 годы, во всей общественной жизни проявившиеся усилением преследований и слежки, ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией *повторников*.

Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947-48, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю воли — в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия (или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса-Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью.

И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили *брать*. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали заранее — весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «вернись», они надевали одежду погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего-то один: «Это вы сидели?» — «Я», — «Получите ещё *десять*».)

Тут хватились Единодержец, что это мало — сажать уцелевших с тридцать седьмого года! И детей тех своих врагов заклятых — тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё мстить задумают. (А может, поужинал крепко да сон дурной приснился с этими детьми.) Перебрали, прикинули — сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских — не сплошь! И потянулся поток «детей-мстителей». (Попадали в таких детей семнадцатилетняя Лена Косырева и тридцатипятилетняя Елена Раковская.)

После великого европейского смещения Сталину удалось к 1948 году снова надёжно огородиться, скелотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года.

²⁴ А сама казнь лишь на время закрывала лицо паранджой, чтобы сбросить её с оскалом через два с половиной года (январь 1950).

И потянулись в 1948, сорок девятом и пятидесятом — мнимые шпионы (десять лет назад германо-японские, сейчас англо-американские);
 — верующие (на этот раз больше сектанты);
 — недобитые генетики и селекционеры, вавилонцы и менделисты;
 — просто интеллигентные, думающие люди (а особо строго — студенты), недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им:

ВАТ — восхваление американской техники,

ВАД — восхваление американской демократии,

ПЗ — преклонение перед Западом.

Сходные были с тридцать седьмым потоки, да не сходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских.

Ещё немалый поток пролился от нового Указа о разгласителях государственных тайн (а тайнами считались: районный урожай, любая эпидемическая статистика; чем занимается любой цех и фабричка; упоминание гражданского аэродрома; маршруты городского транспорта; фамилия заключённого, сидящего в лагере). По этому Указу давали пятнадцать лет.

Не забыты были и потоки национальные. Всё время лился взятый стгоряча, из лесов сражений, поток бандеровцев. Одновременно получали десятки и пятёрки лагерей и ссылок все западноукраинские сельские жители, как-либо к партизанам прикасавшиеся: кто пустил их переночевать, кто накормил их раз, кто не донёс о них. С пятидесятого примерно года заряжен был и поток бандеровских жён — им лепили по десятке за недоносительство, чтобы скорей докнать мужей.

Уже кончилось к тому времени сопротивление в Литве и Эстонии. Но в 1949 оттуда хлынули мощные потоки новой социальной профилактики и обеспечения коллективизации. Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей и крестьян. (Исторический ритм искажался в этих республиках. В краткие, стиснутые сроки они должны были теперь повторить путь всей страны.)

В сорок восьмом году прошёл в ссылку ещё один национальный поток — приазовских, кубанских и сухумских греков. Ничем не запятнали они себя перед Отцом в годы войны, но теперь он мстил им за неудачу в Греции, что ли? Кажется, этот поток тоже был плодом его личного безумия. Большинство греков попало в среднеазиатскую ссылку, недовольные — в политизоляторы.

А около 1950 в ту же месть за проигранную войну или для равновесия с уже сосланными — потекли на Архипелаг и сами повстанцы из армии Маркоса, переданные нам Болгарией.

В последние годы жизни Сталина определенно стал намечаться и поток евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как космополиты). Для того было затеяно и дело врачей. Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение.

Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог — похоже, что руками человеческими, — выйти из рёбер вон.

Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.

Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные.

Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, — а «воронки» непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили в двери.

И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря.

Глава 3 СЛЕДСТВИЕ

Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что́ будет через двадцать — тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом²⁵, опускать человека в ванну с кислотами²⁶, голого и привязанного пытаться муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого лёгкого — пытаться по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом.

Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что ещё вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бироне могло быть применено к десяти — двадцати человекам, что совершенно невозможно стало с Екатерины, — то в расцвете великого двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолёты, появилось звуковое кино и радио, — было совершено не одним злодеем, не в одном потаённом месте, но десятками тысяч специально обученных людей-зверей над беззащитными миллионами жертв.

И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увёртливо названный «культом личности»? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пушкинское столетие? Бесстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на них уже был получен? Или страшной ещё то, что и тридцать лет спустя нам говорят: не надо об этом! если вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу! если доискиваться до сути наших нравов, это затемняет материальный прогресс! Вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах... нет, о каналах не надо... тогда о колымском золоте, нет, и о нём не надо... Да обо всём можно, но — умеючи, но прославляя...

Непонятно, за что мы клянём инквизицию? Разве, кроме костров, не бывало торжественных богослужений? Непонятно, чем нам уж так не нравится крепостное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться. И он мог колядовать на Рождество, а на Троицу девушки заплетали венки...

* * *

Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает тридцать седьмому году, видят в создании придуманных вин и в пытках.

Но это неверно, неточно. В разные годы и десятилетия следствие по 58-й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре: недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека — согнуть, прота-

²⁵ Доктору С., по свидетельству А. П. К-ва.

²⁶ Х. С. Т-э.

щить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, где б дышать ему было нельзя, так, чтобы взмолился он о другом конце,— а другой-то конец вышвыривал его уже готовым туземцем Архипелага и уже на обетованную землю. (Несмышлёныш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход и назад.)

Чем больше миновало бесписьменных лет, тем труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. А они говорят нам, что создание дутых дел началось ещё в ранние годы Органов,— чтоб ощутима была их постоянная спасительная незаменимая деятельность, а то ведь со спадом врагов в час недобрый не пришлось бы Органам *отмирать*. Как видно из дела Косырева²⁷, положение ЧК пошатывалось даже в начале 1919. Читая газеты 1918 года, я наткнулся на официальное сообщение о раскрытии страшного заговора группы в десять человек, которые хотели (только *хотели* ещё!) втащить на крышу Воспитательного дома (посмотрите, какая там высота) *пушки* — и оттуда обстреливать Кремль. Их было десять человек (среди того, может быть, женщины и подростки), неизвестно сколько пушек — и откуда же пушки? калибра какого? и как поднимать их по лестнице на чердак? и как на наклонной крыше устанавливать? — да чтоб не откатывались при стрельбе!.. А между тем эта фантазия, предвосхищающая построения 1937 года, ведь читалась же! и верили!.. Таким же дутым было и «гумилёвское» дело 1921 года²⁸. В том же году в рязанской ЧК вздули ложное дело о «заговоре» местной интеллигенции (но протесты смельчаков ещё смогли достигнуть Москвы, и дело остановили). В том же 1921 был расстрелян весь Сапропелиевый комитет, входивший в Комиссию Содействия Природным Силам. Достаточно зная склад и настроение русских учёных кругов того времени и не загороженные от тех лет дымовой завесой фанатизма, мы, пожалуй, и без раскопок сообразим, какова тому делу цена.

13 ноября 1920 года Дзержинский в письме в ВЧК упоминает, что в ЧК «часто даётся ход клеветническим заявлениям».

Вот вспоминает о 1921 годе Е. Дояренко: лубянская приёмная арестантов, сорок — пятьдесят топчанов, всю ночь ведут и ведут женщин. Никто не знает своей вины, общее ощущение: хватают ни за что. Во всей камере одна единственная знает — эсерка. Первый вопрос Ягоды: «Итак, за что вы сюда попали?» — то есть, сам скажи, помоги накручивать! И абсолютно то же рассказывают о рязанском ГПУ 1930 года! Сплошное ощущение, что все сидят ни за что. Настолько не в чем обвинять, что И. Д. Т-ва обвинили... в ложности его фамилии. (И хотя была она самая доподлинная, а врезали ему по ОСО 58-10, три года.) Не зная, к чему бы придраться, следовательно спрашивал: «Кем работали?» — «Плановиком». — «Пишите объяснительную записку: планирование на заводе и как оно осуществляется. Потом узнаете, за что арестовали». (Он в записке найдёт какой-нибудь конец.)

Да не приучили ли нас за столько десятилетий, что *оттуда* не возвращаются? Кроме короткого сознательного попятного движения 1939 года, лишь редчайшие одиночные рассказы можно услышать об освобождении человека в результате следствия. Да и то: либо этого человека вскоре посадили снова, либо выпускали для слезки. Так создалась традиция, что у Органов нет брака в работе. А как же тогда с невинными?..

В «Толковом словаре» Даля проводится такое различие: «...*гознание* разнится от *следствия* тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить к следствию».

О, святая простота! Вот уж Органы никогда не знали никакого дознания! Присланные сверху списки, или первое подозрение, донос

²⁷ Часть первая, глава 8.

²⁸ А. А. Ахматова называла мне имя того чекиста, кто изобрёл это дело,— Яков Агранов.

сексота, или даже анонимный донос²⁹ влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение. Отпущенное же для следствия время шло не на распутывание преступления, а в девяноста пяти случаях на то, чтоб утомить, изнурить, обессилить подследственного и хотелось бы ему хоть топором отрубить, только бы поскорее конец.

Уже в 1919 главный следовательский приём был: наган на стол. Так шло не только политическое, так шло и «бытовое» следствие. На процессе Главтопа (1921) подсудимая Махровская пожаловалась, что её на следствии подпаивали кокаином. Обвинитель³⁰ парирует: «Если бы она заявила, что с ней грубо обращались, грозили расстрелом, всему этому с грехом пополам ещё можно было бы поверить». Наган пугающе лежит, иногда наставляется на тебя, и следователь не утомляет себя придумыванием, в чём ты виноват, но: «рассказывай, сам знаешь!» Так и в 1927 следователь Хайкин требовал от Скрипниковой, так в 1929 требовали от Витковского. Ничто не изменилось и через четверть столетия. В 1952 всё той же Анне Скрипниковой, уже в её пятую посадку, начальник следственного отдела орджоникидзевского МГБ Сиваков говорит: «Тюремный врач даёт нам сводки, что у тебя давление 240/120. Этого мало, сволочь (ей шестой десяток лет), мы доведём тебя до трёхсот сорока, чтобы ты сдохла, гадина, без всяких синяков, без побоев, без переломов. Нам только спать тебе не давать!» И если Скрипникова после ночи допроса закрывала днём в камере глаза, врывался надзиратель и орал: «Открой глаза, а то стащу за ноги с койки, прикручу к стенке стоймя!»

И ночные допросы были главными в 1921 году. И тогда же наставлялись автомобильные фары в лицо (рязанская ЧК, Стельмах). И на Лубянке в 1926 (свидетельство Берты Гандал) использовалось амосовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха и ещё поджаривают. Кажется, поэт Клюев побывал в такой, сидела и Берта Гандал. Участник Ярославского восстания 1918 Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь; увидев это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол. Известны «жаркие» (и «солёные») приёмы «золотого» периода. А в Грузии в 1926 подследственным прижигали руки папиросами; в метехской тюрьме сталкивали их в темноте в бассейн с нечистотами. Такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало — значит, неизбежны угрозы, насилия и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание. И раз дутые дела были всегда — то насилия и пытки тоже были всегда, это не принадлежность 1937 года, это длительный признак общего характера. Вот почему странно сейчас в воспоминаниях бывших зэков иногда прочесть, что «пытки были разрешены с весны 1938 года»³¹. Духовно-нравственных преград, которые могли бы удержать Органы от пыток, не было никогда. В первый послереволюционный год в «Еженедельнике ВЧК», «Красном мече» и «Красном терроре» открыто дискутировалась применимость пыток с точки зрения марксизма. И, судя по последствиам, ответ был извлечён положительный, хотя и не всеобщий.

Вернее сказать о 1938 годе так: если до этого года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела (пусть и получалось оно легко) — то в 1937-38

²⁹ Статья 93-я Уголовно-процессуального кодекса так и говорила: «...анонимное заявление может служить поводом для возбуждения уголовного дела». (Слову «уголовный» удивляться не надо, ведь все политические и считались уголовными.)

³⁰ Н В Крыленко. За пять лет. М.— Пгд. ГИЗ. 1923, стр.401.

³¹ Е Гизбург пишет, что разрешение на «физическое воздействие» было дано в апреле тридцать восьмого года. В Шаламов считает: пытки разрешены с середины тридцать восьмого года. Старый арестант Митрович уверен, что был «приказ об упрощённом допросе и смене психических методов на физические». Иванов-Разумник выделяет «самое жестокое время допросов — середина 38-го года».

ввиду чрезвычайной ситуации (заданные миллионные поступления на Архипелаг требовалось в заданный сжатый срок прокрутить через аппарат индивидуального следствия, чего не знали массовые потоки «кулаческий» и национальные) насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение, как требовала их работа и заданный срок. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность.

В 1939 такое всеобщее широкое разрешение было снято, снова требовалось бумажное оформление на пытку (впрочем, простые угрозы, шантаж, обман, выматывание бессонницей и карцером не запрещались никогда). Но уже с конца войны и в послевоенные годы были декретированы определённые категории арестантов, по отношению к которым заранее разрешался широкий диапазон пыток. Сюда попали националисты, особенно — украинцы и литовцы, и особенно в тех случаях, где была или мнилась подпольная цепочка и надо было её всю вымотать, все фамилии добыть из уже арестованных. Например, в группе Ромуальдаса Прано Скирюса было около пятидесяти литовцев. Они обвинялись в 1945 в том, что расклеивали анти-советские листовки. Из-за недостатка в то время тюрем в Литве их отправили в лагерь близ Вельска Архангельской области. Одних там пытали, другие не выдерживали двойного следственно-рабочего режима, но результат таков: все пятьдесят человек до единого признались. Прошло некоторое время, и из Литвы сообщили, что найдены настоящие виновники листовок, а *эти все ни при чём!* — В 1950 я встретил на Куйбышевской пересылке украинца из Днепропетровска, которого в поисках «связи» и лиц пытали многими способами, включая стоячий карцер с жёрдочкой, просовываемой для опоры (поспать) на четыре часа в сутки. После войны же истязали члена-корреспондента Академии наук Левину.

И ещё было бы неверно приписывать тридцать седьмому году то «открытие», что личное признание обвиняемого важнее всяких доказательств и фактов. Это уже в 20-х годах сложилось. А к 1937 лишь пришло блестящее учение Вышинского. Впрочем, оно было тогда низвещено только следователям и прокурорам для их моральной твёрдости, мы же, все прочие, узнали о нём ещё двадцатью годами позже — узнали, когда оно стало обругиваться в придаточных предложениях и второстепенных абзацах газетных статей как широко и давно всем известное.

Оказывается, в тот грознопамятный год в своём докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым, Андрей Януарьевич (так и хочется обмолвиться Ягуарьевич) Вышинский в духе гибчайшей диалектики (которой мы не разрешаем ни государственным подданным, ни теперь электронным машинам, ибо для них *да* есть да, а *нет* есть нет) напомнил, что для человечества никогда невозможно установить абсолютную истину, а лишь относительную. И отсюда он сделал шаг, на который юристы не решались две тысячи лет: что, стало быть, и истина, устанавливаемая следствием и судом, не может быть абсолютной, а лишь относительной. Поэтому, подписывая приговор о расстреле, мы всё равно никогда не можем быть *абсолютно* уверены, что казним виновного, а лишь с некоторой степенью приближения, в некоторых предположениях, в известном смысле. (Может быть, сам Вышинский не меньше своих слушателей нуждался тогда в этом диалектическом утешении. Крича с прокурорской трибуны «всех расстрелять как бешеных собак!», он-то, злой и умный, понимал, что подсудимые невиновны. С тем большей страстью, вероятно, он и такой кит марксистской диалектики, как Бухарин, предавались диалектическим украшениям вокруг судебной лжи: Бухарину слишком глупо и беспомощно было погибать совсем невиновному — он даже *нуждался* найти свою вину! — а Вышинскому приятнее было ощущать себя логистом, чем неприкрытым подлецом.)

Отсюда — самый деловой вывод: что напрасной тратой времени были бы поиски абсолютных улик (улики все относительны), несомненных свидетелей (они могут и разноречить). Доказательства же виновности *относительные*, приблизительные, следовательно может найти и без улики и без свидетелей, не выходя из кабинета, «опираясь не только на свой ум, но и на своё партийное чутьё, свои *нравственные силы*» (то есть на преимущества выпавшегося, сытого и не избиваемого человека) «и на свой характер» (то есть волю к жестокости)!

Конечно, это оформление было куда изящнее, чем инструкция Лациса. Но суть та же.

И только в одном Вышинский не дотянул, отступил от диалектической логики: почему-то пулю он оставил абсолютной...

Так, развиваясь по спирали, выводы передовой юриспруденции вернулись к доантичным или средневековым взглядам. Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании её *подследственным*³².

Однако простодушное Средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, шло на драматические картинные средства: дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку на кол. В Двадцатом же веке, используя и развитую медицину и немалый тюремный опыт (кто-нибудь пресерьёзно защитил на этом диссертации), признали такое сгущение сильных средств излишним, при массовом применении — громоздким. И кроме того...

И кроме того, очевидно, ещё было одно обстоятельство: как всегда, Сталин не выговаривал последнего слова, подчинённые сами должны были догадаться, а он оставлял себе шакалю лазейку отступить и написать «Головокружение от успехов». Планомерное истязание миллионов предпринималось всё-таки впервые в человеческой истории, и при всей силе своей власти Сталин не мог быть абсолютно уверен в успехе. На огромном материале опыт мог пройти иначе, чем на малом. Во всех случаях Сталин должен был остаться в ангельски чистых ризах. (Но в циркулярах ЦК тридцать седьмого и тридцать девятого годов указание о «физическом воздействии» было.)

Поэтому, надо думать, не существовало такого перечня пыток и издевательств, который в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям. А просто требовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял трибуналу заданное число во всём сознавшихся кроликов. А *просто говорилось* (устно, но часто), что все меры и средства хороши, раз они направлены к высокой цели; что никто не спросит со следователя за смерть подследственного; что тюремный врач должен как можно меньше вмешиваться в ход следствия. Вероятно, устраивали товарищеский обмен опытом, «учились у передовых»; ну, и объявлялась «материальная заинтересованность» — повышенная оплата за ночные часы, премиальные за сжатие сроков следствия; ну, и предупреждалось, что следователи, которые с заданием не справятся... А теперь если бы в каком-нибудь ОблНКВД произошёл бы провал, то и его начальник был бы чист перед Сталиным: он не давал прямых указаний пытать! И вместе с тем обеспечил пытки!

Понимая, что старшие страхуются, часть рядовых следователей (не те, кто остервенело упиваются) тоже старались начинать с методов более слабых, а в наращивании избегать тех, которые оставляют слишком явные следы: выбитый глаз, оторванное ухо, перебитый позвоночник, да даже и сплошную синь тела.

Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем — кроме бессонницы — сплошного единства приёмов в разных областных управлениях, у раз-

³² Сравни 5-е дополнение к конституции США: «Никто не может быть обязан свидетельствовать против себя в уголовном процессе».

ных следователей одного управления. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов-на-Дону и Краснодар. В Краснодаре что придумали оригинальное: вынуждали подписывать пустые листы бумаги, а затем уже сами заполняли ложью. Впрочем, зачем пытки: в 1937 там не было дезинфекций, тиф, трупы в людской тесноте лежали по пять дней, кто в камерах сходил с ума — тех в коридоре добивали палками.

Общее было всё же то, что преимущество отдавалось средствам, так сказать, лёгким (мы сейчас их увидим), и это был путь безошибочный. Ведь истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать неменяемым.

Попробуем перечесть некоторые простейшие приёмы, которые сламывают волю и личность арестанта, не оставляя следов на его теле.

Начнём с методов *психических*. Для кроликов, никогда не уготовлявших себя к тюремным страданиям, — это методы огромной и даже разрушительной силы. Да будь хоть ты и убеждён, так тоже не легко.

1. Начнём с самих *ночей*. Почему это ночью происходит всё главное обламывание душ? Почему это с ранних своих лет Органы выбрали ночь? Потому что ночью, вырванный изо сна (даже ещё не истязаемый бессонницей), арестант не может быть уравновешен и трезв по-дневному. он податливей.

2. *Убеждение* в искреннем тоне. Самое простое. Зачем игра в кошки-мышки? Посидев немного среди других подследственных, арестант ведь уже усвоил общее положение. И следовательно говорит ему лениво-дружественно: «Видишь сам, срок ты получишь всё равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме, *дойдёшь*, потеряешь здоровье. А поедешь в лагерь — увидишь воздух, свет... Так что лучше подписывай сразу». Очень логично. И трезвы те, кто соглашается и подписывает, если... Если речь идёт только о них самих! Но — редко так. И борьба неизбежна.

Другой вариант убеждения — для партийца. «Если в стране недостатки и даже голод, то как большевик вы должны для себя решить: можете ли вы допустить, что в этом виновата вся партия? или советская власть?» — «Нет, конечно!» — спешит ответить директор льноцентра. «Тогда имейте мужество и возьмите вину на себя!» И он берёт!

3. Грубая *брань*. Нехитрый приём, но на людей воспитанных, изнеженных, тонкого устройства может действовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали простой брани. У одного из них (Бутырки, 1944) следствие вела женщина. Сперва он в камере не мог нахвалиться, какая она вежливая. Но однажды пришёл удручённый и долго не соглашался повторить, как изощрённо она стала *загибать*, заложив колено за колено. (Жалею, что не могу привести здесь одну её фразочку.)

4. Удар *психологическим контрастом*. Внезапные переходы: целый допрос или часть его быть крайне любезным, называть по имени-отчеству, обещать все блага. Потом вдруг размахнуться пресс-папье: «У, гадина! Девять грамм в затылок!» — и, вытянув руки, как для того, чтобы вцепиться в волосы, будто ногти ещё иголками кончатся, надвигаться (против женщин приём этот очень хорош).

В виде варианта: меняются два следователя, один рвёт и терзает, другой симпатичен, почти задушевен. Подследственный, входя в кабинет, каждый раз дрожит — какого увидит? По контрасту хочется второму всё подписать и признать, даже чего не было.

5. *Унижение* предварительное. В знаменитых подвалах ростовского ГПУ (Тридцать третьего номера) под толстыми стёклами уличного тротуара (бывшее складское помещение) заключённых в ожидании

допроса клали на несколько часов ничком в общем коридоре на пол с запретом приподнимать голову, издавать звуки. Они лежали так, как молящиеся магометане, пока выводной не трогал их за плечо и не вёл на допрос.— Александра О-ва не давала на Лубянке нужных показаний. Её перевели в Лефортово. Там на приёме надзирательница велела ей раздеться, якобы для процедуры унесла одежду, а её в боксе заперла голой. Тут пришли надзиратели мужчины, стали заглядывать в глазок, смеяться и обсуждать её стати.— Опрося, наверно много ещё можно собрать примеров. А цель одна: создать подавленное состояние.

6. Любой приём, приводящий подследственного в *смятение*. Вот как допрашивался Ф. И. В. из Красногорска Московской области (сообщил И. А. П-ев). Следовательница в ходе допроса сама обнажалась перед ним в несколько приёмов (стриптиз!), но всё время продолжала допрос, как ни в чём не бывало, ходила по комнате и к нему подходила и добивалась уступить в показаниях. Может быть, это была её личная потребность, а может быть, и хладнокровный расчёт: у подследственного мутится разум, и он подпишет! А грозить ей ничего не грозило: есть пистолет, звонок.

7. *Запугивание*. Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в соединении с заманиванием, обещанием — разумеется, лживым. 1924 год: «Не сознаётесь? Придётся вам проехать в Соловки. А кто сознаётся, тех выпускаем». 1944 год: «От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У нас теперь и казначейские есть. Будешь искренен — пойдёшь в лёгкое место, будешь запыряться — двадцать пять лет в наручниках на подземных работах!» — Запугивание другой, худшей тюрьмой: «Будешь запыряться, перешлём тебя в Лефортово (если ты на Лубянке), в Сухановку (если ты в Лефортове), там с тобой не так будут разговаривать». А ты уже привык: в этой тюрьме как будто режим и *ничего*, а что за пытки ждут тебя там? да переезд... Уступить?..

Запугивание великолепно действует на тех, кто ещё не арестован, а вызван в Большой Дом пока по повестке. Ему (ей) ещё много чего терять, он (она) всего боится — боится, что сегодня не выпустят, боится конфискации вещей, квартиры. Он готов на многие показания и уступки, чтобы избежать этих опасностей. Она, конечно, не знает Уголовного кодекса, и уж как самое малое в начале допроса подсовывается ей листок с подложной выдержкой из Кодекса: «Я предупреждена, что за дачу ложных показаний... 5 (пять) лет заключения...» (на самом деле — статья 95-я — до двух лет), «за отказ от дачи показаний — 5 (пять) лет...» (на самом деле статья 92-я — до трёх месяцев, и то — исправительно-трудовых работ, а не заключения). Здесь уже вошёл и всё время будет входить ещё один следовательский метод:

8. *Ложь*. Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжёт всё время, и к нему эти все статьи не относятся. Мы даже потеряли мерку спросить: а что ему за ложь? Он сколько угодно может класть перед нами протоколы с подделанными подписями наших родных и друзей — и это только изящный следовательский приём.

Запугивание с заманиванием и ложью — основной приём воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетельских показаний. «Если вы не дадите таких (какие требуются) показаний, ему будет хуже... Вы его совсем погубите... (каково это слышать матери?). Только подписанием этой (подсунутой) бумаги вы можете его спасти» (погубить)³³.

³³ По жестоким законам Российской империи близкие родственники могли вообще отказаться от показаний. И если дали показания на предварительном следствии, могли по своей воле исключить их, не допустить до суда. Само по себе знакомство или родство с преступником странным образом даже не считалось тогда уликой!..

9. *Игра на привязанности* к близким — прекрасно работает и с подследственным. Это даже самое действенное из запугиваний, на привязанности к близким можно сломить бесстрашного человека (о, как это провидено: «...враги человеку домашние его!»). Помните того татарина, который всё выдержал — и свои муки и женины, а муки дочернии не выдержал?.. В 1930 следовательница Рималис угрожала так: «Арестуем вашу дочь и посадим в камеру с сифилитичками!»

Угрожают посадить всех, кого вы любите. Иногда со звуковым сопровождением: твоя жена уже посажена, но дальнейшая её судьба зависит от твоей искренности. Вот её допрашивают в соседней комнате, слушай! И действительно, за стеной женский плач и визг (а ведь они все похожи друг на друга, да ещё через стену, да и ты-то взвинчен, ты же не в состоянии эксперта; иногда это просто проигрывают пластинку с голосом «типовой жены» — сопрано или контральто, чьё-то рацпредложение). Но вот уже без подделки тебе показывают через стеклянную дверь, как она идёт безмолвная, горестно опустив голову,— да! твоя жена! по коридорам госбезопасности! ты погубил её своим упрямством! она уже арестована! (А её просто вызвали по повестке для какой-то пустячной процедуры, в уговоренную минуту пустили по коридору, но велели: головы не подымайте, иначе отсюда не выйдете!) — А то дают читать тебе её письмо, точно её почерком: я отказываюсь от тебя! после того мерзкого, что мне о тебе рассказали, ты мне не нужен! (А так как и жёны такие, и письма такие в нашей стране отчего ж не возможны, то остаётся тебе сверяться только с душой: такова ли и твоя жена?)

От В. А. Корнеевой следователь Гольдман (1944) вымогал показания на других людей угрозами: «Дом конфискуем, а твоих старух выкинем на улицу». Убеждённая и твёрдая в вере Корнеева несколько не боялась за себя, она готова была страдать. Но угрозы Гольдмана были вполне реальны для наших законов, и она терзалась за близких. Когда к утру после ночи отвергнутых и изорванных протоколов Гольдман начинал писать какой-нибудь четвёртый вариант, где обвинялась только уже одна она, Корнеева подписывала с радостью и ощущением душевной победы. Уж простого человеческого инстинкта — оправдаться и отбиться от ложных обвинений — мы себе не уберігаем, где там! Мы рады, когда удаётся всю вину принять на себя³⁴.

Как никакая классификация в природе не имеет жёстких перегородок, так и тут нам не удастся чётко отделить методы психические от *физических*. Куда, например, отнести такую забаву:

10. *Звуковой способ*. Посадить подследственного метров за шесть, за восемь и заставлять всё громко говорить и повторять. Уже измотанному человеку это нелегко. Или сделать два рупора из картона и вместе с пришедшим товарищем следователем, подступая к арестанту вплотную, кричать ему в оба уха: «Сознавайся, гад!» Арестант оглушается, иногда теряет слух. Но это неэкономичный способ, просто следователям в однообразной работе тоже хочется позабавиться, вот и придумывают, кто во что горазд.

11. *Щекотка*.— Тоже забава. Привязывают или придавливают руки и ноги и щекочут в носу птичьим пером. Арестант взвизгивает, у него ощущение, будто сверлят в мозг.

12. *Гасить папиросу* о кожу подследственного (уже названо выше).

³⁴ А теперь она говорит: «Через одиннадцать лет во время реабилитации дали мне перечитать эти протоколы — и охватило меня ощущение душевной тошноты. Чем я могла тут гордиться?!..» — Я при реабилитации то же испытал, послушав выдержки из прежних своих протоколов. Не узнаю себя — как я мог это подписывать и ещё считать, что неплохо отделался и даже победил?

13. Световой способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере или боксе, где содержится арестант, непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен (электричество, сэкономленное школьниками и домохозяйками!). Воспаляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова направляют комнатные прожектора.

14. Такая придумка. Чеботарёва в ночь под 1 мая 1933 в хабаровском ГПУ всю ночь, *двенадцать часов*, — не допрашивали, нет: *вошли* на допрос! Такой-то — руки назад! Вывели из камеры, быстро вверх по лестнице, в кабинет к следователю. Выводной ушёл. Но следователь, не только не задав ни единого вопроса, а иногда не дав Чеботарёву и присесть, берёт телефонную трубку: *заберите из 107-го!* Его берут, приводят в камеру. Только он лёг на нары, гремит замок: *Чеботарёв! На допрос! Руки назад! А там: заберите из 107-го!*

Да вообще методы воздействия могут начинаться задолго до следственного кабинета.

15. Тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, ещё в лете его внутреннего движения, готового высунуть, спорить, бороться, — на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда тёмную и такую, что он может только стоять, ещё и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности! — может, он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего подобного в жизни не встречал, он не может догадаться! Идут эти первые часы, когда всё в нём ещё горит от неостановленного душевного вихря. Одни падают духом — и вот тут-то делать им первый допрос! Другие озлобляются — тем лучше, они сейчас оскорбят следователя, допустят неосторожность — и легче намотать им дело.

16. Когда не хватало боксов, делали ещё и так. Елену Струтинскую в новочеркасском НКВД посадили на шесть суток в коридоре на табуретку — так, чтоб она ни к чему не прислонялась, не спала, не падала и не вставала. Это на шесть суток! А вы попробуйте просидите шесть часов.

Опять-таки в виде варианта можно сажать заключённого на высокий стул, вроде лабораторного, так, чтоб ноги его не доставали до пола, они хорошо тогда затекают. Дать посидеть ему часов восемь — десять.

А то во время допроса, когда арестант весь на виду, посадить его на обыкновенный стул, но вот как: на самый кончик, на рёбрышко сиденья (ещё вперед! ещё вперед!), чтоб он только не сваливался, но чтоб ребро больно давило его весь допрос. И не разрешать ему несколько часов шевелиться. Только и всего? Да, только и всего. Испытайте.

17. По местным условиям бокс может заменяться *дивизионной ямой*, как это было в Гороховецких армейских лагерях во время Великой Отечественной войны. В такую яму, глубиной три метра, диаметром метра два, арестованный сталкивался, и там несколько суток под открытым небом, часом и под дождём, была для него и камера и уборная. А триста граммов хлеба и воду ему туда спускали на верёвочке. Вообразите себя в этом положении, да ещё только что арестованного, когда в тебе всё клокочет.

Общность ли инструкций всем Особым Отделам Красной Армии или сходство их вивуачного положения привели к большой распространённости этого приёма. Так, в 36-й мотострелковой дивизии, участнице Халхин-Гола, стоявшей в 1941 в монгольской пустыне, свежearестованному, ничего не объясняя, давали (начальник Особого Отдела Самулёв) в руки лопату и велели копать яму точных размеров могилы (уже пересечение с методом психологическим!). Когда

арестованный углублялся больше, чем по пояс, копку приостанавливали и велили ему садиться на дно: голова арестованного уже не была при этом видна. Несколько таких ям охранял один часовой, и казалось вокруг всё пусто³⁵. В этой пустыне подследственных держали под монгольским зноем непокрытых, а в ночном холоде неодетых, безо всяких пыток — зачем тратить усилия на пытки? Паёк давали такой: в сутки *сто граммов хлеба и один стакан воды*. Лейтенант Чульпенёв, богатырь, боксёр, двадцати одного года, высидел так месяц. Через десять дней он кишел вшами. Через пятнадцать его первый раз вызвали на следствие.

18. Заставить подследственного *стоять на коленях* — не в каком-то переносном смысле, а в прямом: на коленях и чтоб не присаживался на пятки, а спину ровно держал. В кабинете следователя или в коридоре можно заставить так стоять двенадцать часов, и двадцать четыре, и сорок восемь. (Сам следователь может уходить домой, спать, развлекаться, это разработанная система: около человека на коленях ставится пост, сменяются часовые³⁶.) Кого хорошо так ставить? Уже надломленного, уже склоняющегося к сдаче. Хорошо ставить так женщин. — Иванов-Разумник сообщает о варианте этого метода: поставив молодого Лордкипанидзе на колени, следователь измочился ему в лицо! И что же? Не взятый ничем другим, Лордкипанидзе был этим сломлен. Значит, и на гордых хорошо действует...

19. А то так просто заставить *стоять*. Можно, чтоб стоял только во время допросов, это тоже утомляет и сламывает. Можно во время допросов и сажать, но чтоб стоял от допроса до допроса (выставляется пост, надзиратель следит, чтобы не прислонялся к стене, а если заснёт и грохнется — пинать и поднимать). Иногда и суток выстойки довольно, чтобы человек обессилел и показал что угодно.

20. Во всех этих выстойках по три-четыре-пять суток обычно *не дают пить*.

Всё более становится понятной комбинированность приёмов психологических и физических. Понятно также, что все предшествующие меры соединяются с

21. *Бессонницей*, совсем не оценённою Средневековьем: оно не знало об узости того диапазона, в котором человек сохраняет свою личность. Бессонница (да ещё соединённая с выстойкой, жаждой, ярким светом, страхом и неизвестностью — что твои пытки?!) мутит разум, подрывает волю, человек перестаёт быть своим «я». («Спать хочется» Чехова, но там гораздо легче, там девочка может привлечь, испытать перерывы сознания, которые и за минуту спасительно освобождают мозг.) Человек действует наполовину бессознательно или вообще бессознательно, так что за его показания на него уже нельзя обижаться...

А представьте себе в этом замутнённом состоянии ещё иностранца, не знающего по-русски, и дают ему что-то подписать. Баварец Юп Апенбреннер подписал вот так, что работал на душегубке. Только в лагере в 1954 он сумел доказать, что в это самое время учился в Мюнхене на курсах электросварщиков.

Так и говорилось: «Вы не откровенны в своих показаниях, поэтому у вас не разрешается спать!» Иногда для утончённости не ставили, а сажали на мягкий диван, особенно располагающий ко сну (дежурный надзиратель сидел рядом на том же диване и пинал при каждом зажмуре). Вот как описывает пострадавший (ещё перед тем отсидевший сутки в клопаном боксе) свои ощущения после этой

³⁵ Это, видимо, — монгольские мотивы. В журнале «Нива» (1914, 15 марта, стр. 218) есть зарисовка монгольской тюрьмы: каждый узник заперт в свой сундук с малым отверстием для головы или пищи. Между сундуками ходит надзиратель.

³⁶ Ведь кто-то смолоду вот так и начинал — стоял часовым около человека на коленях. А теперь, наверно, в чинах, дети уже взрослые...

пытки: «Озноб от большой потери крови. Пересохли оболочки глаз, будто кто-то перед самыми глазами держит раскалённое железо. Язык распух от жажды и как ёж колет при малейшем шевелении. Глотательные спазмы режут горло».

Бессонница — великое средство пытки и совершенно не оставляющее видимых следов, ни даже повода для жалоб, разразись завтра невиданная инспекция³⁷. «Вам спать не давали? Так здесь же не санаторий! Сотрудники тоже с вами вместе не спали» (да днём отсыпались). Можно сказать, что бессонница стала универсальным средством в Органах, из разряда пыток она перешла в самый распорядок госбезопасности и потому достигалась наиболее дешёвым способом, без выставления каких-то там постовых. Во всех следственных тюрьмах нельзя спать ни минуты от подъёма до отбоя (в Сухановке и ещё некоторых для этого койка убирается на день в стену, в других — просто нельзя лечь и даже нельзя сидя опустить веки). А главные допросы — все ночью. И так автоматически: у кого идёт следствие, тот не имеет времени спать по крайней мере пять суток в неделю (в ночь на воскресенье и на понедельник следователи сами стараются отдышаться).

22. В развитие предыдущего — *следовательский конвейер*. Ты не просто не спишь, но тебя трое-четверо суток непрерывно допрашивают сменные следователи.

23. *Клопяной бокс*, уже упомянутый. В тёмном дощаном шкафу разведено клопов сотни, может быть, тысячи. Пиджак или гимнастёрку с сажаемого снимают, и тотчас на него, переползая со стен и падая с потолка, обрушиваются голодные клопы. Сперва он ожесточённо борется с ними, душит на себе, на стенах, задыхается от их вони, через несколько часов ослабеваает и безропотно даёт себя пить.

24. *Карцеры*. Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже её, оттуда камера всегда представляется раем. В карцере человека изматывают голодом и обычно холодом (в Сухановке есть и горячие карцеры). Например, лефортовские карцеры не отапливаются вовсе, батареи обогревают только коридор, и в этом «обогретом» коридоре дежурные надзиратели ходят в валенках и телогрейке. Арестанта же раздевают до белья, а иногда до одних кальсон, и он должен в неподвижности (тесно) пробыть в карцере сутки, трое, пять, десять (горячая баланда только на третий день). В первые минуты ты думаешь: не выдержу и часа. Но каким-то чудом человек высиживает свои пять суток, может быть, приобретая и болезнь на всю жизнь.

У карцеров бывают разновидности: сырость, вода. Уже после войны Машу Г. в черновицкой тюрьме держали босую два часа *по циклолотки в ледяной воде* — признавайся! (Ей было восемнадцать лет, как ещё жалко свои ноги и сколько ещё с ними жить надо!)

25. Считать ли разновидностью карцера *запирание стоя в нишу?* Уже в 1933 в хабаровском ГПУ так пытали С. А. Чеботарёва: заперли голым в бетонную нишу так, что он не мог подогнуть колен, ни расправить и переместить рук, ни повернуть головы. Это не всё! Стала капать на макушку холодная вода (как хрестоматийно!..) и разливаться по телу ручейками. Ему, разумеется, не объявили, что это всё только на двадцать четыре часа. Страшно это, не страшно — но он потерял сознание, его открыли назавтра как бы мёртвым, он очнулся в больничной постели. Его приводили в себя нашатырным спиртом, кофеином, массажем тела. Он далеко не сразу мог вспомнить — откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал негоден даже для допросов. (Мы смеем предположить, что эта ниша и капающее устройство были сделаны не для одного ж Чеботарёва.

³⁷ Впрочем, инспекция настолько была невозможна и настолько никогда её не было, что когда к уже заключённому министру госбезопасности Абакумову она вошла в камеру в 1953, он расхохотался, сочтя за мистификацию.

В 1949 мой днепропетровец сидел в похожем, правда без капанья. Между Хабаровским и Днепропетровском да за шестнадцать лет допустим и другие точки?)

26. Голод уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это не такой редкий способ: признание из заключённого выголодить. Собственно, элемент голода, так же как и использование ночи, вошёл во всеобщую систему воздействия. Скучный тюремный паёк, в 1933 невоенном году — триста граммов, в 1945 на Лубянке — четыреста пятьдесят, игра на разрешении и запрете передач или ларька — это применяется сплошь ко всем, это универсально. Но бывает применение голода обострённое: вот так, как продержали Чульпенёва месяц на ста граммах — и потом перед ним, приведенным из ямы, следователь Сокол ставил котелок наваристого борща, клал полбуханки белого хлеба, срезанного наискосок (кажется, какое значение имеет, как срезанного? — но Чульпенёв и сегодня настаивает: уж очень заманчиво было срезано) — однако не накормил ни разу. И как же это всё старо, феодально, пещерно! Только та и новинка, что применено в социалистическом обществе. — О подобных приёмах рассказывают и другие, это часто. Но мы опять передадим случай с Чеботаревым, потому что он комбинированный очень. Посадили его на семьдесят два часа в следовательском кабинете и единственное, что разрешали, — вывод в уборную. В остальном не давали: ни есть, ни пить (рядом вода в графине), ни спать. В кабинете находились всё время три следователя. Они работали в три смены. Один постоянно (и молча, ничуть не тревожа подследственного) что-то писал, второй спал на диване, третий ходил по комнате и, как только Чеботарёв засыпал, тут же бил его. Затем они менялись обязанностями. (Может, их самих за неуправность перевели на казарменное положение?) И вдруг принесли Чеботарёву обед: жирный украинский борщ, отбивную с жареной картошкой и в хрустальном графине красное вино. Но всю жизнь имея отвращение к алкоголю, Чеботарёв не стал пить вина, как ни заставлял его следователь (а слитком заставлять не мог, это уже портило игру). После обеда ему сказали: «А теперь подписывай, что ты *показал при двух свидетелях*!» — то есть, что молча было сочинено при одном спавшем и одном бодрствующем следователе. С первой же страницы Чеботарёв увидел, что со всеми видными японскими генералами он был запросто и ото всех получил шпионское задание. И он стал перечёркивать страницы. Его избили и выгнали. А взятый вместе с ним другой кавэжединец, Благинин, всё то же пройдя, выпил вино, в приятном опьянении подписал — и был расстрелян. (Три дня голодному что такое единая рюмка! а тут графин.)

27. Битьё, не оставляющее следов. Бьют и резиной, бьют и колодушками, и мешками с песком. Очень больно, когда бьют по костям, например следовательским сапогом по голени, где кость почти на поверхности. Комбрига Карпунича-Бравена били двадцать один день подряд. (Сейчас говорит: «И через тридцать лет все кости болят и голова».) Вспоминаая своё и по рассказам он насчитывает пятьдесят два приёма пыток. Или вот ещё как: зажимают руки в специальном устройстве — так, чтобы ладони подследственного лежали плашмя на столе, — и тогда бьют ребром линейки по суставам — можно взвопить! Выделять ли из битья особо — выбивание зубов? (Карпуничу выбили восемь.)

У секретаря Карельского обкома Г. Куприянова, посаженного в 1949, иные выбитые зубы были простые, они не в счет, а иные — золотые. Так сперва давали квитанцию, что взяты на хранение. Потом спохватились и квитанцию отобрали.

Как всякий знает, удар кулаком в солнечное сплетение, перехватывая дыхание, не оставляет ни малейших следов. Лефортовский полковник Сидоров уже после войны применял вольный удар галошей по свисающим мужским придаткам (футболисты, получившие

мячом в пах, могут этот удар оценить). С этой болью нет сравнения, и обычно теряется сознание³⁸.

28. В новороссийском НКВД изобрели машинки для зажимания ногтей. У многих новороссийских потом на пересылках видели слезящие ногти.

29. А *смирительная рубашка*?

30. А *перелом позвоночника*? (Всё то же хабаровское ГПУ, 1933).

31. А *взнуздание* («ласточка»? Это — метод сухановский, но и архангельская тюрьма знает его (следователь Ивков, 1940). Длинное суровое полотенце закладывается тебе через рот (взнуздание), а потом через спину привязывается концами к пяткам. Вот так, колесом на брюхе, с хрустящей спиной, без воды и еды полежи суток двое.

Надо ли перечислять дальше? Много ли ещё перечислять? Чего не изобретут праздные, сытые, бесчувственные?..

Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подпisał лишнее...

* * *

Но вот что. Ни этих попыток, ни даже самых «лёгких» приёмов не нужно, чтобы получить показания из большинства, чтобы в железные зубы взять ягнят, неподготовленных и рвущихся к своему тёп- лому очагу. Слишком неравно соотношение сил и положений.

О, в каком новом виде, изобилующем опасностями,— подлинны- ми африканскими джунглями представляется нам из следовательско- го кабинета наша прошлая прожитая жизнь! А мы считали её такой простой!

Вы, А, и друг ваш Б, годами друг друга зная и вполне друг другу доверяя, при встречах смело говорили о политике малой и большой. И никого не было при этом. И никто не мог вас подслушать. И вы не донесли друг на друга, отнюдь.

Но вот вас, А, почему-то наметили, выхватили из стада за ушки и посадили. И почему-нибудь, ну может быть не без чьего-то доно- са на вас, и не без вашего перепуга за близких, и не без маленькой бессонницы, и не без карцерочка, вы решили на себя махнуть рукой, но уж других не выдавать ни за что! И в четырёх протоколах вы при- знали и подписали, что вы — заклятый враг советской власти, потому что рассказывали анекдоты о вожде, желали вторых кандидатов на выборах и заходили в кабину, чтобы вычеркнуть единственного, да не было чернил в чернильнице, а ещё на вашем приёмнике был шест- надцатиметровый диапазон и вы старались через глушение что-ни- будь расслышать из западных передач. Вам десятка обеспечена, одна- ко рёбра целы, воспаления лёгких пока нет, вы никого не продали и, кажется, умно выкрутились. Уже вы высказываете в камере, что на- верно следствие ваше подходит к концу.

Но чу! Неторопливо любуясь своим почерком, следователь на- чинает заполнять протокол № 5. Вопрос: были ли вы дружны с Б? Да. Откровенны с ним в политике? Нет, нет, я ему не доверял. Но вы часто встречались? Не очень. Ну, как же не очень? По показаниям соседей, он был у вас только за последний месяц — такого-то, такого- то и такого-то числа. Был? Ну, может быть. При этом замечено, что, как всегда, вы не выпивали, не шумели, разговаривали очень тихо, не слышно было в коридор. (Ах, выпивайте, друзья! бейте бу- тылки! материтесь погромче! — это делает вас благонадёжными!) — Ну, так что ж такого? — И вы тоже у него были, вот вы по телефону сказали: мы тогда провели с тобой такой содержательный вечер. По- том вас видели на перекрестке — вы простояли с ним полчаса на

³⁸ В 1918 московский ревтрибунал судил бывшего надзирателя царской тюрьмы Бондаря. Как высший пример его жестокости стояло в обвинении, что он «в одном случае ударил политзаключенного с такой силой, что у того лопнула барабанная пер- спонка» (Н. В. Крыленко. За пять лет, стр. 16).

холоде, и у вас были хмурые лица, недовольные выражения, вот вы, кстати, даже сфотографированы во время этой встречи. (Техника агентов, друзья мои, техника агентов.) — Итак — о чём вы разговаривали при этих встречах?

О чём?!.. Это сильный вопрос! Первая мысль — вы забыли, о чём вы разговаривали. Разве вы обязаны помнить? Хорошо, забыли первый разговор. И второй тоже? И третий тоже? И даже — содержательный вечер? И — на перекрестке? И разговоры с **В**? И разговоры с **Г**? Нет, думаете вы, «забыл» — это не выход, на этом не продержись. И ваш сотрясённый арестом, зацёмлённый страхом, омутнённый бессонницей и голодом мозг ищет: как бы изловчиться по правдоподобней и перехитрить следователя.

О чём?!.. Хорошо, если вы разговаривали о хоккее (это во всех случаях самое спокойное, друзья!), о бабах, даже и о науке — тогда можно повторить (наука — недалеко от хоккея, только в наше время в науке всё засекречено, и можно схватить по Указу о разглашении). А если на самом деле вы говорили о новых арестах в городе? О колхозах? (и, конечно, плохо, ибо кто ж о них говорит хорошо?) О снижении производственных расценок? Вот вы хмурились полчаса на перекрестке — о чём вы там говорили?

Может быть, **Б** арестован (следователь уверяет вас, что — да, и уже дал на вас показания, и сейчас его ведут на очную ставку). Может быть, преспокойно сидит дома, но на допрос его выдернут и оттуда и слышат у него: о чём вы тогда хмурились на перекрестке?

Сейчас-то, поздним умом, вы поняли: жизнь такая, что всякий раз, расставаясь, вы должны были уговариваться и чётко запоминать: *о чём бишь мы сегодня говорили?* Тогда при любых допросах ваши показания сойдутся. Но вы не договорились. Вы всё-таки не представляли, какие это джунгли.

Сказать, что вы договаривались поехать на рыбалку? А **Б** скажет, что ни о какой рыбалке речи не было, говорили о заочном обучении. Не облегчив следствия, вы только ту же закрутите узел: о чём? о чём? о чём?

У вас мелькает мысль — удачная? или губительная? — надо рассказать как можно ближе к тому, что на самом деле было (разумеется, сглаживая всё острое и опуская всё опасное), — ведь говорят же, что надо лгать всегда поближе к правде. Авось, и **Б** так же догадается, расскажет что-нибудь около этого, показания в чём-то совпадут, и от вас отвяжутся.

Через много лет вы поймёте, что это была совсем неразумная идея, и что гораздо правильней играть неправдоподобного круглейшего дурака: не помню ни дня своей жизни, хоть убейте. Но вы не спали трое суток. Вы еле находите силы следить за собственной мыслью и за невозмутимостью своего лица. И времени вам на размышление — ни минуты. И сразу два следователя (они любят друг к другу в гости ходить) упёрлись в вас: о чём? о чём? о чём?

И вы даёте показание: о колхозах говорили (что не всё ещё налажено, но скоро наладится). О понижении расценок говорили... Что именно говорили? Радовались, что понижают? Но нормальные люди так не могут говорить, опять неправдоподобно. Значит, чтобы быть вполне правдоподобным: немножко жаловались, что немножко прижимают расценками.

А следователь пишет протокол сам, он переводит на свой язык: в эту нашу встречу мы клеветали на политику партии и правительства в области заработной платы.

И когда-нибудь **Б** упрекнёт вас: эх, растяпа, а я сказал — мы о рыбалке договаривались...

Но вы хотели быть хитрее и умнее вашего следователя! У вас быстрые изощрённые мысли! Вы интеллигентны. И вы перемудрили...
... В «Преступлении и наказании» Порфирий Петрович делает Рас-

кольникову удивительно тонкое замечание, его мог изыскать только тот, кто сам через эти кошки-мышки прошёл: что, мол, с вами, интеллигентами, и версии своей мне строить не надо,— вы сами её постройте и мне готовую принесёте. Да, это так! Интеллигентный человек не может отвечать с прелестной бессвязностью чеховского «злоумышленника». Он обязательно постарается всю историю, в которой его обвиняют, построить как угодно лживо, но — связно.

А следователь-мясник не связности этой ловит, а только две-три фразочки. Он-то знает, что почём. А мы — ни к чему не подготовлены!..

Нас просвещают и готовят с юности — к нашей специальности; к обязанностям гражданина; к воинской службе; к уходу за своим телом; к приличному поведению; даже и к пониманию изящного (ну, это не очень). Но ни образование, ни воспитание, ни опыт ничуть не подводят нас к величайшему испытанию жизни: к аресту ни за что и к следствию ни о чём. Романы, пьесы, кинофильмы (самим бы их авторам испить чашу ГУЛАГа!) изображают нам тех, кто может встретиться в кабинете следователя, рыцарями истины и человеколюбия, отцами родными. — О чём только не читают нам лекций! и даже загоняют на них! — но никто не прочтёт лекции об истинном и расширительном смысле статей Уголовного кодекса, да и сами кодексы не выставлены в библиотеках, не продаются в киосках, не попадают в руки беспечной юности.

Почти кажется сказкой, что где-то, за тремя морями, подследственный может воспользоваться помощью адвоката. Это значит, в самую тяжёлую минуту борьбы иметь подле себя светлый ум, владеющий всеми законами!

Принцип нашего следствия ещё и в том, чтобы лишить подследственного даже знания законов.

Предъявляется обвинительное заключение... (кстати: «Распишитесь на нём». — «Я с ним не согласен». — «Распишитесь». — «Но я ни в чём не виноват!») ...вы обвиняетесь по статьям 58-10 часть 2 и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР. Распишитесь! — Но что гласят эти статьи? Дайте прочесть Кодекс! — У меня его нет. — Так достаньте у начальника отдела! — У него тоже нет. Расписывайтесь! — Но я прошу его показать! — Вам не положено его показывать, он пишется не для вас, а для нас. Да он вам и не нужен, я вам так объясню: эти статьи — как раз всё то, в чём вы виноваты. Да ведь вы сейчас распишетесь не в том, что вы согласны, а в том, что прочли, что обвинение предъявлено вам.

В какой-то из бумажонок вдруг мелькает новое сочетание букв: УПК. Вы настораживаетесь: чем отличается УПК от УК? Если вы попали в минуту расположения следователя, он объяснит вам: Уголовно-процессуальный кодекс. Как? Значит, даже не один, а целых два полных кодекса остаются вам неизвестными в то самое время, когда по их правилам над вами началась расправа?!

...С тех пор прошло десять лет, потом пятнадцать. Поросла густая трава на могиле моей юности. Отбыт был и срок, и даже бессрочная ссылка. И нигде — ни в «культурно-воспитательных» частях лагерей, ни в районных библиотеках, ни даже в средних городах, — нигде я в глаза не видел, в руках не держал, не мог купить, достать и даже *спросить* кодекса советского права! И сотни моих знакомых арестантов, прошедших следствие, суд, да ещё и не единожды, отбывших лагеря и ссылку, — никто из них тоже Кодекса не видел и в руках не держал! (Знающие атмосферу нашей подозрительности понимают, почему нельзя было спросить Кодекс в народном суде или в райисполкоме. Ваш интерес к Кодексу был бы явлением чрезвычайным: или вы готовитесь к преступлению, или замечаете следы!)

И только когда оба Кодекса уже кончали последние дни своего тридцатипятилетнего существования и должны были вот-вот заме-

ниться новыми, — только тогда я увидел их, двух братишек беспереплётных, УК и УПК, на прилавке в московском метро (решили спустить их за ненадобностью).

И теперь я с умилением читаю. Например, УПК:

Статья 136-я — Следователь не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путём насилия или угроз. (Как в воду смотрели!)

Статья 111-я — Следователь обязан выяснять обстоятельства, также и оправдывающие обвиняемого, также и смягчающие его вину.

(«Но я устанавливал советскую власть в Октябре!.. Я расстреливал Колчака!.. Я раскулачивал!.. Я дал государству десять миллионов рублей экономии!.. Я дважды ранен в последнюю войну!.. Я трижды орденоносец!..» —

«За это мы вас не судим! — оскаливается история зубами следователя. — Что вы сделали хорошего — это к делу не относится».)

Статья 139-я — Обвиняемый имеет право писать показания собственноручно, а в протокол, написанный следователем, требовать внесения поправок.

(Эх, если б это вовремя знать! Верней: если бы это было действительно так! Но как милости и всегда тщетно просим мы следователя не писать: «мои гнусные клеветнические измышления» вместо «мои ошибочные высказывания», «наш подпольный склад оружия» вместо «мой заржавленный финский нож»).

О, если бы подследственным преподавали бы сперва тюремную науку! Если бы сначала проводили следствие для репетиции, а уж потом настоящее... С повторниками 1948 года ведь не проводили же всей этой следственной игры — впустую было бы. Но у первичных опыта нет, знаний нет! И посоветоваться не с кем.

Одиночество подследственного! — вот ещё условие успеха неправедного следствия! На одинокую стеснённую волю должен разможжающе навалиться весь аппарат. От мгновения ареста и весь первый ударный период следствия арестант должен быть в идеале одинок: в камере, в коридоре, на лестницах, в кабинетах — нигде он не должен столкнуться с подобным себе, ни в чьей улыбке, ни в чьём взгляде не почерпнуть сочувствия, совета, поддержки. Органы делают всё, чтобы затмить для него будущее и исказить настоящее: представить арестованными его друзей и родных, найденными — вещественные доказательства. Преувеличить свои возможности расправы с ним и с его близкими, свои права на прощение (которых у Органов вовсе нет). Связать искренность «раскаяния» со смягчением приговора и лагерного режима (такой связи отроду не было). В короткую пору, пока арестант потрясён, измучен и невменяем, получить от него как можно больше непоправимых показаний, запутать как можно больше ни в чём не виноватых лиц (иные так падают духом, что даже просят не читать им вслух протоколов, нет сил, а лишь давать подписывать, лишь давать подписывать) — и только тогда из одиночки отпустить его в большую камеру, где он с поздним отчаянием обнаружит и перечтёт свои ошибки.

Как ни ошибиться в этом поединке? Кто бы не ошибся?

Мы сказали «в идеале должен быть одинок». Однако в тюремном переполнении тридцать седьмого года (да и сорок пятого тоже) этот идеальный принцип одиночества свежевзятого подследственного не мог быть соблюден. Почти с первых же часов арестант оказывался в густонаселённой общей камере.

Но тут были свои достоинства, перекрывающие недочёт. Избыточность наполнения камеры не только заменяла сжатый одиночный бокс, она проявлялась как первоклассная *лытка*, особенно тем драгоценная, что длилась целыми сутками и неделями — и безо всяких усилий со стороны следователей: арестанты пытались арестантами же! Наталкивалось в камеру столько арестантов, чтобы не каждому до-

стался кусочек пола, чтобы люди ходили по людям и даже вообще не могли передвигаться, чтобы сидели друг у друга на ногах. Так, в кишинёвских КПЗ («камерах предварительного заключения») в 1945 в одиночку вталкивали по *восемнацать* человек, в Луганске в 1937 — по пятнадцать³⁹, а Иванов-Разумник в 1938 в стандартной бутырской камере на двадцать пять человек сидел в составе *ста сорока*. Быт камер 1937—1938 у него очень хорошо описан. Уборные так перегружены, что оправка только раз в сутки и иногда даже ночью, как и прогулка! Он же в Лубянском приёмном «собачнике» подсчитал, что целыми неделями их приходилось на один квадратный метр пола по три человека (прикиньте, разместитесь!)⁴⁰. В собачнике не было окна или вентиляции, от тел и дыхания температура была сорок — сорок пять градусов, все сидели в одних кальсонах (зимние вещи подложив под себя), голые тела их были спрессованы, и от чужого пота кожа заболела экземой. Так сидели они *неделями*, им не давали ни воздуха, ни воды (кроме баланды и чая утром).

В тот год в Бутырках свежестреланные (уже обработанные баней и боксами) по несколько суток сидели на ступеньках лестниц, ожидая, когда уходящие этапы освободят камеры. Т-в сидел в Бутырках семью годами раньше, в 1931, говорит: всё забито под нарами, лежали на асфальтном полу. Я сидел семью годами позже, в 1945, — то же самое. Но недавно от М. К. Б-ч я получил ценное личное свидетельство о бутырской тесноте 1918 года: в октябре того года (второй месяц красного террора) было так полно, что даже в прачечной устроили женскую камеру на семьдесят человек! Да когда ж тогда Бутырки стояли порожние?

Если при этом параша заменяла все виды оправки (или, наоборот, от оправки до оправки не было в камере параша, как в некоторых сибирских тюрьмах); если ели по четверо из одной миски — и друг у друга на коленях; если то и дело кого-то выдёргивали на допрос, а кого-то вталкивали избитого, бессонного и сломленного; если вид этих сломленных убеждал лучше всяких следовательских угроз; а тому, кого месяцами не вызывали, уже любая смерть и любой лагерь казались легче их скорченного положения, — так может быть это вполне заменяло теоретически идеальное одиночество? И в такой каше людской не всегда решишься, кому открыться, и не всегда найдёшь, с кем посоветоваться. И скорее поверишь попыткам и избиениям не тогда, когда следователь тебе грозит, а когда показывают сами люди.

От самих пострадавших ты узнаешь, что дают солёную клизму в горло и потом на сутки в бок мучиться от жажды (Карпунич). Или тёркой стирают спину до крови и потом мочат скипидаром. Комбригу Рудольфу Пинцову досталось и то, и другое, и ещё иголки загоняли под ногти, и водой наливали до распираания — требовали, чтобы подписал протокол, что хотел на октябрьском параде двинуть бригаду танков на правительство⁴¹. А от Александрова, бывшего заведующего художественным отделом ВОКС (Всероссийского общества культурной связи с заграницей) — с перебитым позвоночником клонящегося набок, не могущего сдержать слёз, — можно узнать, как бьёт (в 1948) сам Абакумов.

Да, да, сам министр госбезопасности Абакумов отнюдь не гнушается этой чёрной работы (Суворов на передовой!), он не прочь иногда взять резиновую палку в руки. Тем более охотно бьёт его заместитель Рюмин. Он делает это на Сухановке в «генеральском» следовательском кабинете. Кабинет имеет по стенам панель под орех,

³⁹ И следствие шло у них по восемь—десять месяцев. «Небось Клим Ворошилов в такой одиночке один сидел», — говорили ребята (да еще и сидел ли?).

⁴⁰ И во владимирской «внутрянке» в 1948 в камере три на три метра постоянно стояли тридцать человек! (С. Потапов). В краснодарском ГПУ в 1937 — четыре человека на один квадратный метр пола.

⁴¹ На самом же деле он вёл бригаду на параде, но почему-то же не двинул. Впрочем, это не засчитывается. Однако после своих универсальных попыток он получил... десять лет по ОСО. Настолько сами жандармы не верили в свои достижения!

шёлковые портьеры на окнах и дверях, на полу большой персидский ковёр. Чтобы не попортить этой красоты, для избиваемого постилается сверх ковра грязная дорожка в пятнах крови. При побоях помогает Рюмину не простой надзиратель, а полковник. «Так,— вежливо говорит Рюмин, поглаживая резиновую дубинку диаметром сантиметра в четыре,— испытание бессонницей вы выдержали с честью.— (Александр Долган хитростью сумел продержаться месяц без сна: он спал стоя.) — Теперь попробуем дубинку. У нас больше двух-трёх сеансов не выдерживают. Спустите брюки, ложитесь на дорожку». Полковник садится избиваемому на спину. Долган собирается считать удары. Он ещё не знает, что такое удар резиновой палкой по седалищному нерву, если ягодица опала от долгого голодания. Отдаётся не в место удара — раскалывается голова. После первого же удара избиваемый безумеет от боли, ломает ногти о дорожку. Рюмин бьёт, стараясь правильно попадать. Полковник давит своей тушей — как раз работа для трёх больших погонных звёзд ассистировать всеильному Рюмину! (После сеанса избитый не может идти, его и не несут, а отволакивают по полу. Ягодица вскоре распухнет так, что невозможно брюки застегнуть, а рубцов почти не осталось. Разыгрывается дикий понос, и сидя на параше в своей одиночке Долган хохочет. Ему предстоит ещё и второй сеанс и третий, лопнет кожа; Рюмин, остервенясь, примется бить его в живот, пробьёт брюшину, в виде огромной грыжи выкатятся кишки, арестанта увезут в Бутырскую больницу с перитонитом, и временно прервутся попытки заставить его сделать подлость.)

Вот как могут и тебя затязать! После этого просто лаской отеческой покажется, когда кишинёвский следователь Данилов бьёт священника отца Виктора Шиповальникова кочергой по затылку и таскает за косу. (Священников удобно так таскать; а мирских можно — за бороду, и проволакивать из угла в угол кабинета. А Рихарда Ахолу — финского красногвардейца, участника ловли Сиднея Рейли и командира роты при подавлении Кронштадтского восстания, поднимали щипцами то за один, то за другой большой его ус и держали по десять минут так, чтоб ноги не доставали пола.)

Но самое страшное, что с тобой могут сделать, это: раздеть ниже пояса, положить на спину на полу, ноги развести, на них сядут подручные (славный сержантский состав), держа тебя за руки, а следователь — не гнушаются тем и женщины — становится между твоих разведенных ног и, носком своего ботинка (своей туфли) постепенно, умеренно и всё сильнее прищемляя к полу то, что делало тебя когда-то мужчиной, смотрит тебе в глаза и повторяет, повторяет свои вопросы или предложения предательства. Если он не нажмёт прежде времени чуть сильнее, у тебя будет ещё пятнадцать секунд вскричать, что ты всё признаёшь, что ты готов посадить и тех двадцать человек, которых от тебя требуют, или оклеветать в печати свою любую святыню...

И суди тебя Бог, не люди...

— Выхода нет! Надо во всём признаваться! — шепчут посаженные в камеру наседки.

— Простой расчёт: сохранить здоровье! — говорят трезвые люди.

— Зубы потом не вставят,— кивает тебе, у кого их уже нет.

— Осудят всё равно, хоть признавайся, хоть не признавайся,— заключают постигшие суть.

— Тех, кто не подписывает,— расстреляют! — ещё кто-то пророчит в глу.— Чтоб отомстить. Чтобы концов не осталось: как следствие велось.

— А умрёшь в кабинете, объявят родственникам: лагерь без права переписки. И пусть ищут.

А если ты ортодокс, то к тебе подберётся другой ортодокс, и

враждебно оглядываясь, чтоб не подслушали непосвящённые, станет горячо толкать тебе в ухо:

— Наш долг — поддерживать советское следствие. Обстановка — боевая. Мы сами виноваты: мы были слишком мягкотелы, и вот разведась эта гниль в стране. Идёт жестокая тайная война. Вот и здесь вокруг нас — враги, слышишь, как высказываются? Не обязана же партия отчитываться перед каждым из нас — зачем и почему. Раз третируют — значит, надо подписывать.

И ещё один ортодокс подбирается:

— Я подписал на тридцать пять человек, на всех знакомых. И вам советую: как можно больше фамилий, как можно больше увлекайте за собой! Тогда станет очевидным, что это нелепость, и всех выпустят.

А Органам именно это и нужно! Сознательность Ортодокса и цели НКВД естественно совпали. НКВД и нужен этот стрельчатый веер имён, это расширенное воспроизводство их. Это — и признак качества их работы, и колки для накидывания новых арканов. «Сообщников! Сообщников! Единomyшленников!» — напорно вытряхивали изо всех. (Говорят, Р. Ралов назвал своим сообщником кардинала Ришелье, внесли его в протоколы — и до реабилитационного допроса 1956 года никто не удивился.)

Уж кстати, об ортодоксах. Для такой чистки нужен был Сталин, да, но и партия же была нужна такая: большинство их, стоявших у власти, до самого момента собственной посадки безжалостно сажали других, послушно уничтожали себе подобных по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других большевиков (уж не считая, как прежде того они все были палачами беспартийных). Может быть, тридцать седьмой год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит всё их мировоззрение, которым они так бодро хорохорились, разворачивая Россию, громя её твердыни, топча её святыни, — Россию, где и м с а м и м такая расправа никогда не угрожала. Жертвы большевиков с 1918 по 1936 никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов 1936—1938 годов, то отвращение испытываешь не только к Сталину с подручными, но — к унизительно-гадким подсудимым, омерзение к душевной низости их после прежней гордости и непримиримости.

... И как же? как же устоять тебе? — чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному?..

Что надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана?

Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную тёплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречён на гибель — сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелей, лучше раньше. И имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня — и я для них умер. Тело моё с сегодняшнего дня для меня — бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны.

И перед таким арестантом — дрогнет следствие!

Только тот победит, кто от всего отрётся!

Но как обратить своё тело в камень?

Ведь вот из бердяевского кружка сделали марионеток для суда, а из него самого не сделали. Его хотели втащить в процесс, арестовывали дважды, водили (1922) на ночной допрос к Дзержинскому, там и Каменев сидел (значит тоже не чуждался идеологической борьбы посредством ЧК). Но Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твёрдо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти, — и не только признали

его бесполезным для суда, но — освободили. Проявил точку зрения человек!

Н. Столярова вспоминает свою соседку по бутырским нарам в 1937, старушку. Её допрашивали каждую ночь. Два года назад у неё в Москве проездом ночевал бежавший из ссылки бывший митрополит. — «Только не бывший, а настоящий! Верно, я удостоилась его принять». — «Так, хорошо. А к кому он дальше поехал из Москвы?» — «Знаю. Но не скажу!» (Митрополит через цепочку верующих бежал в Финляндию.) Следователи менялись и собирались группами, кулаками махали перед лицом старушонки, она же им: «Ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальства боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня убить («цепочку потеряют»). А я — не боюсь ничего! Я хоть сейчас к Господу на ответ!»

Были, были такие в тридцать седьмом, кто с допроса не вернулся в камеру за узелком. Кто избрал смерть, но не подписал ни на кого.

Не сказать, чтоб история русских революционеров дала нам лучшие примеры твёрдости. Но тут и сравнения нет, потому что наши революционеры никогда не знавали, что такое настоящее хорошее следствие с пятьюдесятью двумя приёмами.

Шешковский не истязал Радищева. И Радищев, по обычаю того времени, прекрасно знал, что сыновья его всё так же будут служить гвардейскими офицерами, и никто не перешибёт их жизни. И родового поместья Радищева никто не конфискует. И всё же в своём коротком двухнедельном следствии этот выдающийся человек отрекся от убеждений своих, от книги — и просил пощады.

Николай I не имел зверства арестовать декабристских жён, заставить их кричать в соседнем кабинете или самих декабристов подвергнуть пыткам — но он не имел на то и надобности. Следствие по декабристам было совершенно свободное, даже давали в каземат обдумывать предварительные вопросы. Никто из декабристов не вспоминал потом о недобросовестном толковании ответов. Не были преданы ответственности «знавшие о приготовлении мятежа, но не донёсшие». Тем более ни тень не пала на родственников осуждённых (особый о том манифест). И уж, конечно, помилованы все солдаты, вовлечённые в мятеж. Но даже Рылеев «отвечал пространно, откровенно, ничего не утаивая». Даже Пестель *раскололся* и назвал своих товарищей (ещё вольных), кому поручил закопать «Русскую правду», и самое место закопки. Редкие, как Лунин, блистали неуважением и презрением к следственной комиссии. Большинство же держалось бездарно, запутывали друг друга, многие униженно просили о прощении! Завалишин всё валил на Рылеева. Е. П. Оболенский и С. П. Трубецкой поспешили оговорить Грибоедова, — чему и Николай I не поверил.

Бакунин в «Исповеди» униженно самооплёвывался перед Николаем I и тем избежал смертной казни. Ничтожность духа? Или революционная хитрость?

Казалось бы — что за избранные по самоотверженности должны были быть люди, взявшиеся убить Александра II? Они ведь знали, на что шли! Но вот Гриневицкий разделил участь царя, а Рысаков остался жив и попал в руки следствия. И в тот же день он уже заваливал явочные квартиры и участников заговора, в страхе за свою молоденькую жизнь он спешил сообщить правительству больше сведений, чем то могло в нем предполагать! Он захлёбывался от раскаяния, он предлагал «разоблачить все тайны анархистов».

В конце же прошлого века и начале нынешнего жандармский офицер тотчас брал вопрос назад, если подследственный находил его неуместным или вторгающимся в область интимного. — Когда в Крестах в 1938 старого политкаторжанина Зеленского выпороли шомполами, как мальчишке сняв штаны, он расплакался в камере: «Царский следователь не смел мне даже «ты» сказать!» — Или вот, например, из

одного современного исследования⁴² мы узнаём, что жандармы захватили рукопись ленинской статьи «О чём думают наши министры?», но не сумели через неё добраться до автора: «На допросе жандармы, как и следовало ожидать (курсив здесь и далее мой.— А. С.), узнали от Ванеева (студента.— А. С.) немного. Он им сообщил всего-навсего, что „найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска в общем свёртке одним лицом, которое он не желает назвать...“. Следователю ничего не оставалось (как? а ледяной воды по щиколотки? а солёная клизма? а рюминская палочка?..), как подвергнуть рукопись... экспертизе».

Ну и ничего не нашли. Пересветов, кажется, и сам *оттянул* сколько-то годиков и легко мог бы перечислить, что ещё оставалось следователю, если перед ним сидел хранитель статьи «О чём думают наши министры?».

Как вспоминает С. П. Мельгунов: «... то была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключённым теперь остаётся вспоминать почти с радостным чувством»⁴³.

Тут — сдвиг представления, тут — совсем другая мерка. Как чумакам догоголевского времени нельзя внять скоростям реактивных самолётов, так нельзя охватить истинных возможностей следствия тем, кто не прошёл приёмную мясорубку ГУЛАГа.

В «Известиях» от 24.5.59 читаем: Юлию Румянцеву берут во внутреннюю тюрьму нацистского лагеря, чтоб узнать, где бежавший из того же лагеря её муж. Она знает, но — отказывается ответить! Для читателя несведущего это — образец героизма. Для читателя с горьким гулаговским прошлым это образец следовательской неповоротливости: Юлия не умерла под пытками и не была доведена до сумасшествия, а просто через месяц живёхонькая отпущена!

* * *

Все эти мысли о том, что надо стать каменным, ещё были совершенно неизвестны мне тогда. Я не только не готов был перерезать тёплые связи с миром, но даже отнятие при аресте сотни трофейных фабберовских карандашей ещё долго меня жгло. Из тюремной протяжённости оглядываясь потом на своё следствие, я не имел основания им гордиться. Я, конечно, мог держаться твёрже и, вероятно, мог извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было.

Наше (с моим однодельцем Николаем Виткевичем) впадение в тюрьму носило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые офицеры. Мы переписывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли, при военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из Мудрейших, прозрачно закодированного нами из Отца в Пахана. (Когда я потом в тюрьмах рассказывал о своём деле, то нашей наивностью вызывал только смех и удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя. И я тоже в этом уверился. Вдруг, читая исследование о деле Александра Ульянова, узнал, что они попались на том же самом — на неосторожной переписке, и только это спасло жизнь Александру III 1 марта 1887 года.)

Участник группы Андреюшкин послал в Харьков своему другу откровенное письмо: «...я твёрдо верю, что самый беспощадный террор [у нас] будет и даже не в продолжительном будущем... Красный террор — мой конёк... Беспокоюсь за моего адре-

⁴² Р. Пересветов, «Одна из шести». («Новый мир», 1962, № 4, стр. 165—166).

⁴³ С. П. Мельгунов. Воспоминания и дневники. Вып. 1. Париж. 1964, стр. 139.

сата (он уже не первое такое письмо писал! — А. С.)... если он то во, то и меня могут тоже то во, а это нежелательно, ибо поволоку за собой много народа очень дельного...» И пять недель продолжался неторопливый сыск по этому письму — через Харьков, чтоб узнать, кто писал его в Петербурге. Фамилия Андreyushкина была установлена только 28 февраля — и 1 марта бомбометатели, уже с бомбами, были взяты на Невском перед самым назначенным покушением!

Высок, просторен, светел, с преобладающим окном был кабинет моего следователя И. И. Езепова (страховое общество «Россия» строилось не для пыток) — и, используя его пятиметровую высоту, повешен был четырёхметровый вертикальный, во весь рост, портрет могущественного Властителя, которому я, песчинка, отдал свою ненависть. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся: «Мы жизнь за него готовы отдать! Мы — под танки за него готовы лечь!» Перед этим почти алтарным величием портрета казался жалким мой бормот о каком-то очищенном ленинизме, и сам я, кощунственный хулиган, был достоин только смерти.

Содержание одних наших писем давало по тому времени полноценный материал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоёвывать, допринести пользу. Но беспощадней: уже год каждый из нас носил по экземпляру неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилась при всех обстоятельствах, если один выживет, — «Резолюцию № 1», составленную нами при одной из фронтовых встреч. «Резолюция» эта была — энергичная сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране, затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить, и кончалась фразой: «Выполнение всех этих задач невозможно без *организации*». Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию. А к тому прилегали и фразы переписки — как после победы мы будем вести «войну после войны». Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня, а только старался он накинуть удавку на всех, кому ещё когда-нибудь писал я или кто когда-нибудь писал мне, и нет ли у нашей молодёжной группы какого-нибудь старшего направителя. Своим сверстникам и сверстницам я дерзко и почти с бравадой выражал в письмах крамольные мысли — а друзья почему-то продолжали со мной переписываться! И даже в их встречных письмах тоже встречались какие-то подозрительные выражения⁴⁴. И теперь Езепов подобно Порфирию Петровичу требовал от меня всё это связно объяснить: если мы так выражались в подцензурных письмах, то что же мы могли говорить с глазу на глаз? Не мог же я его уверить, что вся резкость высказываний приходилась только на переписку. И вот помутнённым мозгом я должен был сплести теперь что-то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями (встречи упоминались в письмах), чтоб они приходились в цвет с письмами, чтоб были на самой грани политики — и всё-таки не Уголовный кодекс. И ещё чтоб эти объяснения как одно дыхание вышли из моего горла и убедили бы матёрого следователя в моей простоте, приbedнённости, открытости до конца. Чтобы — самое главное — мой ленивый следователь не склонился бы разбирать и тот заклятый груз, который я привёз в своём заклятом чемодане, — четыре блокнота военных дневников, написанных бледным твёрдым карандашом, игольчатом-мелкие, кое-где уже стирающиеся записи. Эти дневники были —

⁴⁴ Ещё одного школьного нашего друга, К. Симонянца, едва не подгрести тогда к нам. Какое облегчение было мне узнать, что он остался на свободе! Но вот через двадцать два года он мне пишет: «Из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне... Объективно ты становишься знаменем фашистской реакции на Западе, например в ФРГ и США... Ленин, которого, я уверен, ты по-прежнему считаешь и любишь, да и старики Маркс и Энгельс осудили бы тебя самым суровым образом. Подумай над этим!» Я и думаю: ах, жаль, что тебя тогда не посадили! Сколько ты потерял!..

моя претензия стать писателем. Я не верил в силу нашей удивительной памяти и все годы войны старался записывать всё, что видел (это б ещё полбеды), и всё, что слышал от людей. Я безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однополчан — о коллективизации, о голоде на Украине, о тридцать седьмом годе, и по скрупулёзности и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это всё рассказывал. От самого ареста, когда дневники эти были брошены оперативниками в мой чемодан, осургучены и мне же дано вести тот чемодан в Москву, — раскалённые клещи сжимали мне сердце. И вот эти все рассказы, такие естественные на передовой, перед ликом смерти, теперь достигли подножия четырёхметрового кабинетного Сталина — и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих однополчан.

Эти дневники больше всего и давили на меня на следствии. И чтобы только следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени — я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию — пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку; пока не повеяло явными признаками окончания следствия; пока на четвёртом месяце все блокноты моих военных дневников не зашвырнуты были в адский зев лубянской печи, не брызнули там красной лузгой ещё одного погибшего на Руси романа и чёрными бабочками копоты не взлетели из самой верхней трубы.

Под этой трубой мы гуляли — в бетонной коробке, на крыше Большой Лубянки, на уровне шестого этажа. Стены ещё и над шестым этажом возвышались на три человеческих роста. Ушами мы слышали Москву — переключку автомобильных сирен. А видели — только эту трубу, часового на вышке на седьмом этаже да тот несчастливый клочок Божье неба, которому досталось простираться над Лубянкой.

О, эта сажал! Она всё падала и падала в тот первый послевоенный май. Её так много было нашу каждую прогулку, что мы придумали между собой, будто Лубянка жжёт свои архивы за тридевять лет. Мой погибший дневник был только минутной стружкой той сажал. И я вспоминал морозное солнечное утро в марте, когда я как-то сидел у следователя. Он задавал свои обычные грубые вопросы; записывал, искажая мои слова. Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть — чтоб хоть смертью своей сверкнуть по Москве, разможжиться с пятого этажа о мостовую, как в моём детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону (из Тридцать третьего). В протайках окна виднелись московские крыши, крыши — и над ними весёлые дымки. Но я смотрел не туда, а на курган рукописей, загроудивший всю середину полупустого тридцатиметрового кабинета, только что вываленный, ещё не разобранный. В тетрадах, в папках, в самодельных переплётах, скреплёнными и не скреплёнными пачками и просто отдельными листами — надмогильным курганом погребённого человеческого духа лежали рукописи, и курган этот конической своей высотой был выше следовательского письменного стола, едва что не заслоняя от меня самого следователя. И братская жалость разнимала меня к труду того безвестного человека, которого арестовали минувшей ночью, а плоды обыска вытряхнули к утру на паркетный пол пыточного кабинета к ногам четырёхметрового Сталина. Я сидел и гадал: чью незаурядную жизнь в эту ночь пригвоздили на истязание, на растерзание и на сожжение потом?

О, сколько же гинуло в этом здании замыслов и трудов! — целая погибшая культура. О, сажал, сажал из лубянских труб!! Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловеснее, чем оно было!..

* * *

Чтобы провести прямую, достаточно отметить всего лишь две точки.

В 1920 году, как вспоминает Эренбург, ЧК поставила перед ним вопрос так: «Докажите вы, что вы — не агент Врангеля».

А в 1950 один из видных полковников МГБ, Фома Фомич Железов, объявил заключённым так: «Мы ему (арестованному) и не будем трудиться доказывать его вину. Пусть он нам докажет, что не имел враждебных намерений».

И на эту людоедски незамысловатую прямую укладываются в промежутке бессчётные воспоминания миллионов.

Какое ускорение и упрощение следствия, не известные предыдущему человечеству! Органы вообще освободили себя от труда искать доказательства! Пойманный кролик, трясущийся и бледный, не имеющий права никому написать, никому позвонить по телефону, ничего принести с воли, лишённый сна, еды, бумаги, карандаша и даже пуговиц, посаженный на голую табуретку в углу кабинета, должен сам изыскать и разложить перед бездельником-следователем доказательства, что не имел враждебных намерений! И если он не изыскивал их (а откуда ж он мог их добыть?), то тем самым и приносил следствию *приблизительные* доказательства своей виновности!

Я знал случай, когда один старик, побывавший в немецком плену, всё же сумел, сидя на этой голой табуретке и разводя голыми пальцами, доказать своему монстру-следователю, что не изменил родине и даже не имел такого намерения! Скандальный случай! Что ж, его освободили? Как бы не так! — он всё рассказывал мне в Бутырках, не на Тверском бульваре. К основному следователю тогда присоединился второй, они провели со стариком тихий вечер воспоминаний, а затем вдвоём подписали *свидетельские* показания, что в этот вечер голодный засыпающий старик вёл среди них антисоветскую агитацию! Спроста было говорено, да не спроста слушано! Старика передали третьему следователю. Тот снял с него неосновательное обвинение в измене родине, но аккуратно оформил ему ту же десятку за антисоветскую агитацию на следствии.

Перестав быть поисками истины, следствие стало для самих следователей в трудных случаях — отбыванием палаческой обязанности, в лёгких — простым проведением времени, основанием для получения зарплаты.

А лёгкие случаи были всегда — даже в пресловутом 1937 году. Например, Бородко обвинялся в том, что за шестнадцать лет до этого ездил к своим родителям в Польшу и тогда не брал заграничного паспорта (а папаша с мамашей жили в десяти верстах от него, но дипломаты подписали ту Белоруссию отдать Польше, люди же в 1921 не привыкли и по-старому ещё ездили). Следствие заняло полчаса: Ездил? — Ездил. — Как? — Да на лошади. — Получи десять лет КРД (КонтрРеволюционная Деятельность).

Но такая быстрота отдаёт стахановским движением, которое не нашло последователей среди голубых фуражек. По процессуальному кодексу полагалось на всякое следствие два месяца, а при затруднениях в нём разрешалось просить у прокуроров продления несколько раз ещё по месяцу (и прокуроры, конечно, не отказывали). Так глупо было бы переводить своё здоровье, не воспользоваться этими оттяжками и, по-заводскому говоря, вздуть свои собственные нормы. Потрудившись горлом и кулаком в первую ударную неделю всякого следствия, порасходовав свою волю и характер (по Вышинскому), следователи заинтересованы были дальше каждое дело растягивать, чтобы побольше было дел старых, спокойных, и поменьше новых. Просто неприлично считалось закончить политическое следствие в два месяца.

Государственная система сама себя наказывала за недоверчивость и негибкость. Отборным кадрам — и тем не доверяла: наверно, и их самих наставляла отмечаться при приходе на службу и при уходе, а уж заключённых, вызываемых на следствие, — обязательно, для контроля. Что оставалось делать следователям, чтоб обеспечить бухгалтерские начисления? Вызвать кого-нибудь из своих подследственных, посадить в угол, задать какой-нибудь пугающий вопрос, — самим же забыть о нём, долго читать газету, писать конспект к политучёбе, частные письма, ходить в гости друг ко другу (вместо себя сажая полканами выводных). Мирно калякая на диване со своим пришедшим другом, следователь иногда опоминался, грозно взглядывал на подследственного и говорил:

— Вот гад! Вот он, гад редкий! Ну ничего, *девять грамм* для него не жалко!

Мой следователь ещё широко использовал телефон. Так, он звонил себе домой и говорил жене, сверкая в мою сторону глазами, что сегодня всю ночь будет допрашивать, так чтобы не ждала его раньше утра (моё сердце падало: значит, меня всю ночь!). Но тут же набирал номер своей любовницы и в мурлычащих тонах договаривался приехать сейчас на ночь к ней (ну, поспим! — отлегалось от моего сердца).

Так беспорочную систему смягчали только пороки исполнителей.

Иные, более любознательные, следователи любили использовать такие «пустые» допросы для расширения своего жизненного опыта: они расспрашивали подследственного о фронте (о тех самых немецких танках, под которые им было всё недосуг лечь); об обычаях европейских и заморских стран, где тот бывал; о тамошних магазинах и товарах; особенно же — о порядках в иностранных бардаках и о разных случаях с бабами.

По процессуальному кодексу считается, что за правильным ходом каждого следствия неусыпно наблюдает прокурор. Но никто в наше время в глаза не видел его до так называемого допроса у прокурора, означавшего, что следствие подошло к самому концу. Свели на такой допрос и меня.

Подполковник Котов — спокойный, сытый, безличный блондин, ничуть не злой и ничуть не добрый, вообще никакой — сидел за столом и, зевая, в первый раз просматривал папку моего дела. Минут пятнадцать он ещё и при мне молча знакомился с ней (так как допрос этот был совершенно неизбежен и тоже регистрировался, то не имело смысла просматривать папку в другое, не регистрируемое, время, да ещё сколько-то часов держать подробности дела в памяти). Я думаю, он ничего там связно и не видел. Потом поднял на стену безразличные глаза и лениво спросил, что я имею добавить к своим показаниям.

Он должен был бы спросить: какие у меня есть претензии к ходу следствия? не было ли попирания моей воли и нарушений законности? Но так давно уж не спрашивали прокуроры. А если бы и спросили? Весь этот тысячекорпусный дом министерства и пять тысяч его следственных корпусов, вагонов, пещер и землянок, разбросанных по всему Союзу, только и жили нарушением законности, и не нам с ним было бы это повернуть. Да и все сколько-нибудь высокие прокуроры занимали свои посты с согласия той самой госбезопасности, которую... должны были контролировать.

Его вялость, и миролюбие, и усталость от этих бесконечных глупых дел как-то передалась и мне. И я не поднял с ним вопрос истины. Я попросил только исправления одной нелепости: мы обвинялись по делу двое, но следовали нас порознь (меня в Москве, друга моего — на фронте), таким образом, я шел по делу *один*, обвинялся же по *одинадцатому* пункту, то есть как *группа*. Я рассудительно попросил его снять этот добавок *одинадцатого* пункта.

Он ещё полистал дело минут пять, явно не нашёл там нашей организации, а всё равно вздохнул, развёл руками и сказал:

— Что ж? Один человек — человек, а два человека — люди.

И нажал кнопку, чтоб меня взяли.

Вскоре, поздним вечером позднего мая, в тот же прокурорский кабинет с фигурными бронзовыми часами на мраморной плите камин меня вызвал мой следователь на «двести шестую» — так, по статье УПК, называлась процедура просмотра дела самим подследственным и его последней подписи. Нимало не сомневаясь, что подпись мою получит, следователь уже сидел и строчил обвинительное заключение.

Я распахнул крышку толстой папки и уже на крышке изнутри в типографском тексте прочёл потрясающую вещь: что в ходе следствия я, оказывается, имел право приносить письменные жалобы на неправильное ведение следствия — и следователь обязан был эти мои жалобы хронологически подшивать в дело! В ходе следствия! Но не по окончании его...

Увы, о праве таком не знал ни один из тысяч арестантов, с которыми я позже сидел.

Я перелистывал дальше. Я видел фотокопии своих писем и совершенно извращённое истолкование их смысла неизвестными комментаторами (вроде капитана Либина). И видел гиперболизированную ложь, в которую капитан Езепов облёк мои осторожные показания.

— Я не согласен. Вы вели следствие неправильно, — не очень решительно сказал я.

— Ну что ж, давай всё сначала! — зловеще сжал он губы. — Закатаем тебя в такое место, где полицейев содержим.

И даже как бы протянул руку отобрать у меня том «дела». (Я его тут же пальцем придержал.)

Светило золотистое закатное солнце где-то за окнами пятого этажа Лубянки. Где-то был май. Окна кабинета, как все наружные окна министерства, были глухо притворены, даже не расклеены с зимы — чтобы парное дыхание и цветение не прорывались в потаённые эти комнаты. Бронзовые часы на камине, с которых ушёл последний луч, тихо отзвенели.

Сначала?.. Кажется, легче было умереть, чем начинать всё сначала. Впереди всё-таки обещалась какая-то жизнь. (Знал бы я — какая!..) И потом — это место, где полицейев содержат. И вообще не надо его сердить, от этого зависит, в каких тонах он напишет обвинительное заключение...

И я подписал. Подписал вместе с одиннадцатым пунктом (уж «Резолюция» на него тянула). Я не знал тогда его веса, мне говорили только, что срока он не добавляет. Из-за одиннадцатого пункта я попал в каторжный лагерь. Из-за одиннадцатого же пункта я после «освобождения» был безо всякого приговора сослан навечно.

И может — лучше. Без того и другого не написать бы мне этой книги...

Мой следователь ничего не применял ко мне, кроме бессонницы, лжи и запугивания — методов совершенно законных. Поэтому он не нуждался, как из перестраховки делают нашкодившие следователи, подсовывать мне при 206-й статье и подписку о неразглашении: что я, имярек, обязуюсь под страхом уголовного наказания (неизвестно какой статьи) никогда никому не рассказывать о методах ведения моего следствия.

В некоторых областных управлениях НКВД это мероприятие проводилось серийно: отпечатанная подписка о неразглашении подсовывалась арестанту вместе с приговором ОСО. (И ещё потом при освобождении из лагеря — подписку, что никому не будет рассказывать о лагерных порядках.)

И что же? Наша привычка к покорности, наша согнутая (или сложенная) спина не давали нам ни отказаться, ни возмутиться этим бандитским методом хоронить концы.

Мы утратили меру свободы. Нам нечем определить, где она начинается и где кончается. С нас берут, берут, берут эти нескончаемые подписки о неразглашении все кому не лень.

Мы уже не уверены: имеем ли мы право рассказывать о событиях своей собственной жизни?

Глава 7

В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ

В соседнем боксе бутырского «вокзала» — известном *шмональном* боксе (там обыскивались новопоступающие, и достаточный простор позволял пяти-шести надзирателям обрабатывать в один загон до двадцати эзков) — теперь никого не было, пустовали грубые шмональные столы, и лишь сбоку под лампочкой сидел за маленьким случайным столиком опрятный черноволосый майор НКВД. Терпеливая скука — вот было главное выражение его лица. Он зря терял время, пока эзков приводили и отводили по одному. Собрать подписи можно было гораздо быстрее.

Он показал мне на табуретку против себя через стол, осведомился о фамилии. Справа и слева от чернильницы перед ним лежали две стопочки белых одинаковых бумажонков в половину машинописного листа — того формата, каким в домоуправлениях дают топливные справки, а в учреждениях — доверенности на покупку канцпринадлежностей. Пролистнув правую стопку, майор нашёл бумажку, относящуюся ко мне. Он вытащил её, прочёл равнодушной скороговоркой (я понял, что мне — восемь лет) и тотчас на обороте стал писать авторучкой, что текст объявлен мне сего числа.

Ни на пол-удара лишнего не стукнуло моё сердце — так это было обыденно. Неужели это и был мой приговор — решающий перелом жизни? Я хотел бы взволноваться, почувствовать этот момент — и никак не мог. А майор уже пододвинул мне листок оборотной стороной. И семикопеечная ученическая ручка с плохим пером, с лохмотом, прихваченным из чернильницы, лежала передо мной.

— Нет, я должен прочесть сам.

— Неужели я буду вас обманывать? — лениво возразил майор.— Ну, прочтите.

И нехотя выпустил бумажку из руки. Я перевернул её и нарочно стал разглядывать медленно, не по словам даже, а по буквам. Отпечатано было на машинке, но не первый экземпляр был передо мной, а копия:

В ы п и с к а

из постановления ОСО НКВД СССР от 7 июля 1945 года⁴⁵

№...

Затем пунктиром всё это было подчёркнуто и пунктиром же вертикально разгорожено:

С л у ш а л и:
Об обвинении такогото (имярек, год рождения, место рождения).

П о с т а н о в и л и:
Определить такому-то (имярек) за антисоветскую агитацию и попытку к созданию антисоветской организации 8 (восемь) лет исправительно-трудовых лагерей.

Копия верна.

Секретарь

⁴⁵ Заседали в самый день амнистии, работа не терпит.

И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взглянул на майора — не скажет ли он мне чего, не пояснит ли? Нет, он не собирался. Он уже надзирателю в дверях кивнул готовить следующего.

Чтоб хоть немного придать моменту значительность, я спросил его с трагизмом:

— Но ведь это ужасно! Восемь лет! За что?

И сам услышал, что слова мои звучат фальшиво: ужасного не ощущал ни я, ни он.

— Вот тут, — ещё раз показал мне майор, где расписаться.

Я расписался. Я просто не находил — что ещё сделать?

— Но тогда разрешите, я напишу здесь у вас обжалование. Ведь приговор несправедлив.

— В установленном порядке, — механически подкивнул мне майор, кладя мою бумажонку в левую стопку.

— Пройдите! — приказал мне надзиратель.

И я *пошёл*.

(Я оказался не находчив. Георгий Тэнно, которому, правда, принесли бумажку на двадцать пять лет, ответил так: «Ведь это пожизненно! В былые годы, когда человека осуждали пожизненно, — били барабаны, созывали толпу. А тут как в ведомости за мыло — двадцать пять и откатывай!»)

Арнольд Раппопорт взял ручку и вывел на обороте: «Категорический протестую против террористического незаконного приговора и требую немедленного освобождения». Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же — разгневался и порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе: ведь это ж была копия.

А Вера Корнеева ждала пятнадцати лет и с восторгом увидела, что в бумажке пропечатано только пять. Она засмеялась своим святащимся смехом и поспешила расписаться, чтоб не отняли. Офицер усомнился: «Да вы поняли, что я вам прочёл?» — «Да, да, большое спасибо! Пять лет исправительно-трудовых лагерей!»

Яношу Рожашу, венгру, его десятилетний срок прочитали в коридоре на русском языке и не перевели. Расписавшись, он не понял, что это был приговор, долго потом ждал суда, ещё позже в лагере смутно вспомнил этот случай и догадался.)

Я вернулся в бокс с улыбкой. Странно, с каждой минутой я становился всё веселей и облегчённей. Все возвращались с *червонцами*, и Валентин тоже. Самый детский срок из нашей сегодняшней компании получил тот рехнувшийся бухгалтер (до сих пор он сидел немменяемый).

В брызгах солнца, в июльском ветерке всё так же весело покачивалась веточка за окном. Мы оживлённо болтали. Там и сям всё чаще возникал в боксе смех. Смеялись, что всё гладко сошло; смеялись над потрясённым бухгалтером; смеялись над нашими утренними надеждами и как нас провожали из камер, заказывали условные передачи — четыре картошины! два бублика!

— Да амнистия будет! — утверждали некоторые. — Это так, для формы, пугают, чтоб крепче помнили. Сталин сказал одному американскому корреспонденту...

— А как корреспондента фамилия?

— Фамилию не знаю...

Тут нам велели взять вещи, построили по двое и опять повели через тот же дивный садик, наполненный летом. И куда же? Опять в баню!

Это привело нас уже к раскатистому хохоту — ну и головотяпы! Хохоча, мы разделись, повесили одёжки наши на те же крючки, и их закатали в ту же прожарку, куда уже закатывали сегодня утром. Хохоча, получили по пластинке гадкого мыла и прошли в просторную гулкую мыльню смывать девичьи гульбы. Тут мы оплёскивались, ли-

ли, лили на себя горячую чистую воду и так резвились, как если б это школьники пришли в баню после последнего экзамена. Этот очищающий, облегчающий смех был, я думаю, даже не болезненным, а живой защитой и спасением организма.

Вытираясь, Валентин говорил мне успокаивающе, уютно:

— Ну ничего, мы ещё молодые, ещё будем жить. Главное, не оступитья — теперь. В лагерь приедем — и ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не мотали. Будем честно работать — и молчать, молчать.

И так он верил в эту программу, так надеялся, невинное зёрнышко промеж сталинских жерновов! Хотелось согласиться с ним, уютно отбыть срок, а потом вычеркнуть пережитое из головы.

Но я начинал ощущать в себе: если надо *не жить* для того, чтобы жить, — то и зачем тогда?..

* * *

Нельзя сказать, чтоб ОСО придумали после революции. Ещё Екатерина II дала неугодному ей журналисту Новикову пятнадцать лет, можно сказать — по ОСО, ибо не отдавала его под суд. И все императоры по-отечески нет-нет да и выслали неугодных им без суда. В 60-х годах XIX века прошла коренная судебная реформа. Как будто и у властителей и у подданных стало вырабатываться что-то вроде юридического взгляда на общество. Тем не менее и в 70-х и в 80-х годах Короленко проследживает случаи административной расправы вместо судебного осуждения. Он и сам в 1876 году с ещё двумя студентами выслан без суда и следствия по распоряжению товарища министра государственных имуществ (типичный случай ОСО). Без суда же в другой раз он был сослан с братом в Глазов. Короленко называет нам Фёдора Богдана — ходока, дошедшего до самого царя и потом сосланного; Пьянкова, оправданного по суду, но сосланного по высочайшему повелению; ещё нескольких человек.

Таким образом, традиция была, но слишком расхлябанная. И потом обезличка: кто же был ОСО? То царь, то губернатор, то товарищ министра. И потом, простите, это не размах, если можно *перечислять* имена и случаи.

Размах начался с 20-х годов, когда для постоянного обмина суда были созданы постоянно же действующие *тройки*. Вначале это с гордостью даже выпирали — Тройка ГПУ! Имен заседателей не только не скрывали — рекламировали! Кто на Соловках не знал знаменитой московской тройки — Глеб Бокий, Вуль и Васильев?! Да и верно, слово-то какое — тройка! Тут немножко и бубенчики под дугой, разгул масленицы, а впереплёт с тем и загадочность: почему — «тройка»? что это значит? Суд — тоже ведь не четвёрка! а тройка — не суд! А пущая загадочность в том, что — заглазно. Мы там не были, не видели, нам только бумажка: распишитесь. Тройка ещё страшней ревтрибунала получилась. А затем она ещё обособилась, закуталась, заперлась в отдельной комнате, и фамилии спрятались. И так мы привыкли, что члены Тройки не пьют, не едят и среди людей не передвигаются. А уж как удалились однажды на совещание и — навсегда, лишь приговоры нам — через машинисток. (И — с возвратом: такой документ нельзя на руках оставлять.)

Тройки эти (мы на всякий случай пишем во множественном числе, как о божестве не знаешь никогда, где оно существует) отвечали возникшей неотступной потребности: однажды арестованных на волю не выпускать (ну, вроде отдела технического контроля при ГПУ: чтоб не было брака). И если уж оказался не виноват и судить его никак нельзя, так вот через Тройку пусть получит свои «минус тридцать два» (губернских города) или в ссылочку на два-три года, а уже смотришь — ушко и выстрижено, он уж навсегда помечен и теперь будет впредь «рецидивист».

(Да простит нас читатель: ведь мы опять сбились на этот правый оппортунизм — понятие «вины», виноват — не виноват. Ведь толковано ж нам, что *дело не в личной вине, а в социальной опасности*: можно и невинного посадить, если социально-чуждый, можно и виноватого выпустить, если социально-близкий. Но прощительно нам, без юридического образования, если сам Кодекс 1926 года, по которому, батюшке, мы двадцать пять лет жили, и тот критиковался за «недопустимый буржуазный подход», за «недостаточный классовый подход», за какое-то «буржуазное отвешивание наказания в меру тяжести содеянного»⁴⁶.)

Увы, не нам достанется написать увлекательную историю этого Органа. Все ли годы своего существования Тройка ГПУ в своём заочном осуждении имела право давать также и расстрел (как известному князю-кадету Павлу Долгорукову в 1927, как Пальчинскому, фон Мекку и Величко в 1929)? Применялись ли тройки только в случаях недостаточных доказательств, но явной социальной опасности личности — или повольготнее того? И как затем в 1934 при печальном переназвании ОГПУ в НКВД стала Тройка в белокаменной называться Особым Совещанием, а тройки в областях — спецколлегиями областных судов, то бишь из трёх своих постоянных членов без всяких народных заседателей и всегда закрыто. А с лета 1937 добавили в областях и автономных республиках ещё и другие тройки — из секретаря обкома, начальника областного НКВД и областного прокурора. (А над этими новыми тройками в Москве возвышалась просто Двойка из народного комиссара внутренних дел и генерального прокурора СССР — согласитесь, неудобно же было звать Иосифа Виссарионовича заседать третьим?) Но с конца 1938 года как-то незаметно растаяли и эти тройки и эта Двойка (да ведь и Николай Ежов скovyрнулся) — но тем более утвердилось родимое наше ОСО, перенимая себе права заочного и бессудного взыскания — сперва до десяти лет, а затем и выше, а затем и до расстрела. И проблагоденствовало родимое ОСО до самого 1953 года, когда остушился и наш Берия, благодетель.

Деятнадцать лет оно просуществовало, а спроси: кто ж из наших крупных гордых деятелей туда входил; как часто и как долго оно заседало; с чаем ли, без чая и что к чаю; и как само это обсуждение шло — разговаривали при этом или даже не разговаривали? Не мы напишем — потому что не знаем. Мы слышаны только, что сущность ОСО оставалась триединой, и хотя сейчас недоступно назвать усердных его заседателей, а известны те три органа, которые имели там своих постоянных делегатов: один — от ЦК, один — от МВД, один — от прокуратуры. Однако не будет чудом, если когда-нибудь мы узнаем, что не было никаких заседаний, а был штат опытных машинисток, составляющих выписки из не существующих протоколов, и один управделами, руководивший машинистками. Вот машинистки — это точно были, за это ручаемся!

Нигде не упомянутое, ни в конституции, ни в Кодексе, ОСО, однако, оказалось самой удобной котлетной машинкой — неупрямой, нетребовательной и не нуждающейся в смазке законами. Кодекс был сам по себе, а ОСО — само по себе и легко крутилось без всех его двухсот пяти статей, не пользуясь ими и не упоминая их.

Как шутят в лагере: на нет и суда нет, а есть Особое Совещание.

Разумеется, для удобства оно тоже нуждалось в каком-то входном коде, но для этого оно само себе и выработало *литерные* статьи, очень облегчавшие оперирование (не надо голову ломать, подгонять к формулировкам Кодекса), а по числу своему доступные памяти ребёнка (часть из них мы уже упоминали):

— АСА — АнтиСоветская Агитация;

— НППГ — Нелегальный Переход Государственной Границы;

⁴⁶ «От тюрем к воспитательным учреждениям».

- КРД — КонтрРеволюционная Деятельность;
- КРТА — КонтрРеволюционная Троцкистская Деятельность (эта буквочка «т» очень потом утяжеляла жизнь зэка в лагере);
- ПШ — Подозрение в Шпионаже (шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в трибунал);
- СВПШ — Связи, Ведущие (!) к Подозрению в Шпионаже;
- КРМ — КонтрРеволюционное Мышление;
- ВАС — Вынашивание АнтиСоветских настроений;
- СОЭ — Социально-Опасный Элемент;
- СВЭ — Социально-Вредный Элемент;
- ПД — Преступная Деятельность (её охотно давали бывшим лагерникам, если ни к чему больше придраться было нельзя);

и, наконец, очень ёмкая

- ЧС — Член Семьи (осуждённого по одной из предыдущих литер).

Не забудем, что литеры эти не рассеивались равномерно по людям и годам, а, подобно статьям Кодекса и пунктам Указов, наступали внезапными эпидемиями.

И ещё оговоримся: ОСО вовсе не претендовало дать человеку *приговор!* — оно не давало приговора! — оно *накладывало административное взыскание*, вот и всё. Естественно ж было ему иметь и юридическую свободу!

Но хотя взыскание не претендовало стать судебным приговором, оно могло быть до двадцати пяти лет, до расстрела, и включать в себя:

- лишение званий и наград;
- конфискацию всего имущества;
- закрытое тюремное заключение;
- лишени права переписки,—

и человек исчезал с лица земли ещё надёжнее, чем по примитивному судебному приговору.

Ещё важным преимуществом ОСО было то, что его постановления нельзя было обжаловать — некуда было жаловаться: не было никакой инстанции ни выше его, ни ниже его. Подчинялось оно только министру внутренних дел, Сталину и Сатане.

Большим достоинством ОСО была и быстрота: её лимитировала лишь техника машинописи.

Наконец, ОСО не только не нуждалось видеть обвиняемого в глаза (тем разгружая межтюремный транспорт), но даже не требовало и фотографии его. В период большой загрузки тюрем тут было ещё то удобство, что заключённый, окончив следствие, мог не занимать собою места на тюремном полу, не есть дарового хлеба, а сразу — быть направляем в лагерь и честно там трудиться. Прочсть же копию выписки он мог и гораздо позже.

В льготных случаях бывало так, что заключённых выгружали из вагонов на станции назначения; тут же, близ полотна, ставили на колени (это — от побега, но получалось — для молитвы ОСО) и тотчас же прочитывали им приговоры. Бывало иначе: приходящие в Переборы в 1938 году этапы не знали ни своих статей, ни сроков, но встречавший их писарь уже знал и тут же находил в списке: СВЭ — пять лет.

А другие и в лагере по многу месяцев работали, не зная приговоров. После этого (рассказывает И. Добряк) их торжественно построили — да не когда-нибудь, а в день 1 Мая 1938 года, когда красные флаги висели, — и объявили приговоры тройки по Сталинской области: от десяти до двадцати лет каждому. А мой лагерный бригадир Синябровых в том же 1938 с целым эшелонем неосуждённых отправлен был из Челябинска в Череповец. Шли месяцы, зэки там работали. Вдруг зимою, в выходной день (замечаете, в какие дни-то?

выгода ОСО в чём?), в трескучий мороз их выгнали во двор, построили, вышел приезжий лейтенант и представился, что прислан объявить им постановления ОСО. Но парень он оказался не злой, покосился на их худую обувь, на солнце в морозных столбах и сказал так:

— А впрочем, ребята, чего вам тут мёрзнуть? Знайте: всем вам дало ОСО по десять лет, это редко-редко кому по восемь. Понятно? Р-разой-дись!..

* * *

Но при такой откровенной машинности Особого Сопещения — зачем ещё суды? Зачем конка, когда есть бесшумный современный трамвай, из которого не выпрыгнешь? Кормление судейских?

А просто неприлично государству совсем не иметь судов. В 1919 году VIII съезд партии записал в программе: стремиться, чтобы *всё трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей*. «Всё поголовно» привлечь не удалось, судейское дело тонкое, но и не без суда же вовсе!

Впрочем, наши политические суды — спецколлегии областных судов, военные трибуналы округов, ну и все Верховные — дружно тянутся за ОСО, они тоже не погрязли в гласном судопроизводстве и прениях сторон.

Первая и главная их черта — закрытость. Они прежде всего закрыты — для своего удобства.

И мы так уже привыкли к тому, что миллионы и миллионы людей осуждены в закрытых заседаниях, мы настолько сжились с этим, что иной замороженный сын, брат или племянник осуждённого ещё и фыркает тебе с убеждённостью: «А как же ты хотел? Значит, *касается* дело... Враги узнают! Нельзя...»

Так, боясь, что «враги узнают», и заколачиваем мы свою голову между собственных колен. Кто теперь в нашем отечестве, кроме книжных червей, помнит, что Каракозову, стрелявшему в царя, дали защитника? Что Желябова и всех народовольцев судили гласно, совсем не боясь, что «турки узнают»? Что Веру Засулич, стрелявшую, если переводить на наши термины, в начальника столичного управления МВД (и ранившую его только что не смертельно, не так попала, а калибр пули был медвежий), — не только не уничтожили в застенках, не только не судили закрыто, но в открытом суде её о п р а в д а л и присяжные заседатели (не Тройка) — и она с уличным триумфом уехала в карете?

Этими сравнениями я не хочу сказать, что в России когда-то был совершенный суд. Вероятно, достойный суд есть самый поздний плод самого зрелого общества, либо уж надо иметь царя Соломона. Владимир Даль отмечает, что в дореформенной России «не было ни одной поговорки в похвалу судам»! Это что-нибудь значит. Да и в похвалу земским начальникам тоже ни одной поговорки сложить не успели. Но судебная реформа 1864 года всё же ставила хоть городскую часть нашего общества на путь, ведущий к английским образцам.

Говоря всё это, я не забываю и высказанного Достоевским против наших судов присяжных («Дневник писателя»): о злоупотреблении адвокатским красноречием («Господа присяжные! да какая б это была женщина, если б она не зарезала соперницы?.. Господа присяжные! да кто б из вас не выбросил ребёнка из окна?..»), о том, что у присяжных минутный импульс может перевесить гражданскую ответственность⁴⁷. Но Достоевский опасаясь не того, чего надо было опасаться! Он считал гласный суд уже достигнутым навсегда!.. (Да кто из его современников мог поверить в ОСО?..) В другом месте пишет и он: «...лучше ошибиться в милосердии, чем в казни». О да, да!

⁴⁷ Мы это видим порой на современном Западе и не можем восхититься. Именно этого опасался Достоевский, душою уйдя далеко вперед от нашей тогдашней жизни.

Злоупотребление красноречием есть болезнь не только становящегося суда, но и шире — ставшей уже демократии (ставшей, но и успевшей утратить свои нравственные цели). Та же Англия даёт нам примеры, как для перевеса своей партии лидер оппозиции не стесняется приписывать правительству худшее положение дел в стране, чем оно есть на самом деле.

Злоупотребление красноречием — это худо. Но какое ж слово тогда применим для злоупотребления закрытостью? Мечтал Достоевский о таком суде, где всё нужное *в защиту* обвиняемого выскажет прокурор. Это сколько ж нам веков ещё ждать? Наш общественный опыт пока неизмеримо обогатил нас такими адвокатами, которые *обвиняют* подсудимого («Как честный советский человек, как истинный патриот, я не могу не испытывать отвращения при разборе этих злодеяний...»).

А как хорошо в закрытом заседании! Мантия не нужна, можно и рукава засучить. Как легко работать! — ни микрофонов, ни корреспондентов, ни публики. (Нет, отчего, публика бывает, но: следователи. Например, в Леноблсуд они приходили днём послушать, как ведут себя их питомцы, а ночью потом навещали в тюрьме тех, кого надо было *усовестить*⁴⁸.)

Вторая главная черта наших политических судов — определённость в работе. То есть предрешённость приговоров.

Всё тот же сборник «От тюрьмы...» навязывает нам материал: что предрешённость приговоров — дело давнее, что и в 1924-29 годах приговоры судов регулировались единими административно-экономическими соображениями. Что начиная с 1924 года из-за безработицы в стране суды уменьшили число приговоров к исправтрудработам с проживанием на дому и увеличили краткосрочные тюремные приговоры (речь, конечно, о бытовиках). От этого произошло переполнение тюрем краткосрочниками (до шести месяцев) и недостаточное использование их на работе в колониях. В начале 1929 Наркомюст СССР циркуляром № 5 осудил вынесение краткосрочных приговоров, а 6.11.29 (в канун двенадцатой годовщины Октября и вступая в строительство социализма) постановлением ЦИК и СНК было уже просто *запрещено* давать срок менее одного года!

Судья заранее знает — или по твоему делу конкретно, или в виде общей инструкции, — какой приговор желателен. (Да ведь и телефон обычно есть в судейской комнате!) Даже, по образцу ОСО, бывают и приговоры все заранее отпечатаны на машинке, и только фамилии потом вносятся от руки. И если какой-нибудь Страхович вскричит в судебном заседании: «Да не мог же я быть завербован Игнатовским, когда мне было от роду десять лет!» — так председателю (трибунал ЛВО, 1942) только гаркнуть: «Не клеветайте на советскую разведку!» Уже всё давно решено: всей группе Игнатовского вкруговую — расстрел. И только примешался в группу какой-то Липов: из группы *никто его не знает, и он никого не знает*. Ну, так Липову — десять лет, ладно.

Предрешённость приговоров — насколько ж она облегчает тернистую жизнь судьи! Тут не столько даже облегчение ума — думать не надо, — сколько облегчение моральное: ты не терзаешься, что вот ошибёшься в приговоре и осиротишь собственных своих детишек. И даже такого заядлого судью-убийцу как Ульриха — какой крупный расстрел не его ртом произнесён? — предрешённость располагает к добродушию. Вот в 1945 Военная Коллегия разбирает дело «эстонских сепаратистов». Председательствует низенький плотный плотный добродушный Ульрих. Он не пропускает случая пошутить не только с коллегами, но и с заключёнными (ведь это человечность и есть! новая черта, где это видано?). Узнав, что Сузи — адвокат, он ему с улыбкой: «Вот и пригодилась вам ваша профессия!» Ну что, в самом деле, им делить? зачем озлобляться? Суд идёт по приятному распорядку: прямо тут за судейским столом и курят, в приятное время — хороший обеденный

⁴⁸ Группа Ч-на.

перерыв. А к вечеру подошло — надо идти *совещаться*. Да кто ж совещается ночью? Заключённых оставили сидеть всю ночь за столами, а сами поехали по домам. Утром пришли свеженькие, выбритые, в девять утра: «Встать, суд идет!» — и всем по *червонцу*.

Ну, и наконец, третья черта наших судов — это *диалектика* (а раньше грубо называлось: «дышло, куда повернёшь, туда и вышло»). Кодекс не должен быть застывшим камнем на пути судьи. Статьям Кодекса уже десять, пятнадцать, двадцать лет быстротекущей жизни, и, как говорил Фауст:

Весь мир меняется, несётся всё вперёд,
А я нарушить слова не посмею?

Все статьи обросли истолкованиями, указаниями, инструкциями. Если деяние обвиняемого не охватывается Кодексом, так можно осуждать ещё:

- по *аналогии* (какие возможности!);
- просто за *происхождение* (7-35, принадлежность к социально-опасной среде);
- за *связь с опасными лицами*⁴⁹ (вот где широта! какое лицо опасно и в чём связь — это лишь судье видно).

Только не надо придираться к чёткости издаваемых законов. Вот 13 января 1950 вышел указ о возврате смертной казни (надо думать, из подвалов Берии она и не уходила). Написано: можно казнить *подрывников-диверсантов*. Что это значит? Не сказано. Иосиф Виссарионович любит так: недосказать, намекнуть. Здесь только ли о том, кто толовой шашкой подрывает рельсы? Не написано. «Диверсант» мы знаем давно: кто выпустил недоброкачественную продукцию — тот и диверсант. А кто такой «подрывник»? Например, если разговорами в трамвае *подрывал* авторитет правительства? Или замуж вышла за иностранца — разве она не *погорвала* величия нашей родины?..

Да не судья судит — судья только зарплату получает, судит инструкция! Инструкция тридцать седьмого года: **десять — двадцать — расстрел**. Инструкция сорок третьего: **двадцать каторги — повешение**. Инструкция сорок пятого: всем вкруговую по **десять плюс пять лишения прав** (рабочая сила на три пятилетки)⁵⁰. Инструкция сорок девятого: всем по **двадцать пять** вкруговую. (И так настоящий шпион — Шульц, Берлин, 1948 — мог получить десять лет, а никогда им не бывший Гюнтер Вашкау — двадцать пять. Потому что — волна, 1949 год.)

Машина штампует. Однажды арестованный лишён всех прав уже при обрезании пуговиц на пороге ГБ и не может избежать срока. И юридические **работники** так привыкли к этому, что оскандалились в 1958 году: напечатали в газете проект новых «Основ уголовного производства СССР» и в нём за были и дать пункт о возможном содержании оправдательного приговора! Правительственная газета («Известия», 10 сентября 1958) мягко выговорила: «*Может создаться впечатление, что наши суды выносят только обвинительные приговоры*».

А статья на сторону юристов: почему, собственно, суд должен иметь два исхода, если всеобщие *выборы* производятся из *одного* кандидата? Да оправдательный приговор — это же экономическая бессмыслица! Ведь это значит, что и осведомители, и оперативники, и следствие, и прокуратура, и внутренняя охрана тюрьмы, и конвой — все проработали вхолостую!

Вот одно простое и типичное трибунальское дело. В 1941 году в наших бездействующих войсках, стоявших в Монголии, оперчекист-

⁴⁹ Этого мы не знали. Это нам газета «Известия» рассказала в июле 1957 года.

⁵⁰ Как Бабаев им крикнул, правда бытовик: «Да намордника мне хоть триста лет вешайте! И до смерти за вас руки не подыму, благодетели!» (Здесь «намордник» — лишение политических прав.)

ские отделы должны были проявить активность и бдительность. Военфельдшер Лозовский, имевший повод приревновать какую-то женщину к лейтенанту Павлу Чульпенёву, это сообразил. Он задал Чульпенёву, с глазу на глаз, три вопроса: 1. Как ты думаешь — почему мы отступаем перед немцами? (Чульпенёв: техники у него больше, да и отобилизовался раньше. Лозовский: нет, это манёвр, мы его заманиваем.) 2. Ты веришь в помощь союзников? (Чульпенёв: верю, что помогут, но не бескорыстно. Лозовский: обманут, не помогут ничуть.) 3. Почему Северо-Западным фронтом послан командовать Ворошилов?

Чульпенёв ответил и забыл. А Лозовский написал донос. Чульпенёв вызван в политотдел дивизии и исключён из комсомола: за поразительные настроения, за восхваление немецкой техники, за умаление стратегии нашего командования. Больше всего при этом ораторствует комсорг Калягин (он на Халхин-Голе при Чульпенёве проявил себя трусом, и теперь ему удобно навсегда убрать свидетеля).

Арест. Единственная очная ставка с Лозовским. Их прежний разговор и не обсуждается следователем. Вопрос только: знаете ли вы этого человека? — Да. — Свидетель, можете идти. (Следователь боится, что обвинение развалится.)⁵¹

Подавленный месячным сидением в яме, Чульпенёв предстаёт перед трибуналом 36-й мотодивизии. Присутствуют: комиссар дивизии Лебедев, начальник политотдела Слесарев. Свидетель Лозовский на суд даже не вызван. (Однако для оформления ложных показаний уже после суда возьмут подпись и с Лозовского и с комиссара Серёгина.) Вопросы суда: был у вас разговор с Лозовским? о чём он вас спрашивал? как вы ответили? Чульпенёв простодушно докладывает, он всё ещё не видит своей вины. «Но ведь многие же разговаривают!» — наивно восклицает он. Суд отзвучив: «Кто именно? Назовите». Но Чульпенёв не из их породы! Ему дают последнее слово. «Прошу суд ещё раз проверить мой патриотизм, дать мне задание, связанное со смертью!» И, простосердечный богатырь: «Мне — и тому, кто меня оклеветал, нам вместе!»

Э, нет, эти рыцарские замашки мы имеем задание в народе убивать. Лозовский должен выдавать порошки, Серёгин должен воспитывать бойцов⁵². И разве важно — умрёшь ты или не умрёшь? Важно, что мы стояли на страже. Вышли, покурили, вернулись: десять лет и три лишения прав.

Таких дел в каждой дивизии за войну было не десять (иначе дорогогато было бы содержать трибунал). А сколько всего дивизий — пусть посчитает читатель.

...Удручающе похожи друг на друга заседания трибуналов. Удручающе безлики и бесчувственны судьи — резиновые перчатки. Приговоры — все с конвейера.

Все держат серьёзный вид, но все понимают, что это — балаган, и яснее всего это — конвойным ребятам, попроще. На новосибирской пересылке в 1945 конвой принимает арестантов переключкой по *делам*: «Такой-то! — 58-1-а, двадцать пять лет». Начальник конвоя заинтересовался: «За что дали?» — «Да ни за что». — «Врешь. Ни за что — десять дают!»

Когда трибунал торопится, «совещание» занимает одну минуту — выйти и войти. Когда рабочий день трибунала по шестнадцать часов подряд — в дверь совещательной комнаты видна белая скатерть, накрытый стол, вазы с фруктами. Если не очень спешат — приговор любя читает «с психологией»: «...приговорить к высшей мере наказания!...» Пауза. Судья смотрит осуждённому в глаза, это интересно: как

⁵¹ Лозовский теперь кандидат медицинских наук, живёт в Москве, у него всё благополучно. Чульпенёв — водитель троллейбуса.

⁵² Серёгин Виктор Андреевич сейчас в Москве, работает в комбинате бытового обслуживания при Моссовете. Живёт хорошо.

он переживает? что он там сейчас чувствует? «...Но, учитывая чисто-сердечное раскаяние...»

Все стены трибунальной ожидальни исцарапаны гвоздями и карандашами: «получил расстрел», «получил четвертную», «получил десятку». Надписей не стирают: это назидательно. Бойся, клонись и не думай, что ты можешь что-нибудь изменить своим поведением. Хоть демосфенову речь произнеси в своё оправдание в пустом зале при кучке следователей (Ольга Слюзберг на ВерхСуде, 1938) — это ни сколько тебе не поможет. Вот поднять с десяти на расстрел — это ты можешь; вот если крикнешь им: «Вы — фашисты! Я стыжусь, что несколько лет состоял в вашей партии!» (Николай Семёнович Даскаль — спецколлегии Азово-Черноморского края, председатель Хелик, Майкоп, 1937) — тогда мотанут новое дело, тогда погубят.

Чавдаров рассказывает случай, когда на суде обвиняемые вдруг отказались от всех своих ложных признаний на следствии. Что ж? Если и была заминка для перегляда, то только несколько секунд. Прокурор потребовал перерыва, не объясняя зачем. Из следственной тюрьмы примчались следователи и их подсобники-молотобойцы. Всех подсудимых, разведённых по боксам, снова хорошо избили, обещая на втором перерыве добить. Перерыв окончился. Судья заново всех опросил — и все теперь признали.

Выдающуюся ловкость проявил Александр Григорьевич Каретников, директор научно-исследовательского текстильного института. Перед самым тем, как должно было открыться заседание Военной Коллегии Верховного Суда (а почему для гражданских, невоеннообязанных, — всё трибунал да Военная Коллегия? этому мы уже и удивляться перестали, не спрашиваем), — он заявил через охрану, что хочет дать *дополнительные* показания. Это, конечно, заинтересовало. Его принял прокурор. Каретников обнажил ему свою гниющую ключицу, перебитую табуреткой следователя, и заявил: «Я всё подписал под пытками». Уж прокурор проклинал себя за жадность к «дополнительным» показаниям, но поздно. Каждый из них бестрепетен, лишь пока он — незамечаемая часть общей действующей машины. Но как только на нём сосредоточилась личная ответственность, луч света упёрся прямо в него — он бледнеет, он понимает, что и он — ничто, и он может поскользнуться на любой корке. Так Каретников поймал прокурора, и тот не решился притушить дело. Началось заседание Военной Коллегии, Каретников повторил всё и там... Вот когда Военная Коллегия ушла действительно совещаться! Но приговор она могла вынести только оправдательный и, значит, тут же освободить Каретникова. И поэтому... не вынесла н и к а к о г о!

Как ни в чём не бывало, взяли Каретникова опять в тюрьму, подлечили его, поддержали три месяца. Пришёл новый следователь, очень вежливый, выписал новый ордер на арест (если б Коллегия не кривила, хоть эти три месяца Каретников мог бы погулять на воле!), задал снова вопросы первого следователя. Каретников, предчувствуя свободу, держался стойко и ни в чём не признавал себя виноватым. И что же?.. По ОСО он получил восемь лет.

Этот пример достаточно показывает возможности арестанта и возможности ОСО. А Державин так писал:

Пристрастный суд разбоя злее,
Судьи враги, где спит закон:
Пред вами гражданина шея
Протянута без оборон.

Но редко у Военной Коллегии Верховного Суда случались такие неприятности, да и вообще редко она протирала свои мутные глаза, чтобы взглянуть на отдельного оловянного арестантика. А. Д. Романов, инженер-электрик, в 1937 был втащен наверх, на четвёртый этаж, бегом по лестнице двумя конвоирами под руки (лифт, вероятно, рабо-

тал, но арестанты сыпали так часто, что тогда и сотрудникам бы не подняться). Разминувшись со встречным, уже осуждённым, вбежали в зал. Военная Коллегия так торопилась, что даже не сидели, а стояли все трое. С трудом отдышавшись (ведь обессилел от долгого следствия), Романов вымолвил свою фамилию, имя-отчество. Что-то бормотнули, переглянулись, и Ульрих — всё он же! — объявил: «Двадцать лет!» И прочь бегом поволокли Романова, бегом втащили следующего.

Случилось, как во сне: в феврале 1963 по той же самой лестнице (нарочно отказался от лифта, чтобы рассмотреть лестницу), но в вежливом сопровождении полковника-парторга, пришлось подняться и мне. Ото всего Архипелага — мне единственному, судьба! И в зале с круглою колоннадой, где, говорят, заседает пленум Верховного Суда Союза, с огромным подковообразным столом и внутри его ещё с круглым и семью старинными стульями, меня слушали семьдесят сотрудников Военной Коллегии — вот той самой, которая судила когда-то Каретникова и Романова и других, и прочее, и так далее... И я сказал им: «Что за знаменательный день! Будучи осуждён сперва на лагерь, потом на вечную ссылку — я никогда в глаза не видел ни одного судьи. И вот теперь я вижу вас всех, собранных вместе!» (И они-то видели живого зэка, протёртыми глазами, — впервые.)

Но, оказывается, это были — не они. Да. Теперь говорили они, что — это были не они. Уверяли меня, что тех — уже нет. Некоторые ушли на почётную пенсию, кого-то сняли. (Ульрих, выдающийся из палачей, был снят, оказывается, ещё при Сталине, в 1950 году, за... бесхребетность!) Кое-кого (наперечёт нескольких) даже судили при Хрущёве, и те со скамьи подсудимых угрожали: «Сегодня ты нас судишь, а завтра мы тебя, смотри!» Но как все начинания Хрущёва, это движение, сперва очень энергичное, было им вскоре забыто, покинуто и не дошло до черты необратимого изменения, а значит, осталось в области прежней.

В несколько голосов ветераны юриспруденции теперь вспоминали, подбрасывая мне невольно материал для этой главы. (А если б они взяли вспомнить да опубликовать? Но годы идут, вот ещё пять прошло, а светлее не стало⁵³.) Вспомнили, как на судебных совещаниях с трибуны судьи гордились тем, что удалось не применять статью 51-ю УК о смягчающих обстоятельствах и таким образом удалось давать двадцать пять вместо десятки! Или как были униженно *суды подчинены Органам!* Некому судье поступило на суд дело: гражданин, вернувшийся из Соединённых Штатов, клеветнически утверждал, что там хорошие автомобильные дороги. И больше ничего. И в деле — больше ничего! Судья отважился вернуть дело на доследование с целью получения «полноценного антисоветского материала» — то есть, чтобы заключённого этого попытали и побили. Но эту благую цель судьи не учили, отвечено было с гневом: «Вы что, нашим Органам не доверяете?» — и судья был... сослан секретарём трибунала на Сахалин! (При Хрущёве было мягче: «провинившихся» судей посылали... ну, куда б вы думали?... адвокатами!⁵⁴ Так же склонялась перед Органами и прокуратура. Когда в 1942 году вопиюще разгласилось злоупотребление Рюмина в североморской контрразведке, прокуратура не посмела вмешаться своею властью, а лишь почтительно доложила Абакумову, что его мальчишки шалят. Было отчего Абакумову считать Органы солью земли! (Тогда-то, вызвав Рюмина, он его и возвысил на свою погибель.)

⁵³ А ещё десять прошло — и снова какая ж хмарь непроглядная! (1978)

⁵⁴ «Известия» от 9.6.64. Тут интересен взгляд на судебную защиту!.. А в 1918 судей, выносящих слишком мягкие приговоры, В. И. Ленин требовал исключать из партии.

Просто времени не было, они бы мне рассказали и вдесятеро. Но задумаешься и над этим. Если и суд и прокуратура были только пешками министра госбезопасности — так, может и отдельною главою их не надо описывать?

Они рассказывали мне наперебой, я оглядывался и удивлялся: да это люди! вполне люди! Вот они улыбаются! Вот они искренно изъясняют, как хотели только хорошего. Ну, а если так повернётся ещё, что опять придётся им меня судить? — вот в этом зале (мне показывают главный зал).

Так что ж, и осудят.

Кто ж у истока — курица или яйцо? люди или система?

Несколько веков была у нас пословица: не бойся закона — бойся судьи.

Но, мне кажется, Закон перешагнул уже через людей, люди отстали в жестокости. И пора эту пословицу вывернуть: не бойся судьи — бойся закона.

Абакумовского, конечно.

Вот они выходят на трибуну, обсуждая «Ивана Денисовича». Вот они обрадованно говорят, что книга эта облегчила их совесть (так и говорят...). Признают, что я дал картину ещё очень смягчённую, что *каждый* из них знает более тяжёлые лагеря. Так — ведали?..) Из семидесяти человек, сидящих по подкове, несколько выступающих оказываются сведущими в литературе, даже читателями «Нового мира», они жаждут реформ, живо судят о наших общественных язвах, о запущенности деревни...

Я сижу и думаю: если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба — что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами?

А — обрушится, ведь не миновать.

(Продолжение следует)



ЕЛЕНА МАТУСОВСКАЯ
(1945 — 1979)



ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Мне пенье не давалось с детских лет —
не то чтоб наступил медведь на ухо,
но так и не раскрылся мне секрет
взаимосвязи голоса и слуха.

Когда, весь класс разбив на голоса,
учитель детским пеньем правил нежно
и хор взлетал покорно и прилежно
к плафонам, к аркам, к сводам, к парусам, —

тогда, помедлив начинать урок,
чтобы не портить стройного звучанья,
меня, пока не прозвенит звонок,
просил учитель сохранять молчанье.

И, бессловесно стоя в стороне
в пространстве гулком актового зала,
я мучалась от чувства, что во мне
прекрасная мелодия звучала.

Но только лишь, смущенье поборов,
я эту песню подпускала к горлу,
мелодия, как зов простого горна,
унылым хрипом наполняла рот.

С тех детских, тенью отлетевших дней
в себе я ощущаю ту же муку:
как музыка, сокрытая во мне,
напрасно жаждет воплотиться звуком.

Но только лишь осмелится рука
начать пером движение привычно —
и за пером ползущая строка
звучит фальшиво и косноязычно.

Больные дети

Больные дети не играют,
а, тихо сидя в стороне,
как бы невидимо сгорают
в неосязаемом огне.

Как строго предписал режим,
размеренно и осторожно
вся жизнь их хрупкая лежит
между «нельзя» и «невозможно».

Словно упорный педагог,
долбящий тупо суть предмета,
им мир преподает урок,
что на земле им места нету,
что даже жук и муравей
возникли с целью и со смыслом,
а им смириться надо с мыслью
о непричастности своей
всему, что бегаёт, летает,
что продолжает вид и род,
что вырастает, расцветает
и в свой черед даёт приплод.

Как рано пожелтевший лист,
до срока предсказавший осень,
они есть вечный знак вопроса —
ужель Господь несправедлив?

Когда болезнь их отмечает
своей ласкающей рукой,
отрада тихого прощанья
им как награда и покой.
Не упрекая, что возмездье
настигло их за чей-то грех,
они беседуют о смерти,
как о прогулке и игре.
И в тот короткий, куцый век,
что скроен вкривь и не по росту,
на их недетские вопросы
их детский ум даёт ответ.

Но тщетно к ним идти с вопросом.
Как первый снег, как легкий дым
они уходят. И уносят
ту тайну, что открылась им.



ЮРИЙ КРАСАВИН

★

ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ

Повесть

Я живу в двухэтажном деревянном доме, каких ныне уже не строят в городах. Ни кружевных карнизов не имеет он, ни резными наличниками или ставнями не украшен — строили без затей. Говорят, принадлежал он в начале века некоему торговцу, разбогатевшему на продаже картошки да огурцов. А чем еще можно было промышлять в нашем городке? Жили здесь люди практичные, больше ценившие пользу, а не красоту, потому, кстати сказать, клубнику да цветы стали выращивать в последнее десятилетие, а прежде-то считалось за бабство.

В войну, как вспоминают, в нашем доме помещалась столовая: нижний этаж — для солдат, верхний — для офицеров. Городок был тыловой, много войск в нем не стояло, возможно, хватало и столь великой столовой.

Ныне в офицерской столовой мне с домочадцами принадлежат две комнаты, меж которыми как раз посредине сложена печка — обеда варить она не предназначена, зато славно обогревает нас зимой. Окошек в нашей квартире много, целых шесть, и обращены они на три стороны света, потому солнце гостит у нас с утра до вечера. Жена моя называет наше жилье двухкомнатным фонарем, нам все и всех видно, а нас не очень. Подоконники низкие, на уровне колена, удобны для сидения.

Ничто не теснит вида из моих окон: кирпичные пятиэтажки маячат лишь вдалеке, здесь же только частные домики, колодцы с журавлями, мощенные булыжником улицы. Правда, мостили их давно, еще до первой мировой, так что у нас тут весной и осенью ни проходу, ни проезду.

С десяток дворов и огородов — как на ладони. С одной стороны прямо под моими окнами — владения деда Андрея. Это низенький и жилистый, шустрый старичок в неизменной соломенной шляпе, которая столь ветха, что мне сверху видна просвечивающая сквозь прореху дедова лысина.

Дед Андрей заботливо выращивает гладиолусы, флоксы, пионы, астры, хризантемы, а бабка Оля продает их на базаре, на вокзале или у проходной завода. Иногда после удачно завершенной огородно-торговой операции они выносят стол и две табуретки под яблоню и ставят самовар. Хозяйка пьет чашку за чашкой, а хозяин сидит напротив — перед ним четвертинка водки и граненый стаканчик, именуемый стопкой. От улицы их отгораживает высокий дощатый забор, и старичкам кажется, что место у них совершенно укромное, что их никто не видит — полное отдохновение души.

Сначала соседи мои беседуют тихо и любовно, но вот, слышно, звучит главное:

Журнальный вариант.

— Я русский солдат! — Дед Андрей для пущей убедительности пристукивает кулаком по груди или по столу.— Ты слышишь, старуха?

И уж известно, что последует дальше.

— Слышу, слышу,— говорит бабка Оля с той интонацией, с какой Заяц отвечает Волку в известном мультипликационном фильме.

Все бы ничего, но она что-то еще добавляет, отчего дед Андрей начинает грозно сдвигать брови.

— А я тебе говорю: я русский солдат! А ты мне что? Морковку полоть? Огурцы поливать?

— Да ладно, ладно,— частит бабка.

— Я три войны прошел! Ты слышишь? Три войны!

— Что ж тебя ни на одной не ухойдакали? Знать, плохо воевал.

Тоже ведьма хорошая эта бабка Оля. Случайные прохожие на улице останавливаются возле ворот, прислушиваются, потом, пожимая плечами, идут дальше. Ну и правильно, без них разберутся.

С другой стороны под моими окнами хозяйство Бориса Пикулева. Когда-то тут жила старуха с тремя взрослыми сыновьями. Расселись братья Пикулевы тут же поблизости, очень дружно обзавелись детьми, причем как отцы их были похожи друг на друга — белобрысы, кудрявы,— так и младшее поколение: словно одного отца дети. Самое же забавное — когда пикулята подросли и переженились, у них тоже пошла детвора, похожая на отцов и дедов,— беленькие, голубоглазые, кудрявые.

— Пикулевы породу не меняют! — посмеивались соседи.

Теперь уже ребятишки этой породы бегают по всем улицам нашего городка, а в соседнем со мною доме остался только старший из Пикулевых — Борис. Он всегда болен и всегда что-нибудь строит, причем потихоньку-полегоньку. Ему уже «оттяпали пол-легкого» и «отрезали полжелудка», но, выйдя из больницы, бледный и худой, он принимается за очередную стройку: так появились новая верандочка, колодец, сменилась крыша у сарая...

Кажется, между старшими братьями Пикулевыми и их сыновьями идет ревностное соревнование, кто лучше обстроится, потому что из дворов и огородов то и дело слышен звон пилы и стук топора. Средств больших у них нет, делают все из обрезков да обломков, вроде бы из ничего, однако хозяйства крепнут и растут. Если б не белоголовая малышня, что копошится тут же, дела шли и вовсе споро.

Последнее увлечение Бориса — теплица; кажется, она-то и отобьет его от очередной стройки. Он поставил теплицу прошлой зимой, и в первое же лето в ней вызрели помидоры, удивив и самого хозяина и его жену Таню. Та работает продавщицей в магазине, помидоры куда-то очень выгодно сдала, так что очередной весны, я знал, соседи мои Пикулевы ждали с нетерпением, и Борис за зиму чуть не вдвое увеличил теплицу.

— Вот уйду на пенсию...— говорит он мечтательно и при этом сильно сомневается, что до пенсии доживет.

Он как будто под конец жизни отыскал новый смысл ее и свое предназначение, потому спешит, спешит...

Наконец, с третьей стороны располагается хозяйство, которое, собственно, и побуждает меня к размышлению.

— А не люблю я этот городишко! — Леонид Васильевич, перешагивая очередную лужу, тяжело вздохнул.

Жена покосилась на него иронически: вот так всякий раз — стоит сойти с поезда, непременно скажет эту фразу.

— Городишко как городишко,— сказала Нина благодушно.— Чем плох? Посмотри, сколько садов. Рай земной да и только. Эх, зачем мы с тобой, Леня, забрались в столицу! Зачем не живем здесь: и Волга, и городок тихий, и леса вокруг.

В минувшую неделю шли обильные дожди, но вот уж два дня как установилась ясная погода, и в лужах отражалось сейчас высокое весеннее небо, расписанное белыми шлейфами самолетов. Скворцы деятельно обживали прибитые на шестах, на деревьях скворечники; молодой травкой густо обметало обочины дороги и лужайки, молодой листвой — деревья. Гроздь черемухи вот-вот распустятся...

— Воздух-то какой! И ни тебе толкотни, ни суеты. Слышь, петушок пропел.

— Как приеду сюда, возникает такое тянущее, гнетущее чувство...

— Ну и меня кое-что не радует, поверь. Однако вот терплю. Не из одних приятностей жизнь состоит, терпи и ты. Сказано же: что пройдет, то будет мило. Ведь прошло, Леня, да и давно прошло! Не кручинься, добрый молодец.

Его не мог обмануть беспечный тон жены: за ним крылось совсем другое.

— Слышь, Нин,— отвлек он ее,— вот сейчас завернем за те липы и увидим толстых баб.

— Что за бабы?

— Мать их так зовет. Целыми днями сидят на скамейке, смотрят: кто ни пройдет мимо, кто ни проедет — всех обсудят. У них полная информация по всем аспектам сугубо личной жизни знакомых и незнакомых им людей... И что за город! Ах, какая тоска меня гнетет!

— Как это один из моих учеников в сочинении написал: к нему прилетела птица Грусть и села на сердце...

— Я надеюсь, ты поставила ему пятерку?

— Хотела, да рука не поднялась: в слове «сердце» этот философ умудрился сделать две ошибки.

— Буквояд ты, сути не видишь.

Может быть, Нина догадывалась, о чем он грустит... Наверно, догадывалась. Да, конечно же догадывалась.

Некогда, окончив строительный техникум, уехал он в большой сибирский город, и, когда отработал там положенное, мать стала звать его к себе: приезжай да приезжай, сынок, и дом требует ремонта, и огород большой, а у нее-де уж и «старась подпират» и «здорове не важно». Было ей в ту пору лет около пятидесяти, рановато начала стариться.

Он сообщил матери, что есть у него девушка и если ехать, то хотелось бы вдвоем. Мать ответила ему в том смысле, что девушек и у них в городке полно, табунами ходят, так разумно ли везти с собой то, чего и здесь хватает. Он настаивал, и она уступила: раз уж выбрал, то «бох стобой женис». Он воспринял это как материнское благословение.

Теперь Леонид Васильевич явственно вспомнил — а вспоминал это всегда, когда приезжал сюда,— как шли они с юной женой вот здесь, мимо магазина, школы, колодца... С юной женой, но то была не Нина, а — Тая, Таечка...

Приехали они в конце зимы, поздно вечером; шли хрусткой тропкой меж сугробами и по сугробам. А одеты были оба по великой бедности своей в осенне-весеннее: он в ботинках на рыбьем меху, она в резиновых ботах «на кнопочках» — словно не из суровой Сибири заявились, а из южных краев. Мороз их припекал! Улицы городка были пустынные и молчаливые, только собаки брехали.

Наконец отыскали они нужную улицу, заснеженную, непроезжую, и материн дом с блеклыми желтоватыми окнами, словно хозяйка по деревенской привычке сидела при керосиновой лампе. Нет, то свет был электрический, но лампочка слаба, при такой только сумерничать.

Стучали довольно долго — это из-за того, что не решались громыхнуть погромче: волновались оба — как-то сейчас встретит мать? Она откликнулась из-за двери испуганным голосом, долго открывала: дверной крючок из-за мороза не поддавался, потому мать была в первую же минуту ужасно раздосадована. Вошли, и она за ними сильно хлопнула дверью.

Помнится, сиро и холодно оказалось в доме; стекла изнутри обмелало инеем, пар от дыхания не таял, потому гости хоть не раздевайся; печь посреди избы обернута мешковиной и обмазана поверх глиной, даже обкручена для большей крепости проволокой.

— Разваливается, — пожаловалась мать, как только они прислонились погреться, — дымит очень.

Должно быть, печная забота была столь важна, что не отступила и в минуту радостной встречи.

Кровать с проржавевшими шарами на спинке, два кривых венских стула, поцарапанное зеркало в простенке, сундук с висячим замком да еще изрубленная то ли топором, то ли сечкой скамья — таково было убранство дома.

— Сарайсто? — ревниво спросила мать и после паузы объяснила: — Кое-как отогревала хоромину, все денежки ухнула, а на обзаведение не хватает. Дров и то не на что купить! А на дворе еще зима, до тепла-то, знать, и не доживешь.

А Таю больше всего заинтересовала висевшая в переднем углу перед иконами лампада, стеклянная, на цепках, — она была зажжена. Такого дива Тая, выросшая в детдоме, не видывала и оглянулась вопрошительно на мужа.

— Среженье завтра, — сказала мать строго. — Большой праздник.

— Ты же неверующая, мам! — поспешил сказать он для успокоения Таи.

В первый тот вечер разве что одна тучка набежала — мать спросила:

— Да вы что же, и постели своей не привезли? На материной спать будете?

Нет, постель они привезли: одеяло, две подушки и простыни, — но оставили в камере хранения на вокзале. Кстати, он противился, не хотел брать все это в столь дальнюю дорогу: «Что ж ты думаешь, у матери не на чем будет спать?» — но Тая настояла, и вот теперь ему было приятно, что она оказалась такой предусмотрительной.

Прожили в ладу и согласии неделю, спали молодые на кровати, под своим одеялом, мать — на печи, там теплее. На печи она и до их приезда спала. Днем молодые отправлялись в ближний лес, срубали там еловую сухостойну и приносили домой. Распиливали, раскальвали и вечером этими дровами топили печь, замазывая дымящиеся щели глиной, которую накапывали в подполе; питались жареной картошкой да солеными огурцами, большими, будто тыковки, с опавшими боками. Помнится, вечером сидели у веселой этой печки, перебирали деревенские новости, и Таечка все расспрашивала свекровь о деревенском житье, дивясь всему: у нее в Сибири все не так. Хорошие то были разговоры.

Неделю спустя он устроился на завод, а еще через день и Тая вышла на работу. Как только остались наедине, мать заплакала в голос:

— Ой, Леня, что же ты натворил!..

— А что я натворил?

— Леня, сыночек, ты обженился!

На их деревенском языке это означало: неудачно женился, попал как кур во щи. Он оторопел.

— Ой, сынушка, что же ты наделал! Да неуж получше-то не нашел! Для такой ли я тебя растила, берегла, выучила!

— Почему обженился-то?! — и возмутился и озадачился он, поскольку чувствовал себя совершенно счастливым.

— Ты у меня вон какой парень — и с образованием, и непьющий, и некурящий. А она что? Эко — восемь классов. Эко специальность какая: маляр. Да такую ли тебе жену-то надо! Я вот заглянула к ней в чемоданчик, а там два ситцевых платья и больше ничего. Да так ли замуж-то выходят! Это не на колодец по воду — замуж-то! Нету ничего, так что за семья будет у тебя, девка? Стоило ли торопиться-то так? Наживи сначала все, что полагается, а потом уж. Вот я выходила замуж: у меня приданое было — на двух телегах везли! Одной одежды сколько! А обужи!

— Ну кто теперь на телегах приданое возит, мам? Где ты видела?

— Нынче на грузовиках везут! А ты как думал? С улицы, что ли, невесту-то берут! Женильба — не баловство, не забава. А ты что же, голую взял! Голую!.. Последняя из никудышных.

Это о Тае-то — никудышная! Это о ней-то!.. Но что верно, то верно: нарядов у нее не было.

— Ты с приданным вышла — что ж нынче небогата?

— Меня война подкосила! У меня мужа убило!

— Значит, не главное то, что война может отобрать.

— А что ж, по-твоему, главное-то?

— Любовь!

— Да кака така любовь! — Мать была возмущена этим заявлением более всего. — Ваша любовь — только в постели спать. А жить-то на что? Жить-то как будете?

Он сказал тогда матери, что они с Таей будут работать, что они хотят учиться и что — вот она увидит! — непременно оба поступят в институт. Со временем все у них будет: и тряпки и мебель, — да что об этом говорить, это пустое! Разве не так все люди живут? Разве есть другой путь достигнуть благополучия помимо своего собственного труда?

Но никакие доводы не действовали на мать, и чем настойчивее он убеждал ее, чем с большей горячностью делал это, тем непримиримей и напористей становилась она.

— Что ты, родимой! — уже кричала мать, глядя на него страшными глазами, как на человека настолько заблудшего, что не видит он самой ясной очевидности. — Разуй глаза-то! Ты бы еще нищенку с улицы взял! Да и твоя-то чем лучше нищенки? Ни образования, ни приданого, ни роду-племени — ничего!

Он сам кричал в ответ, не считаясь с тем, что соседи, проходя мимо их дома, могут слышать и скандал станет известен всем: не до того было. За живое взяло, за самое основное, на чем стояла, утвердись, его тогдашняя жизнь!

— Учиться они пойдут!.. Она у тебя забрюхатеет скоро! Дети посыплются — чем жить-то будете? Опять: мама, давай!

— Мы же вот работать пошли оба! Разве мы к тебе на иждивение приехали?

— Я думала, помощник матери-то будет на старости лет, а тебе обувать-одевать свою жену — это сколько денег надо!

Мать плакала в голос — это было неподдельное, глубокое горе, именно горе, которое униженный сын осознал тогда, но которому не нашел убедительной причины и оправдания.

Те же самые упреки и в столь же горячей форме она высказала и Тае. Юная невестка растерялась. А разве не могла она сама сказать тогда хоть мужу своему, хоть свекрови: «Куда это я попала по вашей милости? Почему я должна жить в этакой-то бедности? Зачем ты на мне женился, Леня, если не можешь создать для молодой жены лучшую жизнь, чем эта?»

Ей, конечно, и в голову такое не пришло: хорошо-то не жила, считала, что так, как они с матерью, и все живут. Она только сказала ему:

— Разве матери не лучше с нами? Ведь мы ей все-таки помощники. Я думала, мы будем жить с нею очень дружно. Разве ей не веселее с нами? Ты спроси у нее, Ленья.

Он спросил.

— Конечно! — сказала мать в ответ. — У нас в деревне было так-то: три развалюхи колхоза соединили в один и думали — они, мол, от этого станут богаче. Если в одном кошельке пусто и в другом тоже, то перекади из одного в другой — то-то денег прибавится!

У нее были свои резоны, у них свои.

На этот раз опасения его оказались напрасными: скамейка возле углового дома, где обычно сидели «толстые бабы», была пуста.

— Вымерли... — пробормотал Леонид Васильевич.

Теперь возле той скамейки играл белобрысенький мальчик в синем берете с помпоном, из-под которого выбивались кудряшки, — он разровнял кучку песка и чертил щепкой, приговаривая:

— А вот здесь у меня посажена морковь... ее поливать надо... а здесь огурцы и их поливать... а это картошка...

— Пикуленок, — определил Леонид Васильевич.

— Что?

— Я говорю: парнишечка-то Пикулевых. Новое поколение.

— А-а... Они породу не меняют!

Мальчик вскинул на засмеявшихся Овчинниковых очень серьезный взгляд и провожал их глазами, пока они не подошли к материнскому дому.

А дом этот являл ныне собой вполне благопристойный вид: обшит тесом, верандочка сбоку; крыша уже не в заплатках из ржавой жести — шиферная; и антенна телевизора вознесена на шесте.

Нет, нынешний прежнему далеко не родня! Но вместе с тем зоркий глаз Леонида Васильевича улавливал, что строение держится из последних сил; старость уже подступает, и если теперь вот не принять действенных мер, дом попросту упадет. Не рухнет с треском и грохотом, а тихо, без шума повалится, оседет, как трухлявый гриб. Бывают такие грибы: снаружи смотреть — румяный красавец, а возьмешь в руки — губка губкой.

— По-моему, хоромы эти уже исчерпали свой жизненный ресурс, — усмехнувшись, сказал он. — Они еще двадцать лет назад готовы были повалиться. Уж мы с ним повозились в те поры!

— М-да... Его теперь не ремонтировать, а заново строить надо, — сказала Нина размышляюще.

— Эх, я бы занялся, ей-богу! — бодро отозвался муж и даже плечами пошевелил. — Хочется на что-то стоящее употребить свои молодецкие силы. Давай уговорим мать заново строиться, а? Место обжитое... Воздвигнем такие хоромы!

— Давай, — благодушно сказала жена. — Дураков работа любит.

Леонид Васильевич открыл огородную калитку — зашаталась вся изгородь. Она была подперта с обеих сторон такими же дряхлыми колышками — к этим колышкам в свою очередь подпорки нужны. Вот откуда прежде всего впечатление шаткости всего хозяйства!

— Тише ты, медведь! — испугалась Нина.

— А чего?

— Да ведь уронишь всю стрелицу!

— Ее и надо уронить.

Мать что-то рублила возле сарая, какой-то хворосток, стук топора раздавался бодро, деловито. Она увидела гостей в тот момент, когда сын, приостановившись, снисходительно изучал, на чем дер-

жится калитка и почему ее не открывать приходится, а отволакивать. Ясное дело: петли перержавели, прикручена эта дверца к столбу дюралевой проволокой да неопределенного цвета и происхождения тряпицей — то ли чулок, то ли поясок. Леонид Васильевич покачал головой и пошел навстречу матери.

— Да в магазине спрашивала — негу таких петель, есть только маленькие, для форточек... — объяснила она, подходя. — Ну, здравствуйте!

— Здравствуй, мам. Если бы знал, привез бы тебе петель.

— Да кабы только это! Всего-то не привезешь...

Что-то ворохнулось у него в груди, когда он, нагнувшись слегка, обнял и поцеловал мать. Впору растрогаться, хоть слезу роняй. Давненько не был он здесь. А как давненько? С прошлого лета. Старенькая мать на фоне этого старенького хозяйства выглядела трогательно.

— А я уж жду вас, жду... — говорила она, как обычно при встрече, чтобы скрыть свою радость: расчувствовалась. — Хворосток прибираю возле сарая, а сама на дорогу все поглядываю: не идут ли? Засумлевалась: где уж, мол! Пособирались да и отдумали. Опять на курорт утапились. Ну, проходите в избу-то, проходите.

Гости поднялись на крыльцо, свежевывмытое, с чистыми половичками, открыли тяжелую, утепленную дверь в избу, вошли, поставили сумки у порога, огляделись. Мать, войдя следом, тяжко бухнула дверь.

Леонид Васильевич оглядывался, будто попал сюда впервые: все здесь показалось маленьким, тесным... Пол покат, обои старенькие, переборку перекосило — бедным выглядело жильё. Бедным и этак по-старушечьи приборанным. Зеркало в простенке все то же, хоть и давно уже собиралась мать заменить его: оно досталось ей от прежней хозяйки. Что поцарапано с краев — не самая главная беда зеркала, а вот через все лоно его проходят сверху донизу две волны; на середине лучше на себя не смотреть, только с краешку.

Печь, естественно, уже не обмотана мешковиной, потому как тогда еще, в первый же год по приезде из Сибири, они саморучно переклали ее заново. Не шибко казисто получилась, но мать утверждает, что печь «дело правит».

У дощатой переборки знакомый фикус. Мать, бывало, загораживала им дверь в маленькую комнатку, где жили молодые, так что выйти оттуда можно было только в обход печи, через кухонный чулан. Фикус был непреодолимым пограничным укреплением — подика его тронь! Впрочем, мать не надеялась на его надежную службу и для пущей верности вбила в косяк большой гвоздь и загнула, чтоб не открыть было дверь. Тут он до сих пор торчит, хоть и отогнутый уже вверх, — не гвоздь, а символ! Очень многозначительная штука. В красном углу комод, на комодe телевизор, над телевизором икона, и лампадка зажжена.

— Она у тебя всегда горит, мам?

— Да ведь нынче праздник!

— Опять Сретенье? — спросил сын, и вопрос этот отозвался в нем самом, как в лесу, эхом.

— Что ты! — сказала она, удивляясь его неосведомленности. — Сретенье-то зимой бывает, по снегу, а теперь май, вот-вот черемуха зацветет.

Вспомнила ли мать сейчас то, что так живо в памяти его? Кажется, нет. Неужели нет?

— Разве не знаешь, какой нынче праздник?

— Может, Троицын день?

— Окстись! Троицын ему!.. Молчи уж. И ты, Нина, не знаешь?

— Откуда?

— Ай-я-яй. — Мать покачала головой. — Как же вы живете? Ничего не знаете...

— Ведь ты у меня неверующая.— Сын опять как бы оправдывал мать в глазах жены.— Признайся, не веришь в бога-то? Молитвы все забыла, креститься разучилась... А?

— Да грешница, что и говорить,— отозвалась она со вздохом.— В церковь не хожу, постов не соблюдаю. Греха-то накопилось — теперь и не отмолишь.

— А вот лампадку все-таки зажигаешь. На всякий случай, да? Авось скостит парочку грехов?

Леонид Васильевич пошучивал легко, отрадно. Нина посмотрела на него с интересом.

— Леня, зажгу лампадку — и как-то хорошо станет. Маму вспомню, царство ей небесное, тятю... Бывало, в каждый праздник она зажигалась, порядок знали... И отца твоего помяну: царство небесное убиенному Василию. Я ить, Леня, на Васину пенсию-то перешла. Забыла, писала ли?

— Писала.

— Ну вот. Лиза мне посоветовала Верзилина. Чай, знаешь ее.

— Нет, не знаю.

— Ну как же! Вот в доме-то, что тесом обшит да наличники зеленые...

Леонид Васильевич пожал плечами и улыбнулся.

— Лиза Верзилина! Она все с толстыми бабами сидит.

— Не знаю, мам.

— А она говорит, ты с нею завсю здороваешься.

— Я вежливый,— сообщил матери сын и оглянулся на жену, а ту смех пробрал.— Так, значит, посоветовала. Дальше что?

— Вот она и сказала: а ты, говорит, Настя, сходи в собес, там новый указ вышел — которые вдовы, тем могут пенсию дать за мужа. Вот я и пошла. А там девушка такая приветливая сидит, дай бог ей здоровья! Все расспросила и сказала: вам, говорит, полагается пенсия тридцать шесть рублей, вот такое-то заявление составьте и извещение о муже принесите... Я все сделала, как она велела. Вот мне и прибавили пенсию-то.

— Намного?

— На два рубля. Раньше-то я получала тридцать четыре. А что ты смеешься?

Нет, смех сына ей был ничто, зато неприятно задела улыбка невестки.

— Дело не в деньгах,— сказала она,— а в том, что я теперь за Васю получаю. Вроде как он мне платит.

— Ну конечно, не в деньгах! — подхватила Нина и укоризненно глянула на мужа.

Но это не погасило в матери вдруг возникшее чувство обиды.

Необходимо прервать повествование и пояснить, как относилась мать к своим невесткам: их у нее было две, хотя сын один. Первая, по рассказам соседей и самой свекрови, была строптивая, «поперешная», все «фордыбачилась», да «фыркала», да «озоровала», все было ей «не так да не едак». Прожила она тут полтора года, родила недоношенного, ребеночек умер, после чего «укатила в свою Сибирь».

Кажется, ее жалеет и ныне свекровь, во всяком случае есть у меня такое подозрение.

А что касается Нины...

С самой первой встречи мать испытывает к ней глубокую неприязнь. Она не может объяснить толком, что же, собственно, не нравится ей в невестке. Ведь если Тая была детдомовская, «почти что голая замуж выскочила», то о Нине этого не скажешь: она из благополучной семьи и, как говорила мать, «с приданным ли, нет ли, а с образованием». Однако каждое слово, каждый шаг нынешней жены сына вызывали негодование матери: «Не проста, а схитра». Ничто

не могло поколебать глубокой неприязни к невестке, она даже избегала называть ее по имени, а только так: «эта». Вернее, «ета». Толстым бабам объясняла так:

— Да чего уж!.. Все себе на уме. Вот как приеду к ним, чуть порог переступлю — а ета так зырнет, так зырнет!.. А чего я ей плохого сделала? Ну приехала повидаться с сыном, с внуками. За стол сядем — я уж вижу, что ета косится. Не знаю, чем и угодить. Ить и варенья привезу, и яблоч сушеных, и всего, а она все недовольна. Что вы думаете: разу мамой не назвала. А как зовет? Да словно на смех, Анастасией, вишь, Сергеевной. И детей-то от меня отшатила. Ребятки-те и рады бы другой раз к бабушке подойти, а глянут на мать — и в сторону. Она так глазами-то и сторожит... А сыночек чего: он у нее в руках. Известно, ночная-то кукушка завсегда дневную перекукует, муж да жена — одна сотона. Он бы тоже иной раз к матери рад, да оглядывается на ету...

Толстые бабы жаждали фактов, каковые явно бы обличали невестку, но она, по мнению матери, была столь скрытна, что за многие годы ни разу не обмолвилась словом, которое можно было бы поставить в строку. Тем обидней был для матери ее вежливый и ласковый (притворно, конечно!) тон.

— Да ить она хитра! — говорила мать со злостью. — Она, подика... слова спроста не скажет, а все с подковыркой, все в насмешку. А то молчит, себе на уме.

Хорошо, что Нина не знала, что о ней говорится на лавочке толстыми бабами, и не узнает об этом никогда. Она догадывалась, но мало ли о чем мы можем догадываться! Догадка — дело неверное.

Гости переобувались, переодевались, потрошили чемоданы. Нина принаравливалась к зеркалу с краю, чтоб не уродовать свое отображение.

— А у нас ить тут такое происшествие случилось, Ленъ! — вспомнила мать, торопливо выходя, чтоб рассказать. — Старуха девяносто годов в колодеце утонула!

— Да ну! — весело удивился сын, и они с Ниной переглянулись. Мать не заметила этого. — Ай-я-яй... Какое несчастье.

— Ей-богу! Она где-то вон там, за рекой, жила. Вот пошла по воду, и нету. Ну, нету и нету старухи. Потом спохватились. Уж как у нее получилось, то ли сама мырнула, то ли поскользнулась да... то ли подтолкнул кто. Всяко говорят. Вытащили — а она и жива не была.

Увидев, что сын подставил руки под рукомойник и звякнул стержнем, мать заспешила:

— Воды-то там нет. Я сейчас, сейчас...

Принесла воды в дюралевом ковшике. Леонид Васильевич принял его, налил в рукомойник, потом присмотрелся внимательней: что за чудо? — ковшик стар и давно уже пришел в самое жалкое состояние: и помят, и поцарапан, и оброс непонятого происхождения лишаями, похожими на окалину, а главное, лишился рукоятки; вместо нее мать приделала новую из толстой, тоже дюралевой проволоки, а для крепости и по соображениям большей красоты залепила эту ручку желтой оконной замазкой... Леонид Васильевич, дивясь, покачал головой, как давеча у калитки, но ничего не сказал, повесил инвалида на гвоздь.

Мать поспешила с оправданием:

— Нету ковшиков-то в магазине! Как ни спрошу... А то приду — ковшик есть, да в кармане-то... денег, глядишь, не взяла! Или уж истрясла все — нету!

Рукомойник тоже, между прочим, был примечателен: Леонид Васильевич мыл руки и размышлял о нем и так решил, что некогда он переделан был из самовара местным умельцем. И как самовар начинался время от времени кирпичным порошком, так и рукомойник

мать чистила один раз в год, а именно к Пасхе, до сияния. Сейчас он смотрелся веселым, нарядным — Пасха-то была не так давно, — только очень уж помят был, словно им долго играли в футбол.

— Да вот стала чистить-то, — сказала мать, проходя мимо, — и протерла до дыры. А теперь ведь лудить да паять по дворам не ходят.

Верно, бок рукомошника был залеплен в одном месте той же замазкой, что и ковшик.

— И рукомошников нет в магазине?

— Да и этот еще послужит.

— Конечно, что из него, стрелять, что ли? — сказал Леонид Васильевич и подмигнул все понимающей Нине. — О-хо-хо!

— А ты бы, родимый сыночек, купил матери-то в подарок рукомошник, — тихонько сказала Нина, поддельваясь под тон свекрови.

— И не говори, подружка, — отозвался муж. — Нынче сыновья-те какие пошли: скупердяи да жмоты!

Нина с замечательной миной на лице — ни иронической улыбки, ни, избави бог, скептической или насмешливой гримасы! — окинула взглядом стол: картошка прямо на сковороде чугунной, макароны — тоже на сковороде, только алюминиевой и с ручкой, соль в фаянсовой солонке, огромной, в два кулака, вилки гнутые (а ведь есть у матери хорошие вилки — бережет!), соленые огурцы в селедочнице, кильки в томатном соусе прямо в баночке консервной.

Она стала распаковывать сумки, и на столе появились колбаса такая и сякая, сыр такой и сякой, ветчина с кореечкой, селедка в баночке, масло сливочное...

— Да куда ты! — встревожилась мать. — Зачем столько-то!

— Съедем, — бодро отозвался на это сын.

— К празднику отложить бы, Леня.

— А нынче что?

— Ну да... А только побережь бы: вдруг кто прилучится.

— Так ведь мы вот прилучились!

— Ну да, ну да... А только что вдруг гость какой, а у нас нет ничего, все приели. Стыдом, что ли, борониться!

Все эти доводы были знакомы. Невестка принесла тарелки, деловито принялась сервировать стол. Мать следила за нею осуждающе и осталась недовольна, в досаде ушла на кухню.

— Ой, батюшки! — послышалось оттуда. — Ить у меня хлеба-то нет! Эка дура я — совсем забыла.

— Да есть у нас хлеб, мама! — крикнул Леонид Васильевич. — Мы в вашем магазине прихватили свежего!

— Надо же! А я забыла и забыла. Еще утром села почайпить, а у меня только сухарь черствой. Уж я размачивала.

— Пусть достанет те вилки, что мы ей купили, — шепнула Нина. — А эти давно выбросить пора.

— Скажи сама.

— Еще обидится! А ты — сын.

— Мам, вилки давай другие!

Она где-то долго рылась, достала наконец, принесла, на ходу вытирая их фартуком.

— А у тебя чистенько, — заметил Леонид Васильевич, расхаживая по передней комнате. — Половики опять стирала да полоскала в реке, да? И небось еще и в проруби?

В деревне она, бывало, предпринимала великую уборку и стирку обычно на страстной неделе, накануне Пасхи — все перестирывает да перемывает, и нужное и ненужное. Даже дымоход в трубе непременно чистит, а для этой цели заберется на чердак, где боров с вьюшками, оттуда через люк вскарабкается и на крышу, замирая от страха, орудует венником на шесте...

— А как же, сынок! — отозвалась мать. — На Волгу носила — водолица как раз была. И пол скребла, и потолки мыла... Потом не-

делю в лежку лежала: поясница совсем отбилась и печенка принялась...

— И опять трубу? — спросил сын.

— Нет, Лень, нянче я трубу-то не чистила. Не заленилась, нет, а вот почему: уж как я убилась, Лень! Думала, и жива не буду. А как получилось — думаю, дай-кось я сначала потолок-от вымою, а уж потом потихоньку и за трубу возьмусь: на улице дождь шел, крыша мокрая да и труба тоже. Ну вот... Стала потолок-от мыть, а не достану никак! Я подвинула сюда этот стол, а на него одним концом доску, а другим на кровать, вот на эту железину, на спинку. Ну и влезла и мою. А доска-то, видно, сошла, я ка-а-ак шарнусь! У меня тряпка в одну сторону, таз с водой в другую, а сама вот сюда всем прикладом хвостанулась и лежу. Ну, думаю, и не встану.

Она показала, куда что упало и где растянулась сама,— и все это со своеобразным удовольствием, чуть ли не с наслаждением. Так, кстати, бывало всегда: при каждой их встрече излюбленный ее рассказ — о том, как «шарнулась», «хвостанулась», «убилась», «ухойдакалась». Не далее как три месяца назад, приехав к сыну в гости, она прежде всего поведала: «Надумала в подпол лезть, да что-то этак повернулась, а и забыла, дура, что западня-то у меня открыта,— ну и бух туда! Да уж как убилась! Думала, и жива не буду. Синяки эва какие, и здесь, и здесь. И весь бок аж черный». И спускала чулок, показывала синяки, от которых у сына и невестки мороз по коже, а мать была при этом довольнехонька. Разгадка такого удовольствия проста: чем сильнее в своем рассказе она падала да ударялась и чем серьезней оказывались последствия таких падений, тем больше сочувствия ей и тем приятней было потерпевшей.

— Знать, я без памяти сколькё-то лежала. Встала — голова, как чугун, гудит... Но, слава богу, руки-ноги целы.

Слово в слово: как тогда, так и теперь.

— Да зачем же ты потолок-то взялась мыть? — возмутился сын.

— А как же, сынок!

— Да на черта он тебе сдался! Ради чего стараешься?

— Что ты, не знаешь свою маму? — заметила Нина. — Ей и праздник не в праздник, если не ухойдакается да разок не хвостанется.

— Эва как она! — удивилась мать и покачала головой. Вроде бы ничего особенного не сказала невестка, а все равно обидно.

— Тебе уж сколько раз говорено было: не мой, не мой ты этот потолок,— сердито выговаривал сын.— Посмотри: он лучше-то не стал. В твой ли годы лазить по потолкам да крышам? Заставь нас или вон Валентину с ее мужем-теоретиком.

Подобные выговоры доставляли матери истинное наслаждение: заботятся о ней! Для того и жаловалась.

— А и то, больше не буду. А то насовсем ухойдакаюсь. Много ли мне, старухе, надо! Стукнешься вот так башкой-то, ну и готова. И будешь лежать мертвая, никому не нужна.

— Да и в прошлом году уверяла, что не станешь мыть, а все-таки вот принялась,— заметила невестка.

— Дак закоптел! Дай, думаю, я его маненько...

Насладившись их состраданием, она ушла в кухню и уже оттуда спросила:

— Как там робяты-те?

— А чего им!

— Учатся?

— Да вот мы и уехали, чтоб им не мешать: к защите диплома оба готовятся.

— Ишь ты!.. Какие молодцы... Вспоминают ли бабушку-то?

— Вспоминают!..

Леонид Васильевич с Ниной усмехнулись одинаково.

Наконец сели за стол. Мать — она легка на подъем! — тотчас вскочила, говоря:

— Ну-ко погоди-ко... у меня же тут есть...

— Да не надо, мам! Сиди ты!

Сын уже догадался, зачем она вскочила.

Но мать подняла западню, проворно полезла в подпол.

— Сейчас угостит...— сказала Нина с улыбкой.

Из подпола появилась знакомая бутылка с бумажной пробкой, успевшей, кажется, даже заплесневеть.

— Это у меня свойское... Попробуйте-ка.

Улыбалась при этом прямо-таки заговорщицки.

Каждый раз так, хотя вино, по-видимому, время от времени заменяется более свежим.

— О господи! — тихонько вздохнула невестка.

Рецепт этого «своего» вина таков: когда кислая-прекислая красная смородина «загуляет», то есть довисит на кусте аж до сентября и в варенье мать ее употребить не успеет, вот тогда она ягоды снимет, растолчет пестиком в миске, разведет кипятком — заливает в бутылку; потом посыплет туда песку сахарного, ну и крошечку дрожжец бросит. После этого бутылка, заткнутая бумажной пробкой, опускается в подпол, где и ждет гостей. Иногда очень долго ждет.

Леонид Васильевич налил полрюмочки, церемонно пригубил, отставил: так сказать, выказал уважение.

— Знать, не понравилось мое-то вино? — как обычно, удивилась мать.

Она не озаботилась этим, нет. Понравилось или нет — для нее дело десятое, а главное, что было предложено, иначе говоря, «поставлено».

— Прекрасное вино! — похвалил сын, улыбаясь.

— Бориса Пикулева приглашала: в подполе свет у меня пропал, так он шнур новый провел, патрон заменил, я его и угостила. Да ить он не пьет после церемонии-то! Маленько пригубил.

— Ну и как?

— Хвалил. Ну, только сказал: водка лучше.

— Разбирается!

Бутылка со «своим» вином после обеда переключает в подпол, надо понимать, до следующего гостя («Вдруг кто прилучится!»), то есть до сына или зятя.

— Закусывайте-ко вот студнем-то.

И тут же объяснила с довольным видом, что вот-де все берегла свиные ножки и как хорошо, что сберегла!

— Постой-ка...— насторожился сын.— Это уж не те ли, что ты купила зимой, когда к нам приезжала?

— Те самые,— подтвердила мать прямо-таки горделиво.— Одну чуть было не сварила на Пасху, хотела тоже студень сделать. Добавлю, думаю, желатинцу... Да тут от вас письмо получила: нет, гляжу, пусть лежат до гостей. Хороший студень-то получился — крепкой.

Кривое зеркало отразило, как переглянулись гости. Лицо невестки приняло странные очертания. Нина подвинулась к мужу, чтоб отражаться в зеркале нормально; мать же поняла это по-своему и самолюбиво поджала губы.

— Да-а,— только и сказал Леонид Васильевич.

Разговаривая, он оглядывал материно жилье, и взгляд его избирательно отмечал: репродуктор на стене старый, похрипывает; на часах-ходиках вместо гири подвешен амбарный замок, а циферблат заржавел...

— Ты не проткни, Леня! — встревожилась мать, увидев, что сын испытывает на крепость подоконок, а тот проминается у него под пальцами.— Я уж боюсь и трогать. Покрасила в прошлом году, авось, думаю, не так будет гнить...

Он толкнул створки окна, а мать опять всполошилась:

— Ой, стекло-то вывалится!

Но створочка уже распахнулась — слава богу, не вывалилось стекло. С улицы повеял прохладный ветерок, и стал слышнее птичий щебет. В палисаднике под окном было заманчиво: травка там лезла молодая, кусты вишеника кучно набирали бутоны цветов. Земля просила заступа, изгородь — топора, а плодовые кусты — садового ножа.

— Закрой, закрой, Леня!

Он осторожно закрыл; верхнее стекло было составлено из двух частей внахлест, а чтоб не дуло, мать и там залепила замазкой, получилась безобразная полоса. Вот и стекла надо бы вставлять новые... Хозяйственные заботы сами заявляли о себе, требовали внимания и хлопот.

— Мне стыдно, Леня, что не купили мы матери вон хотя бы часы взамен этих или радио... — сказала Нина, когда свекровь вышла за чем-то в кухню. — Господи, я только сейчас разглядела, какое все старое. Выбрасывать пора!

Она не знала, а он знал: и часы и радио куплены еще в ту пору, когда здесь жила Тая... Вместе с теми вещами дух ее витал здесь.

— Да ведь есть у матери деньги, — заметил муж. — Что ж, думаешь, сама она не в состоянии сменить это на новое? Зять машину покупал — у нее занимал две с половиной тысячи! Это он мне сам проговорился. Я был удивлен такой суммой — откуда взялось? из каких копеек составилось? А мать призналась, что у нее и еще есть. Куда копит? Боже мой, зачем она их копит?!

— Ну, это ее дело. А наше — раскошелиться и обновить все. Вот и обои старые, Леня, да и зеркало надо сменить. — Она еще что-то хотела добавить, но не успела: мать вернулась с новым кушаньем.

— Ну-ка вот ешьте крупеник-от, а то он у меня что-то загулял со вчерашнего. Выручайте хозяйку!

Нина улыбнулась: все шло будто по заранее написанному сценарию: «выручать хозяйку» приходилось и в прошлые побывки. Гости вежливо подцепили на вилки по кубику крупеника.

Все было, как в давние деревенские вечера: печка топилась, весело потрескивая; отблески огня высвечивали оклеенную обоями стену; дождик стучался в окно, заставленное геранями.

— Теперь тебе ни о чем не надо беспокоиться, — говорил сын. — Мы все берем на себя, всякий ремонт, дрова, огородные работы — будет вовремя и сделано и запасено.

— Чего же, хорошо, — отвечала мать, почему-то не выражая при этом никакой радости.

— Мы и раньше делали бы так, да ведь далеко жили, а теперь что стоит приехать! Нам это просто в удовольствие: весной, вот как сейчас, так хочется покопаться в земле!

— Дак знамо, куда как хорошо вам будет! — разом оживившись, подхватила мать. — Тут и лучок и редиска — все не покупать! И варенья наварите.

— Ну, мам, мы же не ради лучка да редиски! Не повезем же это в Москву — у нас базар неподалеку, а там всякой зелени полно.

— Дак денежки платить надо, а тут, у мамы-то, задаром. И опять же вместо дачи вам — плохо ли!

— Да не нам, — поправила невестка, — а тебе сделаем все как лучше. Тебе, понимаешь? Себе-то дачу мы и поближе найдем. Вон у Лени в институте дачный кооператив организуется: и место прекрасное и ездить недалеко.

Нина явно хотела уточнить, чтоб мать не подумала чего: дом остается в ее собственности, они вовсе не намерены прибирать его в свое владение, хозяйкой остается она, и на ее права никто не покушается.

— Там, поди-ка, заново все построй да вырасти. А тут все готовое. Уж куда как хорошо вам будет,— повторяла мать с непонятным упрямством.— Тут и река, тут и все.

Нина, улучив момент, даже шепнула мужу:

— По-моему, она не рада, а?

Леонид Васильевич пожал плечами.

— Что-то я и сам не пойму.

Точно так же какое-то соображение мешало ей радоваться тому, что сын с семьей перебрался на жительство в Москву и будет теперь совсем близко от нее: на электричке два часа пути.

Разговор как бы угас и продолжался нехотя, без воодушевления. Тогда гости повернули его в более благоприятное русло — на деревенские новости: что там да как. Вот тут мать немного оживилась.

— Теперь чего в деревне не жить! — сказала она почему-то с досадой.— И выходные и отпуска. Да и заработок какой! А мы, бывало, как работали. С утра до вечера, без праздников, а много ли получали? Тыфу только!

Ну, это ее рассуждение давно знакомо, и Леонид Васильевич осторожно направлял разговор на времена более отдаленные, когда их с Ниной и на свете не было,— вот что было интересно.

— А в единоличном-то хозяйстве, Леня, работы было и вовсе много. Я вот вспомню маму свою — уж как мы работали, а она-то еще больше. Без дела-то разу не посидела. Летом в поле да вокруг дома, а зима придет — прясть да ткать. Одной пряжи сколько пряли! Это подумать только: всю одежду на себя ткали да шили сами, ничего не покупали, разве что уж самое-самое нарядное. Всю зиму, бывало, с этим льном возятся: и мнут, и чешут, да опять, да снова... Ой, всего и не перечислишь.

Вот теперь беседа потекла что надо, сын с невесткой смотрели на мать любовно.

— Я помню, с девчонок ловка была прясть-то. Мама, бывало: «Настька, тоньше пряди!» Я ниточку тонкую-тонкую тяну. Моток-то мало прибавляется. Рядом подруги сидят, тоже проворные, но никто так тонко не пряд, как я. Мама меня хвалила: тебе, говорит, Настька, первый жених. Потом эти нитки отбеливали или красили... Ой, много хлопот, много!

Они прошли по всему льняному пути: от того, как его сеют, до того, как холсты ткут.

— Да, помню, пополол я ленку! — вздыхал разомлевший от воспоминаний Леонид Васильевич.— Июнь, самая жара, на речку хочется, так нет, сидишь посреди поля, под солнышком палящим и выдерживаешь желтуху... А этой проклятущей травы! Сейчас, мам, иногда увижу льняное поле — оно или зеленое, если не цветет еще, или голубое, когда цветет; краски чистые, без примеси. А бывало, на такое поле смотришь — оно пестрое от сорняков. Чаще всего желтое. И льну не видать.

— А драли этот лен,— вздыхала и мать.— Такой крепкой попадетя, да с осотом, да с татарником, с волчанкой... А уж всякой ромашки да васильков! Это только в песнях поется, что больно хороши, поди-ка их повыдирай — все руки оборвешь до кровавых мозолей.

— Ну и когда колотили — тоже страда. Ох, бывало, помню: пылища душит!.. И ведь придешь домой — разве что умоешься. Не то что нынче: перед тем как спать лечь, залезаешь в ванну.

Они засиделись допоздна, и это был, пожалуй, самый их лучший вечер за многие годы, другого такого не припомнить.

Хоть и топили печку, а когда спать укладывались, постель оказалась так холодна! И что самое неприятное: даже сыровата и отдавала как бы плесенью, на ней ведь не спали с прошлого лета, так что ничего удивительного.

Нина вздохнула тихонько: «О господи!» — и плотнее прижалась к мужу. Минуту спустя проворчала:

- И чего я, дура, не прихватила с собой простыней?
- Думаешь, у нее нет?
- Чего же она?
- Бережет.

Мать еще долго ходила, тяжело ступая, потом долго укладывалась. Уже уgomонилась, но вдруг встала с кровати и пошла проверять, не забыла ли запереть дверь в сенях, да напоследок так хлопнула тяжелой избяной дверью, что дом вздрогнул и даже вроде бы слегка покачнулся. Гости не удивились, ибо так бывало всегда.

— Эх, погода завтра не подвела бы,— сказал Леонид Васильевич тихо.— Поработать хочется.

— И мне тоже...— отозвалась жена.

Ночью в том месте, где сходились углами четыре огорода и где буйно разросся вербный куст, пел соловей. Ему откликался с берега реки другой, впрочем, не один, а сразу несколько, но тех-то едва слышать, а этот, что рядом, был так старателен — словно писал каллиграфическим почерком: с четкими лихими завитушками-запятыми, с дробью многоточий, с длинными тире.

И подумалось Леониду Васильевичу (то ли вспомнилось, то ли приснилось): не этого ли соловья слушали они с Таечкой? Нет, где уж! Через столько-то лет! Так, может, нынешний-то — его сын или внук?.. Сидели они тогда за сараем, спрятавшись от матери после очередной ссоры: Тая расплакалась и убежала сюда, а он пришел ее утешать. Там у стены бревнышко лежало, вот на нем и обнимались муж с женой: с одной стороны крапива жгучая, с другой их покалывал малинник.

«Боже мой! — вздыхал в полусне Леонид Васильевич.— Неужели так до старости?.. За работой забудешь, за домашними делами, а как станет на душе хорошо, так вспомню...»

А соловей-ночник пел-заливался — песен ему хватило до рассвета, и даже когда солнце поднялось, он все не унимался: передохнет — и снова пощелкивает.

Поутру Леонид Васильевич вышел на улицу и тут, пожалуй, впервые приглядевшись, удивился и озадачился: дверца, ведущая под веранду, перегнила от дождевого стока, мать залатала дощатую эту калиточку — и боже мой, как она сделала! Где эти доски валялись до той поры? Должно быть, служили полом в курятнике, а теперь хозяйка приладила их сюда... Курам на смех.

Шага два отступил от крыльца — как не удивиться снова: взгляд уперся в изгородь; надо полагать, она не однажды валилась, мать по мере надобности подпирала ее кольями, рогулинами высушенного вишенника, и все это было обвязано, обмотано ржавой проволокой, прутьями, веревочками, вязочками. Несмотря на хилость свою, изгородь была огружена стеклянными банками, хозяйственными тряпками, количество которых озадачивало: зачем столько тряпок, уже никуда не годных, даже для мытья полов?..

Мать вышла из дома, увидела, как он пробует крепость изгороди, а та старчески, немощно покряхтывает, и тотчас вступила:

— Эта-то крепкая, другие хуже. Ты вон ту глянь...

Он чуть посылнее качнул толстый и на вид прочный столб, на котором, казалось, все и держится,— тот мягко хрушнул у основания и повалился, увлекая за собой ближние колья.

— Ну вот, придется новый ставить,— сказал Леонид Васильевич, вздохнув.

— Откуда я тебе бревно-то возьму? — с досадой отозвалась мать.— Подпереть, да и пес с ним, постоит еще.

— То-то будет красота!

— А не то красиво, что красиво, а то, что дешево,— вот так-то, сынок.

Это один из основополагающих принципов ее жизни.

— Нет уж, новую изгородь поставим,— решил он.

— Конечно, неплохо бы, чего говорить. Эта еле держится. Ветер подует — того и гляди повалит. Третьеводни только подперла, подвязала, не успела порадоваться — Иван Адамыч идет; остановился со мной поговорить да возьми и прислонись — и сам упал, и всю стрелицу мне повалил. Уж я потом подпирала-подпирала.

Леонид Васильевич оглядывал огород, явно не зная, с чего начать, за что приняться.

— Топор-то хоть есть у тебя?

— Топор-то есть, да тупой. А ты чего хочешь делать?

— Ну мало ли. Вон хоть бы сухие вишни вырубить. Да и эта яблоня наполовину засохла, мертвые ветки обпилить надо. Пилы-то одно-ручной, конечно, нету?

— Двуручная есть. Только что ржавая, не точенная сто лет.

— Ладно... Белый налив не вывелся?

— Лентя, белого наливу у меня было три яблони. Одну ветром разломило, засохла. А другую мыши объели, погибла.

— Как это объели?

— Да пес меня надоумил возле нее сена набросать; я решила, что утеплит, мол, корни. А в сене мыши завелись, ну и за зиму обгрызли яблоню-то возле корня — засохла. Уж я так горевала, так горевала!

Последняя яблонька белый налив представляла собой жалкое зрелище: старый ствол ее поднимался от земли не выше человеческого роста и был источен жуком, там и тут пролегли по нему муравьиные дороги, в дупле насекомые натащили свой строительный мусор и, судя по всему, благоденствовали в трухлявой древесине. Ствол этот был к тому же в нескольких местах перевязан, перебинтован мешковиной и клеенкой.

— На зиму это я забинтовала,— объяснила мать.— Думаю, все теплее будет ей. Вот и колыями подперла, чтоб не сломало ветром.

Ее забота проявлена была к единственному живому побегу — над обрубок-стволом поднималась молоденькая, очень красиво раскинувшая ветки яблонька. Она уже зазеленела листочками, и это было как чудо — чем питалось деревце, по каким невероятным путям двигались живительные соки от корней?

Леонид Васильевич присел на корточки, стал разбинтовывать.

— Зачем ты, Лентя! К чему пристало!

Размотанная тряпка была сыра, под ней обнаружился скользкий гриб вроде чаги и целое гнездо маленьких красных червячков. Муравьи обеспокоенно бегали по стволу молодой яблоньки, что чудом поднялась на обпиленном старом стволе; Леонид Васильевич соскребал щепкой их вместе со слизнями, червями и мусором.

Вот теперь стало ясно, откуда и чем питается яблоня: по трухлявому стволу, обвивая его, шел узкий округлый валик с молодой живой кожей; он опасно истончался у корневища, но жил еще и гнал живительный сок вверх, к ветвям. И тем не менее яблонька была обречена. Не устоять ей на этом насквозь прогнившем стволе, ставшем мертвым столбом; подошел критический срок: первый же сильный порыв ветра повалит. Странно, как она уцелела до сих пор!

— Пес с ней,— сказала мать.— Вон возмись лучше у сарая крышу залатай, если у тебя руки чешутся. Губерою-то я купила. И с уборной что-то делать надо: того гляди провалишься в нее. Я уж побаиваюсь: ухнешь вот так и не вылезешь.

Итак, дверца под веранду, изгородь, крыша сарая... С чего начать?

— Идите завтракать! — позвала с крыльца Нина.— Я на стол собрала, кушанья ждут.

Ей видно было, что муж хмурится, раздосадован, а мать, напротив, будто воодушевлена чем-то.

— Что ж, начнем с завтрака... Это самое мудрое.

Леонид Васильевич, войдя в дом, сполоснул руки под инвалидом-рукомойником, рушник рядом с ним был стародавний, из домотканнины.

— У меня полотна-то много,— похвастала мать, заметив, что он разглядывает рушник.— Еще мама наткала, царство ей небесное. По сю пору в сундуке лежит новина.

И это почему-то раздосадовало его.

— Стекла надо новые вставить,— сказал он, когда усаживались за стол.— Эх, и рамы тоже!..

— А пес с ним со всем! — отозвалась мать с ожесточением.— Сколько мне и жить-то осталось на свете.

Она кусала от хлебного куска крупно, жевала громко. Невестка с непривычки покосилась на нее обеспокоенно.

— Я вон как эти часы... еле-еле тикают. Хоть второй замок цепляй к гире. А уж чего там, перержавело все. Наплюнуть.

Завтракали под ворчание матери:

— Вон и дом-то под стать хозяйке: все валится, все рушится. Там подопрешь, тут подвяжешь, а толку что? Половица вон та выпирает, потолочина прогибается — старенький домишко, чего говорить. Летом еще ладно, летом туда-сюда, а вот зимой холодно. Печь большая, как вагон, поди-ка ее натопи! Она только дрова жрет, а тепло все летит в трубу, топи не топи — один черт. На ночь кладу в постель две грелки с кипятком, одну к ногам, другую к пояснице,— с ними и сплю. Так ведь остывают! Утром встанешь — они холодные и в избе померзень.

— А вот сложу-ка я тебе лежаночку,— заявил сын.— А что? — Это он уже обращаясь к жене.— Я у Линтваревых видел книжку, называется «Как сложить печь своими руками». Там чертежи разных печных систем, расчет материалов, какие нужны и сколько, описание инструментов...

— Лежанку-то делать — пол придется перестилать.— Хозяйский разговор не мог оставить мать равнодушной.— Пол тронешь — стены гнилые. А потолок! Нет уж, не трог.

— Мы печь поставим на собственный фундамент, она будет дополнительной опорой и для пола и для потолка.

— Лежаночка-то у Смышляевых больно хороша... Они в ней и обед готовят — две конфорочки и духовка есть.

— А кто им клал? — спросила Нина.

— Как кто? Да сам хозяин, дед Андрей. Я, говорит, русский солдат, значит, все должен уметь. Взял да и сложил. А Пикулевы вон газ подвели, то ли дело — чиркнул спичку, и ни тебе растопки не надо... Минуты не пройдет — и уж закипело. И в избе потешлей.

— Как это им газ подвели, а тебя обошли? — взбодрился негодованием сын.

— Да от балдонов, Ленья! Балдоны-то ставит каждый сам себе... А где ж мне суметь!

Нет тут Севки со Славкой, а то внесли бы новое словечко в бабкин словарь.

Весна! Погода капризна, день на день не приходится: вчера вечером хмарно было и холодно, даже печку я топил, а нынче с утра солнышко, тепло...

— Вообще, надо признать, подзапустили мы материно хозяйство,— донесся до меня через раскрытое окно голос Леонида Васильевича из соседского огорода.

Дом Анастасии Сергеевны Овчинниковой выглядит со стороны почти солидно — этакий присадистый, основательный пятистенник,—

но вот все, что его окружает, как-то по-старушечьи легкомысленно. Стволы яблонь зачем-то обмотаны тряпками, вишни подперты рогатыми кольями, на изгороди навешено железяк — проволока ржавая в основном... Как ни встречу ее где-нибудь на улице — всегда что-нибудь несет: и дощечку бросовую подберет или вот старой проволоки круг. Кстати, это не от жадности, я думаю, а от хозяйской запасливости.

— Мне даже совестно,— слышу, признался Леонид Васильевич.— Что думают о нас соседи?

Он отпиливал у яблонь омертвевшие сучья, а жена его собирала в корзину склянки, черепки, консервные банки и выгребала граблями старую траву и всяческий мусор из вишенника.

— А соседи о нас вот что думают,— ровно отвечала ему жена; голос у нее всегда этак благожелательно-диктующий, учительский.— Приезжают, мол, белоручки да чистолюи, до матери-старухи им дела нет.

— Что, неужели прямо вот так и..

— Да уж можешь не сомневаться.

«Ну не совсем так,— подумал я, слушая разговор супругов,— но, в общем, где-то близко к истине».

— Не казнись,— утешила мужа Нина, и по голосу слышно: улыбается.— Не ты один виноват, есть и еще кое-кто.

— Кого ты имеешь в виду?

— А теоретик-то? Небось почаще нашего приезжал сюда, детей своих на каждое лето привозил, а картошку, яблоки, ягоды отсюда увозил. Мог бы и приложить свои белы руки к чему-нибудь.

— Теоретику некогда, дачу строит. Второй этаж возводит...

Это они о зяте.

Он приезжает на собственных «Жигулях» нежно-зеленого цвета, подкатывает бережно, вылезает солидно. Худощавый, с глубокими залысинами, одет довольно небрежно, всегда в старенькое, и если б не заграничные темные очки, можно было бы принять его за человека вполне рядовой профессии. Но известно, что он неплохой специалист в какой-то из военных отраслей. Как-то он сказал: «Я — теоретик, а в какой области, вы все равно не поймете, даже если б я вам и попытался растолковать. Но сделать этого, увы, не могу, у нас все засекречено».

Зять-теоретик производит впечатление очень утомленного человека. Наверно, много работает. Или из-за дальней дороги? Живет он с женой Валентиной и двумя детьми то ли в Ярославле, то ли в Горьком. Двоих детей дошкольного возраста неизменно на каждое лето привозит сюда, теще, в начале июля, а забирает в конце августа.

Анастасия Сергеевна всякий раз водит его по огороду, показывает, что где у нее растет и зреет, он молча слушает, одобрительно кивая, что-то кратко говорит. Если она угостит свежим огурчиком или редиской, он схрупает предложенное неторопливо, задумчиво; при этом они обсуждают не что-нибудь, а именно этот огурчик.

Что тут скажешь: серьезный и внимательный, уважительный человек.

Обычно он переночует у тещи и рано утром уезжает. А перед тем как уехать, они вдвоем носят к машине банки с вареньями, мешочки с чем-то — наверно, с сушеными яблоками,— насыпают в багажник картошку или спелые сливы... После этого он неторопливо, как бы осторожно уезжает.

— Леня, да, чай, наплюнуть! — слышу я голос матери.— Чего ты их отпиливаешь! Ведь не мешают.

— Ну некрасиво, мам. Мертвые же сучья.

— Повредишь яблоню-то,— сердится она.

Слышно, как он объясняет ей, зачем нужно непременно обрезать

омертвевшие ветви у яблони, а в голосе уже прорывается нетерпение и досада.

Зять-теоретик такого никогда не позволяет по отношению к матери, то есть к своей теще. От него не услышишь резкого слова. О, это полная противоположность Леониду Васильевичу! Сын нетерпелив, легко раздражается, порывист, даже вспылчив, а зять вежлив, внимателен, несуетлив. Кажется, матери с зятем легче, нежели с сыном, и он ей каким-то образом ближе, понятнее.

Наскоро пообедав, Леонид Васильевич ушел и вернулся через час на машине с надписью «Горгаз»; с ним был молодой парень, который принялся что-то вымерять рулеткой в кухонном чулане — в углу и у окна, — весело приговаривая:

— Счас, бабушка, бусделано.

С Леонидом Васильевичем он при этом разговаривал доверительно и по-свойски, словно они уже вступили в деловые отношения и более того — успели подружиться. Мать следила за их хлопотами несколько озадаченно, выражение недоверчивости не покидало ее лица: она будто бы хотела и боялась еще сказать: «Да господи! Да неужели!»

Парень на машине «Горгаз» исчез так же вдруг, как и появился.

— Чего он, Лень? — испуганно спросила мать.

— Делать начал, — вроде бы равнодушно отозвался Леонид Васильевич.

— Да неуж газ проведут?

Леониду Васильевичу нравилось играть взятую на себя роль эдакого всемогущего человека, и он продлил удовольствие:

— Так тебе двухконфорочную?

— Двух, двух.

— Поставят. Сегодня к вечеру будем печь блины на газовой плите. — Вроде это такое пустяковое дело, что не стоит и разговору.

— Что-то не верится.

— Это вы не знаете своего сына, — заметила невестка.

Мать недоверчиво покачала головой. Леонид Васильевич между тем деятельно переоделся в будничное, закатал рукава рубахи, явно намереваясь продолжать череду добрых дел.

— погоди! погоди! — заторопилась вдруг мать. — Я тебе принесу.

Она поспешила на веранду, где у нее стоял еще один сундук, открыла крышку, порылась и достала ему брючишки старенькие, с заплатами на заду, однако стираные и даже вроде бы глаженные.

— Хорошие еще, здоровые. Надень. — Она подержала их в руках, чтоб показать, какие они прочные.

— Да будет тебе, мам. Зачем они мне?

— Чего будет-то! — Она прибавила в голосе. — Кто же в новых-то штанах работает!

Сын не слушал ее, вышел.

За хлопотами в горгазе он не забыл заглянуть в хозяйственный магазин и привез целую сумку железных вещей: дверные петли разных размеров, уголки, длинные гвозди, набор стамесок, а еще топор дровяной и топорик маленький, уже насаженный, и — ковшичек новенький, эмалированный!.. Старый ковшик сдернул с гвоздя и, выйдя на улицу, забросил прямо с крыльца в малинник, в самый дальний угол огорода.

В сарае, как и накануне, его поразил развал старого хлама: сундук без крышки и с прогнившим дном, кадушки без обручей, ящики с неведомо откуда взятыми ржавыми гайками, гнутыми гвоздями, перегорелыми радиолампами, шайбами стальными и резиновыми, расколотыми штепселями... банки-склянки в рваных корзинах. По стенам висели прелые мотки веревки, ржавой проволоки, решета без решетных полотен, грабли без зубьев, мятые ведра и корзины без днищ,

разбитое деревянное корыто явно из сказки о рыбаке и рыбке... В углу стояли ручки без вил, вилы без ручек... Почему-то оказалось сразу три детских коляски, старые, ржавые... Небось от квартирантов в наследство достались. И тут же прислонена была к стене здоровенная кувада. К чему матери все это? Зачем она все хранит?

— М-да,— только и сказал он, оглядев развал добра. В делогодились разве что ржавые гвозди в одном из ящиков, да и те оказались горелыми. Должно быть, мать добывала их из печной золы.

Он еще раз осмотрел, чем располагает для работы: гвозди, топор... Молотка нет! Порылся на полке, вместо молотка отыскал ржавую стамеску.

— Леня, вот я еще одни принесла,— послышалось от двери,— глянь, какие хорошие, совсем без заплат, еще крепкие. Только маленько в краске.

— Да не надо, мам!

— Как же не надо: жалко эти-то! Вот озырь упрямой! Ты ему одно, а он поперек.

— Ладно, не ругайся. Лучше скажи: у тебя молоток где?

— А пошто он тебе?

Сначала объясни ей, «пошто» нужен молоток, а потом уж она скажет, где тот лежит.

— Должен быть, где-то видела как будто...— Она заглядывала на полки, в ящики.— Вот память-то дырявая... Буде к Пикулевым сходить?..

Вместо молотка нашелся напильник, совершенно ржавый и шербленый. Леонид Васильевич выбросил его вон — мать тотчас подобрала.

— Мам, он не годится уже никуда! — возмутился он, теряя терпение.— Вишь, насечка ржавчиной изъедена?

Положила принесенные брюки на поленницу, подобрала осколок кирпича, принялась отчищать напильник.

Махнув рукой и уже рассердясь, Леонид Васильевич отправился пришивать половицы на веранде. Жена попалась ему навстречу: несла ворох какого-то тряпья.

— В доме прибираюсь,— сказала она на ходу.— Выброшу, а?

— Да конечно! Снеси за сарай, потом сожжем.

Он деловито принялся за половицы в сенях: уж больно они хлябали. И справился с ними довольно быстро: на счастье, переводы оказались целы, не погнили.

Нина пришла, сообщила со смешком:

— Отняла она у меня этот хлам: ты что, говорит, на половые тряпки пригодятся. Не спорить же с ней!

— Ох, неужели и мы с тобой в старости будем такие?

— Тише, идет!..

Мать деловито запихнула тряпки под кровать, что стояла на веранде, нагруженная досками и старыми половиками, а сыну протянула ободранный напильник, красный от ржавчины и кирпичной пыли.

— Вот, Леня. Хороший еще напильник,— нахваливала она.— Может, его в керосине вымочить?

— Да не нужен он мне, мам! Я новый куплю. Дай мне поработать.

Он сказал это уже в сердцах, и она обиделась.

— Да чего ты все мать-ту отчекиваешь! — вскричала она.— Я к нему по-хорошему, а ему все не так да не этак.

— Мам, не обижайся. В самом деле, не мешала бы ты мне, а?

— Не успел приехать, а все-то ему не так,— пробормотала она и ушла в дом.

— Ну вот,— вздохнул он.— Опять скандал. По каждому поводу...

— А ты не груби матери,— наставительно сказала Нина.— Слушайся ее: и штаны надень, и за напильничек похвали.

Они засмеялись оба.

— Ой да Леня! — слышалось из дома. — Гляди-ко, купил...

Она вышла оттуда с новеньким ковшичком в руках.

— Уж больно хорош!

Так искренна и полна была ее радость, что сыну стало даже не ловко.

— Рубль все и удовольствие! — пробормотал он.

— Так ведь не было! Спрошу, нет ли ковшика: нету, говорят. А то раз пришла — уж такие ковшички, гляжу! Цоп в карман-то — денег не хватает.

— А вы берите всегда денег побольше, — посоветовала хитрая невестка. — Мало ли что подвернется в магазине.

— Больно просто — я ить берегу денежку-то! Думаю, возьмешь побольше — все и истрясешь. А так нету — ну и нету.

— Куда ты бережешь? — осведомился сын. — И для чего?

— А как же! — озадачилась мать и построжела лицом.

— А так, что трать все какие у тебя есть.

— Истрачу, а потом? По миру, что ли?

Мать смотрела на него, как на неразумное дитя. Он даже обиделся.

— Как это по миру! У тебя сын есть, это, значит, я. Надежа и опора. Зарабатываю хорошо, всегда готов взять тебя на свое попечение.

Обида его ей понравилась: мать была явно удовлетворена.

— А старый-то ковшичек куда дел?

— В малинник закинул.

И она пошла в малинник. Сын вздумал было ее усовестить, да куда там!

— Да чего тебе! — рассерженно отозвалась она, обернувшись, и взор ее при этом был гневен. — Он для поливки куда как способен. Уж такой складный ковшичек!

«Горгаз» появился под вечер. На этот раз приехала целая бригада, все молодые ребята, они тотчас сноровисто принялись за дело.

— А балдоны-то у вас есть? — озабоченно спрашивала у них мать.

— Есть, есть.

— А то мне где потом взять!..

— Сейчас, бабушка. Будет как в сказке. Два балдона тебе поставим, жги — не жалея. Кончатся — дай нам знать, привезем еще.

Двое парней принялись устанавливать железный шкаф для газовых баллонов снаружи дома у кухонного окна; двое других обивали стену в кухне белой жестью, пятый крепил трубы. Потом они принесли газовую плиту. Работали парни весело, то и дело смеялись. Леонид Васильевич помогал им и в смехе и в работе. Мать была тут же, сторожа каждое их движение, готовая услужить.

— Бабушка, ты иди, иди, мы все сделаем, — сказали ей газовщики довольно бесцеремонно.

— Да, может, чего помочь? Подать или подержать!..

— Что ты, бабушка! Мы и сами подержим чего-нибудь. У нас для этой работы вон Витя способный. Верно, Витюш?

Наконец все было сделано: газовые конфорки вспыхнули обе. Когда сын, усевшись в передней за стол, подписывал какие-то бумаги, мать топталась рядом, все порывалась что-то сказать; она была очень возбуждена. Бригада весело попрощалась с хозяевами, при этом все уважительно пожали руку Леониду Васильевичу и, хлопая дверями, удалились.

— Наверно, им надо было дать, а? На бутылку-то?

— Зачем?

— Да ведь какие хорошие ребята! Такое дело сделали, подумай-ко! Как ты их уговорил? Старались.

— Зачем это я буду уговаривать? — пошучивал Леонид Васильевич. — Им честь оказали: обеспечить газом вдову солдата Великой Отечественной, сложившего голову на бранном поле. Вот так.

— Денег-то сколько заплатил?

— А уж это не твое дело. Сколько полагается.

— Молодец, Леня, — сказала Нина и поцеловала мужа.

— Знамо, молодец, — проворчала мать ревниво.

Все купленное в магазине Леонид Васильевич сложил в сарае кое-как: уж очень здесь захламлено... А хотелось разместить инструменты так, чтобы радовался глаз; эх, сделать бы верстачок! Да поработать рубаночком, чтоб стружки накопилось, золотой, пахучей! Он принялся вытирать бумагой смазанные автолом садовые ножницы, да вспомнил: «Клещи забыл купить!» — и в тот же момент резкая, как удар током, боль из пальца в локоть пронзила его и отдалась в плече: ножницы оказались как бритва.

— А-а, черт! — ругнулся Леонид Васильевич, увидев кровь. — Нина! — крикнул он. — Спроси у матери йоду! И бинт принеси!

— Чево ты? — всполошилась мать у крыльца.

— Да пустяки... палец порезал.

— Ну вот, — рассердилась она. — Тенято некошное!.. Вечно у него что-нибудь!..

Йоду у нее, конечно, не оказалось и бинта тоже; она постучала в окошко квартирантке:

— Лиля! А Лиля! Нет ли у тебя йоду?

Кровь капала из зажатого пальца обильно, однако боль уже отошла, осталось только жжение.

Явилась Лиля, молодая женщина, беленькая, чистенькая, спокойная; и мать с Ниной подошли — все столпились возле него; Лиля сноровисто забинтовала ему палец — ей это дело привычное, медсестра все-таки. Странно, она была похожа на Таю, хотя и ростом выше и фигурой крупнее... Может, и не похожа, просто показалось ему.

— Присохнет, — нетерпеливо сказал Леонид Васильевич. — Спасибо, Лиля.

Что-то прозвучало в его голосе, какая-то нота, может быть, даже нежность, отчего медсестра глянула на него, как будто смутившись. Вот и в именах что-то похожее... Может, потому, что оба довольно редкие?

— И что ты какой раздепаистой? — ругалась между тем мать, должно быть сострадавая ему. — Угораздило же, прости господи!

Лиля, отступив, посмотрела на них почему-то с улыбкой и ушла.

— Вишь как у тебя: медицина прямо на дому, — заметил Леонид Васильевич матери.

— Да не скажешь зря, я уж и то: как чуть что заболело, так к Лиле — нет ли, мол, какой таблетки. А она безотказная, что ни попросишь, все сделает. Неплохая, чего говорить, услужливая...

Последнее слово немного покорило его, и он оглянулся на ушедшую Лилю.

— Услужливая, — повторила мать с удовольствием. — То и дело: бабушка, не надо ли чего? В Москву поедет — и колбаски привезет мне и маслица сливочного. А то еще перед праздниками у них на работе наборы дают, так она и мне возьмет. Тут перед Первым-то маем принесла мне и того и сего помаленьку. Ну вот, говорю, Лиля, ты мне и праздник сделала.

Столь жалостливое было в ее рассказе, что Леонид Васильевич страдающе нахмурился. Виноватым себя почувствовал: сам не мог, так полагать надо было Севку или Славку с гостинцами для бабушки! Не догадались. А тут, вишь, старушка в каком униженном состоянии: чуть не милостыню у Лили берет.

— У тебя ведь и прежние хорошие квартиранты были, верно?

— Да не пожалуюсь: все помогали. Саша жил, так вон плиты привез, что дорожка-то к крыльцу выложена. И посейчас ходит — здоровоется. А до него Сапожниковы, муж и жена, — и дров, бывало, попилют, и огород покопают.

На садовые ножницы Леонид Васильевич рассердился: сунул их куда-то на полку. Решил прежде всего наточить пилу, хотя бы один из сменных ее ножей. Выбрал тот, что с мелкими зубчиками, долго пристраивался: на порожке сарая неудобно, на чурбаке тоже... Мать подошла:

— Чай, мешает палец-то? Так уж, знать, не мастер, вот и обрезал. Он промолчал.

— Кабы тебе эти... тиски, вон как у Бориса, — последовал совет. — Зажать пилу-то.

Это верно, тисочки не лишние в таком деле, как заточка пилы. Да еще верстачок! Да еще набор таких и сяких инструментов!

— Буде схожу к Пикулевым, а? Я и завсю: как чуть чего, к ним иду.

— Не ходи.

— Да долго ли мне!

И она отправилась. Он остановил ее рассерженно:

— Сказал же: не ходи! Из-за каждой мелочи бсгаешь к соседям... Нехорошо.

— Да что им, жалко, что ли! Чего ты взъерепенился?

А тут еще палец болит, зараза! Проклятая пила!..

— Экой озырь упрямой, — проворчала мать, отходя.

«А вот чем эта Лиля напомнила мне Таечку! — внезапно догадался он. — Однажды и она тоже бинтовала мне руку, и как-то все было очень похоже... Я тогда косил вот здесь, у крыльца, стал точить косу брусом и полоснул по пальцу... вот шрамик. А Тая подошла пожалеть, потом бинтовала... Заглядывала в глаза... Да, да, все так же... Словно вчера...»

— А пойду-ка я в лес схожу, — сказал он, бросая свое занятие.

Вдруг пропал интерес к хозяйственным делам.

— Штой-то ты? — удивилась мать. — Точил-точил, да будто в бок его кольнуло: в лес захотел!

— И я с тобой, — тотчас заявила Нина.

— Вдвоем завтра пойдем. А сейчас мне что-то хочется одному побыть. Ты извини.

Слава богу, не обиделась жена. Она редко обижалась на него.

— Чего тебе там, в лесу-то? — спросила мать. — Чего ты туда утыпишься?

— Принесу жердей — изгородь надо новую городить.

— А-а... Ну конечно... Знамо, пригодятся.

Она немного успокоилась: не гулять идет сын — за делом.

Леонид Васильевич взял в сарае маленький топорик и, поигрывая им, отправился берегом реки, потом по мосточку деревянному через ручей... по улочке окраинной... О-о, теперь это была уже отнюдь не окраинная улочка! За нею понастроились еще и еще.

Раньше прямо за мостиком начиналось поле, которое рассекал извилистый этот ручей, поросший кустами. Так то раньше. Сколько лет-то прошло.

Сюда, между прочим, они ходили с Тайей гулять. Тут можно остаться совершенно одним, и в том было их настоятельное желание. Потому как дома, при матери, им ни поговорить, ни приласкаться.

Чудное тут место! Разнотравье вдоль ручья, разноцветье, а запахи какие! А сколько было жаворонков! Так и звенели, так и звенели. Что-то нынче не слышать... Тая, бывало, придет сюда и обязательно распоеется. Она любила петь.

В нем ныне жило такое чувство, словно она умерла. Потеря ощущалась столь великой, что как раз можно было сравнить именно с безвозвратной утратой, то есть со смертью. Она умерла... нет, жила в нем, жила! И чем старше он становился, тем отчетливей прорезались дальние воспоминания.

Удивительное она была существо, Таечка. Никогда ей не стать взрослой женщиной... Помнится, оказалась в такой степени неподготовленной к семейной жизни, что мать вполне справедливо укоряла сына:

— Ты подумай-ко: она ж у тебя ни сшить, ни распороть.

И это была суцая правда.

— Ты погляди: она ж у тебя ни сварить, ни испечь.

И это была тоже суцая правда.

Тая не знала, как затворить тесто для блинов или оладий, как сварить фруктовый кисель, манную кашу, как сделать картофельное пюре. Блины у нее прилипали к сковородке, молоко убежало, картошка подгорала... Но Тая с таким пылом защищалась («Меня ж никто этому не учил! Я же только начинаю!»), что муж готов был все простить. Муж — да, но не свекровь; та по каждому случаю или выразительно поджимала губы, или делала соответствующее заявление.

Тая не умела стирать и полоскать в проруби... с великим трудом растапливала печь... она много чего не умела, не знала, не могла. Так уж сложилась ее сиротская жизнь.

Зато умела одной улыбкой своей сделать его счастливым. А это искупало все.

Какой странной, неправдоподобно наивной была их тогдашняя супружеская жизнь! Или это теперь так кажется? Их дни были до предела наполнены взаимными ссорами, примирениями, живым неумолкающим разговором, тайными поцелуями за печкой, чтоб не видела мать, их общим страхом перед ее гневом, и страхом его перед гневом маленькой, пылкой в ссорах жены, и опять же великим счастьем примирения.

«Да это и не ссоры были, а так... игра, шалости», — думал теперь Леонид Васильевич.

Отношения же с матерью обострялись день ото дня, так что если одно радовало, то другое вгоняло в тоску, и он чувствовал себя бесильным устранить это противоречие.

Начиналось обычно с пустяка, а вырастал ничтожный пустяк в нечто огромное, что готово было задавить всех троих и погresti под собою, подобно снежной лавине. Ну как объяснить... Например, молодожены садились пообедать или поужинать вдвоем. Сидели, весело разговаривая, то и дело смеясь; вдруг в дверях появлялась мать — и все разом пресекалось: беседа, смех, радость. Наступала тишина.

— Что же вы от матери-то тайком, а? — говорила она, качая головой с таким упреком в глазах, словно поймала на воровстве. — Или брезгуете матерью-то? Или вам с нею за один стол сесть противно? Что вы как нелюди? Что вы все наособицу-то? Так ли добрые-то люди в семьях себя содержат?

И она переставала с ними разговаривать; молчала день, два, неделю, и чем дальше, тем больше молчание становилось тяжелее и вовсе невыносимым. Оно угнетало не только молодоженов, но и саму мать. Собиралась гроза, она была неминуема и наконец раздражалась молниями и громом, то есть руганью и слезами, с попреками и долгими причитаниями, после чего вроде бы наступал мир. С неделю жили успокоенно, а потом все повторялось. «Ты ее чем-нибудь обидела?» — спрашивал молодой муж у молодой жены. Тая с искренним недоумением пожимала плечами. «Может, что-нибудь сказала?» — «Нет». Сын обращался к матери с обеспокоенным вопросом: в чем дело?

— Да ты ничего не замечаешь! — прорывалось у нее со слезами

и гневом. — Тебе чужая-то дороже. А мать-то родная хоть подохни! Я тебя растила-растила, какие тягости приняла, выучила, а теперь на мать-ту можно наплюнуть. И чего я тебе, родимый сынок, плохого-то сделала? Ишь они шопчутся! Чего вы все меж собой-то шопчетесь! Что за секреты от матери?!

Не понять было, что же, собственно, разгневало ее. Но ведь не отмахнешься просто так! Раз она плачет, значит, где-то в чем-то они виноваты... «Если человек кричит, — говорил Леонид Тае, — значит, ему больно!»

Они старались заслужить прощение, заслуживали его, на несколько дней наступал мир... до следующей грозы.

Нет, родительский дом не привлекал его тогда. Не домой спешил молодой муж с работы — он торопился к Тае.

Да что было-то в ней? И что уж так его тянуло-то?

Не то, что можно подумать.

Потом, став взрослым, Леонид Васильевич скажет себе так: «Мы день за днем открывали друг друга». В этом открытии и состояла высшая радость каждого дня.

Глупо, конечно, но это было так: на работе он скучал, тосковал, страдал даже от двух-трехчасовой разлуки с Таей! Если же она почему-то задерживалась, молодой муж, ни минуты не медля, отправлялся ее встретить.

— Да не украдут, не украдут ее! — кричала мать ему вслед. — Эко сокровище, черт те дери! Куда ты утыпился? По дому дел сколько, а он бегаёт! Приколдовала она тебя, что ли?

В другой раз соседи могли слышать:

— Чего ты от меня шараешься! Минуты не посидит с матерью. Чай, не чужая тебе мать-то! Постыдись хоть добрых-то людей!

И опять: «я тебя вырастила», «выучила»...

Когда молодые возвращались домой, мать уже занималась каким-нибудь делом: или, громко шлепая тряпкой, мыла крыльцо; или двуручной пилой, ругаясь, пилила завалившуюся дровину; или стучала топором, прибывая или отдирая что-то. И каждое ее занятие было в укор, в укор им, каждое дело — попрек.

Они были виноваты перед ней, виноваты тем, что счастливы. Но это теперь только Леонид Васильевич догадывался, в чем та вина, а тогда необходимость прятать их взаимную радость сердила и его и Таю.

Кто бы что ни сказал ему про молодую жену — да и кто мог что сказать, кроме матери! — все ему нипочем.

Ростиком-то мала... Мала. Да и как славно, что мала!

Веснушки — словно обрызгана... Да, и веснушки, целый миллион! Но ведь это хорошо!

Неумеха — за что ни возмись... Верно, неумеха. Да и бог с ним, с уменьем! Научится.

Помнится, первый раз сходяв с невесткой в баню, мать не утерпела, сказала сыну вроде бы к слову, вскользь:

— А она нечистая кожей-то.

И встретив взгляд сына, не успевшего еще разозлиться, потому растерянный, пояснила:

— Вся, словно усыпана, в родимых пятнышках.

Так ведь и прекрасно, что они есть! Почему она с таким укором...

Эти пятнышки у Таи на шее и на плечах — он их безумно любил, а были ли они где-то еще... Он никогда не видел жену свою обнаженной. И не раз уже говорил ей, что хотел бы видеть, но... это ж только в кино влюбленные столь бесстыдны. У них же как-то не получалось.

— Ты что! — возмущалась и удивлялась Тая. — Как я тебе покажусь! Сам знаешь, мама всегда рядом. — И смеялась: — А ночью темно.

Чтобы остаться днем наедине, они уходили сюда, на этот ручей, в укромное место. Купаться в нем нельзя было из-за мелкоты, разве что побродить по воде босиком да освежиться прохладной водой.

И вот однажды здесь, когда он сидел на берегу, побалтывая в воде ногами, Тая отошла за кусты и вышла оттуда совсем нагая, держа платье наготове, чтоб мигом прикрыться.

— Вот, Ленечка, ты хотел меня видеть совсем без ничего. Посмотри. А то потом старухой стану, скажешь, что и не была молодой. Так что запомни, какая я.

Он запомнил. Вот и сейчас как наяву... только не мог узнать той низинки с ручьем, заросшим по берегам кустами и разнотравьем. Хотелось посидеть на том бережку, погрузиться, но — застроили то поле и низину с ручьем разгородили на частные владения, проложили дорожку — нынче тут новые улицы...

Удивившись и ныне трогательной отваге Таи, он вспомнил и то, что именно в тот день мать встретила их, счастливых, особенно ожесточенно и яростно. Молодые были оскорблены.

— Что мы плохого ей сделали? — недоумевала юная жена его. — Может быть, ты в чем-то перед ней провинился, а я что? Леня, я не стану терпеть без конца. Скажи ей. Или — хочешь? — я сама скажу.

Она потом сказала... Но лучше от этого не стало. О, лучше не стало!

Леонид Васильевич возвратился из леса, неся на обоих плечах по здоровенной жерди. А к дому Овчинниковых как раз подъехал колесный трактор с тележкой. Из кабины вылез человек с носовым платком на голове — это Костя, он делает из платка что-то вроде тубейки — и гаркнул:

— Здорово, хозяева! Заказывали дрова — говорите, куда сваливать.

Ему что-то ответили. Костя деловито откинул боковой борт тележки — деревянные плашки, наваленные стогом, с грохотом поехали на землю.

— А чего ты, начальник, жерди несешь? — слышно, спросил Костя. — Интеллигентный человек, образованный, вон руки-то не как у нас с Володькой — белые, такими руками только деньги раздавать. Верно, Володь? Заплатишь покрупней — все будет.

Мать озабоченно оглядывала дрова.

— Вроде осины много...

— Где ты видишь осину, баушк! — возмутился Костя. — Мы ее назад увезем. Между прочим, она жару дает больше, чем елка или сосна.

Плашки, каждая длиною в полено, были почти сплошь березовые. Наверно, где-то делают тарные ящики или щепают drankу, а это обрезки.

Леонид Васильевич («Минуточку обождите») сходил в дом, вернулся быстро, протянул Косте деньги.

— Как договорились. Спасибо.

Тот небрежно сунул их в карман, спросил деловито:

— Изгородь хочешь ставить?

— Ну! Посоветуй, где штакетнику взять.

— Все в наших силах, начальник! Пойдешь в лесхоз хлопотать — будешь там три месяца ждать, а тебе ведь сейчас надо, так? Сколько, говори.

— Если б я знал! Да вот хоть бы фасад на первых порах.

— Володь, как, по-твоему?

Напарник прыгнул с тележки, деловито прошагал вдоль изгороди, считая.

— Ага... Двадцать шагов, двести штакетин, округляем до двухсот пятидесяти — значит, восемь столбов, двенадцать прожилин.

— Сколько это будет в переводе на рубли?

— Так... Один пишем, два в уме, десять отнимаем, двадцать прибавляем... Сто рублей.

Леонид Васильевич присвистнул.

Костя слегка обнял его, сказал вроде на ухо, но достаточно громко:

— Значит, так: для официального отчета будет полста, бумаги мы привезем, подпишешь, чтоб все честь по чести, а другую полусотенную делим между тобой и мной пополам, то есть я тебе дарю четвертной. Заметано?

Леонид Васильевич засмеялся:

— Он мне дарит! Ну и бухгалтерия... Я так понял: с меня семьдесят пять?

— Ну! С доставкой на дом, отменного качества и, главное,— быстро! Как в сказке. Не пожалеешь, начальник! Вот только задаток вперед.

Поначалу-то казалось, что работу эту они сделают быстро. Но не тут-то было! Охалку на руку накласть — надо присесть, а наложишь — еле разогнешься. Горбыльки-плашки сырые, тяжелые, а привычки к такой работе не было ни у Нины, ни у него. Мать же на руку накладывала не меньше ихнего и в шаге не отставала.

— Посиди, мам,— просили они.— Не твое это дело.

— А чтой-то? — строптивилась она.— Чай, все вам полегче! Я потихоньку.

Она была деятельней их, однако все-таки устала. Решив облегчить да ускорить дело, выкатила одну из детских колясок, нагрозила дровами; колясочка — кувырк...

— Мам! — уже сердито приказал сын.— Чего ты тут?.. Сказали же: перетаскаем. Сядь вон на лавочке и сиди поглядывай.

— А чтой-то?

Сложила уроненное, повезла, и снова колясочка — кувырк на бок. Плашки-горбыльки, как намыленные, разъехали вроссыпь.

— О господи! — вздохнула Нина, адресуясь к одному мужу.— Хоть бы ушла с глаз долой. Без нее справимся.

— Она не уйдет,— сказал тот, хмурясь.

Как медленно убывала грудка на улице! Как медленно росла поленица у сарая! А от приседаний да наклонов уж поджилки да поясница стали сказываться все настойчивей. Бездарная это была работа — она раздражала Леонида Васильевича больше, чем мать или Нину, он был нетерпелив характером.

— Все, хватит! — провозгласил он.— Остальное завтра.

Уж дело к вечеру. И, признаться, хотелось погулять по берегу реки.

— А чтой-то? — тотчас возразила мать и стала набирать следующую охалку.

— Мам, уймись! Хватит, говорю, на сегодня! Что им делается до завтра!

— Да как на улице, что ли, оставлять? — возмутилась она.— Придумал тоже! Растащат за ночь!

— Кому они нужны?!

— Кому-кому,— передразнила она нелюбезно.— Я знаю кому. Идите, я без вас перетаскаю,— сказала она уже в сердцах.

Сын с невесткой переглянулись, потоптались, и — делать нечего — пришлось продолжать работу.

Между тем уже за вечерело. Из раскрытого окна Пикулевых раздавалась музыка — телевизор там смотрели. Кстати, у матери телевизор совсем скверный: корову от автомашины на экране не отличишь.

Леонид Васильевич не мог найти объяснения трудовому азарту матери; он, азарт этот, возбуждал в нем протест. Так бывало всегда.

«Что означает это неукротимое трудолюбие? — думалось ему. — Не сродни ли оно обыкновенной жадности?»

Еще в деревенскую пору наметились у них кое-какие разногласия на этот счет. Мать работала от зари до зари и уставала очень, потому частенько поругивала сына за леность, а его это обижало. Конечно, усталый человек чаще не прав, нежели отдохнувший. Но дело не в усталости одного или лености другого: сын чувствовал себя единственным мужчиной в доме и бунтовал потому, что не мог найти объяснения многим хозяйственным предприятиям матери.

Вот она раз за разом косит загаженный курами и гусями лужок перед домом — не получится ли копейка сенца?.. А травка тут мелкая, жирная, косит ее мать до самой осени, так копейшечки эти сохнут по две-три недели — не столько сохнут, сколько гниют; и более того — потом, зимой, корова не ест плесневелое, в курином помете сенцо; и все-таки, невзирая на это, в следующем году мать снова выкашивает лужайку и велит сыну то ворочать сено, то сгребать при виде приближающейся тучки, то встряхать снова — солнышко проглянуло... Непостоянное упорство! Как тут не запротестовать!

Вот она затеет перекапывать весь огород: чтоб земля была пышной, — да и вдруг пропустили десяток-другой картофелин! А плаха это большая, она уж и без того старательно перелопачена, каждый комок землицы размят, так нет: давай, Ленька, еще разок, вдруг наберем ведерочко! А уж мороз на дворе, руки стынут... «Копай, тебе говорят! Пышной земля будет...» И мытарились на смех людям.

Вот и молоко она берегла. Нальет чашку себе да ему, сыну, а больше не проси: «Криночку придется начинать, а не хочется — уж сметана настоялась». Молоко на сметану, а та предназначалась на продажу. Но на базар бригадир, глядишь, не отпускает — сметану мать собьет на масло, а оно долго храниться не может, надо перетапливать... Потом эти кругляши (по форме миски) топленого коровьего масла лежат на полке в кладовой, пока не прогоркнут. А между тем картошку примется жарить — ни прогоркнувшего масла не положит, ни сметаны из горшка не зачерпнет. а возьмет те же снятые кринки, сверху насобирает простокваши — тоже вроде бы сливки — вот и жарит на том картошку.

Или история с дровами... О, это была настоящая страда!

Дров хороших в деревне достать не было возможности. Откуда? Хоть и лес рядом, а поди-ка увези хоть дерево! Там лесник — живо штрафу даст! Иногда несколько хозяйств, сложившись, покупали чью-нибудь халупу-развалуху, которая на жилье уже больше не годилась, и разбирали на дрова. Но то были дорогие дровишки, которые «кусались», поэтому вся деревня отапливалась ольхой — хворостом и палками, — а ольха заготавливалась в конце зимы, начале весны, когда настом скует снег. Поближе-то к деревне рос ольшняк кудрявый, низкорослый, а хороший — высокий да стройный — дальше, за ним надо ехать в глубь ольхового леса; поди-ка его оттуда добудь.

Соседи с уличной фамилией Матренины — три здоровенные девочки и их мать — рубили корявенький ольшняк: полегче вывезти. Другой сосед, Иван Евдокимов, с женой Пашонкой забирались поглубже. Мать же всегда старалась их перещеголять. Свалив возле дома очередные санки с хворостом, говорила:

— Ох!.. Теперь вот что, Лень, давай не полезем далеко. С окраинки возьмем.

Однако доезжали до опушки — она озабоченно оглядывалась: нет, не тот еще хворосток. Пробирались с пустыми санками дальше, а в лесу наста нет, он только в поле, — ухаешь по колено да по пояс в снег.

— Мам, давай здесь нарубим! — взмолится сын.

— Погоди, погоди. Вон там хороший какой.

Но дойдя до «хорошего», она видела дальше еще лучший.

— Да вот же, чем плох? — прибавлял в голосе сын.

— Тебе абы какого! — Мать на ходу обращала к нему разгневанное лицо. — Ты вон тех коряжин готов нарубить! Ты сюда как на прогулку явился, раздевай чертов!

Сын замолкал, подавляя в душе растущее раздражение.

— Ну и пантёр у меня, прости, господи! — говорила мать, ухая в снег и оттого еще больше злясь; голос ее разносился в морозном воздухе — по всему лесу слышать. — Лишь бы ему полегче! В твои-то годы я, девка, так ли робатывала! А он не успел нагрузить санки — уж утомился! Постыдитесь хоть добрых-то людей!

Некого было стыдиться: добрые-то люди не забирались так далеко.

Наконец мать радостно оглядывалась и бралась за топор.

— Давай я буду рубить, — предлагал сын, считая эту работу мужской.

У него к тому был свой расчет, но у нее свой, и это выяснилось далее.

— Таскай, таскай! — приказывала она. — Ты тут таких пеньков наоставляешь! Знаю я тебя, рубщика!

И рубила под корень, у самой земли, хоть и глубокий снег мешал.

— Да хватит, мам! — говорил сын, видя, что воз уже получился большой.

— Сейчас, сейчас! Вот еще парочку...

И продолжала валить и валить ольху. Ею владел тот же азарт, который заставляет волка, залезшего в овчарню, резать подряд всех овец, хотя ему за глаза хватит одной.

— Да остановись ты, мам! Куда столько?

— Молчи, лентяй чертов! Вот сейчас палкой огрею!.. Хватит ему! Тебе печь не топить, а только жрать повкуснее подавай. А мать-то над каждым поленом трясется, когда тебе варит да парит.

Но уж видела, что много навалила, на двое санок хватит. Тут она смирялась и принималась истово накладывать на воз еще и еще.

— Не вывезти, — хмуро буркал сын.

— Вот озырь упрямой! — поражалась мать. — В кого только уродился, прости, господи! Отец-то был работающий, хорошей природы, да и материну родню не похаешь — у нас все работать любили. А этот ни в мать, ни в отца.

Они долго увязывали воз веревкой, изо всей силы стягивали его, чтоб не разъехался в дороге, потом впрягались: мать коренником, сын в пристяжке. Если с ними была Валентина, то она становилась второй пристяжной.

— Ну, господи, благослови! — говорила она.

Разом дергали воз, и... чаще всего он ни с места. Подергают и так и сяк, выбьют ногами яму в снегу — нет, много наклали.

— Я же говорил, — угрюмо напоминал сын.

— Говорил — кур доил! — плача, кричала мать. — А я пошел и титек не нашел. Тьфу, согрешишь, грешница! Чай, примерзли сани-то. Надо было не стоять разиня варежку!

Распускали воз, так хорошо и старательно увязанный, сбрасывали верхние хлысты, опять затягивали веревками, потом дергали из стороны в сторону.

— Говорил он! Надо не говорить, а делать! — причитала при этом мать задышливо, ожесточенно. — Тебе бы в жены вон Райку или Файку Матрениных. Вот пара была бы! Просто загляденье! Ты с нею забожел бы, родимой! На смех людям.

Матренины отличались тем, что огород свой городили ольховыми колями; те высохнут за лето, а зимой хозяева обламывают у них сначала верхинки, а потом и вся изгородь пойдет на дрова. К марту дом их стоит сиротливо, как посреди пустыря. В мае Матренины городят снова, чтобы будущей зимой опять жечь изгородь.

Еле-еле, из последних сил налегая, трогали воз с места...

Самое тяжелое — выбраться из зарослей, из чащи, где каждая кочка, каждый куст цепляется за сани, не пускает, да и наста нет, снег глубок и пышно лежит; случалось, сваливали понемногу еще раз или два. Наконец, совершенно выбившись из сил, выволакивали проклятый воз на опушку, где под ногами была уже снежная твердь. Отпыхивались, привалясь к хворосту. Пар от них шел, как от загнанных коней.

Проезжавшие мимо них ругали мать:

— Ой, дура ты, Настасья, испортишь и себя и детей. Гляди-ко, сколько наклали! Паре лошадей такое под силу.

Медленно, с отдыхами, налегая на веревки плечами, как репинские бурлаки, брели Овчинниковы к деревне. И пока тащили деревенской улицей, мать прямо-таки распирало от горделивости: они везут самый большой воз хвороста, какого никто не решился накласть. Свалив его у своего дома, совершенно упарившись и чувствуя полную обессиленность, мать счастливо говорила:

— Слава тебе господи!

Словно господь бог помогал ей тащить в качестве еще одной пристяжной.

— За это время два воза можно было привезти,— гнул свое Леонид.

Но мать не слушала его.

— Ну... еще одну ездку... Теперь уже не полезем в чащу. С краешку возьмем.

И все повторялось тем же порядком.

Сестра Валентина была молчалива и никогда не перечила, а Леонид бесконечно возмущал этот бессмысленный, по его мнению, азарт в работе. Ведь можно и больше хворосту взять, да разумней, и выйдет полегче. Зачем же уродоваться-то! Он пытался втолковать это матери рассудительно и терпеливо, но та неизменно сердилась и доводы его отвергала, укоряя ленью и называя озырем упрямым, теньтом некошлым и раздепаем.

За какое бы дело она ни взялась (свое ли, колхозное ли — без разницы!), исполняла его жарко, жадно, словно оно у нее последнее, больше никаких на ее долю и не достанется.

Иной год клевер поляжет, косилка его не берет, надо косить вручную. Бригадир определит полосы, возьмутся колхознички... Ленкина мать, женщина некрупная и отнюдь не сильная, впереди всех. Бабы сядут отдохнуть — она никак от своей полосы не оторвется, готова косить до помутнения сознания.

— Настасья, да иди ты посиди!

— Ой, сяду — и не встать будет!

Возьмется тот же хворост рубить — рубит и рубит как заведенная, со страстью, со злостью и тоже до изнеможения.

Примется лен трепать — дня ей мало, треплет и ночью при лампе.

Страдалица та лошадь, на которой она возит навоз: наваливает на телегу вдвое!

Скирду кладут всей деревней — Ленкина мать норовит подцепить на вилы самую тяжелую охапку и закинуть выше всех.

— Ох, Настасья! Килу наживешь.

Как в воду глядели: нажила. Два раза в больнице лежала, два шва на животе осталось...

Наработается — заболит, а заболевши все равно работает, пока волне не ляжет пластом. Но и будучи здоровой, каждую ночь, бывало, колотит руками по одеялу, по краю кровати: «Ломота... И в плечо стреляет... Ой, господи! Да что же это такое? За что мне еще мученья?»

И все-таки ничто не могло унять в работе мать: ни болезни, ни усталость.

— Сынок, лениво работать нельзя — засмеют, — наставительно говорила она, глядя на него как на глупого, неразумного. — На ленивых пальцем показывают.

Последние плашки подбирали уже в темноте, нащупывая их ногами. В дом Леонид Васильевич с Ниной пришли — хозяйка осталась на улице: подбирала щепки, оброненные на тропинке.

Мать пришла, вернее, приплелась, усталая. Села, уронила руки на колени и с блаженной улыбкой произнесла умиротворенно:

— Ох, ухойдакалася... Завтра и не встать будет.

Сын с невесткой посмотрели на нее довольно неприязненно. Она то ли не заметила этого, то ли не приняла во внимание: пес с вами, мол, сердитесь на здоровье, а дело-то сделано.

— Уж на крыльцо-то поднимаюся — ноги подгибаются. Вот до чего.

Ей, видно, хотелось слов сочувствия, но она не дождалась их. Однако голос ее и улыбка говорили о великом удовлетворении: она достигла чего хотела — это высшее состояние ее духа, так надо понимать.

— Ну и ради чего старались? — спросил сын.

— Как же, Леня! Дрова-то к месту убраны.

Насколько мать была довольна, настолько раздражен и недоволен он.

— И завтра убрали бы! Зачем было ломаться-то так? Куда спешили? Ну объясни мне: для чего это?

— Да ладно тебе, — сказала Нина. — Пойдем-ка спать.

— Ничего не «ладно»! Я понята хочу!

— Кто же дело-то на половине бросает! — рассердилась мать. — Чай, взялись, так уж нечего. Теперь вот хоть устали, зато наши дрова у местечка. И спать можно спокойно.

Сын еще что-то хотел сказать, но только махнул рукой. Пошел в комнатку, где постель.

— А ужинать-то! — спохватилась мать.

Им было не до ужина. Они уже укладывались на ночь.

— Во как наработались! — В голосе матери чувствовалось опять-таки великое удовлетворение и торжество. — И есть не надо. Теперь, Леня, знаешь, как дрова-то достаются!

Сын с невесткой не отозвались.

Наутро встали уже не с прежней радостной готовностью к работе: поясницы сказывались со вчерашнего, постанывали косточки у всех троих. Леонид Васильевич с Ниной сохраняли довольно мрачное выражение на лицах — вчерашняя тяжесть на душе не рассеялась; не в душе были оба, но это состояние объединяло их, тогда как от матери отдаляло.

Завтракали в молчании, а если и обменивались фразами, то все равно чувствовалась угнетенность, словно туча нависла над домом.

— Еле встала, — пожаловалась мать, чтоб рассеять эту тучу, но жалоба ее прозвучала как невинное хвастовство. — Никак не раскачаюсь.

Она ходила немного согнувшись, побряхтывая, но — опять-таки! — двигалась охотно. Хоть и перевозмогая себя, но была бодрей их.

— Вчера забыла я вам рассказать-то: мальчика задавило возле моста, у автобусной остановки. Шести лет. Ездил, говорят, в детский садик один: бабушка с дедушкой его растили, а родители где-то на Севере, на шахтах. Знамо, старикам-то некогда каждый день встречать да провожать парнишку. Они посадят его на автобус, он и едет. А уж знал, где слезать-то. Слезет и побежит. Ну вот и побежал. А тут нигде самосвал навернулся. Ну и... Так головенка-то, говорят, и откатилась...

— О господи! — вздохнула Нина.

Возглас этот был полон негодования: не хватает, мол, еще этих рассказов! — но мать поняла его иначе и добавила подробностей.

— Только вздохнул вот так да «мама» сказал,— заключила она. Нина отложила вилку.

— Головка, которая откатилась, так сказала или все остальное? — сурово спросил сын.

— Уж я не знаю, а так будто бы: «мама», мол, и все тут.

Засим последовало каменное молчание. Супруги встали, переглянулись, привычно засобирались... куда? По всему видать, опять намерены взяться за какое-то дело.

— Буде, отдохните сегодня,— сказала мать осторожно, словно испытывая на крепость первый ледок. И, немного помедлив, добавила: — Эти плашки-те хорошо колотятся, с ними я и сама справлюсь.

Сын дернул головой, как конь при звуке боевой трубы, посмотрел на нее: «сама справлюсь» — это как понимать?

Невестка тоже оглянулась на свекровь: всего две фразы произнесла та, а как много сказала! Во-первых, она вроде бы проявила заботу и ласку к ним, непривычным-де к физической работе; во-вторых, несмотря на это, подталкивала к дальнейшим трудовым усилиям, намекая, что в противном случае сама возьмется колоть дрова; наконец, в-третьих, что самое важное, дала понять, что они только гости здесь, помогли — и спасибо, а хозяйкой все-таки остается она. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Это, пожалуй, впервые прозвучало.

Сказавши так, мать явно почувствовала какую-то внутреннюю опору, продолжала уже уверенней:

— Хорошие дрова: пилить их не надо, а колоть легко будет. Потихоньку, полегоньку и справлюсь.

Опять наступило молчание. Дипломатическая игра эта была ясна всем трем.

Свою первую попытку уехать Тая предприняла зимой, когда исполнился год их совместной жизни. Вернее, то была даже не попытка, просто она заявила мужу, что уедет. Сказанное так огорошило его, так врезалось в память, как будто она и в самом деле что-то сделала: например, собрала вещи в чемодан и отправилась на вокзал. Но чего не было, того не было.

Молодого мужа поразило, что жена может оставить его и уехать. Он разобиделся и испугался: как бы она не сделала это тайком. Но случилось, чего они оба ждали: выяснилось, что Тая беременна. Удостоверившись в этом, она стала уступчивей, терпеливей, молчаливей. Она уже не возмущалась в ответ на упреки, не отзывалась сердитым словом, когда ее ругали, однако ничего не говорила свекрови о беременности, пока где-то в марте или апреле та не заметила сама. Может быть, заметила и чуть раньше, но тоже ничего не сказала, только была очень сердита, метала громы и молнии по каждому поводу. Однажды, когда Тая полезла зачем-то на чердак, свекровь бросила ей зло и гневно:

— Да куда ты с пузом-то! Сиди уж...

Так в семье объяснились о будущем ребенке.

А потом наступила весна, подоспело огород копать...

Никаких садовых культур тогда еще не произрастало в материнском огороде, только хилая малинка поселилась у изгороди да в глухом углу прозябал куст крыжовника в паре с кусточком красной смородины. Всю огородную площадь занимали картошкой.

Соседи обычно приглашали цыгана с лошадьёю; мать же с цыганом не связывалась, потому как считала, что он только «наковыряет». Другое, мол, дело — перелопатить землю: тут уж каждый комочек растрясешь, всякую травку-сорняк выдерешь с корнем, любой камушек выбросишь. Все правильно: огород кормил их, а потому и

заботы требовал именно такой. К тому же цыгану-то платить надо, а с каких это доходов? Но Леонид с Таей хотели трудиться не надсаживаясь, не спеша. Успеют, мол. Времени много — весна только началась. Мать же такой работы не признавала.

— По-моему,— заявляла она решительно,— нечего десять раз прикладываться, а сделать да и к стороне! И свободны.

Ну и копали, копали, копали, словно кто за ними гнался. Невзирая на погоду, а она подчас отнюдь не благоприятствовала работе.

Никто из соседей еще не принимался за огород, разве что Пикулевы разбросали навозец, разве что Смышляевы грядку сделали, покрыли рамами, а Овчинниковы взялись основательно, словно впряглись в тяжелый воз, который надо вытащить из хляби, где он застрял.

То была страда...

Принимались с раннего утра, а, глядишь, к полудню подул северный ветер да и дождик накрапывает.

— Мам, давай оставим до завтра,— осторожно начинал переговоры сын.

Мать, вгоняя заступ в землю, ответствовала ему нелюбезно:

— Ну да! А завтра что? Трактор вспашет?

— Да, может, хоть солнышко выглянет, все повеселей будет копать-то.

— Может — кости гложет! Выглянет оно тебе! Жди! Еще через неделю, скажи.

Он оглядывался на молодую жену, орудующую заступом.

— Да хоть бы и через неделю. Ты посмотри, никто из соседей еще и не брался за огород. Одни мы.

— Да и черт с ними! Они наймут вон цыгана да за день и вспашут. А ты будешь ковыряться до морковкина заговенья, на смех людям.

Бесполезно было спорить с матерью, но сын не мог удержаться:

— Вот посмотришь, они не раньше как через неделю примутся, мам.

— Копай знай, не мамкай! Уморился он, поглядите-ка на него! Копальщик чертов! Тенято некошное!

Это было очень обидно, и Леонид замолкал. Они, трое, копали в молчании уже под дождем. Борис Пикулев говорил им с крыльца:

— Да вы что! Бросьте, грязно же. И земля тяжелая.

Мать, тотчас сменив голос, отвечала мирно:

— Какой дождь! Он уж кончается. Да и попрохладнее этак-то.

Борис улыбался и качал головой. А Леониду казалось: на них, на Овчинниковых, смотрят сейчас из всех окон и удивляются их бестолковости.

— Что ты уродуешься? — обращался он к матери, и голос его креп от гнева.— Кому ты что хочешь доказать? Почему надо каждую легкую работу делать тяжелой? Зачем удовольствие поработать на огороде превращать в тяготу, в мытарство?

Все эти патетические обращения не имели должного воздействия.

— Ну и уходите к черту! — отвечала она.— Я и без вас справлюсь. Гуляйте! Ишь, все они не нагулялись...

Ругая сына, она поглядывала и на невестку: это, мол, относится и к тебе.

И копала, копала, копала — с хрипом, упарившись. А что оставалось им? И молодые тоже копали до изнеможения.

Молодой муж, жалеючи, останавливал жену:

— Хватит... Иди посиди.

— Ну что ты, Леня! — отзывалась она испуганно.— Я не устала...

— И мы небось молодые были, жали да косили... хоть и в положении,— ворчала мать.— Раньше-то и на поле рожали. Ничего не случится с твоей барыней, на гряде не родит.— И прикрикивала в сердцах на Таю: — Иди уж, сиди!.. Без тебя, что ли, не управимся!

Страда... Она была и в первую весну и во вторую. Да и не только по весне, а и осенью. После такой работы — посадка ли картошки, копка ли ее — мать непременно разбаливалась на неделю, а то на две: руки наломала, радикулит сгибал, печень схватывало.

— Ох, ухойдакалась я! — говорила она с поразительным удовлетворением.

Бледная, похудевшая, с запавшими глазами лежала на кровати и ревниво следила за тем, сочувствуют ли ей. А сын с невесткой вокруг нее суетились, ругая:

— Мы же тебе говорили: не надо надсаживаться!

— Да как же, — стонала она. — Дело-то не ждет.

— Почему же не ждет? Погляди на улицу: солнышко, тепло, жаворонки поют — самое бы время сейчас копать да сажать.

— Зато у нас уже все приделано. Закончили да и к стороне.

— Глянь: вон когда соседи принялись за свои огороды — одно удовольствие в такую-то погоду!

— А у нас все посажено, — благостно говорила она в ответ.

И переубедить ее было невозможно.

Напряжение в их семье, подобно волнам, накатывало и отступало, а потом опять накатывало, да с еще большей силой. Самый высокий всплеск приходился всегда на огородную страду.

Огурцы да капустную рассаду сажали уже после картошки, и, помнится, в ту весну довольно мирно. Так было в начале мая, а на июнь он уехал в Москву сдавать экзамены за первый курс: уже учился заочно. Уезжая, взял с жены слово, что, как ни сложится тяжело для нее тут, она ничего самостоятельно не предпримет: боялся, что пылкая жена его не выдержит и уедет куда глаза глядят.

Расстались — душа была не на месте; каждый день писал домой письма, а в ответ получал от жены успокоительное: все, мол, в порядке, не беспокойся. А сессия была для него нелегкая, хотелось закрепиться в институте попрочнее на первых же порах, да и увлечен был: впереди открывалось дело, которому можно посвятить жизнь.

Домой возвращался с одними пятерками в зачетке и всю дорогу представлял себе, как обрадуется этому жена. А пришел — нет ее. Он по первому взгляду на мать понял: что-то случилось — та этак твердо сжала губы в тонкую складочку.

— Где Тая, мам?

Первой мыслью было: уехала, бросила все, не сдержала слова.

— В больнице твоя Тая...

— Как это?!

— Родила позавчера... девчонку.

— Родила! — Он испугался. — Да ей же не срок...

А срок был — не ранее сентября. Никак не ранее, так говорили врачи.

— Позавчера... И ты мне ничего не сообщила!

— А пес ее знает, чего она надумала рожать-то! — отвечала мать сердито, но он заметил, что она как бы смущена немного. — Недоношенного принесла, черт те дери... Потом меня, мать-ту, обвиноватя: всегда у них мать во всем виновата.

Не слушая ее, он ринулся в роддом, сопровождаемый суждением, сказанным вслед:

— Нынешние-то и рожать как следует не умеют... ни сшить, ни распороть...

Медсестра в роддоме, увидев его отчаянное лицо, сказала:

— Жена ваша жива-здорова, не беспокойтесь. А ребенок? Может, и будет жить.

«Может, и будет жить!» Значит, столь слаб, что того и гляди умрет? Да как же так? Это его, Леонида Овчинникова, и ее, Таи, ребенок! Девочка, дочка... Они уже условились, как ее назвать, если ро-

дится именно девочка, — она будет Леной (тогда была мода на Елен). И вот она появилась, она уже есть и вдруг — умрет.

Он узнал, что дочь родилась совсем крохотной, весом всего в полтора килограмма, что у нее нет даже глотательного инстинкта и она не может брать материнскую грудь, так что на ней испытывают какой-то новый метод кормления, через трубочку...

Две недели эта крошка находилась между жизнью и смертью, в начале третьей умерла. Как ее пришлось хоронить — об этом лучше не вспоминать.

Тая вышла из больницы побледневшая, похудевшая; она и так была отнюдь не крупного сложения, а тут совсем девочка. Он боялся ее о чем-нибудь спрашивать, но потом собрался с духом:

— Как же так, Таечка? Почему?

Она призналась:

— Воду носила с Волги... для поливки.

— Но зачем, зачем ты носила?! Я же запретил!

— Разве ты не знаешь, Леня? Поливать капусту... огурцы...

— Да тьфу на эту капусту! Наплевать на эти огурцы! Пропади они пропадом!

— Чего уж теперь...

Что-то произошло в ней, в Тае, будто надломилось: стала немного чужая, молчаливая, сосредоточенная в себе.

Неделю жили тихо-мирно, а потом прихлынула новая волна: свекровь с невесткой поговорили наедине, а о чем — того и нынче не знает. Он не присутствовал при том разговоре, на работе был, а когда вернулся — Тая укладывала вещички в чемодан. Невелик был чемоданчик... в него вошло все, кроме зимнего пальто.

Он порывался ее остановить, но мать кричала, едва только сын трогался с места:

— Тебе что, мать-то дешевле?! Дешевле, что ли, тебе мать-то? Никуда не денется, побегаешь да и вернешься!

Она плакала при этом в голос, причитая, и слезы матери парализовали его волю: в последний момент он не остановил жену.

Тая ушла.

Ему казалось, что она и впрямь никуда не денется.

Ему казалось, что он должен, обязан проявить мужскую твердость, не бежать за уходящей женой, она обязательно вернется.

Ему многое тогда казалось... Зачем он ее не остановил!

Вечером побежал на станцию — думал, найдет Таю там. На другой день был в отчаянии. На третий расплакался, забившись в сарай, чувствуя, что в беде этой нет ему избавления, что он бессилен.

Через неделю заказал телефонный разговор с Тайной сестрой, та ничего о ней не знала. В общем, он искал Таю и не нашел. Ему все хотелось повидать ее, что-то объяснить, как-то оправдаться... Да не надо ничего объяснять и ни в чем оправдываться, он просто обнял бы ее и никогда не отпустил.

А потом, через полгода, пришло краткое письмо с требованием о разводе... Он не знал, что перед тем были от нее еще и другие письма, но они стали золой и рассеяны в огороде... Мать проговорилась об этом вскользь много времени спустя. Подумать больно: каким он остался в памяти Таи.

— Эх, сейчас ватрушечки бы с молоком! — мечтательно вздыхал, перекидывая на плече поудобнее корявую жердь, Леонид Васильевич. — Как ты на это смотришь, Нин?

— Или пирога с капустой, — отозвалась она.

— Придем домой, а мать как раз напекла-а.

— Прекрати немедленно, я есть хочу. Уже вкусовые галлюцинации начинаются.

— Бывало, Саша Линтварев станет рассказывать, как у тещи гостит. Утром, говорит, еще сладкие сны вижу, а она будит: вставай, мол, зятек! Глаза едва продерешь, а на столе-е — бог ты мой! И ватруха, и пироги, и блины с оладьями, и сочни, и лепешки сдобные... Горшок со сметаной, кринка с топленным молоком, варенья такие и сякие... Ем, говорит, ем, а теща поругивает: мало, мол, ешь... А меня такая вселенская зависть берет, когда он рассказывает! Везет же, думаю, людям! Не заслужил я у судьбы такого... Чем провинился?

— Да, бывают такие славные старушки-хлопотушки: проворные, румяные от кулинарного вдохновения...

— Наша предпочитает решать задачи стратегические, а не тактического характера. Вот сейчас придем, а она или дрова колет, или фундамент под сарай подводит. Спорим?

Дошли, сбросили жерди у изгороди, смахнули трудовой пот с разгоряченных лиц.

— Полюбуйся,— сказал он.— Я ж говорил!

Приставив лестницу к сараю, мать прилаживала на крышу ржавый лист жести, крепко стуча топором по краям его. Она была так увлечена этим занятием, что и не заметила их.

— Говорила я тебе: покрой ты ей крышу,— укорила Нина.

— Да не успел!

— Ну вот... Это уж она в укор нам..

Леонид Васильевич, рассердясь, крикнул:

— Мам! Будет тебе!

— А-а, пришли,— отозвалась она.

— Иди-ка лучше собирай на стол: поесть хочется!

— Неуж обедать пора?

Она стала спускаться по лестнице, оступилась, охнула, повалилась на вязанки хвороста. Ладно хоть невысоко было да и хворосток выручил. Железный лист, загремев, упал следом.

— Тьфу ты, чтоб те рзорвало! — ругнулась она, поднимаясь.

Отряхнула фартук, сказала в досаде, будто они виноваты в ее падении:

— Поди, буде, Нина, разогрей там чего... Картошечки пожарь, со вчера осталось.

Та, красноречиво посмотрев на мужа и хмыкнув, ушла. Минуту спустя она выглянула с крыльца, сказала, оглядываясь на свекровь, занятую в огороде у грядок:

— Иди полюбуйся: она вывесила фотокарточку твоей первой жены. На почетное место!

Он вошел в дом: верно, фотокарточка Таи висит рядом с прочими, то есть с теми, кого почтили в этом доме как самую близкую родню. Вот еще новость! Такое случилось и раньше: однажды заехал на денек, а портрет Таи на стене.

— Зачем ты, мам? — спросил он тогда, не поняв, что это означает.

— А пусть висит. Чужого места не занимает.

— А чье же она место занимает?

— Свое...

Он снял, спрятал в ящик комода, а сделал это из чувства протеста: ты, мол, ее выгнала, ну и нечего теперь.

— Пусть висит!

Мать достала фотокарточку, опять повесила на стену, говоря:

— Она ить неплохая была... Тая-то... Безобидная такая. Знамо, сирота! Без матери выросла. Бывало, все «мама», «мама»... Ласковая. Не скажешь зря.

Он промолчал.

Потом фотокарточка исчезла и несколько лет не появлялась. Теперь, значит, опять вынырнула. Зачем? Зря мать ничего не делает.

— А это мне в назидание,— усмехнулась Нина.— Вот, мол, Таи-

сия была хорошая сноха, потому и храню фотокарточку, а ты не больно хороша...

— Что за игры! — фыркнул Леонид Васильевич.

Он снял фотографию Таи, поискал глазами, куда бы ее спрятать, чтоб мать не нашла.

— Зачем ты? — запротестовала Нина. — Пусть висит.

Леонид Васильевич приставил стул, стал засовывать фотографию подальше за божницу, за иконы.

— Э! — сказал он вдруг. — Гляди-ка, сберкнижка...

— Положи сейчас же на место! — нахмурилась Нина.

— Погоди. — Он, шкодливо улыбаясь, открыл, полистал. — Та-ак... Ого! Две тысячи восемьсот шестьдесят три рубля семьдесят три копейки. Ни фиги себе!

— Дверь вроде хлопнула, Леня!

Он прислушался, потом продолжал изучать.

— Та-ак... Вот снято было две с половиной тысячи. Это теоретик на автомобиль в долг взял. Еще не вернул; значит, в плюс, получается больше пяти тыщ! — Он присвистнул. — Ого! У нас с тобой столько нет. Целое состояние.

— Как тебе не стыдно!

Он положил сберкнижку на прежнее место, слез со стула. Нина отобрала у него фотокарточку Таи и повесила на стену.

Голос матери послышался на улице: она разговаривала с Лилей.

— Больше пяти тысяч! — покачал головой Леонид Васильевич. — Интересно, с какой целью она копит?

— Наследство хочет оставить.

— Кому?!

— Наверно, тебе, — сказала Нина с коротким смешком. — Или сестре твоей Валентине. Вернее, вам обоим.

— Да на черта мне нужно это наследство! — разозлился он. — Думаю, и Валентине с ее теоретиком тоже.

— Ну, ты за других-то не говори, только за себя.

— Да Вадим Никитич побольше нас с тобой зарабатывает. Ого! Неужели нам, удачливым мужикам, ему или мне, нужно это старушечье накопление, собранное по крохам, со слезами!.. Вот я ей скажу! Покупала бы себе что надо. Так нет, обкрадывает саму себя. Зачем? Во имя чего?

— Для нее это-то и приятно.

— Ты так считаешь? М-да... Прилетела птица Грусть и села мне на сердце...

Обедали в глубоком молчании. Мать заподозрила было неладное, испытующе поглядела на них — сердятся! — но, задав два-три ничего не значащих вопроса, выслушала ответы и успокоилась: нет, все мирно.

Леонид Васильевич поглядывал на стену: Тае восемнадцать лет, платье на ней с галстучком, на фотографии не видно — оно светло-коричневое, в крапинку. Волосы короткие и завитые под барашка; губки сжаты целомудренно, с выражением: я девочка скромная, ни с кем не целовалась и даже об этом не думаю. Ямочки на щеках почти незаметны — это потому, что серьезна, такой она бывала редко, разве что в фотоателье. Вообще-то обычное состояние ее: губки всегда в улыбке, глазки бедовы, бровки готовы взлететь вверх.

Таечка... Интересно бы ее теперь увидеть... поговорить с нею!

Мать вострепнулась: оказывается, пока они ходили в лес, рейсовый автобус где-то на шоссе свалился на полном ходу с насыпи и врезался в реку. То есть это случилось раньше, но весть о сем происшествии дошла, докатилась, как взрывная волна, до материнной улицы только теперь.

— И перевернулся, и утонул, одни колеса торчат,— удовлетворенно заключила мать.

— А пассажиры? — насторожился Леонид Васильевич.

— Да что пассажиры-те, утопли все. Полный автобус.

— Говорят, половина вынырнула,— сказала Нина,— другая половина еще там сидит.

— На-адо же! — изумилась мать.— Живые еще?

— Живые,— подтвердила невестка.— Выглядывают в окошки.

— На-адо же!

Супруги между тем обменялись очень серьезными взглядами.

— Слушай, мам, я у тебя спросить хочу...

— Да как спрашивай.

— Скажи, пожалуйста, сколько у тебя в месяц уходит на питание? То есть сколько ты денег тратишь на продукты? Или ты счета не ведешь?

— А чего тут считать, счет-от невелик. Раньше я клала на месяц, Леня, одиннадцать рублей. Одно время, помню, хотелось, чтоб по рублю в неделю, а не вышло: четыре недельки прожила, вижу — не уложиться. А теперь побольше уходит: пятнадцать рублей, а то и восемнадцать.

— Пятнадцать рублей в месяц! — повторил, закипая.— У тебя пенсия тридцать четыре рубля, и Лиля за квартиру платит тридцать — итого больше шестидесяти. Ты извини, что я интересуюсь: выяснять хочу для себя. Дело в том, что мы тебе все время предлагали денег, как ни приедешь к нам, а ты отказывалась, говорила, что у тебя они есть, что тебе ничего не надо.

— Чтой-то я ваши-то буду брать! Чай, у вас своя нужда.

— Ну и я думал, что ты укладываешься в эти шестьдесят. Но теперь вот оказывается, что ты на пятнадцать рублей...

— А то и на восемнадцать,— уточнила она.

— А остальные? Прячешь в чулок?

— Чтой-то в чулок-от? Мало ли... То шраховка, то за свет, за радио.

— Ну, я думаю, твоя «шраховка» в год составляет не больше десяти рублей, то есть рубль в месяц... ну, трешница за электричество, рубль за радио — итого пять.

— То за дрова...

— Машина дров — тридцать рублей. Ты ведь больше одной не покупаешь за год?

— Одну, да.

— Ну, если не считать доход от твоей огородной продукции, примерно сорок рублей в месяц — это у тебя чистая прибыль. Так? Вот теперь объясни, зачем ты эти деньги бережешь? И кому? Почему не тратишь на себя? Не покупаешь сметану, куриц, творогу и прочего из продуктов столько, сколько тебе надо? — Он постепенно разгорячался.— Какую цель ты преследуешь, питаешься одной картошкой на растительном масле?

— Проесть, Леня, все можно.

— Да слышал я это сто раз! Но надо же жить как следует, по-человечески! Ты должна о себе думать! Ведь тебе ни много ни мало, а семьдесят пять, значит, нужно качественное питание.

Он продолжал и дальше в том же духе, на что мать сказала раз, а потом повторила:

— А чтой-то я буду деньги-то хвоить.

— Я этого не понимаю.— Леонид Васильевич положил вилку на стол, крепко стукнув ею.— Я ей — свое, она мне — свое.

— Леня, у тебя были такие благие намерения, когда мы шли из леса,— тихонько напомнила Нина.

— Извини, мам,— тотчас сбавил он тон.— Видишь ли, сейчас для нашей семьи — я имею в виду тебя, меня и Валентину — наступило

совсем другое время. Мы, твои дети, живем обеспеченно, хорошо зарабатываем. Почему же ты никак не можешь понять, что уже нет смысла в той экономии, которую ты так любишь?

Пока говорил это, опять загорячился, и жена остановила его взглядом.

— Сегодня хорошо,— сказала мать,— а вот завтра тебя жареный петух в задницу-то клюнет — и прибежишь к матери.

То было одно из любимейших ее изречений, так сказать, основополагающее, что сын насмешливо называл теорией грядущего черного дня.

— Вот зять-то надумал машину купить — у кого занять? Не у кого. У тебя попросил, ты отказал.

— А у меня как раз переезд, самому деньги нужны были.

— Вот я и выручила.

Она улыбалась улыбкой умудренного жизнью человека, который смотрит на неразумного, заблуждающегося.

— Он мог и без машины обойтись!

— Ему на дачу надо ездить. Не пешком же...

— Что это он надумал за счет твоих жалких трешниц... Вот я ему скажу.

— Я тебе скажу! — Мать остановила его своим ястребиным взглядом.— Не твое небось дело, ну и нечего.

— У меня терпенья не хватает,— признался Леонид Васильевич жене.— Ну как ей втолковать?

— Анастасия Сергеевна,— мягко заговорила Нина,— мы теперь будем привозить вам все необходимое из Москвы: и продукты и вещи,— вот только молоко вам придется здесь покупать. Леня хочет, чтоб вы не жалели для себя ничего, он и сердится-то от хороших побуждений.

— Чего тут сердиться.— Свекровь самолюбиво насупилась.— И мать-то ему зла не желает. Мать-то для вас старается-старается...

— Мам, ну не о том же речь,— страдая, перебил ее Леонид Васильевич.— Я протестую против твоей бессмысленной экономии, вот и все.

— Да много ли мне и надо! — вздохнула она, тем самым как бы оставаясь на своих позициях и соблюдая дистанцию: мол, можете делать что хотите, это ваша забота, а у меня свое.

— Ладно, оставим это,— сказал Леонид Васильевич, поднимаясь.

После обеда сажали картошку.

Ну, если раньше это была страда, то теперь все оказалось несравненно легче: ведь по крайней мере половина огорода стала садом, а оставшаяся половина в предыдущие годы постепенно и незаметно сужалась, как шагреневая кожа. Что там ни говори, а матери одной было не по силам вскапывать такую большую площадь, потому она незаметно для себя запускала огород...

Но это теперь, а раньше-то все, что занято ныне яблонями да вишнями и что не занято, вскапывала одна, причем в самом ударном темпе. Когда сын, томимый тоской по Тае, уехал отсюда на Урал, он там получал от матери письма с обязательным сообщением о том, что она «ухойдакалась — уж который день лежу пластом»; такие письма приходили в мае, когда она сажала картошку, и в сентябре, когда картошку выкапывала.

Никакие его увещевания по-прежнему на нее не действовали. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то — небось Борис Пикулев! — подсказал ей, что гораздо выгоднее разводить клубнику, чеснок, редиску...

Ныне, увидев, с каким азартом она взялась копать рядом с ними, Леонид Васильевич опять почувствовал внутренний протест. Он не вытерпел, выговорил матери:

— Что же ты меня срамишь на всю улицу: на крышу сарая давеча полезла...

— Дак тут какой срам? — сказала она.

— Женское ли это дело! — Он прибавил в голосе.

— А я уж привыкла, родимой сыночек. Без мужа живу.

— Но я же прошу: не вмешивайся, сам со всем справлюсь! Кстати, иди-ка ты посиди. Без тебя вскопаем.

— Чай, и я с вами.

— Мам, иди на лавочку.

— А я потихоньку, полегоньку.

— То она с топором, то с заступом... Твое дело вон... блинов бы напекла, что ли! Зачем я газовую плиту поставил?!

Глаза ее потемнели, а взгляд стал твердым.

— Чего ты мать-ту отчекиваешь! С утра, знать, не с той ноги встали оба. И то им не так, и это не этак!

Соседи Пикулевы оглянулись на них: Борис стругал рубанком доску, Таня сажала что-то на грядке.

— Лень, будет тебе, — тихо сказала Нина. — Давай помолчим.

— Что я, не вижу, что ли? Утром встали оба надувшись, с матерью разговаривать не хотят.

— Ну пошло-поехало... — сказал он чуть ли не с отчаянием.

Рано утром у дома Овчинниковых самосвал разгрузил вязки штакетника, доски, десятка два коротких бревен, длинные прожилины. Видно, как Леонид Васильевич стоит, размышляя, и на лице его написано этакое предвкушение удовольствия: он будто смаковал предстоящую работу. Вдруг обернулся, словно испугавшись: мать подошла, требовательно и придирчиво оглядывала привезенное. Когда еще деловые мужики Костя и Володя были здесь, она проявила крайнюю настороженность и, кажется, осталась чем-то недовольна, а теперь вот тоже удовлетворена: штакетник ровненький, прожилины длинные-предлинные, бревна свежие.

Ага, вот откуда в Леониде Васильевиче эта поза размышления перед началом работы: мать стояла так же, оценивая хозяйским взглядом, явно прикидывая что и как. Нагнулась, зачем-то покатила ближнее бревнышко. Сын не то чтобы поморщился, но этак принахмурился, повел головой, словно освобождая шею из тесного воротничка.

Мать выпрямилась, широко шагая, обошла наваленную груду и принялась оценивать взглядом старую изгородь, пошатала решительными движениями накренившийся столб.

— Конечно, еле стоит... чего тут, менять надо...

Сын ревниво покосился на нее и отправился к сараю. Через некоторое время вернулся, неся в одной руке ящик с инструментами, в другой — топор. Сноровисто, умело приступил к работе: стал ошкуривать одно из бревен.

Мать в это время вышагивала вдоль старой изгороди, что-то говоря себе самой.

— Как ты думаешь, Лень, сколько понадобится столбов-то на фасад? — громко спросила мать.

Он ответил коротко, не оборачиваясь к ней.

— А вот этот не постоит еще? — спросила она опять, шатая старый столб.

— Откуда я знаю, — ответил он еще без раздражения, но уже с досадой. — Вот выдернем — посмотрим.

А сам стук-стук по бревну; кора отделялась длинной полоской, обнажая белое тело дерева. Говорят, толковый инженер — ну да ведь в Москву с периферии не зря взяли! — а вот поди ж ты, и топор в руках у него послушен.

Леонид Васильевич ревновал мать к предстоящей работе, что немножко смешно, но это так.

— Может, и постоит,— рассуждала она вслух.— Маленько подтесать вот тут... а снизу подпилить... вот тутотко.

«Нет, не даст она мужику поработать всласть,— подумал я.— Не даст. Анастасия Сергеевна предпочитает заниматься именно серьезными хозяйственными делами. Ее хлебом не корми — дай только помахать топором, перетащить бревно с места на место, выкопать канаву. Невестку заставила посуду мыть, а сама вышла сюда. Она женщина деловая, мелочиться не любит, и сын должен принять это во внимание, смириться. А иначе побьются мать с сыном, как горшки, друг о дружку».

— Мам, иди займись чем-нибудь своим! — сказал сын резковато; вот он и не выдержал.— Иди просто посиди на лавочке!

— Да чего ты! — тотчас возвысила она голос.— Мешаю я тебе, что ли?

Ясно, что последует дальше: поссорятся.

Леонид Васильевич, ошкурив бревно, шатнул посильнее старый столб, тот хрупнул у основания и повалился, увлекая за собой соседние колья; то же самое и следующий — Леонид Васильевич прошел вдоль всей изгороди, отбрасывая ногой многочисленные подпорки и обрывая веревки. Если столб не обламывался, топором отбивал старые жерди, вытаскивал его и бросал рядом. Силен мужик! Приятно было видеть его вдохновенное, решительное лицо.

А матери, видно, тоже хотелось деятельной работы; она приступила к поваленной изгороди, намереваясь растащить, разобрать. Сил у нее немного, а колья, сцепленные между собой обломками старых жердей, не хотели разделяться, задевали за кусты вишеника, за подол ее платья...

— Мам, оставь! — крикнул сын.— Справлюсь сам.

— Да я потихоньку. Ить помочь хочу. Все тебе поменьше работы-то.

— А я говорю: оставь! Отойди и займись своим делом, если не хочешь сидеть. Не мешай, очень тебя прошу.

Она выпрямилась и глядела на него с укоризной.

— Скоро восемьдесят лет человеку, а она все бы ворочала, таскала...— ворчал сын.— Чего нейметя!

— Да мне нетяжело. Озырь упрямой! Тебе лишь бы мать-ту прогнать! — рассердилась она и пошла прочь широкими шагами, приговаривая так, что слышно было мне одному: — Вот послал господь сыночка!.. Исусе Христе... Согресишь, грешница...

Тут на крыльце появилась Нина, подошла к мужу; они о чем-то коротко поговорили, и некоторое время спустя я увидел, что супруги согласно работают вдвоем: он разбивал топором старую изгородь, Нина сортировала — обломки относила к сараю, целые и еще годные в дело складывала отдельно. Разговаривали они меж собой негромко.

— Вас нельзя посылать в космос в одном корабле,— сказала Нина.

Она помолчала, размышляя, потом заявила:

— Вот что, Леня, съезжу-ка я домой, а?

— Что это вдруг? Ни с того ни с сего.

— Да уж именно с сего... Как представила себе, что вот между нашими сыновьями и нами, Леня... И знаешь, мне стало страшно.— У нее вдруг голос дрогнул и, должно быть, слезы навернулись.

— Ну что ты,— сказал муж виновато.

— В самом деле, Леня. Мы их оставили в такое время: госэкзамены... Я им загружу холодильник, напеку-наварю всего... Хоть порадую маленько.

— Ну съезди,— сказал он, как-то сразу смягчившись.— Однако не покидай меня надолго.

— Да я только на денек! — Голос у нее сразу повеселел, и ра-

ботать она стала проворней.— А вообще знаешь, Леня, надо нам с ними быть поближе. Избави бог...

— Поезжай, только помни, что у нас тут дела.

Он не спеша, но этак сноровисто обтесывал бревнышко, любовно обертывал комелек рубероидом, пришивал гвоздиками. Потом копал яму и устанавливал столб, старательно обтаптывая кругом, забивая камнями. Закончив с первым столбом, пошатал его, похлопал одобрительно, удовлетворенно и принялся за следующий. К вечеру уже все столбы стояли на своих местах и прожилины между ними были протянуты.

Хозяйство Овчинниковых, если глядеть с улицы, прямо-таки преобразилось. Фасадная часть изгороди была поставлена, и даже фигурная дверца, сделанная Леонидом Васильевичем мастерски, заняла свое место.

— Ишь, Настя, дом-то у тебя теперь смеется! — говорили соседи.

Говорили, что дом «смеется», разные люди — такая у всех рождалась ассоциация. Да, да, дом улыбался белозубой, радостной улыбкой, и хозяйка его была довольна, однако придиричиво оглядывала изгородь, с сомнением качала головой:

— Не знаю уж...

Смуцала недостаточная, по ее мнению, крепость да и высота — только по плечо.

— Чего «не знаю»! Ишь как нарядно... красиво.

— Разве что красиво. Вот забор бы! Да повыше. А то завсю ребятя виснет, вишенник обламывает.

Крепкий забор — мечта каждого настоящего хозяина, и нечего над этим иронизировать. Послушайте деда Андрея, он вам скажет: и государственная граница — не тот ли забор? По-моему, он отчасти прав. Так что в эти игрушки с разгораживанием владений играют и самые умные люди.

На третий день приехала Нина. На ней было платье свободного покроя, и в нем как-то очень хорошо смотрелось ее полное тело. Красивая женщина...

А Леонид Васильевич в этот день с раннего утра затеял новое дело: поверх ветхой драночной крыши сарая настилал полосы рубероида и прибывал их сверху длинными рейками. Он тоже издали увидел жену и приостановил работу, выпрямился во весь рост на крыше, ждал.

Нина весело поздоровалась со свекровью и сразу направилась к нему.

— Здравствуй, кровельщик! Не свались оттуда.

— Привет. Как там, доложи.

— Да съездила почти что зря.

— Почему?

— Я думала, пропадают наши сыновья в голоде и полном небрежении... А там такие две девицы хозяйничают! И в квартире прибрано, и холодильник загружен, и в кухне торты свои пекут, да пироги, да блины... А уж музыка у них гремит! Я приехала, гляжу — и не нужна совсем. Села на диване и сижу, как гостья. Меня угощали, развлекали светской беседой.

— И как все это понимать? — спросил Леонид Васильевич, подумав.

— А в самом прямом смысле, Леня.

— То есть с последствиями в виде общей свадьбы и так далее?

— По-видимому. Не горной, девочки хорошие, одну из них ты знаешь, Марина, бывала у нас. Я, Леня, махнула рукой: пусть все идет как идет. Ты-то как тут?

— Да ничего, — сказал он неопределенно, а потом усмехнулся. — По-моему, мы нигде не нужны, ни здесь, ни там.

— Не горюй, добрый молодец. Посмотри, что я тебе привезла.

— О-о!.. «Как сложить печь своими руками!»! А ну кинь сюда.

Нина бросила ему книгу, он уселся на кровле, листая.

— Линтварев велел передать, что лежанка — это не лазерная установка, тебе не поддается.

— Ну, все. Дело чести инженера Овчинникова печь поставить и чтоб работала, как... — Поискал сравнения — не нашел.

В отсутствие Нины у него с матерью состоялось несколько разговоров, которые легли новой тяжестью в душу, и тяжесть эта не рассеивалась. Сначала было объяснение насчет Лили-квартирантки. Садись за стол обедать, мать рассказывала что-то, о каких-то расчетах с нею, а он слушал радио.

— ...за набор к майскому празднику четыре рубля сорок копеек да масла сливочного привезла мне из Москвы и колбаски на два восемьдесят... а я ей два ведра картошки — клади хоть по три рубля...

Говоря это, она собирала на стол, а он хмурился: мешала слушать.

— И потом она мне двенадцать рублей тогда отдала: две трешницы, помню, пятерку и рубль — вроде как аванец...

Он встал и чуть-чуть прибавил громкости, но голос и у матери звучный, тем более когда она увлечена своей речью.

— Ну, она за прошлый-то месяц расплатилась, пятнадцать рублей и тридцать копеек, а за июнь... погоди, говорит, бабушка, денег нет. Как же нет, я ей говорю: ведь восемьдесят рублей лиментов получила. Да я, мол, их истратила. Ну уж твоя воля, а у меня гости, мне деньги нужны...

— Погоди-погоди, — насторожился Леонид Васильевич, сразу забыв про радио. — Ты требуешь с Лили за квартиру... да еще вперед... и так настойчиво?

— Да что ж не требовать? Чай, я свои, а не еённые. Мне чужих не надо, а что полагается, отдай.

Он омрачился:

— Ма-ама! Да разве ты испытываешь нужду в деньгах? Объясни, в чем тут дело.

— А я ничего такого ей не сказала, только говорю: гости, мол, приехали и мне, конечно, денежки-те нужны.

— Зачем? Разве ты истратила хоть копейку, пока мы здесь?

— А то нет! Вот позавчера ходила в магазин и полтора рубля истрясла. Вы, конечно, материных-то трат не видите.

— Ма-ама! Вон же наши деньги лежат возле зеркала. Бери сколько хочешь, когда идешь в магазин, и покупай всего. А ты притесняешь бедную женщину. Какой срам!

— Чтой-то я ваши-те буду брать? У меня и свои есть. И у Лили я не все... хоть, говорю, двенадцать рублей или пятнадцать. Ей же потом легче будет платить. Что хорошего, когда задолжаешь!

Он отложил ложку совершенно расстроенный.

— Я извинюсь перед ней, мам. Это черт знает что такое!

— Да чего ты, чего ты! — сурово начала она, и это было началом наступления...

Потом уже, работая в огороде, он с боязливостью поглядывал на окна квартирантки Лили, чувствуя себя очень скверно. «Я предложу ей денег, — подумал он. — Да она не возьмет... Хоть бы Нина приехала, они б по-женски...»

И второй разговор оставил болезненное чувство.

— Слушай, мам, я чего-то не понимаю, — начал он хорошим, мирным тоном, поскольку был очень воодушевлен работой: изгородь получалась что надо. — У меня создается впечатление, что ты как будто бы против... вот что мы хозяйничаем немного.

— А чтой-то?

— Да все недовольна.

— Это вы матерью-то недовольны! А мать-то уж не знает, как и угодить. Вы все чего-то... чем вам мать-то плоха? Я ли не стараюсь, я ли не угождаю... а вам все не в честь да не в славу.

— погоди, давай по порядку. Значит, ты не против, чтоб мы тут поработали? В огороде то есть и для дома?

— Матери-то для вас ничего не жалко. Мать-то для вас готова последнее отдать.

— Не надо, мам. Никто у тебя ничего не собирается забирать. Давай поговорим нормально.

— А что тебе не нравятся материны-то слова? Как я ни скажу, все не так. Конечно, вы образованные, а я неграмотная, где вам меня слушать.

— погоди, я же с тобой поговорить хочу по душам. Ты нас пойми, мы рассудили так: тебе одной не управиться с таким огородом, вот и решили помочь. Ты же вроде бы как против. А почему, я не понимаю.

— Да мне не жалко и огороду тоже. Вон хоть за сараем-то участок выделю вам.

— Как это?

— Да, я гляжу, вы не хотите с матерью-то. Сами хотите быть хозяевами. Ну я вам и даю вот за сараем землю, это будет ваша. Там и картошечки посадите, и лучку, и всего...

Леонид Васильевич ушел на берег реки и долго ходил там один. Сидел, швырял в воду головки одуванчиков. Вздыхал.

А потом был другой разговор... впрочем, как бы тот же самый, его продолжение.

— Ты давеча сказала, что вот-де раз мы не хотим вместе с тобой... С чего ты это взяла, что мы решили отделиться?

— Да что я, не вижу, что ли! Все мать-ту отчекиваете.

— погоди, мам. Ведь мы же добра тебе хотим. Ты никак не поймешь.

— Все я понимаю. И мать-то вам не зла желает.

— Ну и давай как-то столкнемся на том, что мы оба хотим другу другу добра.

— Вот и я говорю: чтоб без обиды, возьмите участок-то за сараем. Посадите и того и сего.

— Это как?.. Там наше, тут твое — и разгородимся забором?

— А уж как хотите.

— Да не нужен нам участок!

— Чего же вам? Земля хорошая, унавоженная, будет вам заместо дачи.

— Да ты пойми: нам хочется ухаживать за яблонями, за вишнями, сливами, за кустами смородины и крыжовничка, за малинником... За твоим домом, в конце концов! Берем все твои заботы на себя — ты разве что-то имеешь против? Разве в этом что-то тебя не устраивает?

— Все меня устраивает. Матери-то не жалко ничего. Для вас же стараюсь...

— Мы не на ягоды да на яблоки претендуем — мы хотим поработать, поухаживать за твоим садом, обиходить твой дом. Вот печку я тебе сложу, новыми обоями потом все оклеим, покрасим. Чем чаще будем приезжать, тем тебе поповадней. Разве не так?

— А матери-то ничего не надо, кроме ласкового слова. Мать-то до страсти рада, когда вы у нее что берете.

Вишь как энергично выражается: до страсти рада.

— Мы ничего не берем, мам.

— Да мне жалко, что ли! Вот ить ягоды поспеют — варите себе на здоровье варенье. Али вот яблочки-те... Все равно пропадают. На базаре-то их не продашь — это не белый налив.

— Да не о том речь, мам.

— Что же я вам, не дам, что ли? Берите. А за сараем-то посадите картошечку, да лучку, да редисочки... все не покупать!.. На базар-то придется — денежки платить надо, а тут задаром...

Опять он ушел посидеть на берегу.

Закат был очень хорош в этот вечер: какие яркие краски! Солнце опускалось за горизонт увеличенное, как большое сердце. Когда нижняя половина его скрылась за кромку леса, моя дочь сказала:

— Посмотри, оно похоже на огненный пузырь... или на взрыв атомной бомбы.

— Ну вот, нашла с чем сравнивать. Много ты видела атомных взрывов!

— По телевизору два раза.

— О боже мой! Сравнивай... с большим бутоном цветка, вот хоть бы красного мака или тюльпана — видела такие у деда Андрея?

— Вот сейчас если то облако наедет и встанет над солнцем, будет как атомный гриб,— упрямо повторила она.

— Похоже на парашют,— возразил я.— И солнце и облако — два парашюта.

— Слишком большие, таких не бывает.

Мы сидели в нашем любимом окошке на теплом подоконнике, и я почему-то был особенно счастлив тем, что ощущал рядом с собой родной теплый бочок. Мои отцовские чувства — странное дело! — расцветают отнюдь не оттого, что вижу дочкину мордашку или слышу ее голосок-колокольчик, а вот именно оттого, что рядом тепло маленького тельца. Мне тогда хочется обнять ее крепко-крепко, вместе с собой: мое, мое! Родному человеку семь лет, мы друзья, и я вижу в ней себя, начинающего жизнь заново,— какое восхитительное ощущение!

— А гости бабы Насти опять гуляют.

— Любуются на закат, как и мы,— предположил я не подумав.

— Нет,— возразила дочь убежденно.— Они не любят, а огорчаются.

— Почему?

— А раз такой закат, значит, завтра пойдет дождик. И будет холодно, потому что черемуха расцвела. И тогда Овчинниковы не смогут работать в огороде. Поэтому они сейчас огорчаются.

— Разве у них мало дел в доме?

— Там баба Настя... с нею им скучно.

— Напротив! Она будет печь им пироги, а потом чаевничать и беседовать на душевные темы.

Моя собеседница оглянулась на меня и засмеялась.

— Что ты смеешься?

— Так...

Назавтра подул холодный ветер, пошел дождь...

В эти ненастные дни Леонид Васильевич был неукротимо деятелен: стучал, пилил, стругал в сарае. Нина помогала ему, а вернее, находилась всегда с ним рядом, были слышны их голоса и смех. Иногда она, укрывшись с головой плащом, подходила к кустам сирени в палисаднике, прогуливалась между цветущими яблонями, дождь стучал по ее плащу. Леонид Васильевич, тоже чем-то укрывшись, подходил к ней; они стояли долго, переговариваясь, он отстригал секатором ненужные ветки, но тут появлялась неизменно мать и говорила прямо с крыльца:

— Не трогай ты их, Леня! Что они, мешают тебе?

После чего супруги удалялись в сарай, и опять там раздавалось шарканье рубанка, звон пилы...

Однажды Леонид Васильевич куда-то отлучился из дому и вернулся на грузовой машине, с которой прямо под дождем сгружали

кирпичи и таскали к сараю. Через какое-то время, тоже под дождем, он копал в дальнем углу огорода глину, разводил ее в большом корыте, помешивая заступом; вымазался весь, и выстиранные штаны его к вечеру трепыхались под навесом, а на нем самом старенькие, с заплатами на заду.

Через несколько дней погода стала разгуливаться понемногу; еще бежали тяжелые облака, но солнце выглянуло раз и два словно укрادкой да и заулыбалось радостно.

И вот тут-то Леонид Васильевич стал выволакивать из сарая то, что наготовил: он врыл перед палисадником два столбика и на них укрепил лавочку со спинкой — очень удобная получилась, это чтоб соседки ходили сюда посидеть, поговорить, как хотелось матери.

Еще одну ладненькую скамеечку поставил-врыл в палисаднике — это уж для матери одной, не для всех...

Тут Борис Пикулев вышел на крыльцо:

— Бросай дела, сосед, футбол смотреть будем.

Леонид Васильевич уже оглядывался под яблонями, собираясь и тут что-то соорудить.

— А что там? — Леонид Васильевич взял заступ и стал копать.

— Да неуж смотреть не будешь? — изумился Борис.

— А у нас телевизор еле-еле дышит.

— Так надо срочно мастера позвать! Хочешь, я своего зятя пригласю: он хоть и не телевизионный техник, а закройщик, но в телевизорах маленько кумекает. Авось починит.

— Не надо, — махнул рукой Леонид Васильевич. — Этот уж не отремонтировать, ему в обед сто лет будет.

— Да-а... Без телевизора что за жизнь. Новости все-таки каждый день.

Он уже врыл в землю между яблонями столик, когда Пикулев снова выскочил на крыльцо:

— Гол забили! Наши!

— Да ну! Что-то невероятное. А не наоборот? — усомнился Леонид Васильевич.

Через минуту Борис опять крикнул:

— Леня! Два-ноль в нашу пользу!

— Во дают! Кто это так безобразничает? Наверно, телевизор врет.

— Но почему! — возмутился Пикулев.

— Наши же не умеют забивать.

— Да ты посмотри иди! — Борис исчез.

— Придется покупать телевизор. Как ты на это смотришь? — спросил Леонид Васильевич у жены.

— Конечно, покупай. Без телевизора не жизнь, а мука. Живем тут с одними ушами, без глаз.

— Все, решено-заметано.

А столик под яблонями уже стоял в окружении ладненьких скамеечек.

— В домино играть? — спросил Борис.

— Самовар будем ставить!

И самовар нашелся, кстати сказать, у матери на чердаке: Нина его, памятого и позеленелого, отчищала у крыльца кирпичным порошком. Мать, однако, посматривала недовольно и как бы сторонилась и того и другого.

Соседи явились на новую лавочку перед палисадником в тот же вечер. Нина с Леонидом Васильевичем на закате опять ушли гулять на берег реки, так что о них говорили не таясь.

— Ишь какие у тебя работники-те! — хвалила Валерьяновна. — Только стукотня стоит! То дрова, то крышу, то еще что. А мой трутень...

— Чего уж, каждый день по обновке.— Это Таня Пикулева.— И газ провели, и изгородь поставили, и даже вот скамеечки эти сделали...

— Да им тут уж больно хорошо,— отвечала хозяйка довольно сурово.— Заместо дачи...

— Стараются, Насть! — Голос бабы Оли.

— А внучат-то у них нету? — тоненько спросила баба Нюта.

— Дурачье дело нехитрое, заведутся и внучата.

— Как ни гляну,— это опять баба Оля,— все они работают, работают! Ишь, думаю, как они об матери-то!.. Заботнички.

— Чай, не для меня, для себя стараются,— сказала хозяйка лавочки, и палисадника, и всего прочего, о чем шла речь.

Такое ее заявление вызвало общий интерес.

— Ну как же! — решила уточнить Валерьяновна.— Твой дом, твой огород... Значит, для тебя.

— Что же я, сто лет буду жить? Помру — все им останется. Чай, они не глупые, понимают. Вот и стараются.

— Нынче все до огородов-то охотники,— добавил грубый голос. (Я выпянул: у кого это такой бас? — оказалось, с соседней улицы старуха.)

— Нынче огороды-то в цене,— подтвердила мать.— Плохо ли им тут! Вон какой сад, все только любят: тут тебе и ягодки, тут и яблочко.

— А то бы они старались! Как же, держи карман! Вон мои: пока не было своего дачного кооперативу, то и дело к матери бегали. А теперь в кооперативе, так и носа не кажут.

— Ну разве сравнишь! — возразила Анастасия Сергеевна, перебивая собеседницу.— То ли на дачном участке, то ли здесь. Тут ить попросторнее и земля-то убихожена. Они у меня и поработают, и отдохнут, и чайку попьют, и поедят. Мать-то все для них, матери-то ничего не жалко. Плохо ли им!..

Купить-то телевизор оказалось просто, а вот как до дому доставить? Долго маялся возле магазина, сколько ни останавливал Леонид Васильевич машин — та с грузом, эта с начальником...

Немного подъехали на городском автобусе, а дальше тащили тяжеленную коробку на руках. Ну, спешить было некуда и донесли бы, останавливаясь отдохнуть, как только уставали. Они и не слишком горевали, несли и несли, разговаривая о том и о сем. Солнце, правда, донимало, и они старались выбирать тенистые участки улицы. И вот когда остановились в очередной раз — а случилось это неподалеку от завода с красивым названием,— Леонид Васильевич глянул в сторону проходной — и словно тень на него легла: на самом солнцепеке, возле газончика со скудной растительностью стояла его мать... что-то продавала, разложив это «что-то» на краю скамьи. Рядом стояла детская коляска из тех, что он видел в сарае.

Он помрачнел, оглянулся на жену — та тоже увидела свекровь.

— Что это она продает? — спросил он сдавленным голосом.

— Насколько я понимаю... редисочку в пучках... перьевой лучок. Они переглянулись.

— Пойти купить весь товар? — предложил Леонид Васильевич.

— Не надо,— остановила жена.— Не трогай ее.

— Я пойду... Скажу: почему?

— Тридцать копеек пучок,— подсказала Нина.— Не дорого для вас?

— На два рубля наторгует — и на сберкнижку их.

— Наследство... сыну и дочери.

Народ выходил из проходной завода, останавливались возле матери, спрашивали, должно быть, о цене. Кое-кто купил... Увлеченная продажей, она не замечала сына и невестки.

Леонид Васильевич не вынес этой сцены, взялся за свою ношу. Понесли молча и долго не останавливались. Нина видела, что муж мрачнее тучи, и подумала, что в таком состоянии он может наломать дров, если мать вернется скоро.

— Леня, держи себя в руках,— предостерегла она.

— Я держу,— отозвался он неожиданно смиренным голосом. Вернее, упавшим.

Остановились наконец и перевели дух.

— Глянь-ка, Леня.

Улица, по которой они шли, упиралась как раз в ту проходную, и вот оттуда двигалась знакомая фигура... с детской колясочкой. Мать тоже увидела их и поспешно вильнула в сторону, чтоб скрыться за кустами.

— Прячется от нас,— сказал Леонид Васильевич.— Значит, смущена.

— Не упрекай ее, Леня, бог с ней.

— Упреками тут ничего не достигнешь,— отозвался он.

Они доволокли телевизор до своего палисадника и здесь остановились, поджидая мать. Она вышла из-за кустов неподалеку. Колясочка у нее отчаянно визжала, чем ближе, тем громче. Мать почему-то сильно прихрамывала, и Леонид Васильевич пошел ей навстречу.

— Вот ногу-то свихнула,— подходя, сообщила она рассерженно, словно это именно они послали ее, старуху, продавать редиску возле проходной.— Мне бы, дура, идти по дороге, а я свернула на тропочку. Через канавку-то шагнула, вот и...

Нагнулась и потеряла щиколотку. Конечно, если б не они, она не стала бы прятаться, а значит, и не повредила бы ногу — в том их и вина.

Леонид Васильевич пожал плечами, взялся за коляску, покатил. Транспортное средство это было и помято, и побито, и проржавело, и прохудилось; колеса выписывали восьмерки и впереводку поскрипывали, постанывали, посвистывали — целый оркестр. «И она так ездит по городу! — ужаснулся он.— Моя мать — и с этой колымагой?!»

— А я дай, думаю, ведро картошки продам. Да редисочки с лучком прихватила,— говорила за его спиной мать.— Поехала к проходной, как раз смена кончается. Ну вот и...

— Много выручила? — поинтересовался сын ровным голосом.

— Картошки ведро — три рубля, да редиски два пучка по пятьдесят копеек, да лук... Рублей на пять продала с лишком,— не без довольства похвастала мать.

— А каков лишек?

Она не поняла иронии, продолжала:

— И лучок быстро раскупили и редисочку — жалели, что мало. Да там такое бойкое место, хоть сколько привези — все расхватывают. Я, бывало, как вот созреет клубника, только встану — тут сразу и подходят: почему? Ну, пятьдесят, мол, копеек стакан. А много ли в стакан-то войдет! Коли крупная, так пять-шесть ягодин. И берут! Тому для детишков, тому в больницу снести. Попросят: добавь, бабушка, ягодку. Я и добавляю; жалко ить станет: для детишков, конечно, или больной кто.

Эту речь о милосердии уже слышала невестка и не откликнулась никак: ни словом, ни улыбкой.

Супруги опять взялись за телевизор и внесли его в дом. Старый сняли с комода, что под божницей, и вынесли в сени: зять Бориса Пикунлева обещал отремонтировать его, и у Леонида Васильевича возникла благая мысль подарить починенный телевизор квартирантке Лиле, у нее ведь нет.

Подключили попку к электросети, к антенне, Леонид Васильевич пощелкал переключателями — ворвалась бодрая музыка, появились и музыканты, согласно двигавшие смычками... Тут как раз мать вошла с улицы, уселась напротив, положила руки на колени, произнесла удивленным тоном:

— Какая видимость-то хорошая!.. Да как хорошо-то!.. Да уж как ясно-то!

Потом показывали научно-популярный фильм про лягушек, у которых рождаются сразу лягушата и их собиралась тьма-тьмуца в том водоеме.

— Да как же их мать-то различает! Или так уж, наплюнет да и позабудет, а?

Сын и невестка в ответ молчали.

Леонид Васильевич незаметно вышел и отправился к сараю. Колясочка стояла тут, уродливая, как лягушка (конструкция начала шестидесятых годов). Он деловито выволок из угла сарая кувалду — вот, оказывается, для чего она тут лежала! вот чего дожидалась! — и без особого ожесточения, крепко ударяя этой кувалдой, смял разлапистую колясочку в бесформенный ком железа. Колеса отбил напрочь, взял заступ и, весело насвистывая — финал второго концерта для фортепьяно с оркестром Чайковского, — зарыл в разных местах огорода, чтоб не отыскались никогда, чтоб усилиями матери не возродилась позорная колымага. Потом выволок из сарая на свет божий второе точно такое же транспортное средство и тем же порядком раскурочил. В сарае оказалась и третья, и хоть была она, что называется, не на ходу, все равно ее постигла та же участь. После чего Леонид Васильевич уважительно прислонил кувалду к стене и совершенно довольный похлопал ладонями, отряхивая с них ржавчину. Надо было теперь отнести это железо к школе, там собирают металлолом.

Он так и сделал бы не откладывая, но тут мать вышла из дому, прихрамывая, направилась к нему — и остолбенела.

— Чевой-то ты?

Минуту глядела, не веря глазам своим, потом вскричала будто при пожаре:

— Ой! Ой! — И все более и более прибавляя в голосе: — Что творил-то! — Уставилась на него разгневанно. — Да ты в своем ли уме? Да не помutilo ли тебя в разуме-то, мириканец ты этакой? Поглядите-ко, люди добрые! Руки, что ли, чешутся! Да чтоб те рорвало! Дурья голова, знать, рукам покою не дает.

Сын молчал: он не ожидал такого бурного негодования матери и потому опешил.

— Глядите-ко, обе коляски изломал! — Мать хлопала себя по бедрам. — Да пес ты этакой, чего глаза-те тарачишь? Кто тебя просил ломать да корезить? Тьфу ты, господи!

Он нахмурился и сам пошел в атаку:

— А чтоб ты не позорилась с ними! На виду у всего города таскаешь...

— Какое твое дело! Не твои коляски, мне их квартиранты оставили. Взял да раскурочил. Уж такие удобные да хорошие колясочки были! Как же я теперь без них? Поглядите-ко! — воззвала она к соседям с одной и с другой стороны. — Что он наделал-то! Изломал коляски мои.

— Зачем они тебе? — сурово спросил он, но этот суровый тон не смутил мать.

— Мало ли зачем! Не твое дело. Ишь, хозяин нашелся! Я с ними на реку белье полоскать езжу.

Она поворачивалась направо и налево, желая присоединить к своему осуждению и общественное мнение. Соседи смотрели на них этак выжидательно, никак не проявляя своего отношения к происходящему.

— Я уж стара стала, мне тяжело таз-то с бельем нести, а тебе до того дела нету. У меня вон поясница отбилась — как я теперь на реку белье понесу!

— Не на реку ездить она вам нужна была, а на базар,— сказала невестка, подходя.

Лучше б она не говорила! Лучше б не подходила! Что тут началось! Голос матери зазвенел октавой выше, а красноречие ее стало неудержимым.

— Экой дурак, прости, господи! — не унималась мать.— Только бы ломал да портил, что под руку попадет....

Зрители с той и другой стороны внимательно слушали это, улыбались: бесплатный спектакль как-никак!

Леонид Васильевич вдруг увидел в окне Либиной половины Таю — на лице ее было столько сострадания к нему... да, словно не Лиля, а именно Тая смотрела на него. И хорошенькая девочка со второго этажа деревянного дома тоже смотрела и жалела его...

— Ну что наделал! Что наделал! — Мать качала головой.— Такие колясочки-то были удобные, такие складные!

— Уймись,— сказал он ей сурово.— Я тебе новую куплю.

— Ты купишь! Что мне за радость от твоей новой-то? Чем эти были плохи? Тебе плохи, так мне хороши. Просила ли я тебя их ломать-то? Что ты, как враган, налетел! Истинный враган, прости, господи! И чего ему в башку взбрело! — Это снова она адресовала зрителям, ища себе сочувствия и осуждения сыну.

Не в силах выносить и далее эту сцену, Леонид Васильевич решил ретироваться.

— Я в хозяйственный магазин,— сказал он жене.— Куплю ей тачку огородную.

— Я с тобой,— тотчас заявила она.

Некоторое время шли молча, потом Нина сказала, морщась, как от зубной боли:

— Зря ты их сломал.

— Ну ты же видела, что это за уроды! — загорячился он.— Ржавые, облезлые, мятые, гнутые — черт те что! А уж какой скрип! Чего старуха позорилась? Ведь на смех людям!

Леонид Васильевич был в возбужденном состоянии от обиды: руки вздрагивали и голос приобрел несвойственные ему ноты — будто он собирался заплакать или уже наплакался.

— Да куплю я ей тачку новую! Вот сейчас и куплю.

— Имей в виду: ей нужна именно детская коляска. Да не новая, а именно старенькая, невидненькая. И не новой конструкции — они слишком легки,— а наоборот: этакая присадистая.

— Но почему?!

— А с нею торговать удобнее: в колясочку эту она и кастрюльки с ягодами поставит, и стакан, и кулечки из газеты — все укромненько, никому ничего не видно. А что ей твоя тачка? На ней все на виду!

— И прекрасно! Я куплю именно тачку, чтоб только для тазика с бельем, чтоб мать не ездила на базар, не калилась там на солнце-пеке и не мокла под дождем. Это бессмысленно!

— Леня, тебе не понять: ей продавать — спектакль целый. Кто как подошел, да как спросил, да сколько она в стаканчик положила, да надбавила ягодку из сочувствия к покупателю: вот, мол, какая я добрая! Потом возвратилась домой с выручкой — денежку сосчитала. Что ты! Очень интересно...

— Выращивала бы цветы для собственной радости!

— Она и их пойдет продавать.

— Вязала бы носки, смотрела телевизор, приглашала бы в гости подруг чай пить из самовара...

Вернувшись, они застали мать в слезах. То есть плакала она, как видно, в их отсутствие, и теперь глаза были, что называется, на мокром месте, а лицо сурово.

— Ты, кажется, плакала? — насторожившись, осведомился Леонид Васильевич, почувствовав холодок в груди; то был нехороший холодок, злой. — Уж не из-за колясочки ли? Да вот мы тебе новую купили, пожалуйста.

— А зачем вы яблоню-то сломали? — вскинулась она. — Ну? И яблоня вам помешала? Какая росла красавица, белый налив...

Леонид Васильевич оглянулся: верно, яблонька, что так славно раскидывала свои веточки над прогнившим высоким пнем, теперь повалилась, лежала вершиной вниз, телесно белел свежий слом.

— Я к ней не приближался и не притрагивался, — решительно сказал Леонид Васильевич.

— И я не трогала, — сказала Нина почти испуганно.

— Значит, ветром повалило. Много ли ей надо — она едва держалась!

Подошли к яблоньке все трое и постояли над нею, опустив головы. Так сказать, минута молчания, как над павшим.

— Такая хорошая яблонька была, — прочитала мать. — Нет, дай сломаем.

— Тьфу! — ожесточенно плюнул сын и закричал: — Да не трогали мы ее, можешь ты это понять?!

— Белый налив... больше такой и не осталось у меня.

— Да хоть белый, хоть черный — мы ее не трогали!

— Леня, не кричи, — нахмурилась жена. — А яблонька все равно упала бы рано или поздно.

— Она окрепла бы... — твердила мать.

А к тачке, только что принесенной из магазина, примерилась и вынесла приговор тотчас:

— Чево она мне! Кувыртучая. Зачем мне такую?

— Но ты же говорила, что не на чем возить белье к речке! — возмутился сын.

— Те были такие удобные, я катала их да радовалась. На те что ни положи, не вывалится. А тут?..

— Удобно было ездить на базар, — не без яду заметила Нина.

— Да! На базар! — Мать обращала гневное лицо то к сыну, то к невестке и прибавляла голосу. — Продавать! Я не чужое продаю, не ваше, а свое. И огород этот — я его нажила. А они — ишь...

И опять прозвучало: «Как враган какой налетел! Истинный враган!»

— Все, — сказал Леонид Васильевич жене упавшим голосом. — Я сдаюсь... спускаю флаг.

— Насовсем?

— Насовсем.

— А печь? — напомнила Нина. — Это очень важно, Леня.

— Пойду на поклон к деду Андрею; думаю, он не откажет.

Супруги Овчинниковы засобирались в дорогу в тот же день под вечер. Укладывались поспешно, словно их подгонял кто-то. Мать ходила по дому своей тяжелой поступью, делала вид, что не замечает их сборов, крепко хлопала дверью, при этом что-то приговаривала. В ее сердитом ворчании можно было разобрать: «Мать-то старается старается... Все не в честь да не в славу... Как враган налетел!» Ворчала, но негромко.

Леонид Васильевич и Нина уже взяли за сумки, чтоб выйти насовсем, — мать вышла к ним из кухни, вытирая фартуком руки.

— Что же вы мало погостили? — сказала она таким тоном, какой можно было бы назвать и приветливым.

Да, она сказала это вполне приветливо. Ссоры ссорами, но долг повелевал проводить гостей честь честью, и эта честь должна быть неукоснительно оказана, соблюдена.

— Пора,— с натугой вымолвил сын.— Дела ждут.. У ребят там госэкзамены...

— Ну-ну...

Он окинул взглядом переднюю: новенькое радио бодро и чисто говорило человеческим голосом, новенькие часы четко тикали на стене... а вот стекла окон остались прежние... и рамы-то ведь гнилые да и подоконники тоже...

— Так вы когда уже теперь к маме-то приедете?

— Приедем,— сказал сын и пошел вон.

— До свидания,— ровным голосом сказала невестка.

— Я, чай, вас провожу,— отозвалась мать.

На веранде половицы уже не скрипели, дверь открывалась легко. Наружная дверь... ах, как надо бы заменить ее новой!.. И посадить цветы у крыльца...

Все взывало к их молодым рукам, просило помощи!

— Ну вот,— слышно было, проворчала мать.— Всего наобещал, а ничего не сделал.

Сын промолчал. Молча дошли до новенькой калитки в новенькой изгороди и миновали ее. Коротко попрощались.

— До свиданья... Заезжайте! — крикнула мать им вслед, и в голосе у нее слышались слезы.

Со стороны посмотреть: взрослые дети покидают гостеприимный родительский дом — и те, кто уезжает, и та, что остается, глубоко грустят при расставании. Так что все честь честью.

Возле углового дома, там, где любили сидеть «толстые бабы», играл тот же мальчик, что и в день приезда Овчинниковых, в синей береточке с помпоном. Джжж... джжж...— слышалось оттуда: надо полагать, очередной самосвал привез ему или дров, или штакетник на изгородь. Завидев их, мальчик насутился и сказал кому-то в своем грузовичке:

— Этот дяденька плохой.

Посмотрел на них еще раз и сказал настойчивее и убежденней:

— Этот дяденька — плохой.

Леонид Васильевич расслышал сказанное и глянул на жену, а та невесело пошутила:

— Устами младенца глаголет истина. Не так ли, Лень?

— Таков уж у меня тут авторитет,— пробормотал он.— Большого я не заслужил... ни тогда, ни теперь.

Они оглянулись: мать стояла в огородной калитке, держа в руках скомканный подол фартука; за ее спиной — окутанные в белое вишни и яблони.



СЕМЕН ЛИПКИН



ВЯЧЕСЛАВУ. ЖИЗНЬ ПЕРЕДЕЛКИНСКАЯ

О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бремению?

Державин, «Евгений. Жизнь Званская».

Нам здешних жителей удобно разделить
На временных и постоянных.
Начнем же со вторых. Ну как не восхвалить
Семейство елей безымянных!

То наблюдатели писательских семейств,
Влиятельных и именитых,
Воспоминатели бесовских давних действий,
От новых порослей сокрытых.

Пойдем ли мысль берез — белопокровных жриц,
Всем чуждых в этом околотке,
В ветвях орешника густого щебет птиц,
Столь вопросительно-короткий,

Среди живых стволов мощь мнимую столбов,
Где взвизги суеты советской
Смешались с думою боярскою дубов
И сосен смутю стрелецкой,

Жасмина, ириса восточный обиход,
Роскошество произрастанья,
В то время как в листьях незримая идет
Работа зрелого страданья,

Качает иван-чай ничтожные права,
Лелея колкую лиловость,
А подорожнику все это трин-трава,
Ему скучна любая новость.

Пойдем ли, почему замолкли соловьи,
А переимчивые славки
Бессмысленно свистят вдоль узкой колеи,
Ведущей к бакалейной лавке.

Угрюмо царствует глухонемая суть,
И лишь иной хриstopродавец
Вздыхает, сквозь кусты услышав шумный путь
В какой-то Малоярославец,

А то и грубый гул, среди прямых аллей,
Ассенизаторской машины,
И тех, чьи номера, начавшись с двух нулей,
Внушают трепет беспричинный,

И той, что к трем часам, преодолев запрет,
Скрипя как будто бы с натуги,
Из дома творчества привозит нам обед
На имя Инниной подруги,

А до нее для нас еду, не трепеща,
Каверин заказал маститый,
Тогда поболее давали нам борща
И ели мы гарнир досыта.

Цифирью выгучен обозначать меню
Судков развозчик в куртке грязной...
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бремению
Тревогой, слухом, грустью праздной?

Мы делим на двоих то борщ, то суп с лапшой
И с макаронами котлету.
Так радуйся же всей измученной душой
Врачебнодейственному лету!

Мы в доме у вдовы Степанова живем.
Муж утонул, в пруду купаясь
И так же, как всему, что двигалось кругом,
Безвольно смерти улыбаясь.

Впервые Хлебников был собран им в года
Цензуры не настолько строгой...
Я помню, брюки он подтягивал всегда,
Неловкий и коротконогий.

Безвучно плакал он, истерзанный вконец
Больным, неизлечимым сыном.
Профессор, черни раб, несчастнейший отец,
Он обладал бесстрашьем львиным.

Он Заболоцкого упорно вызволял
Из лагеря и, молодея,
Поставить подписи он знатных заставлял,
И даже славного Корнея.

На кафедре своей отзаседав, жене
Кричал, покинув храм науки:
«Пришел я весь в дерьме! Скорее ванну мне!»
И нервно поправлял он брюки.

То было в дни, когда не в горсточках дворян,
Не в гущах гадов недобитых —
В саду строительства открыли нам бурьян
В обрезанных космополитах.

А скольких до того, от утра допоздна,
На каждом новом перевале
И жертв и палачей сменялись имена,—
Все били и недобивали...

Заметили ли вы, что выглядит порой
Насельник вятский, вологодский
Германцем истинным? Казался немчурой
И аккуратный Заболоцкий.

Но чисто русское безумье было в нем
И бурь подавленных величье,
Обэриутский бред союзничал с огнем
И зажигал глаза мужичьи.

Он у Кавериных нашел покой и дом,
Но помнил лагерь Казахстана,
А я квартировал вблизи, и мы вдвоем
Садились в поезд постоянно

И возвращались мы в вечернем феврале,
Сходясь на Киевском вокзале.
Вольготно водочкой с икоркой на столе
При корифее торговали!

С подначкой, с шуточкой, у каждого портфель,
Откушали — я сто, он двести —
И в пригородный! Пусть шумит себе метель,
Мы будем через час на месте.

Но что с ним? Оборвал свой смех. Взгляд напряжен.
Смотрю туда же: грязь, окурки,
Две тетki на скамье, а третий — кто же он?
Очки. Треух. Тулупчик. Бурки.

«А в тамбуре — второй. Сейчас меня возьмут».
Застывший взгляд и дробный шепот.
О, долгий ужас тех мистических минут,
О, их бессмысленность и опыт!

Мы в Переделкине сошли. Сошел и тот.
А некто в форменной тужурке:
«Где будет Лукино?» «Вон там». И поворот,
И я оглядываюсь: бурки!

Оставили шоссе. Свернули в Лукино.
Дошли проулками до дачи.
Безлюдно и черно. Чуть светится окно.
Есть водка. Будет чай горячий.

Волнуются жена и дети. Впятером
Ждем час и два. Ну, слава Богу —
Ошибка: не пришли! И он, дыша теплом,
В себя приходит понемногу

И улыбается: «Начальника признать
Легко, а бурки — признак первый».
А Катя: «Коленька, могу тебя понять,
В вагоне разыгрались нервы».

Я знаю, что — собрат зверей, растений, птиц —
Боялся он до дней конечных
Волков-опричников, волков-самоубийц,
Волчиных мастеров заплечных...

Владельцы прежние забылись. Тот убит,
Тот умер, те в грязи застыли.
«Патрокла нет, но жив презрительный Терсит!» —
В классическом воскликнем стиле.

Здесь в молодости я кой у кого бывал.
 Здесь, прячась куколкою в кокон,
 Пильняк, сей шваб и баб любитель, самохвал,
 Смотрел на пруд из верхних окон:

«Царила в страховой компании семья.
 Любимец тетки-лютеранки,
 Поверьте рыжему вралю, что вырос я
 В том самом доме на Лубянке».

Как в рыбьей чешуе — в японской шубе, франт,
 Актер — и вдруг художник зрячий...
 Дружил, ценя его неряшливый талант,
 С ним Пастернак, сосед по даче.

Сюда заявятся порою книжный крот
 Или славистка из Канады,
 Но здесь теперь певец угрозыска живет
 И лает мопс из-за ограды.

Кто вспомнит, кроме них — офени-чудака
 И старой стройной иностранки,—
 Как взяли, а потом убили Пильняка
 В том самом доме на Лубянке.

Тогда-то Пастернак переменял жильё
 И с вами повелось соседство,
 Тогда-то вы ему доверили свое
 Болезнью скошенное детство.

Такое же, как вы, но божество-дитя,
 Он сам творил закономерность,
 Доверьем радостным Ивановым платя
 За их мужающую верность.

Там, где внизу река пугливая текла,
 Полузадушена осокой,
 На горке перед ним златились купола
 Сияньем Индии далекой.

Когда из катакомб их вывел Константин,
 Не знали храмов христиане.
 Кто первым зодчим был, кто им воздвиг притин,
 Найдя образчик в Хиндустане?

С тех пор и на Руси златятся купола,
 Азийски, молодо круглятся,
 И выюга русская их чудно берегла
 От нищей злобы святотатца.

Был в деда Пастернак, а тот, широкоплеч,
 В Одессе промышлял извозом,
 Но внука русская благословила речь
 На службу соснам и березам.

И, может быть, решив, что на Руси святой
 Поэта нет вне православья,
 За христианскою пошел он красотой
 Как бы на поиск равноправья?

Не сразу понял он, что кесарь наш — злодей,
Что смерть луга кругом косила.
Не сразу сделалась понятной для властей
Его смущающая сила.

Он вашего отца «берложным» называл —
Сибиряка с кипчакским глазом,
Кто в тайном тайное нашел, кто волновал
То странной выдумкой, то сказом.

Вас полюбил поэт в начале ваших дней,
И вы, забав не зная детских,
С ним шли среди корней, что были вам трудней
Корней хурритских или хеттских.

Давно ль стихи мальчика хвалил он — и не раз,—
Но трубно, путано и длинно,
И, чем-то удивлен, он вскидывал на вас
Глаза коня и бедуина.

Меж вашей улицей и кладбищем, где врос
Он в землю, нежную до боли,
Где нынче широко распространил колхоз
Свое картофельное поле,

Единоличник жил. Подумать: все — в числе,
И только он — единоличник.
Прилежный белорус, он родич был земле,
Хоть праздновал Октябрь-Кастричник.

Хотел он власть признать, как сделал Пастернак,
Но жить. как Пастернак, отдельно,
И был, как Пастернак, в метельный загнан мрак
И яростью сожжен смертельной.

Единоличники дружили: наш чудной
Поэт и пахарь сивоусый.
Остались на земле стихи, но со стерней
Сровняли хату белоруса.

Я помню летний день, и Ольгу на краю
Крыльца — с ее клеймом изгойства,
И в доме я в ногах у мертвеца стою
Средь горя, музыки, геройства.

А в чем геройство? В том, что мы пришли сюда,
Где вдруг осиротели птицы?
Где соглядатаи родились до стыда?
Где, бородастый, смуглолицый,

Под зеленью стоял, задумавшись, босой
Философ Голосовкер Яков,
Для снимков привлекал славянской простотой
Американцев и поляков...

Да, не явились мы, чтоб исключать его,
И руки не взвились, как плети,
И дьявол не собрал сообщества всего,
Всех, водоплавающих в Лете.

Мы — Кукольников клан, Неведомских слои,
 Бумажные кариатиды,
 Хвостовых, Раичей, Маркевичей рои
 И Баранцевичей подвиды,—

Как смеем хвастаться, что светел был порыв?
 Нам надо, скопищу виновных,
 У Господа просить, чтоб нас, простив, укрыв,
 Хоть отделил от злобесовных!

Прости меня, прости, прости, я виноват;
 Я в маскарад втесался пестрый,
 А как я был богат! Мне Гроссман был как брат,
 Его душа с моею — сестры.

Предмартовская нас тесней слила беда;
 Делили крышу и печали;
 Так почему же я безмолвствовал, когда
 Его роман арестовали?

Всегда вини себя, а время не порочь.
 Ты будь с собой, а не со всеми.
 Ты лучших ждешь времен, но истина есть дочь,
 В твою родившаяся время.

Тебя пугает власть? Не бойся, ты силен,
 Пока для жизни предстоящей
 Есть Промысл о тебе и есть в тебе Закон,
 Возникший в купине горящей.

Как мил мне Божий мир! В набухших облаках
 Прогадины лазури тонкой,
 И пятна бузины — как кровь на локотках
 В кустах бегущего внучонка,

И дождь, когда влажны крапива у оград
 И пижмы желтое суконце,
 И кажется, что лес — не лес, а вертоград,
 И, как вино, вкушаешь солнце,

И та лощина, где меж вязов-богачей
 Осины жмутся, как неровни,
 И, может, камушки — осколки кирпичей
 Старинной сгубленной часовни.

Как много сгублено! Я видел сей содом:
 Здесь, в страхе ночи деревенской,
 Лев Каменев дрожал, с ума сходил Артем
 И жег Париж Бруно Ясенский.

Здесь Бабель мне свою «Марию» подарил.
 Зимой предсмертной наслаждаясь,
 «От уз грамматики,— серьезно говорил,—
 В Одессе я освобождаюсь.

К киоску подхожу: «Прошу стакан вода»...»
 Где эти речи озорные?
 Где той зимы снега? Где той зимы среда?
 Где Бабель и его Мария?

Где волк, который мог всплакнуть, задрал овцу,
И к вдохновенью приобщиться,
Над пропастью хитря, шатаясь, шел к концу,
Чтоб кончить как самоубийца?

Иные господа теперь гуляют здесь.
При встрече с нами отвернуться
Что принуждает их? Вражда? Бессилье? Спесь?
Боязнь к крамоле прикоснуться?

Рядятся призраки: вот барин — сановит,
Хотя филером был когда-то;
Вот сельский лавочник; а вот полезный жид
С походкой члена юденрата.

Жестоки ли они? Хитры? Коварны? Вздор,
Не снисходи сердиться, Инна!
Жесток бывает зверь, и человек хитер,
И в хищности трава повинна.

Но где ты видела, чтоб хищным был предмет?
Чтобы хитрило неживое?
Их нет: для жизни нет, но и для смерти нет,
То морок, марево дурное.

Вон тот, с бородкою, растаял, как фантом.
Спустился вечер синеватый.
Давай-ка к Лидии Корнеевне зайдем.
К ней можно: час пошел девятый.

Один из тех, кто был никем, а стал никто,
Сказал с восточным простодушьем:
«Мешает людям жить осиное гнездо.
Мы дом Чуковского разрушим».

И в самом деле: дом, на воздухе держась
И сыростью изъеден, рухнет.
Порвется ниточка — с прекрасным прошлым связь —
И драгоценный луч потухнет.

Но по ночам не спит владелица луча,
И, свет бесстрашно укрепляя,
Она работает, не слушаясь врача,
Упрямая, полуслепая.

И память движется с воинственным пером
По всем путям и перепаханьям...
Мы вечером сидим на лавочке втроем,
Беседуем, грустим и шутим.

Опоры кое-как подправить удалось
Гуманитариям-студентам
И дыры залепить; до утра улеглось
Корыто старое с цементом.

Мы удивляемся тому, что день погас,
Но зорко смотрит лунным кругом,
И вспоминаем ту, кто связывает нас
С бессмертьем, с правотой, друг с другом.

ОЛЕГ ЕРМАКОВ

★

БЛАГОПОЛУЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Рассказ

Великан генерал, ухмыляясь, говорил, что теперь Оршев навечно в полку; Оршев пытался улизнуть, но генерал всюду наступал его, и Оршев решил убить генерала — он подкрадывался к генералу то в виде змеи, то в виде старика, ребенка, женщины, танка, но тот узнавал его и прятался за железной дверью: Оршев бредил в мокрых простынях. Он охотился за каким-то генералом, пиროвал с черными, распухшими, вонючими трупами на белой вершине, делался легким, как стружка, и боялся ветра, то вдруг становился тяжелым, как гранитный монумент, и по колено проваливался в землю; иногда он видел свои легкие — прозрачные мешки, туго набитые червями; он вбегал в свой дом и кидал в торт на праздничном столе гранату, выскакивал за дверь, наваливался на нее, а друзья, родители и дети визжали и колотили в дверь, но он не выпускал, и граната взрывалась; или голый он гонялся за резвой старухой по саду, кто-то помогал ее поймать, и все вместе, рыча и кусая друг друга, они наваливались на старуху...

Оршев бредил в душной, переполненной палате санчасти, а в это время последняя партия уволенных в запас солдат летела в Кабул. Те, с кем он жил бок о бок эти два года, улетели отсюда навсегда. Они хотели вернуться в Союз вместе. Два года возвращение было их любимой темой: они с удовольствием воображали вслух на ночных постах, после боя или у костра за баней, где они обычно по вечерам жарили себе картошку, пили чай и курили ананшу, — они подолгу воображали, как, бряцая медалями, сойдут в Ташкенте по трапу, накупят коньяка, сядут в поезд и станут пить, смеяться и вспоминать, а перепуганные гражданские будут жаться по углам и, открыв рты, слушать и смотреть, как они, жилистые, загорелые, смелые, пьют, смеются и вспоминают эту войну.

Но вышло вот как.

На последней операции — три недели батальон вместе с правительственными войсками осаждал Урганское ущелье — после очередной вылазки в горы солдаты пошли купаться. Река была быстра, прозрачна и холодна; грязные и потные солдаты входили в поток, ложились, и их несло вниз, — выскакивали из реки и распластывались на белом горячем песке, остывшие тела сразу накалялись, солдаты опять лезли в воду. Оршев просидел в реке дольше всех — глупая мысль: напиться холодом и влагой так, чтобы уж до вечера не чувствовать ни зноя, ни жажды. Он отыскал посредине реки валун под водой, вцепился в него и вытянулся. Его качало вверх-вниз и болтало из стороны в сторону. В небе стояло солнце, маленькое и жаркое; выше по течению горбатились хребты, редко поросшие кедрами. По левому берегу тянулась полоса мелкого песка, песок был бел, и на нем ле-

жали темные мускулистые тела — солдаты разговаривали, пересмеивались, курили и не думали о том, что утром опять надо лезть в горы. Было хорошо. А к вечеру Оршев жестоко заболел. Это было воспаление легких, температура поднялась до сорока двух градусов.

Товарищи Оршева были уже давно дома, когда его выписали из санчасти. Похудевший и пожелтевший Оршев пришел в роту. Койки его друзей и его койку на престижном нижнем ярусе занимали деды, они теперь верховодили в роте. Оршев отправился в офицерское общежитие, нашел командира роты. Ротный разговаривал с ним просто, разрешил курить прямо в комнате и налил ему чаю, достал белого хлеба и сахара. Ротный сказал, что вертолеты со дня на день должны привезти еще молодых и тогда Оршев улетит в Кабул. Но что такое «со дня на день»? Это и завтра и послезавтра, через неделю и через полмесяца. А вот завтра утром в Кабул отправляется колонна за продуктами. «Конечно, ехать в машине в Кабул дело рискованное, ты сам знаешь, Оршев. Но зато завтра утром, железно. То есть к вечеру ты в Кабуле, а на следующий день, если повезет, в Союзе. Я тебе ничего не советую, сам выбирай». Оршев согласился. Ротный с улыбкой протянул ему документы: ну поздравляю, отвоевался.

Оршев побродил по палаточному городку, залитому стальным светом солнца, постоял на краю полка, покуривая и глядя на степь, пустую, немую и нескончаемую. Надо было идти в баню. Но было жарко, и к тому же болезнь разнежила его крепкое тело, и Оршев был ленив, слаб и вял. Но надо было идти в баню. Оршев собрался с духом и отправился в батальонную баню.

На крыльце глиняной бани сидел с книгой толстый банщик. Оршев поздоровался и спросил: есть ли вода? «Для тебя найдется», — ответил банщик. Оршев устало сел рядом и признался: неохота что-то мыться. «У тебя глаза нездоровые, рано, видно, выписали, — сказал банщик, захлопывая книгу. — Когда летишь?» Оршев ответил, что завтра поедет с колонной. Банщик недовольно сморщился: «Я бы не поехал, лучше месяц ждать вертолета; оставайся и жди, ночуй у меня, завтра я дряни на косяк достану, пыхнем, а?» Оршев затряс головой: надоело все, и анаша надоела, все надоело.

Он помылся кое-как чуть теплой водой, вытерся, прежде чем одеваться, внимательно осмотрел швы свежей майки и трусов — часто новенькие вещи со склада были уже завшивлены. Банщик, пока Оршев возился в бане, вскипятил на костерке за баней котелок воды и заварил чай.

Они сидели на крыльце, сербали чай, грызли галеты и сахар и глядели на полковой городок. Палатки, дощатые грибки для дневальных, туалеты, помойки, столовые, штаб, магазин, офицерские общежития, плац, склады — все было серое от пыли и солнца.

Оршев просидел у банщика до вечера, тот оставлял его — банщик спал в предбаннике, — но Оршеву захотелось последнюю ночь провести в палатке, все-таки два года она была его домом...

В сумерках Оршев вернулся в палатку, не раздеваясь и не разбирая постель, лег на свою койку. У роты была вечерняя поверка, в палатке было тихо. Оршев разглядывал пружины верхней койки и с удовольствием прислушивался к себе. Что-то было не так, кажется, он действительно нездоров еще. Или это обычная слабость после болезни? Оршев задремал.

Его разбудило прикосновение к плечу. Он открыл глаза и увидел незнакомого молодого солдата. Солдат смущенно улыбался. Оршев спросил бровями и легким кивком: ну? «Меня прислал дедушка Советской Армии Хмызин», — пробормотал молодой солдат. Оршев молчал. «Он, — осторожно продолжал молодой солдат, — просил передать, что это его место». Оршев приподнялся на локте, огляделся: ни дедов, ни Хмызина в палатке не было, одни молодые, чужи и черпа-

ки. «Что же он сам не пошел сказать, если стал таким смелым?» — спросил насмешливо Оршев. «Это ответ?» — спросил молодой солдат. «Иди ты отсюда», — бросил незлобно Оршев. Молодой сразу ушел. Но вскоре вернулся и сказал, что дедушка Хмызин предупредил: пока они докурят, место должно освободиться. Оршев не отвечал. «Они докурят, значит, они все вместе, шакалы», — подумал Оршев. Молодой ждал ответа и не смел об этом напомнить. Оршев лежал с закрытыми глазами. Наконец в палатку вошли деды. Хмызин, коренастый, приземистый, широкогрудый парень, — оглянулся на товарищей и решительно приблизился к койке Оршева и громко сказал: «Оршев! Освободи место». Оршев открыл глаза и уставился на Хмызина. Хмызин посмотрел на товарищей и ударил ногой по железной спинке. «Оршев!» И тогда Оршев резко встал, отстранил перепуганного молодого солдата и шагнул к Хмызину. Товарищи Хмызина оживились. «Стоп, шакалы!» — воскликнул Оршев, властно поднимая руку. Деды остановились. «Хмызин, — сказал Оршев, — тебе хочется размяться. Согласен. Но ты мужчина? Тогда отвечай за себя сам. Я всегда отвечаю за себя сам». «Это справедливо», — наконец сказал кто-то из дедов. «Но он обозвал нас шакалами», — пробормотал неуверенно другой. Ему никто не ответил. Все-таки хоть и были у них обиды на бывших дедов — Оршева и его товарищей, — на ссору с Оршевым они согласились нехотя. Во-первых, самые злобные бывшие деды, те, кого стоило проучить, уже давно дома, и почему Оршев должен отдуваться за всех? Во-вторых, ничего противоестественного в том, что они имеют обиды на бывших дедов, нет — так было, так будет: вчера их обижали, сегодня они обижают. В-третьих, избиение дембиля, то есть солдата, прошедшего огонь, воду и медные трубы, может дурно повлиять на молодых солдат, которые сейчас подчиняются старослужащим, как богам — мудрым, сильным и смелым. Да и Оршев вовсе не такой уж гад — в зубы-то он давал и всякую работу за себя заставлял делать, но он не жаден, не злопамятен и никогда не изобретал утонченных издевательств над молодыми, чижами и черпаками. И сейчас ему простили шакалов и согласились, что это правильно: один на один. Деды выгнали всех из палатки, убрали табуретки, рассыпались по углам и устремили взгляды на Хмызина и Оршева. Оршев был без ремня, кто-то сказал Хмызину, чтобы и он снял ремень, — он снял. Стало тихо. И неловко. «Ну, Хмызин, дай ему!» — выкрикнул кто-то, и Хмызин пошел на Оршева, сжав кулаки и наклонив голову.

Они сблизились. Хмызин дернул левым плечом, отвлекая взгляд Оршева, и правой ударил сбоку и угодил кулаком в висок. Оршев качнулся и побледнел. Хмызин ударил в живот, но Оршев успел закрыться. Хмызин опять рубанул правой, надсадно кхакнув, — Оршев отбил и этот удар. Оршев пока защищался, приходя в себя после удара в висок. Хмызин нападал. Теперь он совсем осмелел, от его нерешительности — как это он будет драться с бывшим дедом, с тем, кому он никогда не смел посмотреть прямо в глаза! — не осталось и следа. Видя, что Оршев только защищается, Хмызин вошел в раж и, азартно кхакая, принялся осыпать ударами противника. Хмызин распалился, стал неосторожен и был удивлен, и все были удивлены, когда он оказался на полу. Хмызин вскочил, мотая головой и разбрызгивая червонные капли, и Оршев тут же саданул локтем его по скуле — слева, а справа припечатал щеку кулаком. Хмызин замычал, пригнул голову, закрыл ее руками и начал пятиться. Оршев наседал, он отвечивал тяжелые и точные тумачи — в голову, по спине, в печень. Все молча смотрели. Вдруг Хмызин остановился, взревел, распрямился и кинулся на Оршева, пытаясь перевести драку в борьбу, но Оршев ловко отпрянул и ударил Хмызина в нос. У Хмызина была уже рассечена губа, теперь кровь потекла из носа. Обезумевший Хмызин вновь ринулся на противника и на этот раз сумел-таки прорваться сквозь его

кулаки, обхватить Оршева руками и повалить его на пол. Хмызин оказался сверху, он вцепился в волосы Оршева и начал бить его затылком о пол, у Оршева от боли полились слезы, он вырвался из-под Хмызина, молотя кулаками по его бокам. Все молча смотрели. Наконец Оршев, перепачканный кровью Хмызина, изловчился схватить противника за горло, Хмызин захрипел и укусил руку Оршева. Оршев сгреб другой рукой ухо Хмызина и принялся отрывать его. Хмызин закричал и выпустил волосы Оршева, но Оршев продолжал откручивать ухо, и Хмызин был вынужден сползти с него. Отдуваясь, Оршев встал на карачки. Хмызин тоже. Они медленно поднимались, не спуская глаз друг с друга. «Хватит... с тебя?» — спросил Оршев и оперся на спинку койки. «Нет... это... с тебя... с тебя хватит», — ответил Хмызин, сплевывая кровь и утирая нос рукавом. Оршев оттолкнулся от спинки, взмахнул рукой и рубанул ребром ладони по шее Хмызина. Хмызин снова нагнул голову. Оршев стоял и ждал. Хмызин начал как будто бы оседать. «Все», — сказал Оршев, но тут Хмызин стремительно выпрямился и лбом сокрушил лицо Оршева, — Оршев откинулся на спинку койки и зажал kloкочущий нос, теперь у них обоих были разбиты носы. Удерживая кровь рукой, Оршев стоял, опершись на койку, следил за Хмызиным мутными глазами и правую руку держал наготове: еще удар — и он свалится. Но у Хмызина не было сил нападать, он обливался потом, вытирал кровь, дышал сухо и прерывисто и пошатывался на дрожащих ногах.

«Кажется, все», — громко сказал кто-то. Оршев и Хмызин промолчали. «Идите умываться», — предложили им. Они поплелись вон из палатки, на улице молодые солдаты полили им из котелков.

Оршев первым вернулся в палатку, стащил разорванную и окровавленную одежду и плюхнулся на койку поверх одеяла.

Вошел в палатку Хмызин. Он приблизился к спорной койке и хрипло сказал: «Оршев, освободи место». В палатке стало тихо. «Но это моя койка», — ответил, помолчав, Оршев. «Лезь на верхний ярус, там есть свободная койка. Я наверху больше не буду. Хватит. Полтора года. Хватит», — упрямо произнес Хмызин. «Иди к черту», — сказал Оршев. «Ты никто, лезь на второй этаж», — процедил Хмызин. Оршев сел. «Лезь», — повторил Хмызин. Оршев встал и ударил Хмызина, удар был слабый, он пришелся по груди. Хмызин отступил на два шага, наткнулся на табурет и схватился за его ножку. «Хмызин!» — крикнули. Хмызин не повернулся на окрик, он встал к Оршеву вполоборота, чтобы удобнее было размахнуться и ударить, но Оршев не ждал: положив согнутые руки на края верхних коек, он повис и лягнул ногами Хмызина. Хмызин с грохотом отлетел, свалился между койками и затих. Оршев рухнул на откровенную койку. «Э, ты его убил», — сказали.

Дневальный разбудил Оршева в пять утра — в шесть колонна отправлялась. «Что с этим?» — спросил Оршев, зевая. «Спит», — ответил дневальный. Оршев, кряхтя и морщась, встал и вышел в трусах и майке на улицу.

Было тепло; свистели птицы; солнце, выпуклое и красное, лежало на краю степи.

Дневальный зачерпнул котелком воды из бочки и полил Оршеву. Оршев бережно умываясь, кивнул дневальному и, осторожно промокая лицо полотенцем, вернулся в палатку. На спинке висела парадная форма — прежде чем разбудить Оршева, дневальный принес ее из каптерки. Оршев оделся, взял портфель и фуражку, вышел на середину, огляделся. Он увидел Хмызина. Тот спал, раскинув руки и широко разинув рот; на его лице темнели синяки, вокруг носа запеклась кровь, нижнюю губу рассекал корявый черный рубец. Слабая довольная улыбка тронула губы Оршева, он помахал спящему Хмызину фуражкой и вышел из палатки.

Начальник колонны, взглянув на распухшее лицо Оршева, ухмыльнулся: «Что, бражник, лихо?» Оршев ответил, что никакой он не бражник, просто в санчасти много спал. «Да, конечно,— откликнулся капитан,— небось литра два выдул, орелик? Ну, где желаешь сидеть? В машине? В бэтэре?.. В машине? Ну выбирай любую».

Оршев прошел вдоль колонны, остановился возле грузовика, спросил шофера: «Возьмешь?» «Садись»,— откликнулся шофер. В кабине Оршев снял китель, повесил его на крючок, спросил воды, напился из алюминиевой фляги, откинулся на спинку и закурил.

Десять минут спустя колонна тронулась; в голове, в хвосте и в середине шли бронетранспортеры с пехотой — охрана колонны. Колонна медленно проезжала мимо КПП. Когда грузовик Оршева поравнялся с каменным домиком КПП, Оршев сказал про себя: аминь!

Набирая скорость, колонна покатила по степной дороге, пыля, качаясь и рокоча. Солнце светило сбоку, его лучи вязли в пыли, окутавшей машины. Пыль просачивалась в кабину и липла к глазам и губам, щекотала ноздри, заметала волосы. Шофер спокойно курил в пыли сигарету — влажный кончик ее был уже грязен. Оршев покачивался на упругом сиденье и глядел на смутные очертания брезентового верха идущей впереди машины. Шофер, слава богу, был молчун, он только поинтересовался, почему Оршев задержался в полку, и сказал, что через полгода и он домой поедет, и все. Оршев был доволен. Он устал за два года от этих армейских разговоров: про возвращение, про баб, про награды и значки и про вкусную жратву. Да и голова после драки трещала, как будто он и впрямь пил всю ночь брагу или курил анашу.

Иногда машина попадала колесом в воронку, и шофер с Оршевым подлетали на сиденьях. От полка до бетонированной трассы было двадцать километров, на этом отрезке мятежники любили ставить мины, и дорога напоминала кожу Луны. Впрочем, и на трассе подрывались машины. Но там хотя бы нет пыли. «Скорее бы бетонка»,— думал Оршев.

Полчаса колонна шла в тучах пыли по степной дороге, потом выехала на трассу и устремилась по прямой серой дороге на север. Оршев вынул носовой платок и протер лицо, взял флягу, ополоснул рот, напился. Шофер закурил и сказал весело: «Ничего, через полгода и я сдерну отсюда». Оршев подумал: шесть месяцев, то есть двадцать четыре недели, то есть сто восемьдесят дней,— и у него от тоски свело челюсти.

Вокруг лежали степи с маленькими сизыми вершинами и хребтиками по краям. В неживых степях зеленели редкие кишлаки. Иногда кишлаки подступали вплотную к трассе. Это были угрюмые скопища глиняных жилищ, обнесенных высокими стенами; и дома, и стены, и деревянные ворота — все было серым и грубым. Люди — мужчины в чалмах, накидках и шароварах, женщины в темных балахонах — редко и робко оживляли солнечные улочки и тесные площади. Но за дувалами пучились тучные сады, свежие, зеленые, нежные сады...

Колонна ходко двигалась вперед. Горы наступали, делались увесистыми, упирались в небо и рыжели,— долина сужалась. И скоро колонна ехала между рыжих и бурых гор. Дорога запелаяла. Начался подъем на перевал.

Оршев выбросил в окно окурок и закурил новую сигарету; он глядел исподлобья на скалы, громоздившиеся по обеим сторонам. Шофер, сдвинув брови и подавшись вперед, крутил баранку и едва слышно насвистывал однообразный мотивчик. Оршев покосился на небо и сказал: дай автомат. Шофер мотнул головой: не-а. Оршев криво улыбнулся и сказал, оправдываясь, что без автомата как без рук,

никогда еще не ездил без автомата. Крепко держа руль одной рукой, шофер достал свободной подсумок с гранатами и протянул его Оршеву. Поколебавшись, он передал Оршеву и второй подсумок. Теперь у Оршева было четыре гранаты. Оршев облегченно вздохнул.

Колонна поднималась по каменной дороге, изрытой воронками. Скалы нависали над машинами. Подножия скал были черны от гари — справа зияла неглубокая пропасть с обугленными кузовами, колесами, кусками железа и ключьями резины на дне. Головные машины уже переползли седловину перевала. Ревели моторы, над дорогой висела черная дымка, на серых скалах лежало синее небо. Оршев придерживал рукой подсумки на коленях и курил, а шофер все громче и громче высвистывал примитивный мотивчик. И вдруг машины впереди одна за другой начали останавливаться, затормозил и шофер Оршева. «Козел какой-то сломался», — предположил шофер и снова принялся свистеть. Оршев отхлебнул из фляги — вода уже была теплой. Шофер свистел и барабанил пальцами по рулю.

Прошла минута. Колонна стояла, держанно гудя моторами. Шофер свистел и барабанил. Оршев поглядывал вниз на черные обломки и ключья. Было жарко, дышалось с трудом, по лицам скатывались коричневатые капли. Что же там, впереди, случилось? Небось бронетранспортер закипел, летом в разгар дня это обычная история. Или у грузовика мотор сдох.

«Шеф, смени пластинку», — попросил Оршев. Шофер перестал свистеть и барабанил, прикрыл глаза, отвалился на спинку сиденья и задышал ровно и глубоко, притворяясь дремлющим. Оршев усмехнулся. «Надо было дожидаться вертолета, — подумал он, — и вообще дернул же черт меня лезть в эту речку, сейчас бы... да, дома, белая рубашка...»

Моторы заревели, и шофер Оршева открыл глаза и снова засвистел. Колонна тронулась. «Ну, если до сих пор ничего не было, то ничего и не будет, — подумал Оршев и поправился: — На этом перевале».

Колонна одолела перевал и сползла вниз. Горы немного отступили от дороги. Солнце стояло в зените, каменные плиты на горах сияли, как стеклянные, небо обжигало глаза. Шофер надел каплевидные зеркальные очки и стал загадочен, как сицилийский мафиози. Сверкали каменные вершины, придорожные валуны лоснились, и капот машины горел. Оршев щурился, щурился и уснул.

«Напоролись», — громко сказали, и Оршев вздрогнул и посмотрел на водителя. Тот поймал его взгляд и отослал кивком налево. Колонна огибала несколько военных машин с афганскими эмблемами на дверцах и красно-белый пассажирский автобус, лежавший на боку в кювете проломленным днищем к дороге. Возле автобуса толпились гражданские и военные. Раненых и убитых не было видно, наверное, их уже перегрузили в машины. Тощий усатый солдат, похожий на Дон Кихота, лил товарищу из фляги на красные руки. У гражданских шаровары и накидки были разорваны и перепачканы мазутом и кровью. Поодаль от всех сидел, уткнувшись лицом в колени и раскачиваясь, костлявый старик. Особняком стояла и кучка женщин в чадрах. Двое босых пацанов, поглазев на колонну и потеряв к ней интерес, принялись обследовать днище автобуса — они вместе засунули головы в пролом, и седой офицер закричал на них. Афганцы смотрели на колонну.

Грузовик, в котором ехал Оршев, сполз в кювет, проехал немного вдоль дороги и вернулся на бетонку. Шофер засвистел. Оршев посмотрел на часы и спросил: «Слушай, вы на обед останавливаетесь или так, на ходу?» — «Останавливаемся. Река скоро будет, там обычно и рубаем». — «М-м. А то я со вчерашнего дня не ел». — «Так рубай, чего ты? Или у тебя ничего нет?» — «Есть. Да один не хочу». — «Брось ты, рубай». — «Нет, один не буду, обожду».

Оршева опять укачало, и проснулся он, когда колонна остановилась перед мостом. Двое саперов с овчаркой бродили уже по мосту, остальные солдаты покуривали, прохаживались возле машин, скидывали потные, жесткие куртки и спускались к реке умываться; сходили на реку и Оршев с шофером. Освеженные, они вернулись в машину, оставили распахнутыми дверцы, разложили снедь: черный хлеб, сахар, две банки тушеной баранины и две банки сыра. Ели молча. Сначала съели баранину с кислым хлебом, а потом сахар и сыр. Напились воды, закурили и увидели далеко в степи караван — цепочку верблюдов, шагающие фигурки людей и белые отары. «А, пуштуны, — лениво проговорил шофер и зевнул. — Ни хрена им, война так война, а они кочуют себе». «Цыгане», — откликнулся Оршев. «У нас был один цыган, — оживился шофер. — Ну ничего, цыган как цыган: черный, глазастый, деловой. Раз в Кабул сходили. На перевале баню нам устроили. И после цыган стал хворать. Его в санчасть, после в Кабул, а оттуда в Союз, и больше мы его не видали». «Что у него было?» — «Вроде печень. Или желудок. Говорят, табак он жрал. Да и тоже придумали — цыгана в армию». — «А что он, не такой?» — «Конечно. Цыган и в Африке цыган, ему давай плетку, коня и ветер. А тут его — плеткой. Я их люблю». «Кого?» — не понял Оршев. «Да цыган. Плевать они на все хотели. Конь, плетка и ветер. А мы ослы». Шофер с тоской поглядел в степь, где у подножия голых гор двигались маленькие верблюды, тонкие силуэты людей и где ласково белели шкуры овец.

Кабул освещало вечернее солнце, вязкое, жаркое, распухшее и потемневшее, оно сидело на снежных пиках. Город лежал в долине между гор, это был огромный глиняный, каменный, стеклянный и бетонный город; всюду пушились сады и торчали пирамидальные тополя; среди садов, сверканья окон и белизны стен голубели купола мечетей и реяли желтые минареты.

Колонна остановилась на краю города — здесь была огороженная стоянка. Оршев надел китель и фуражку, взял портфель и обернулся к шоферу. Шофер, повесив тяжелые ладони на руль, глядел на Оршева. «Ну, — сказал Оршев и помолчал. — До встречи в Союзе?» Он протянул шоферу руку. Тот вяло пожал его руку и ответил, что вряд ли они встретятся, Союз большой. «Полгода — это ерунда», — сказал Оршев и вылез из кабины.

Он отыскал капитана и попросил, чтобы его отвезли на пересыльный пункт. «Ай, слушай, водила замотался, давай завтра поутряни, — весело сказал капитан. — Куда ты спешишь? Самолеты уже не летают, на пересылке вши, ночуй с нами. Я тебе сказку на ночь расскажу про белого бычка. Что, не хочешь?» Капитан рассмеялся. Оршев угрюмо глядел на него и молчал, и в это время в небе над Кабулом загудел самолет. Капитан, пехотинцы и Оршев посмотрели вверх. В небе, набирая высоту, парил белый самолет с багровой полосой от носа до хвоста. «О! Вишь, твой самолет — тью-тью!» — воскликнул капитан, смеясь. «Это не наш, — возразил кто-то из пехотинцев, — наши бело-голубые». «А новый указ вышел, что наши били с красной полосой, что, не слышали? Ну, братцы, отстали вы от жизни», — сказал капитан. Пехотинцы удивились: что, правда? «А то. Слушай сюда. Флаг у нас красный? Пионерский галстук? Паспорт? Военный билет? А? Почему ж самолеты бело-голубые? Ведь вон и за границу летают, а никакой идейной нагрузки, нет в окраске идейной нагрузки, ну. Как так? Это или недосмотр, или это провокация. — Капитан посмотрел на Оршева. — О! О! Дембиль сейчас меня разорвет, ха-ха-ха!» «Товарищ капитан», — сказал Оршев и умолк. «А признайся, не будь на мне погонов, то бишь погон, — дал бы сейчас мне в лоб? Ха-ха-ха! Только, чур, честно. Дал бы?» — спросил капитан. Пехотинцы и водитель бронетранспортера недовольно заворчали: то-

варищ капитан, да что вы, ей-богу, надо отвезти человека. «Дал бы, ох как дал бы,— сказал капитан.— По глазам вижу. Много духов порешил небось орелик? Но! Ладно, ладно, шучу. Не дуйся. Отвезем. Доставим в цельности и сохранности. Прапорщика сюда!»

Оршев, четверо пехотинцев и прапорщик сели сверху на бронетранспортер и выехали на дорогу. Оршев отыскал глазами грузовик молчуна и махнул ему рукой — шофер все сидел в кабине и курил. «Ты бы вниз сел,— посоветовал прапорщик Оршеву,— не искушай судьбу — снайперы!» Оршев отрицательно покачал головой. «Ну-ну», — проговорил прапорщик, окидывая добрым взглядом ладную фигуру Оршева.

Зеленый бронетранспортер, мягко покачиваясь, плыл по широкой магистрали, обсаженной тополями и кедрами. По магистрали проезжали легковые автомобили, автобусы, грузовики и велосипедисты. К обочинам жались карачивалы — оборванцы с деревянными ручными двухколесными повозками, нагруженными мешками, тюками и дровами: грузовые такси для бедняков. По тротуарам шли люди: старики, напустившие белые бороды на черные европейские пиджаки, офицеры и солдаты с автоматами, кудрявые юноши в цветных рубашках, джинсах, белых брюках, босые грязные дети, женщины в чадрах и светлоликие черноволосые девушки в джинсовых коротких юбчонках и легких блузах. Вовсю торговали дуканы, лоснились витрины и вывески ресторанов, на улицах жарили шашлыки, влаивали бездомные собаки, чирикали дети, рокотали моторы, скрипели тормоза, вечерний ветер шевелил листву тополей и платанов, и высоко над городом рдели вершины, за которыми скрылось солнце.

Пересыльный пункт, палаточный лагерь, обнесенный колючей проволокой, находился на другом краю города, неподалеку от аэропорта. Вечер еще был прозрачен, когда бронетранспортер остановился перед воротами лагеря. Оршев попрощался с пехотинцами и прапорщиком, прыгнул на землю. Возле ворот появился часовой.

Оршев не спал, лежал на голой койке, сунув под голову портфель, курил и глядел в потолок. Новобранцы — ими был набит лагерь — молодо и дружно сопели и всхрапывали. Оршев чувствовал себя скверно, болела голова, ныла укушенная Хмызиным рука, и, кажется, поднялась температура. Оршев думал: все-таки нездоров. Он курил и посматривал на светящийся циферблат часов — время не спешило.

В час ночи в тишине раздался хлопок, послышался вой и взрыв. Миг спустя опять рвануло, уже ближе, — над палатками просвистели осколки. Охрана лагеря открыла стрельбу из автоматов и крупнокалиберного пулемета. Новобранцы вскакивали и кричали друг другу: а? что? тревога! что это? — они высовывались из палатки и видели черные горы и красные трассирующие очереди. «Обстреливают! Нас обстреливают!» — загалдели они, когда третья мина разорвалась совсем рядом, где-то за колючей проволокой. Оршев лежал, курил и думал, что так и должно быть, он предчувствовал, что именно так и будет — под занавес!..

«Это мины?» — спросили у него. Оршев ответил: мины. Новобранцы лезли в дверь, смотрели в окна. Оршев вдруг отчетливо увидел все это: вот они в черном, вот один сует в жерло болванку с металлическими перьями на хвосте, отскакивает, миномет выталкивает болванку — свистя ласково и заораживающе, она пронесется в ночи и пропарывает верх палатки. Оршев услышал и увидел, как бьются, катаются, рвутся вон, захлебываются, хрюкают и визжат новобранцы, не верящие, что так может быть в самый первый день, и Оршев увидел себя, зажимающего мокрую, горячую, вязкую прорезь в животе, — сейчас...

Но миномет больше не бил. Охрана поливала очередями горы. Через полчаса все стихло. Лагерь шевелился, говорил, закуривал, криков слышно не было, значит, все мины попали в молоко. Оршев выкурил еще сигарету и, убаюканный разговорами новобранцев, уснул. Во сне он думал: была бы хорошая погода, был бы самолет, была бы хорошая погода и был бы самолет, погода и самолет.

Погода была хорошая, и был самолет. Это был транспортник из Баграма с гробами и сопровождающими — в Кабуле он догружался чем-то. Оршев узнал, что первая посадка будет в Оренбурге, а потом в Минске и Москве. Это была удача. Обычно демобилизованных везли в Ташкент, оттуда они уже самостоятельно добирались до дома, зимой без проблем, а в летнее время, когда вокзал и аэропорт были переполнены, приходилось торчать в Ташкенте по нескольку дней. Оршеву нужно было в Москву и дальше на запад, ему крупно повезло.

Оршев устроился на откидном сиденье в хвосте. Было душно. Оршев снял китель, стащил галстук, расстегнул рубашку.

На него хмуро смотрели черные солдаты в отутюженной и выстиранной полевой форме с белоснежными подворотничками, — им предстояло развезти гробы по домам и говорить что-то над могилами и за поминальными столами. Среди сопровождающих были двое офицеров, значит, в гробах лежали и офицеры. Длинные матовые металлические гробы, грубо спаянные посередине, стояли в самолете парно. Офицеры о чем-то разговаривали. Солдаты молчали.

Наконец в кабину прошли летчики в голубых комбинезонах. Лепестки хвоста плотно закрылись, стало сумеречно, вверху мутно засветились плафоны. Самолет порывал двигателями и тронулся, вырвался на прямую полосу, разогнался и взлетел. Те, кто сидел у редких иллюминаторов, уткнулись в толстые стекла. Оршеву хотелось последний раз посмотреть на Кабул, но рядом иллюминатора не было, а подходить к кому-нибудь и просить на минуту подвинуться — нет, подходить и просить не стоило. Оршев смотрел на солдат, на металлические ящики, на плафоны, под ноги... Он прикрыл глаза.

Самолет трудно набирал высоту. Было жарко. По лицам плыл пот. Хотелось курить. Оршев давно не курил — транспортник догружался, и он час сидел в тени под крылом, а курить на аэродроме не разрешалось. В теле была слабость. При глубоком вздохе в спине напротив левого легкого покалывало. Или это сердце? Ну, сердце у него здоровое, оно все два года молчало, то есть работало исправно, хотя по горам они бегали как лошади. Нет, это легкие. Просто недолечился, и все. А может быть, Хмызин хорошенько ударил в это место, вот и покалывает. Но эта слабость чертова...

«Сколько там до границы — полчаса, час? — подумал Оршев. — Пока не пересечем границу, рано говорить хоп. Впрочем, высоту набрали приличную, теперь не собьют, не дотянутся. Так что — хоп! хоп!»

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА



Санитарки, святые сестрички,
добывали мужчин из огня,
но сегодня такие привычки
несовместны со злобою дня.
Нам досталась сердечная рана
ориентир потерявших мужей,
серповидные шрамы Афгана
на безбожных телах сыновей.

Будь я проклята, русская баба,
если мне безразлично, куда
сквозь чугунные пальцы Генштаба
утекают мужичьи года!
Будь я проклята, если желанье
помогать в оголтелой борьбе
подведет под закон мироздания:
ни ему, ни себе, ни тебе!

Трубный звук материнского стога
почему заставляет дрожать?
Пусть засохнет бессмертное лоно,
лишь бы новых убийц не рожать —
вот какого желаю подарка,
отрыдав у последней черты...
Как не спится тебе, санитарка,
побеждавшая смерть для беды?

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ



НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ

(Хроника конца XX века)

Мои папа с мамой решили быть самыми хитрыми и в начале всех дел удалились со мной и с грузом набранных продуктов в деревню, глухую и заброшенную, куда-то за речку Мору. Наш дом мы купили за небольшие деньги, и он стоял себе и стоял, мы туда ездили раз в году на конец июня, то есть на сбор земляники для моего здоровья, а затем приезжали в августе, когда по заброшенным садам можно уже было набрать яблок, терновки-сливки и одичавшей мелкой черной смородины, а в лесах была малина и росли грибы. Дом был куплен как бы на развал, мы жили и пользовались им, ничего не поправляя, пока в один прекрасный день отец не договорился с шофером, и мы весной, как только просохло, отправились в деревню с грузом продуктов, как Робинзоны, со всяким садовым инвентарем, а также с ружьем и собакой борзой Красивой, которая, по всеобщему убеждению, могла брать осенью зайцев в поле.

И отец начал лихорадочные действия, он копал огород, захватив и соседний участок, для чего перекопал столбы и перенес изгородь несуществующих соседей. Вскопали огород, посадили картофеля три мешка, вскопали под яблонями, отец сходил и нарубил в лесу торфа. У нас появилась тачка на двух колесах, вообще отец активно шуровал по соседним заколоченным домам, заготавливал что под руку попадет: гвозди, старые доски, толь, жесть, ведра, скамейки, ручки дверные, оконные стекла, разное хорошее старье типа бадеек, прялок, ходиков и разное ненужное старье вроде каких-то чугунков, чугунных дверок от печей, заслонок, конфорок и тому подобное. Во всей деревне было три старухи, Анисья, совсем одичавшая Марфутка и рыжая Таня, у которой единственной было семейство и к которой на своем транспорте наезжали дети, что-то привозили, что-то увозили, привозили городские банки консервов, сыр, масло, пряники, увозили соленые огурцы, капусту, картошку. У Тани был богатый погреб, хороший крытый двор, у нее жил какой-то замученный внук Валерочка, вечно страдавший то ушами, то коростой. Сама же Таня была медсестрой по образованию, а образование она получила в лагере на Кольме, куда Таня была отправлена, за украденного из колхоза поросенка, в возрасте семнадцати лет. У Тани не зарастала народная тропа, у нее топилась печка, к ней приходила пастушиха Верка из соседней обитаемой деревни под названием Тарутино и кричала еще издавек, я наблюдала: «Таня, чаю попить! Таня, чаю попить!» Бабка Анисья, единственный человек в деревне (Марфутка не в счет, а Таня была не человек, а преступник), сказала нам, что Таня в свое время была здесь, в Море, завмедпунктом и чуть ли не главным человеком, у нее делались большие дела, полдома она сдавала под медпункт и тоже шли деньги. У Тани и Анисья поработала пять лет, за что и осталась вообще без пенсии,

поскольку не доработала в колхозе до положенных двадцати пяти лет, а пять лет подметания в медпункте не считаются для выплаты пенсии как рабочему. Мама съездила было с Анисьей в собес в Призерское, но собес был уже навеки и безнадежно закрыт, и все было прикрыто, и мама быстро пешком дотопала двадцать пять километров до Моры с напуганной Анисьей, и Анисья с новым рвением принялась копать, рубить в лесу, таскать сучья и стволы к себе в дом: спасалась от перспективы голодной смерти, которая ожидала бы ее в случае безделья, и живой пример тому являла Марфутка, которой уже было восемьдесят пять лет, и она уже не топила в избе, а картофель, который она кое-как перетаскала осенью к себе в дом, за зиму замерз и теперь лежал гнилой мокрой кучкой — все-таки Марфутка за зиму кое-что подъела да и со своим единственным добром, гнилой картошкой, не желала расставаться, хотя мама меня к ней однажды послала с лопатой все это выскрести. Но Марфутка не открыла мне дверь, разглядев в заткнутое тряпками окно, что я иду с заступом. Марфутка то ли ела картошку сырой при полном отсутствии зубов, то ли разводила огонь, когда никто не видел, — неизвестно. Дров у нее не было ни полена. Весной Марфутка, закутанная во множество сальных шалей, тряпок и одеял, являлась к Анисье в теплый дом и сидела там как мумия, ничего не говоря. Анисья ее и не пыталась угощать, Марфутка сидела, я посмотрела однажды в ее лицо, вернее, в тот участок ее лица, который был виден из тряпья, и увидела, что лицо у нее маленькое и темное, а глаза как мокрые дырочки. Марфутка пережила еще одну зиму, но на огороде она уже не выходила и, видимо, собиралась умирать от голода. Анисья простодушно сказала, что Марфутка прошлый год еще была хорошая, а сегодня совсем плохая, уже носочки затупились, смотрят в ту сторону. Мать взяла меня, и мы посадили Марфутке картошки так с полведра, а Марфутка смотрела за нами с задов своего домишки и беспокоилась, видно, что мы захватили ее огородик, но доползти до нас она не посмела, мать сама пошла к ней и дала ей полведра картошки. Видимо, Марфутка поняла, что ее огород покупают за полведра картошки, и не стала брать картошку, сильно испугавшись. Вечером мы с мамой и папой пошли к Анисье за козьим молоком, а Марфутка сидела там. Анисья же сказала нам, что она нас видела на Марфином огороде. Мама ей ответила, что мы решили помочь бабе Марфе. Анисья же возразила, что Марфутка собралась на тот свет, нечего ей помогать, она найдет дорогу. Надо сказать, что Анисье мы платили не деньгами, а консервами и пакетами супов. Долго это продолжаться не могло, молоко у козы было и прибывало с каждым днем, а консервами мы только и питались. Надо было установить более жесткий эквивалент, и мама сказала тут же после разговора с Анисьей, что консервы кончаются, есть нам самим нечего, так что молоко покупать не будем. Анисья, человек смекалистый, ответила, что завтра принесет нам баночку молока и поговорим, может, если у нас есть картошка, тогда поговорим. Анисья, видимо, злилась на то, что мы тратим картофель на Марфутку, а не на покупку молока, она не знала, сколько мы извели картофеля на Марфуткин огород в голодное весеннее время (месяц май — месяц ай), и воображение у нее работало, как мотор. Видимо, она прорабатывала варианты Марфуткиного скорого конца и рассчитывала снять урожай за нее и заранее сердилась на нас, владельцев посаженного картофеля. Все становится сложным, когда речь идет о выживании в такие времена, каковыми были наши, о выживании старого немощного человека перед лицом сильного молодого семейства (матери и отцу было уже сорок два года, мне восемнадцать).

Вечером к нам сначала пришла Таня в городском пальто и резиновых сапогах желтого цвета, с новой хозяйственной сумкой в руках. Она принесла нам задавленного свиньей поросенка, завернутого в чистую тряпку. Она любопытствовала, прописаны ли мы в Море. Она сказала, что у многих домов есть владельцы и они захотят при-

ехать, если им написать, а это не брошенные дома и брошенное добро, и каждый гвоздь надо купить и вбить. В заключение Таня напомнила нам о перенесенной изгороди и о том, что Марфутка еще жива. Поросята она предложила купить у нее за деньги, за бумажные рубли, и папа в этот вечер рубил и солил мертвого поросенка, который в тряпке был очень похож на ребенка. Глазки с ресничками и тэ дэ.

Потом, после ее ухода, пришла Анисья с баночкой козьего молока, и мы быстро договорились за чашкой чая о новой цене молока, за банку консервов три дня молока. Анисья с ненавистью спросила о Тане, зачем она приходила, и одобрила наше решение помочь Марфутке, хотя о Марфутке она отозвалась со смехом, что от нее пахнет.

Козье молоко и давленный поросенок должны были уберечь нас от цинги, кроме того, у Анисьи подрастала козочка, и мы решили ее купить за десять банок консервов, но попозже, когда она чуть подрастет, поскольку Анисья лучше понимает, как растить козлят. С Анисьей мы, правда, не переговорили, и эта старая бабка, помешавшись на почве ревности к своей бывшей заведующей Тане, пришла к нам торжественная, с убитой козочкой в чистой тряпке. Две банки рыбных консервов были ей ответом на ее дикое поведение, а мама заплакала. Мы попробовали, сварили свежего мяса, но есть его было невозможно почему-то, папа его опять-таки засолил.

Козочку мы все-таки купили с мамой, отшагав десять и десять километров туда и обратно за Тарутино, в другую деревню, но мы шли как бы туристы, как бы гуляя, как будто времена остались прежними. Мы шли с рюкзаками, пели, в деревне спросили у колодца, где попить козьего молока, купили за лепешку хлеба баночку молока и восхились молодыми козлятками. Я стала искусно шептать маме, как будто я прошу козленочка. Хозяйка сильно возбудилась, предчувствуя бизнес, но мама на ухо же мне отказала, тогда хозяйка льстиво похвалила меня, сказав, что любит козлят как родных детей и потому мне бы отдала в руки обоих. Но я сказала: «Что вы, мне одну козочку». Быстро сторговались, тетка явно не знала нынешнего счета деньгам и взяла мало, и даже дала нам комочек каменной соли в дорогу. Видимо, она была убеждена, что сделала выгодное дело, и действительно, козочка быстро начала у нас хиреть, перемучившись в дороге. Положение поправила все та же Анисья, она взяла козленка к себе, предварительно вымазав его своей дворовой грязью, и коза приняла козленка как своего, не убила. Анисья просто цвела.

Самое основное теперь у нас было, но мой неутомимый хромой отец начал уходить каждый день все в лес и в лес. Он уходил с топором, с гвоздями, с пилой, с тачкой, уходил на рассвете, приходил в ночной тьме. Мы с мамой возились в огороде, кое-как продолжали отцовскую работу по сбору оконных рам, дверей и стекол, потом мы все-таки готовили, убирали, носили воду для стирки, что-то шили. Из старых, свалывшихся тулупов, найденных по домам, мы шили что-то типа пижам на зиму, шили рукавицы, сделали для кроватей меховые подстилки. Отец, когда увидел такую подстилку ночью, нащупал под собой, мгновенно скатал все три штуки и утром увез на тачке. Похоже было, что отец готовил еще одно логово, только в лесу, и это оказалось потом очень и очень кстати. Хотя потом оказалось также, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы, спасти не может ничто кроме удачи.

Тем временем мы прожили самый страшный месяц июнь (месяц аю), когда припасы в деревне обычно кончаются. Мы жрали салат из одуванчиков, варили щи из крапивы, но в основном щипали траву и носили, носили, носили в рюкзаках и сумках. Косить мы не умели, да и трава еще не очень поднялась. Анисья в конце концов дала нам косу (за десять рюкзаков травы, а это немало), и мы с мамой по очереди косили. Повторяю, мы жили далеко от мира, я сильно тосковала по

своим подругам и друзьям, но ничто уже не доносилось до нашего дома, отец, правда, слушал радио, но редко: берег батарейки. По радио передавалось все очень лживое и невыносимое, но мы косили и косили, наша козочка Рая подрастала, надо было ей подыскивать козлика, и мы пошли опять в ту же деревню, где проживала наша владелица еще одного козленка. А ведь она нам его навязывала тогда, а мы и не знали подлинной ценности козленка! Хозяйка козленка встретила нас неприветливо, все уже о нас всё знали, но не знали, что у нас есть козочка: наша Райка воспитывалась у Анисьи. Поэтому хозяйка встретила нас неприветливо: она нам продала, а мы не уберегли, наше дело. Козленка она не стала продавать, муки у нас уже не было, ни муки, ни лепешек — да и ее козленок весил уже много, и три кило свежего мяса стоило неизвестно сколько в то голодное время. Договорились мы только на том, что отдаем ей кило соли и десять брусков мыла. Но это для нас была цена будущего молока, и мы сбежали домой за всем этим делом, предупредив хозяйку, что нам нужен живой козленок. «А что я буду, мараться для вас», — ответила хозяйка. К вечеру мы принесли козленка домой, и пошли суровые летние будни: сенокос, прополка огорода, окучивание картофеля, и все в одном ритме с Анисьей... По договоренности мы брали у Анисьи половину козких катушков и кое-как удобряли почву, но росло у нас плохо и мелко. Бабка Анисья, освобожденная от сенокоса, привязавши козу и весь козий детский сад в пределах нашей видимости, бегала за грибами и ягодами, заходила к нам и принимала нашу работу. Пришлось заново посеять укроп, который мы посеяли слишком глубоко, а он был нужен для засолки огурцов. Картофель ударился в ботву. Мы с матерью читали книгу «Справочник садово-огородного хозяйства», а отец наконец-то закончил свои работы в лесу, и мы пошли посмотреть его новое жилье. Это оказалась старая чья-то избушка, отец ее то ли подновил, во всяком случае проконопатил, вставил рамы, стекла, двери, покрыл крышу толем. В доме было пусто. Все следующие ночи мы возили туда столы, лавки, лари, бадейки, чугушки и оставшиеся припасы, все прятали, отец же рыл там погреб и чуть ли не подземную землянку с печью, третий дом по счету. У отца уже цвело в огородке.

За лето мы с матерью стали грубыми крестьянками с толстыми пальцами и руками, с толстыми грубыми ногтями, в которые вбелась земля, и, что самое интересное, у основания ногтей возникли как бы валики, утолщения или наросты. Я заметила, что у Анисьи то же самое, и у бездеятельной Марфутки те же руки, и у Татьяны, самой большой нашей барыни и медработника, была та же картина. Кстати говоря, постоянная посетительница Тани пастушиха Верка повесилась в лесу, пастушкой она уже не была, стадо все съели, и Анисья очень грешила на Таню и выдала нам ее тайну, что Таня давала Верке не чаю, а какого-то лекарства и Верка не могла без него жить и из-за этого повесилась, платить стало нечем. Верка оставила маленькую дочь, и без отца при этом. Анисья, поддерживавшая сношения с Тарутином, рассказала, что эта дочка живет у бабушки, потом выяснилось далее из того же торжествующего рассказа Анисьи, что эта бабушка вроде нашей Марфуты красавица, только еще и пьющая, и трехлетний ребенок, совершенно уже без памяти, был привезен мамой к нам в дом в старой детской коляске. Маме всегда было больше всех надо, отец злился, девочка мочилась в кровать, ничего не говорила, сопли слизывала, слов не понимала, ночью плакала часами. И от этих ночных криков всем скоро не стало житья, и отец ушел жить в лес. Делать было нечего, и все шло к тому, чтобы отдать девочку ее непутевой бабке, как вдруг эта бабка Фаина сама пришла к нам и стала, покачиваясь, выманывать деньги за девочку и за коляску. Мать без единого слова вывела ей Лену, чистую, подстриженную, босую, но в платице. Лена вдруг упала в ноги моей матушке без крика, как взрослая, и согнулась в комочек, охвативши мамины босые ступни. Бабка заплакала и ушла без

Лены и без коляски, видимо, ушла умирать. Она шаталась на ходу и вытирала слезы кулаками, а шаталась она не от вина, а от полного истощения, как я догадалась потом. Хозяйства у нее давно не было никакого, последнее время Верка ведь не зарабатывала ничего. Мы то сами ели все больше вареную траву в разных видах, с грибным супом во главе. Козлята давно жили у отца от греха подальше, колея туда заросла совсем, тем более что отец ходил с тачкой разными путями в рассуждении о будущем. Лена осталась жить с нами, мы отливала ей молока, кормили ягодами и нашими грибными щами. Все становилось гораздо страшнее, когда мы начинали думать о зиме. Хлеба — ни муки, ни зерна — не было, ничего в округе не было посеяно, ведь бензина и запчастей не водилось давно, а лошадей перебили еще раньше, пахать оказалось не на чем. Отец походил, пособирали каких-то случайных уцелевших колосьев на бывших полях, но перед ним уже прошлись, и не раз, ему досталось немного, мешочек зерен. Он рассчитывал освоить в лесу озимый сев на поляне недалеко от избушки, выспрашивал у Анисьи сроки, и она обещала ему сказать, когда и как сеять, как пахут. Лопату она отвергла, а сохи не было нигде. Отец попросил ее нарисовать соху и стал, совсем как Робинзон, сколачивать какую-то штуку. Анисья сама плохо помнила все подробности, хотя ей и приходилось во времена оны ходить за коровой с сохой, а отец загорелся инженерной идеей и сел изобретать этот велосипед. Он был счастлив своей новой судьбой и не вспоминал о городе, в котором оставил много врагов, в том числе и своих родителей, моих бабушку и дедушку, которых я видела только в глубоком детстве, а дальше все утонуло в скандалах из-за моей мамы и дедовской их квартиры, провалились она пропадом, с генеральскими потолками, сортиром и кухней. Нам в ней не привелось жить, а теперь, наверное, мои бабушка и дедушка были уже трупами. Мы никому ничего не сказали, когда убрались из города, хотя отец готовился к отъезду долго, откуда у нас и набрался полный кузов мешков и ящиков. Все это были вещи недорогие и в свое время недефицитные, отец мой, человек дальновидный, собирал их в течение нескольких лет, когда они действительно были недорогими и недефицитными. Мой отец, бывший спортсмен, турист-альпинист, геолог, повредивший ногу и бедро, давно жил жаждой уйти, и тут обстоятельства совпали с его все развивающейся манией бегства, и мы бежали, когда все еще было безоблачно. «Над всей Испанией безоблачное небо», — шутил отец буквально в каждое хорошее утро.

Лето выдалось прекрасное, все зрело, наливалось, наша Лена начала разговаривать, бегала за нами в лес, не собирала грибы, а именно бегала за мамой как пришитая, как занятая главным делом жизни. Напрасно я приучала ее замечать грибы и ягоды, ребенок в ее положении не мог спокойно жить и отделяться от взрослых, она спасала свою шкуру и всюду ходила за мамой, бегала за ней на своих коротких ногах, с раздутым своим животиком. Лена называла маму «няня», откуда-то она взяла это слово, мы ей его не говорили. И меня она называла «няня», очень остроумно, кстати.

Однажды ночью мы услышали под дверью писк как бы котенка и обнаружили младенца, завернутого в старую, замасленную телогрейку. Отец, который притерпелся к Лене и даже приходил к нам днем кое-что поделывать по хозяйству, тут ахнул. Мать была настроена сурово и решила спросить Анисью, кто это мог сделать. С ребенком, ночью, в сопровождении молчаливой Лены, мы отправились к Анисье. Она не спала, она тоже слышала крик ребенка и сильно тревожилась. Она сказала, что в Тарутино пришли первые беженцы и что скоро придут и к нам, ждите еще гостей. Ребенок пищал пронзительно и безостановочно, у него был твердый вздутый живот. Таня, приглашенная утром для осмотра, сказала, даже не притронувшись к ребенку, что он не жилец, что у него «младенческая». Ребенок мучился, орал, а у нас

даже не было соски, чем кормить, мама капала ему в пересохший ротик водичкой, он захлебывался. Было ему на вид месяца четыре. Мама сбегала хорошим маршем в Тарутино и выменяла соску у аборигенов на золотую кучку соли, и прибежала назад, бодрая, и ребенок выпил из рожка немного воды. Мама сделала ему клизму, даже с ромашкой, мы все, не исключая и отца, бегали, носились, грели воду, поставили ребенку грелку. Всем было ясно, что надо бросать дом, огород, налаженное хозяйство, иначе скоро нас накроют. Бросать огород значило умирать голодной смертью. Отец на семейном совете сказал, что в лес переселяемся мы, а он с ружьем и Красивой поселяется в сарае у огорода.

Ночью мы тронулись с первой партией вещей. Мальчик, которого назвали Найден, ехал на тачке на узлах. На удивление всем, он после клизмы опростался, затем пососал разведенного козьего молока и теперь ехал в овечьей шкуре, притороченный к тачке. Лена шла, держась за узлы.

К рассвету мы пришли в свой новый дом, отец тут же сделал второй заход, потом третий. Он, как кошка, таскал в зубах все новых котят, то есть все свои нажитые горбом приобретения, и маленькая избушка оказалась заваленной вещами. Днем, когда все мы, замученные, уснули, отец отправился на дежурство. Ночью он привез тачку вырытых еще молодых овощей, картофеля, моркови и свеклы, репки и маленьких луковок, мы раскладывали это в погребе. Тут же ночью он снова ушел и вернулся чуть ли не бегом с пустой тачкой. Прихрамал понурый и сказал: все! Еще он принес баночку молока для мальчика. Оказалось, что наш дом занят какой-то хозкомандой, у огорода стоит часовая, у Анисьи свели козу в тот же наш бывший дом. Анисья с ночи караулила отца на его боевой тропе с этой баночкой вечерошнего молока. Отец хоть и горевал, но он и радовался, потому что ему опять удалось бежать, и бежать со всем семейством.

Теперь вся надежда была на маленький огород отца и на грибы. Лена сидела в избушке с мальчиком, в лес ее не брали, запирали, чтобы не срывала темпа работ. Как ни странно, вдвоем с мальчиком она сидела, не билась об дверь. Найден всю пил отвар из картофеля, а мы с матерью рыскали по лесам с кошелками и рюкзаками. Грибы мы уже не солили, а только сушили, соли почти не было. Отец рыл колодец, ручей был далековато.

На пятый день нашего переселения к нам пришла бабка Анисья. Она пришла пустая, без ничего, только с кошкой на плече. Глаза у Анисьи смотрели странно. Анисья посидела на крыльчке, держа испуганную кошку в подоле, потом подхватила и ушла в леса. Кошка забилась под крыльцо. Анисья вскоре принесла полный передник грибов, среди них лежал и мухомор. Анисья осталась сидеть у нас на крыльце и не пошла в дом. Мы ей вынесли нашего пустого супу в баночке из-под ее же молока. Вечером отец отвел Анисью в землянку, где у нас был третий запасной дом, Анисья отлежалась и начала бодро рыскать по лесам. Грибы я у нее отбирала, чтобы она не отравилась. Часть мы сушили, часть выбрасывали. Однажды днем, вернувшись из леса, мы нашли наших приемышей всех вместе на крыльце. Анисья качала Найдена и вообще вела себя как человек. Ее словно прорвало, она рассказывала Лене: «Все перешевыряли, все унесли... К Марфуте даже не сунулись, а у меня все взяли, козу свели на веревочке...»

Анисья еще долго была полезной, пасла наших коз, сидела с Найденем и Леной до самых морозов. А потом Анисья легла с детьми на печку и слезала только на двор. Зима замела снегом все пути к нам, у нас были грибы, ягоды сушеные и вареные, картофель с отцовского огорода, полный чердак сена, моченые яблоки с заброшенных в лесу усадеб, даже бочонки соленых огурцов и помидоров. На делянке, под снегом открытый, рос озимый хлеб. Были козы. Были мальчик и девоч-

ка для продолжения человеческого рода, кошка, носившая нам шалых лесных мышей, была собака Красивая, которая не желала этих мышей жрать, но с которой отец надеялся вскоре охотиться на зайцев. С ружьем отец охотиться боялся, он боялся даже дрова рубить из-за опасений, что нас засекут по звуку. В глухие метели отец рубил дрова. У нас была бабушка, кладезь народной мудрости и знаний. Вокруг нас простирались холодные пространства.

Отец однажды включил приемник и долго шарил в эфире. Эфир молчал. То ли сели батареи, то ли мы действительно остались одни на свете. У отца блестели глаза: ему опять удалось бежать!

В случае, если мы не одни, к нам придут. Это ясно всем. Но, во-первых, у отца есть ружье, у нас есть лыжи и есть чуткая собака. Во-вторых, когда еще придут! Мы живем, ждем, и там, мы знаем, кто-то живет и ждет, пока мы взрастим наши зерна и вырастет хлеб, и картофель, и новые козлята,— вот тогда они и придут. И заберут все, в том числе и меня. Пока что их кормит наш огород, огород Анисьи и Танино хозяйство. Тани давно уже нет, я думаю, а Марфутка на месте. Когда мы будем как Марфутка, нас не тронут.

Но нам до этого еще жить да жить. И потом, мы ведь тоже не дремлем. Мы с отцом осваиваем новое убежище.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ
(1893—1974)



САД, НАПОЛНЕННЫЙ ПЛОДАМИ

Александр Солодовников — русский религиозный поэт. Он родился в Москве, в старинной купеческой семье, известной своей благотворительностью. Человек, как принято говорить сегодня, трудной судьбы. Трижды подвергался незаконному аресту; семнадцать лет провел на Колыме в лагере и на поселении. Умер в Москве Похоронен на Ваганьковском кладбище. Всю жизнь занимался поэтическим творчеством, писал и прозу. Публикуется впервые.

* * *

Промчались сани. Билась полость.
А я стою, вникая в звон.
Я знаю — в церкви нежный голос
Поет рождественский канон.

Вся наша жизнь шумит и мчится,
Так далеко душе до звезд.
А та — моя, не шевелится,
Лишь, наклонясь, положит крест.

Пусть это сон... Проста прическа,
Чуть-чуть печален очерк губ,
И запах ладана и воска
Невыразимо сердцу люб.

Мы не умрем в пустыне снежной,
Он греет нас, собой одев,
Любимый с детства, нежный,
Живой рождественский напев.

1922.

Вербная всенощная

Пришел я ко всенощной с вербой в руках,
С расцветшими ветками в нежных пушках.
Пушистые шарики трогаю я:
Вот этот — умершая дочка моя,
Тот мяконецкий птенчик —
Сын мой младенчик,
Двоешка под крепким брусничным листом —
Во всем неразлучные мать с отцом,
Тот шарик без зелени —
Друг мой расстрелянный,
К веткам прильнувший —

Племяш утонувший,
 Смятый и скрученный —
 Брат мой замученный,
 А тот глянцевитый —
 Брат мой убитый.
 Шариков хватит на ветках тугих
 Для всех отошедших моих дорогих.
 Лица людей — лики икон,
 Каждый свечою своей озарен.
 Вербная роща в храм внесена,
 В каждое сердце входит весна.
 Радостно пение:
 Всем воскресение!

Общее, общее всем воскресение!

Трепетны свечи
 Радостью встречи,
 Смысл уясняется в каждой судьбе.
 Слава Тебе!
 Слава Тебе!

2 апр. 1961.

В неделю жен-мироносиц

Мужчины больше философствуют
 И сомневаются с Фомою,
 А мироносицы безмолвствуют,
 Стопы Христа кропя слезою.

Мужи напуганы солдатами,
 Скрываются от ярой злобы,
 А жены смело с ароматами
 Чуть свет торопятся ко гробу.

Людские мудрецы великие
 В ад атомный ведут народы,
 А белые платочки тихие
 Собой скрепляют церкви своды.

[?]

Из цикла «Тюрьма»

Благо мне, что я пострадал,
 дабы научиться уставам Твоим.

Псалом.

1

Решетка ржавая, — спасибо,
 Спасибо, старая тюрьма!
 Такую волю дать могли бы
 Мне только посох да сума.

Мной не владеют больше вещи,
 Все потемняя и глуша,
 Но Солнце, Солнце, Солнце блещет,
 И тихо говорит душа.

Запоры крепкие, — спасибо!
 Спасибо, лезвие штыка!

Такую мудрость дать могли бы
Мне только долгие века.

Не напрягая больше слуха,
Чтоб уцелеть в тревоге дня,
Я слышу все томленье духа
С Екклесиаста до меня.

Спасибо, свет коптилки слабый,
Спасибо, жесткая постель.
Такую радость дать могла бы
Мне только детства колыбель.

Уж я не бьюсь в сетях словесных,
Ища причин добру и злу,
Но в ожиданье тайн чудесных
Надеюсь, верю и люблю.

1920.

2

Лен, голубой цветочек,
Сколько муки тебе суждено.
Мнут тебя, треплют и мочат,
Из травинки творя полотно.

Все в тебе обрекли умиранью,
Только часть уцелеть должна,
Чтобы стать драгоценною тканью,
Что бела, и тонка, и прочна.

Трепли, трепли меня, Боже!
Разминай, как зеленый лен,
Чтобы стал я судьбой своей тоже
В полотно из травы превращен.

1938—1956.

Ночь под звездами

Свершает ночь свое Богослужение,
Мерцая, движется созвездий крестный ход.
По храму неба стройное движение
Одной струей торжественно течет.

Едва свилась закатная завеса,
Пошли огни, которым нет числа:
Крест Лебеда, светильник Геркулеса,
Тройной огонь созвездия Орла.

Прекрасной Веги нежная лампада,
Кассиопей знак, а вслед за ней
Снопом свечей горящие Плеяды,
Пегас, и Андромеда, и Персей.

Кастор и Поллукс друг за другом близко
Идут вдвоем. Капеллы хор поет,
И Орион, небес архиепископ,
Великолепный совершает ход.

Обходят все вокруг чаши драгоценной
 Медведицы... Тайнственно она
 В глубинах неба, в алтаре Вселенной
 Векам веков

Творцом
 утверждена.

Но вот прошли небесные светила,
 Исполнен чин, творимый бездны лет,
 И вспыхнуло зари паникадило,
 Хвала Тебе,

явившему
 нам
 Свет!

1940. Колыма. Зима. Ночная смена.

Предупреждение

Старцу Ангроннику.

Я долго мечтой обольщался,
 Что старцу запомнились мы,
 Все те, кто с ним близко общался
 В распадках седой Колымы.

Я с ним комариной тайгою
 В толпе обреченных шагал,
 Сгибался в шахтерском забое,
 На лагерных нарах лежал.

По прихоти десятилетий
 Капризные смены судьбы
 Все стерли... И старец ответил:
 — Не знаю, не помню, забыл...

Боюсь, когда ангел суровый
 Предстанет, о сроке трубя,
 Я снова услышу то слово:
 — Не знаю, не помню тебя...

1960-е гг.

Вечер

Толпятся ли в прозорливый тот час
 Вокруг нас умершие...

А. Грин, «Корабли в Лиссе»,

Гаснет, гаснет летний вечер,
 Молится земля...
 Ты накинь платок на плечи,
 И пойдем в поля.

На холме, поросшем рожью,
 Там, где тишь и глушь,
 Вступим мы со сладкой дрожью
 В рой незримых душ.

В этом сумраке закатном
 Тайна жизни есть,
 Все, что мнилось невозвратным,
 Шлет свиданья весть.

Молодость и старость

Что юность?— Первый рейс туманными морями.
Отбор семян... Неведомый искус.
Что старость? — Это сад, наполненный плодами,
Доставленный благополучно груз.

Когда едва бредет старушка в храм,
Дивятся девушки ее шагам.
Да! Ходим мы тем медленней, чем старше,
Но с полной чашей можно ли бежать?
А кто лишь наполняет жизни чашу,
Тому легко играть и танцевать.
Вино на дне, его не расплескать.

И, знаете, иной старушки слово
Чудесным цветом миру процвело,
Оно вскормило мысли Соловьева
И Пушкина поэзию зажгло.

1960-е гг.

* * *

Бродя во мгле, вдыхая гарь
Катастрофического века,
Как Диоген, зажгу фонарь
Искать на людях человека.
Хотя бы призрак красоты,
Хотя бы тень ума и чести,
И я поверю, что цветы
Растут на оскверненном месте.

[1938—1956]

Публикация Е. Е. ДАНИЛОВА.

Публикатор выражает признательность З. Р. Моложатовой и А. И. Олейникову за помощь в подготовке текстов.

ПУБЛИЦИСТИКА

СТАНИСЛАВ КОНДРАШОВ



ИЗ МРАКА НЕИЗВЕСТНОСТИ

Проблески гласности в царстве военных тайн

В конце января этого года в одном из удаленных от центра Москвы особняков собралась необычная международная компания — ветеранов, к счастью, не состоявшей катастрофической войны. Официально эта встреча называлась — советско-американо-кубинский симпозиум по проблемам карибского ракетного кризиса октября 1962 года. Тогда, как считается, человечество подошло к краю ядерной бездны ближе чем когда-либо. Ближе с тех пор не подходило, хорошо усвоив карибский урок.

Двух главных действующих лиц, творцов и участников кризиса — Н. С. Хрущева и Джона Кеннеди, которые подвели нас к самой пропасти, а потом, слава богу, отпрянули от нее, — уже давно нет на свете. Но многие важные персонажи, хотя и постарев на двадцать шесть лет, живы-здоровы. И вот в ярких огнях телевизионных ламп в момент торжественного открытия симпозиума и в последующие два дня заседаний мне довелось вблизи наблюдать и слышать людей, которые уже своей причастностью к той октябрьской драме заслужили место на страницах истории. Перечислю имена и тогдашние должности участников симпозиума: министр иностранных дел СССР А. А. Громыко, посол СССР в Вашингтоне А. Ф. Добрынин, посол СССР в Гаване А. И. Алексеев, министр обороны США Роберт Макнамара, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Макджордж Банди, специальный помощник президента Теодор Соренсен, заместитель председателя объединенной группы начальников штабов ВС США генерал У. Смит и другие. С советской стороны знаком новых времен был своеобразный семейный элемент. Н. С. Хрущева как бы представлял сын С. Н. Хрущев, который хорошо помнил те дни и ссылаясь на мемуары отца, у нас, кстати сказать, так и не опубликованные; покойного А. И. Микояна тоже словно бы заменял его сын С. А. Микоян, известный специалист по Латинской Америке. Что касается кубинской делегации, возглавлявшейся давнишним сподвижником Фиделя Кастро, членом Политбюро Компартии Кубы Хорхе Рискетом Вальдесом, то среди ее участников находился и тогдашний начальник кубинского генштаба Серхио дель Валье.

Крупнейший кризис ядерного века дает постоянную пищу для исследований ученых, потому и они были авторитетно представлены с американской и советской сторон.

Январь стоял необычно теплый. Под стать оказалась атмосфера встречи. Даже кубинцы, не имеющие ни дипломатических отношений с США, ни такого, как у нас, опыта научно-политического общения с американцами, чувствовали себя вполне непринужденно. Фантастическая новая реальность! Где, когда, в каком из предшествовавших столетий и в каком десятилетии нынешнего возможны были подобного рода совместные воспоминания минувших дней?!

На утренних и послеобеденных заседаниях, спрашивая друг друга и отвечая, заново заряжаясь прежними настроениями, участники воссоздавали драматическую картину того, как вершители политики двух держав входили в опаснейший кризис и выходили из него. Однако подробный рассказ не входит в мои намерения. Я журналист, то есть человек, профессионально заостренный на задачу информирования читателя, общественности. В этом вижу свою ответственность. Под этим углом — прежде всего — рассматриваю карибскую историю. И об этом ее аспекте поведу речь, ибо

он тоже по-своему свидетельствует о фантастической реальности, старой и сегодняшней, настолько для нас, советских людей, привычной и традиционной, что о ней нечасто задумываются. Участники тройственного симпозиума, воссоздавая картину того, как действовали верхи, обошли вниманием вопрос информирования низов. Между тем здесь, на мой взгляд, заключен один из важнейших уроков октября 1962 года, который у нас, в нашей стране, не был извлечен — и не мог быть извлечен при Хрущеве и Брежневе — и который сейчас, при гласности, должен быть учтен, потому что без этого не может быть демократической, открытой, народной внешней политики.

Прежде чем перейти к своему рассуждению, напомним основные факты.

Карибский кризис разразился из-за того, что на Кубу были завезены советские ракеты. От Кубы до американского берега — сто пятьдесят километров. Дальность действия ракет Р-12 равнялась двум тысячам километров. На подходе были еще и ракеты Р-14 дальностью в четыре тысячи километров, но советские суда, на которых их транспортировали, остановила американская военно-морская блокада Кубы, введенная президентом Кеннеди. Корабли успели доставить часть ядерных боеголовок к ракетам, но, как указывают советские источники, ни одна из них не была установлена — даже в часы максимального обострения кризиса. Впрочем, и сам кризис разразился еще в начальной стадии развертывания ракетных баз, когда американская аэрофоторазведка обнаружила следы этой операции, зафиксировав лишь одну (из срока двух) ракету, установленную на позиции.

Идея размещения ракет на Кубе была выдвинута лично Н. С. Хрущевым. В Москве ее утвердили летом 1962 года, после визита в Гавану советской делегации, в составе которой под видом «инженера Петрова» был маршал С. С. Бирюзов, главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. Как зенитные ракеты «земля — воздух», так и ракеты «земля — земля» с ядерными боеголовками находились на Кубе в распоряжении советского военного персонала и под его командованием. Запуск ракет предполагалось осуществить только в случае американского нападения и только по команде из Москвы.

Каковы были советские мотивы? Защита Кубы, укрепление ее обороноспособности, которой, по оценкам советского руководства, угрожало американское вторжение — еще одно и более массированное, чем не удавшееся, на Плая-Хирон в апреле 1961 года. В своих мемуарах, опубликованных на Западе, Н. С. Хрущев излагал мотивы так: «У нас не было другого способа помочь им (кубинцам. — С. К.) отразить американскую угрозу, кроме установки наших ракет на острове, с тем чтобы поставить агрессивные силы Соединенных Штатов перед дилеммой: если вы вторгнетесь на Кубу, вам придется столкнуться с ракетно-ядерной атакой против ваших собственных городов... Я не говорю, что у нас было какое-то документированное свидетельство, что американцы готовили второе вторжение: мы не нуждались в таких свидетельствах. Мы знали классовую принадлежность, классовую слепоту Соединенных Штатов, и этого было достаточно, чтобы ждать худшего». (Цитата дана в переводе с английского.)

Какими были кубинские мотивы? Хрущев в мемуарах сообщает, что с Кастро на этот счет велись очень жаркие споры, но что в конце концов кубинский руководитель согласился с его мнением. Согласившись разместить советские ракеты, кубинцы руководствовались вопросами повышения обороноспособности не только своей страны, но и всего социалистического лагеря и, судя по заявлениям Фиделя Кастро, готовы были даже принести Кубу в жертву во имя революционного долга солидарности и соответственно понимаемых интересов общего дела.

Американские мотивы? Любыми средствами, вплоть до воздушных бомбардировок и вторжения на Кубу десятков тысяч морских пехотинцев, предотвратить развертывание советских ядерных ракет, способных накрыть большую часть территории США, включая не только Юг, но и Северо-Восток со столицей Вашингтоном и такими крупнейшими центрами, как Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Даллас, Сент-Луис, Атланта и другие. Воздерживаясь от рекомендаций военных нанести немедленный воздушный удар, Кеннеди выбрал военно-морской карантин как первоначальное средство отпора, дающее некоторый выигрыш во времени для попыток дипломатического урегулирования конфликта.

Москва считала ракеты на Кубе оборонительным оружием и фактически средством как ядерного сдерживания, так и хотя бы частичного возмещения стратегического дисбаланса; по данным Макнамары, США в то время превосходили СССР по стратегическим ядерным боеголовкам в 17 раз — 5 тысяч на 300. Вашингтон считал

ракеты на Кубе наступательным оружием, которое нельзя терпеть возле территории США не только по соображениям непосредственной национальной безопасности, но и по соображениям мирового престижа (хотя американские ядерные ракеты были тогда размещены в Турции и «терпелись» Советским Союзом). Москва и Гавана исходили из того, что американская военная угроза Кубе после Плая-Хирон не только сохранялась, но и возрастала. Вашингтон заявлял, что у него — до карибского кризиса — не было намерения вторгаться на Кубу, и Макнамара решительно подтверждал эту позицию на московском симпозиуме.

Итак, стороны не понимали и не принимали друг друга, и эти разногласия в трактовке мотивов и намерений оставались непреодоленными и через двадцать шесть лет — пусть вежливые и смягченные, но упорные, потому что уходили корнями в различия двух систем и действия их политических механизмов.

Однако в одном ключевом пункте оценки, если не интерпретации, сходились. Не могли не сходиться. Советские ракеты были завезены на Кубу та й н о.

Именно тайна, именно секретность этой акции вызвала особо решительное неприятие со стороны администрации Кеннеди, усилив впечатление, что акция носит вызывающе антиамериканский, агрессивный характер. Как отметил один из американских участников симпозиума, «острота нашей реакции объяснялась, в частности, тем, что нас обманули, что это был заведомый и сознательный обман». Другой напомнил, по аналогии, что из размещения американских ракет в Турции тайны не делалось, о них знала американская и мировая общественность. Ощущение обмана и коварства возникало не только потому, что противная сторона не могла согласиться с советской трактовкой оборонительного характера ракет. Дело еще и в том, что в начале сентября 1962 года, когда в Вашингтоне появились первые сомнения насчет того, какое же оружие завозится на Кубу, но еще не было фотосвидетельств, Н. С. Хрущев в личном послании Кеннеди, переданном через советского посла, прямо говорил, что у СССР такие мощные ракеты, что нет необходимости искать для них место за пределами Советского Союза, например на Кубе. (Взято из книги Артура Шлесинджера «Тысяча дней. Джон Ф. Кеннеди в Белом доме». У нас упомянутый документ не опубликован.)

Именно секретность предпринятого Москвой шага мощно, и прежде всего к пользе сторонников самой жесткой реакции, сработала в Америке на оправдание и усиление образа врага — образа заговорщиков-большевиков, «Советов», для которых все средства хороши ради поражения Соединенных Штатов, главного препятствия на пути к своей исторической цели — мировой революции и мирового коммунистического господства. Страсти на американской политической сцене накалились еще и потому, что оставались считанные дни до очередных, «промежуточных», выборов в конгресс и местные органы власти, когда избиратель давал первую, хотя и не прямую оценку новому президенту через два года после его избрания. В противоборстве с другой ядерной державой ему в таких обстоятельствах полагалось быть «десятью футов ростом».

Москва между тем, не очень-то вдаваясь в эти американские тонкости, не снисходя до них, всего лишь действовала в своем обычном ключе — секретно принимая решения, касающиеся военных дел, и секретно их выполняя. Иными словами, Москва действовала в духе традиционного старого мышления, которое и ныне в ключевом постулате секретности и закрытости хотя и поколеблено, но не полностью заменено мышлением новым. Вряд ли следовало ожидать, что этот секрет не раскроет американская разведка, пристально следившая за Кубой и за грузом все возрастающего потока советских судов в сторону карибского острова. Но в том-то и особая сила старого, укоренившегося мышления, что оно отнюдь не всегда поддается рациональному объяснению, что оно проявляет себя в вакууме, откуда «выкачано» давление общественного мнения и где авторитарность естественно рождает волюнтаризм (или, если заменить более прямыми русскими словами слова иностранного корня: где самовластие рождает своеволие). В своей иррациональности это мышление даже обретает дополнительную силу, внушающую страх «внешним врагам», а заодно и «своим» — подчиненным, подданным, согражданам, — чтобы не рассуждали, а лишь принимали и повиновались.

Судя по свидетельствам советских участников симпозиума, вопрос о поставке ракет на Кубу прорабатывался советским руководством довольно основательно, коллективно, и реализация заняла несколько месяцев. Но образную суть этого шага, его рискованность, авантюристичность или, прибегая к комплиментарному тону, его

«революционный романтизм» лучше всего, по-моему, выражают слова, приписываемые Н. С. Хрущеву. Он сказал, что американцам «надо запустить ежа в штаны». (Версия подтверждается мемуарами Хрущева, где говорится, что «империалистического зверя» надо заставить проглотить ежа, которого переварить он не сможет.) Сказано — сделано. И запустили, по-русски сосредоточившись воображением только на том, как щекотно и страшно будет тому, кому запустили ежа, и, по-русски же, не дав себе труда подумать, что объект эксперимента может не только растеряться, но и разъяриться на «революционного романтика».

Возникает, разумеется, попутный вопрос: как откликнулись бы в Вашингтоне, если бы Москва вдруг действовала по-джентльменски, открыто доставляя свои ракеты на Кубу в рамках законного соглашения двух суверенных государств? Допустили ли бы там такой открытый вызов американскому влиянию в Западном полушарии? Удалось ли бы вообще в таком случае доставить груз по адресу и использовать его как предмет политического торга, который в конечном счете оправдал себя: ведь пройдя через смертельные рифы карибского кризиса, все-таки удалось достигнуть желаемого и до сих пор соблюдаемого соглашения с американцами — обменять эвакуацию советских ракет на обязательство США не трогать Кубу вооруженным путем? Но, во-первых, такая цель не ставилась и через рифы к ней не стремились. Урегулирование на взаимоприемлемых условиях было выработано в спешке, как бы нечаянно конфликтующими сторонами и разными посредниками, включая исполняющего обязанности Генерального секретаря ООН У Тана, поскольку взаимонеприемлемым оказался вариант ядерной бездны. Во-вторых, за этими попутными вопросами, на которые невозможно дать точный ответ, стоят всего лишь утешения типа «все хорошо, что хорошо кончается», «нет худа без добра». Но привлекая эту мудрость задним числом, мы не можем дать гарантии, что на таком пути к добру через худо нас не ждало бы самое худшее — глобальный ядерный конфликт.

Однако я оставляю в стороне вопрос о допустимости импровизаций, связанных с риском ядерной войны. Вернусь к главному своему предмету — нашей государственной привычке к максимальной секретности, к тайне, о чем стало сейчас возможно хоть в какой-то степени говорить и писать.

18 октября 1962 года президент Кеннеди в Овальном кабинете Белого дома принял министра иностранных дел СССР А. А. Громыко. У президента в кабинете уже имелись сделанные 14 октября американским самолетом-разведчиком «У-2» свежие фотографии, свидетельствующие, что строительство советских ракетных баз идет вовсю и что по крайней мере одна ракета уже установлена. Разговор, причем острый, шел больше о берлинском вопросе — главной занозе того времени, — но также и о Кубе. Президент прямо говорил, что кубинский режим американцам не подходит. Министр утверждал, что дело кубинцев, а не американцев решать, что им нравится или не нравится у себя на Кубе. Президент уверял, что у него нет намерения нападать на Кубу, министр защищал право Кубы крепить свою оборону. Но... Но Кеннеди не продемонстрировал фотографии, потому что американский курс действий еще не был окончательно определен и Москва не должна была знать, что Вашингтон готовит контрмеры. А Громыко промолчал, что советские ядерные ракеты доставляются на Кубу и устанавливаются там. Впоследствии это обстоятельство преподносилось американскими авторами как лишнее подтверждение злонамеренности Москвы. А. А. Громыко в своих мемуарах — и на симпозиуме — разъяснял, что прямо его о ракетах президент не спрашивал и потому нужды в прямом ответе не возникало.

Что бы он ответил, спроси его президент? Что толку в гипотетических вопросах? Но тогда Кеннеди, не задавая вопроса о ракетах прямо, может быть, ждал сообщения советского министра, учитывая колоссальную важность предпринятого Москвой шага для самой сути отношений двух ядерных держав.

А. А. Громыко о ракетах знал. Но посол А. Ф. Добрынин (и это он снова подтвердил на симпозиуме) не знал. Не знал в том смысле, что официально из Москвы или приехавшим на сессию ООН министром лично не был информирован о ракетах. Не знали об этом официально наши дипломаты, журналисты, другие сотрудники в Вашингтоне и Нью-Йорке, хотя неофициально, по предположениям и сообщениям американской печати, могли догадываться — нет дыма без огня. В Москве это был хорошо охраняемый секрет, и от своих, как это у нас водится, его продолжая хранить даже тогда, когда чужие, в Вашингтоне, его раскрыли. В американских газетах и на телеэкранах уже появились разведывательные фотоснимки, а советские дипломаты должны

были эти факты отрицать, отвергать и даже разоблачать, «доказывая» американцам, что это вовсе не строящиеся ракетные базы, что это фальсификация и провокация.

Это означало еще большую потерю доверия к нашим представителям со стороны американцев. Не только безнравственно, но и политически невыгодно ставить себя выше общечеловеческой морали. Впрочем, официально мы ее тогда не признавали.

В те далекие дни я работал корреспондентом «Известий» в Нью-Йорке и, надо же было так случиться, угодил в больницу с острым приступом аппендицита 21 октября, накануне выступления Кеннеди по телевидению, когда тайное стало явным и был объявлен американский военно-морской карантин вокруг Кубы. После перенесенной операции я не мог присутствовать на заседаниях Совета Безопасности, куда со срочными запросами обратились все три государства, вовлеченные в конфликт. Лежа на больничной койке с портативным радиоприемником в руках, слушал прямые передачи из зала заседаний Совета Безопасности. Представитель США Эдлай Стивенсон спрашивал советского представителя в ООН, кстати, председательствовавшего в Совете Безопасности в тот месяц: «Отрицаете ли вы, посол Зорин, что СССР разместил и размещает ракеты среднего и промежуточного радиуса действия и базы для них на Кубе? Да или нет? Не ждите перевода. Да или нет?» И по-русски в радиоприемнике раздавался голос В. А. Зорина: «Я не в американском суде, господин Стивенсон». И известный своим красноречием Стивенсон подхватывал и оборачивал в свою пользу этот ответ: «Вы в суде мирового общественного мнения». И по его указанию в зал вносили щиты с фотоуликами.

В тассовском изложении речи советского представителя, напечатанном в наших газетах, значилось: «В. А. Зорин разоблачил извлеченные из кучи всякого хлама сотрудниками государственного департамента США утверждения о так называемом «установлении советских ракетных баз» на Кубе...» Еще из одного тассовского сообщения: «По команде Стивенсона в зале Совета Безопасности были выставлены фальшивки центрального разведывательного управления США. Затем делегат США, как попугай, зачитал сфабрикованные американской разведкой пояснения».

Нашим дипломатам приходилось несладко. Только 25 октября, на четвертый день главной фазы кризиса, Н. С. Хрущев облегчил их положение, в беседе с одним американским бизнесменом назвав ракеты ракетами. Но и после этого слово «ракеты» все еще оставалось для нас запретным, поскольку изложение состоявшейся беседы (со слов бизнесмена) прошло в американской, а не в советской прессе.

Такими были тогда муки советских дипломатов и нашего брата корреспондента. Однако это лишь ничтожный штрих картины рядом с гигантским, но не привлечшим должного внимания фактом: весь наш народ был подведен к краю ядерной пропасти, не зная об этом и будучи не в состоянии понять из советских средств массовой информации, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор. Это был подлинный мрачный апофеоз секретности.

С объективной точки зрения это вполне можно назвать обманом народа, или, во всяком случае, полным пренебрежением к его праву знать вещи, которые могут определить его судьбу, которые ставят вопрос о его жизни и смерти. И только после 28 октября, когда в экстренном обмене посланиями между Н. С. Хрущевым и Дж. Кеннеди были выработаны условия компромисса и напряжение резко пошло на убыль, в нашу прессу, и то далеко не сразу, робко начало проникать это ключевое слово — «ракеты». Только после того как от края пропасти отошли, народ наш стал понимать, на каком краю мы очутились. И только задним числом опешил. За исключением, конечно, тех, кто слушал «вражьи голоса».

Мое утверждение может показаться чрезмерным. Но полистайте газетные подшивки тех дней. Ни разу в них не мелькнуло слово-разгадка, слово-признание. Американцы знали его, кубинцы тоже, а наш народ — нет.

В советских газетах тех дней вы обнаружите массу материалов о карибском кризисе, целые полосы с аршинными ритуальными заголовками, клеймящими американский империализм тем ругательным, нечеловеческим языком, который остался — это стоит подчеркнуть — от сталинских времен, когда так привычно было обрушиваться на «врагов народа», «презренных наймитов», «шайки диверсантов и убийц», и который в силу широкогозахватной и устойчивой инерции сталинизма мы все еще сохраняли для газетных «разговоров» со своими людьми о западном мире.

Приведу несколько примеров газетных шапок тех дней. Из «Правды». 24 октября, на первой полосе: «Обуздать зарвавшихся американских агрессоров!» На тре-

ттей: «Прекратить безрассудную игру с огнем!» 25 октября, на первой полосе: «Сорвать агрессивные замыслы империалистов США!» На третьей: «Народы мира гневно клеймят американских авантюристов!» Из «И з в е с т и й», 23 октября, на первой полосе: «США ведут безрассудную игру с огнем. Обуздать провокаторов войны!» На второй полосе: «Народы гневно клеймят американских агрессоров! Они требуют: „Положить конец бесчинствам пиратов!“» 24 октября, на первой полосе: «Голос строителей коммунизма: планете не быть в огне!» На второй: «Властный призыв звучит над миром: „Обуздать американских агрессоров!“» 25 октября, на первой: «Решительный отпор поджигателям войны». На второй: «Усмирить разбойников, отстоять мир!»

В последующие дни заголовки пошли несколько спокойнее, с упором на разум, который «должен восторжествовать», и наконец после достижения компромисса: «Выдающийся вклад в дело сохранения мира», «Все человечество приветствует мудрость и миролюбие Советского правительства».

Огрубляя и усиливая, газеты лишь отражали резкий перепад официального тона от противостояния к примирению. Так, если брать официальные документы, в заявлении Советского правительства от 23 октября вашингтонские действия квалифицировались как «беспрецедентные, агрессивные». А в послании Хрущева Кеннеди от 28 октября говорилось совсем иное: «...чтобы успокоить народ Америки... Советское правительство в дополнение к уже ранее данным указаниям о прекращении дальнейших работ на строительных площадках для размещения оружия отдало новое распоряжение о демонтаже вооружения, которое Вы называете наступательным, упаковке его и возвращении его в Советский Союз». Обратите внимание, и тут — «вооружение, которое Вы называете наступательным». Даже тут, когда ракеты согласились вывезти, коронного слова опять нет.

Итак, вначале народ не знал о решении поистине судьбоносном, а потом мог лишь догадываться об истинном предмете разразившегося кризиса. При этом я не хочу создавать впечатление, что Н. С. Хрущева и состав тогдашнего Президиума ЦК КПСС не волновала судьба страны и народа. Как раз обратное доказывает та быстрота, с которой Москва согласовала условия компромисса с Вашингтоном, даже не успев уведомить Гавану, хотя по официальной версии именно Гавана просила о присылке ракет на Кубу. (Рану, нанесенную таким образом Фиделю Кастро, потом залечивал посланный на Кубу А. И. Микоян. И это была такая спешная и важная миссия, что он не смог прервать ее даже ради похорон своей скончавшейся тогда жены.)

Но следует подчеркнуть другое: судьба народа и страны определялась авторитарно, узким кругом руководителей. Это было в порядке вещей. Несмотря на исторический акт прощания с массовыми репрессиями, хрущевское десятилетие, как и последующие брежневские годы, сохраняло самые стойкие родовые черты сталинской системы партийно-государственного управления.

В 1962 году перед Н. С. Хрущевым просто не стоял вопрос, имеет ли он и другие руководители того времени право рисковать судьбой собственного народа ради помощи другому, кубинскому народу. Такое право и другие авторитарные права в области внешней и внутренней политики подразумевались. И озадачивали и пугали буржуазно-демократические правительства Запада, у которых таких прав нет, поскольку в своих действиях они стращены парламентами. Между прочим, это расхождение в методах государственного управления, даже без учета остальных факторов, усугубляет недоверие и затрудняет практику сотрудничества — даже при согласии относительно общих принципов мирного сосуществования двух систем. Создание в Советском Союзе правового государства устранил многие из препятствий, питающих подозрительность наших западных (и дальневосточных) партнеров. Демократия — понятие сложное и разное для разных стран и тем более систем, но любая действующая, а не показная демократия означает политику на виду — на виду у собственного народа и всего мира. Действия правового государства открыты и более предсказуемы, чем авторитарного, и уже это облегчает диалог и сотрудничество на международной арене.

Во время карибского кризиса президент Кеннеди советовался не только со своими министрами и ближайшими советниками, но и с лидерами конгресса от обеих партий, учитывал мнение умеренных и твердолобых, лавировал под усиливавшимся давлением сторонников немедленных военных действий. Это все детально описано в американской литературе. Через прессу и от официальных лиц американцы знали, как развивается кризис, подвергались идеологической обработке в разных направлениях.

Наш народ, даже участвуя в митингах протеста, в глубинном смысле безмолствовал, не имея достаточных фактов для самостоятельной оценки сложившегося положения. Его роль была ролью статиста, демонстрирующего единодушное одобрение курса партии и правительства без достаточного знания того, что он должен был одобрять. У нас об этом писать не принято даже через десятилетия. По участию в мировой политике не было на всей планете ветерана, подобного А. А. Громыко. Однако в своих мемуарах, рассказывая о беседе с Кеннеди, он не сообщал, что докладывал Хрущеву в дипломатических депешах из Вашингтона и по возвращении в Москву. Участие в симпозиуме не очень-то нарушило эту привычку к молчанию о том, как делается политика в Кремле и на Старой площади, как делалась она четверть века назад. А ведь не молчание здесь — золото¹.

Чем объяснить традиционную немногословность и односложность в оценках наших государственных деятелей, когда сама история требует от них откровенно поделиться опытом и тем самым внести посильную лепту в устранение одного из острейших наших дефицитов — дефицита политической культуры, который сказывается и в нынешних издержках нового для нас демократического процесса? Особым складом ума, приученного к скрытности не только на дипломатической арене, но и в наших коридорах власти? Или дело скорее в общем правиле, в той же абсолютизированной секретности, в том же особом архивном знаке «хранить вечно» (от народных глаз?), в своеобразном обете молчания, который налагают на себя — из поколения в поколение — наши руководящие товарищи, даже уйдя в отставку, обете не перед миллионами, а перед себе подобными, перед номенклатурой?

До революции Ленин создавал большевистскую партию на началах конспиративности, чтобы она могла уберечь себя от преследований во имя задачи свержения царизма. Задача давно выполнена, но традиция конспиративности, закрытости, тайны сохранилась и в правой партии, войдя составной частью в сталинскую бюрократическую систему, которая, занимаясь «самообслуживанием», отказывалась отчитываться и отвечать перед народом. При Сталине эта конспиративность была институализована, чтобы держать в руках все звенья власти, неподотчетной народу. Она влезла в кровь и плоть, стала «естественной», простой и удобной формой существования авторитарной власти.

К тому же нигде нет больших традиционалистов и консерваторов, чем в нашей стране, считающей себя вечно революционной. Самое необычное, самое чрезвычайное становится у нас привычным и уже на десятилетия не вызывает никаких сомнений в своей правомочности, будь то посылка узбекских первокурсников на хлопок, московских научных работников — на картошку или завод ядерных ракет на Кубу, тайная операция государства, которое, между прочим, начинало свое существование с разоблачения секретной дипломатии и обещания дипломатии открытой. Когда государство не является правовым, общество бесправно. И не беспокоит власть предрешающих неудобными вопросами, пребывая в состоянии покорной пригтерпелости ко всему.

Сейчас, пусть с большим запозданием, впервые появилась возможность публично задавать вопросы, которые не могли быть заданы раньше. Эти вопросы не стали праздными, так как и в сегодняшнем дне нас преследует прошлое. Были ли извлечены уроки из карибского кризиса? В узком плане — да, поскольку ядерных ракет за свои пределы мы с тех пор нигуда не вывозили. А в широком плане — в плане информирования народа и просвещения общественности, ее участия того или иного рода в принятии важнейших внешнеполитических решений, чреватых риском войны или резким усилением международной напряженности, приводящих к людским потерям или бессмысленному расходованию несосчитанных миллиардов рублей? В широком плане вопрос об извлечении уроков вообще не стоял, как не стоял вопрос о демократизации внешней и военной политики государства. При Брежневе дело двинулось в противоположную сторону — дальнейшей бюрократизации.

Самое важное по-прежнему творилось за кулисами и до сих пор покрыто, как говорится, мраком неизвестности. В той узловой области, где внешнеполитические во-

¹ Надо сказать, что, откликаясь на известинские публикации о симпозиуме, А. А. Громыко дал более пространную версию случившегося в октябре 1962 года в своей статье «Карибский кризис: о гласности теперь и скрытности тогда» («Известия», 15 апреля 1989) (*Здесь и далее примечания автора*)

просы соприкасаются с военными. До сих пор доступны лишь документы общего, часто декларативного порядка, но не конкретные стратегические решения, определявшие ход нашего военного строительства, если, разумеется, оно не шло самотеком. Продумывались ли эти решения на годы и годы вперед с учетом их бремени для народа, возможных ответных мер другой стороны, возможных последствий для межгосударственных отношений Восток — Запад?

Взять вопрос исторического значения — как и какой ценой мы обрели стратегический паритет с Соединенными Штатами к началу 70-х годов. Разглядывая из грядущего века последнюю треть нашего, историки международных отношений, быть может, в качестве ключевого выделают именно этот момент: как Советский Союз добивался военного равенства, причем не только с США, а практически со всем Западом, и как потом, под гнетом невыносимых военных расходов, трезво проанализировав ситуацию в период перестройки, отходил на более скромные и куда как более разумные — и ответственные — позиции оборонительной достаточности. Паритет был историческим достижением — это мы услышали от Ю. В. Андропова во время его краткого пребывания на высшем посту, совпавшего (во второй половине 1983 года) с предельным ожесточением советско-американских отношений. Достижением — да. Но не из разряда ли пирровых побед? Чем мы расплатились за паритет любой ценой? Какова оборотная сторона этой медали на ракетно-ядерной груди сверхдержавы? Не жалея средств на «военку» и на космос (тоже неисследованная тема финансово безоглядного «революционного романтизма» бесконтрольных руководителей), сосредоточившись в брежневские годы на достижении паритета, мы запустили мирные отрасли промышленности, работающие на удовлетворение потребительского спроса, и сельское хозяйство, в котором заканчивался процесс раскрестянивания. И то и другое развивать одновременно было не по силам. Задача достижения паритета во что бы то ни стало неизбежно ставила вопрос о государственных приоритетах, и, думается, приоритет был отдан не повышению уровня жизни народа, что естественно для мирного времени, а военному строительству — ему ни в чем не было отказа. Приоритет был отдан статусу военной сверхдержавы. И самое лучшее тому доказательство заключается в контрасте, который раньше видели немногие, а при гласности увидели все: сверхдержава в измерении вооруженной мощи и третьестепенная страна с точки зрения удовлетворения повседневных нужд своего народа. Не пора ли сказать, что оборотной стороной движения к военному паритету стал внутренний экономический застой? (Тем более что — другая важная неисследованная тема — параллельно ожесточавшемуся военному состязанию с Западом в 60—70-е годы сохранялись напряженные отношения с Китаем, что вело к наращиванию, опять же непомерному, наших вооруженных сил на Востоке и что в свою очередь, до последних крупных акций по нормализации отношений двух социалистических держав и военной разрядки на советско-китайской границе, питало подозрительность Пекина.)

Говорим о затратной экономике. Но она не возникает сама по себе. Если учитывать примат политики над экономикой, то следует говорить о затратной политике, в конце концов о затратной системе. И, разумеется, не только в смысле спецпривилегий. Затратная политика, затратная система руководства — это авторитарность, антидемократичность, закрытость, келейность, бесконтрольность. Она затратна уже потому, что не учитывается перед народом в реальных военных расходах и в определении их куда как больше учитывает внешние влияния (что происходит в области военного строительства «за бугром»), чем внутренние (как отзовется на своем народе дорогостоящий принцип «действие — противодействие»). Затратная, антидемократическая политика, исходя из непререкаемых соображений секретности, исключает какую-либо серьезную дискуссию внутри страны о целесообразности и приоритетах в государственных расходах, о том, какую их долю мы можем отдать на строительство и содержание вооруженных сил, о той черте, которую нельзя в этом отношении переступить и которую, судя по всему, мы долгое время переступали. Нельзя, потому что за ней начинается процесс экономического изнурения и разорения, урон для национальной безопасности, которая обеспечивается отнюдь не только мощью вооруженных сил, но общей мощью государства и общества, упорядоченностью и соразмерностью экономики, уровнем и качеством жизни народа, от чего прямо зависит и его патриотизм. У нас попросту не было места для такой дискуссии — ни в нашем чисто номинальном парламенте, ни в средствах массовой информации, подверженных цензуре под тем же предлогом охраны государственных тайн. Если добавить, что люди, принимавшие затратные решения, никак за них не расплачивались ни в плане политическом, ни в плане своего, а не народного уровня жизни,

то получается, что условия для такой системы были поистине идеальными. Задача политической реформы — осуществить чрезвычайно трудный, исторически выстраданный переход к противозатратной, демократической политике.

Вот еще несколько более конкретных послекарибских вопросов, на которые не были даны ответы. Как решалась проблема достижения паритета? Была ли такая цель осознанной в смысле генерального плана, разработанного, к примеру, на десять — пятнадцать лет? Или решения принимались стихийно, по очередному запросу военных, без расчета последствий, по упомянутому принципу «действие — противодействие», предполагаемому автоматический, «зеркальный» ответ американцам, раньше нас вводившим те или иные и все более дорогостоящие системы оружия? Насколько учитывалась стоимость конкретных военных программ (что можем или не можем мы себе позволить), или же действовало сомнительное даже для военного времени правило — за ценой не постоим? Ставился ли вопрос о том, что паритет на все возраставших уровнях превращался в самоловушку для страны, которой не под силу тягаться с совокупным экономическим потенциалом Запада?

И другой, общий и важный, вопрос — о нужности, о целесообразности всех этих усилий, иными словами — о подлинной степени агрессивности США и Запада. По моему глубокому убеждению, вполне в духе сталинского наследия недооценивался буржуазно-демократический характер США и Западной Европы и преувеличивалась военная угроза с их стороны, а подоплекой нашего мышления и действий был сохранившийся от Сталина комплекс «осажденной крепости», который, как известно, использовался им для оправдания концепции «обострения» классовой борьбы и выявления все новых и новых «врагов народа». Расставание со сталинизмом и тут затянулось, и гены Отца и Учителя все еще сказываются. Новое политическое мышление — это ускорение процесса такого расставания. По словам Э. А. Шеварднадзе, предприняв недавно крупные односторонние сокращения своих вооруженных сил, Советский Союз и его союзники послали «политический сигнал» другой стороне и свидетельствует этот сигнал «в первую очередь о новом подходе к оценке вероятности и степени военной угрозы со стороны Запада», а также «о растущей уверенности в том, что безопасность может все в большей степени обеспечиваться невоенными средствами».

Но это март сего года, а я пока задаю послекарибские вопросы. Для того, чтобы сказать: не зная ответов, мы не представляем, что могло бы быть, но знаем, что произошло. За пятнадцать — двадцать лет после карибского кризиса, усвоив его уроки, особенно после смещения Хрущева, когда при Брежневе военные, судя по всему, получили карт-бланш, Советский Союз наверстал свое отставание в стратегических ядерных боезарядах (помните, у Макнамары: 300 на 5 тысяч), увеличив их число более чем в 30 раз; американские боезаряды умножились за то же время примерно в 2,5 раза. Через десять лет после карибского кризиса советско-американское временное соглашение 1972 года об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) зафиксировало состояние паритета и на пять лет заморозило существовавшие тогда поголки стратегических ракет наземного и морского базирования, но и эти данные, включенные в общедоступные справочники за океаном, у нас долгое время шли по разряду секретных. Были, как и прежде, строго засекречены размах и темпы военного строительства. После нескольких лет неуверенной разрядки, в середине 70-х годов ее американские противники сделали вывод, что по размаху и темпам СССР опережает США и, значит, стремится не к поддержанию паритета, а к достижению превосходства. Насколько обоснован был этот вывод? С нашей стороны он оспаривался, но в обычной манере, без конкретных цифр и данных и потому неубедительно для наших оппонентов и противников. Взгляды консерваторов возобладали в американском военно-политическом истеблишменте и в широком общественном сознании, что в 1980 году помогло Рейгану победить «мягкотелого» Картера и, сделавшись президентом, провести через конгресс отнюдь не засекреченную, открытую, гигантскую (на два триллиона долларов за восемь лет) программу наращивания вооружений. Таков был американский ответ не только на наше военное строительство, но и на нашу секретность.

Другой, и самый животрепещущий, пример затратной политики и той реальности, в которой бюрократическая норма торжествует над нормой демократической, это Афганистан, наша девятилетняя война, окончившаяся в феврале этого года, к великому облегчению народа. Оставим в стороне в открытую поставленный теперь (но не раньше!) вопрос о том, кто виноват, как мы туда попали и почему так долго занимались бессмысленным кровопролитием и разрушением чужой земли. Возьмем другое, то, что могла вы-

нести лишь необыкновенная притерпелость общества под гнетом тотального идеологического и иного контроля. Государство, структуры власти, в частности Министерство обороны, имели право (!) послать молодых людей сражаться и погибать на чужой земле в мирное время (ведь мы никому не объявляли войны!), а за обществом, народом, родителями молодых людей отрицалось даже право спросить публично, сколько их там сражается и сколько погибло и ранено. Каждый из этих солдат поистине умирал в одиночку, и каждая семья в одиночку переносила свое горе. Конечно, люди писали в различные учреждения, в прессу, которая не публиковала их письма, задавали вопросы лекторам, но «официально» и тут безмолвствовал народ, живший — официально же — при развитом социализме. В нашем высшем конституционном органе — Верховном Совете СССР — за все девять лет не было сделано ни одного запроса правительству об Афганистане и о нашем военном присутствии там. С точки зрения любого гражданина США или Великобритании, ФРГ или Франции, Японии или Индии и многих других стран, это вещь невообразимая, а мы до перестройки, до гласности иного не могли и пред- ставить.

Конечно, мне могут сказать, что мое удивление ничего не стоит, поскольку всем отлачно известно, почему это происходило: в сверхцентрализованном однопартийном государстве завеса молчания и секретности по мановению руки опускается на все многоэтажное государственное здание. Но это детское мое удивление не проходит еще и потому, что в отличие от большинства соотечественников в течение долгих лет мне пришлось наблюдать другую войну и другое отношение к ней властей, общественности, средств массовой информации — американскую войну во Вьетнаме, когда конгресс бурлил, телевидение и газеты освещали военные действия в подробнейших деталях, систематически публикуя списки погибших американцев и точные или примерные цифры вьетнамских потерь, и антивоенный протест сотрясал площади и университеты, хотя администрация трех президентов — Кеннеди, Джонсона и Никсона — продолжали, по-разному, гнуть ура-патриотическую линию об Америке, которая «ни разу не проиграла ни одной войны», пока в конце концов Вашингтон не признал свое поражение. И еще я не стесняюсь наивности своего удивления потому, что инерция нашего старого мышления и уклада все еще весьма сильна, всюду действует и в пору обновления, изживая себя с великим трудом: общественного напора недостаточно, а у руководства без такого напора, может быть, не до всего доходит руки. Вот конкретный пример. Только через восемь с половиной лет после начала боевых действий в Афганистане и через три года после апрельского 1985 года Пленума ЦК КПСС, только после заключения женевских соглашений, предусматривающих вывод советских войск, и начала первого трех-месячного этапа вывода наш народ через свои средства массовой информации узнал, что ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) насчитывает что-то порядка 100 тысяч военнослужащих. Хотя в остальном мире, в чужих средствах массовой информации давно приводились такие оценки и сообщалось, что под псевдонимом ОКСВ скрывается 40-я армия.

Тогда же советские люди впервые узнали официальные данные о наших потерях в Афганистане. Когда, где и как были обнародованы эти данные? Это тоже показательно. 25 мая 1988 года в пресс-центре МИД СССР, ориентированном больше на иностранных, чем наших, корреспондентов, в рамках подготовки к советско-американской встрече в верхах начальник Главного политуправления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии А. Д. Лизичев сообщил, что на начало мая 1988 года число убитых составляло 13 310 человек, раненых — 35 478, пропавших без вести — 311. До этого советские люди вынуждены были довольствоваться — через «вражьи голоса» — завышенными западными оценками (40—50 тысяч убитыми). Официальные данные о потерях, конечно же, облетели весь мир, причем за рубежом это освещалось шире, чем в Советском Союзе. Советские газеты упрятали горькие цифры на своих внутренних полосах, в середине коротких отчетов о пресс-конференции. Замечу: это было время не застоя, а гласности.

Чем объяснить все это? Тем же — отсутствием закрепленной законом обязанности властей отчитываться перед гражданами даже тогда, когда речь идет о самом главном — о человеческой жизни. Но, думается, есть и более конкретная причина — отсутствие четкого, действующего как бы в автоматическом режиме механизма информирования общественности. Может быть, привыкнув к старым, жестким путям, просто не подумали о новых, хотя на слуху у всех это реабилитированное слово — «милосердие». Может быть, никто не вошел в инстанции с предложением о порядке систематической публика-

ции данных о потерях советских войск в Афганистане. Может быть... Но ведь никто не напомнил об этом «упущении». В эпоху гласности. Значит, не положено?..

В связи с этим уместно напомнить, что цифра наших потерь в Великой Отечественной войне, жутко округленная и явно приблизительная (20 миллионов убитыми), впервые была названа не в сорок пятом, при Сталине, для которого вопрос о потерях никогда не был существенным, а через несколько лет после его смерти, при Хрущеве. Между тем никакой приблизительности в подсчете жертв второй мировой войны нет, к примеру, у американцев: 292 131 человек погибли непосредственно в боевых действиях и еще 115 185 человек умерли от ран и по другим причинам, связанным с войной.

Счет на миллионы и счет с точностью до одного человека. Разница говорит не только о другом масштабе войны и участия в ней, но и о разных стадиях истории, через которые проходят две страны, о разном уровне развития, о разных обязательствах государства перед гражданами и, в конце концов, о разной степени человеческого достоинства, о разной цене человеческой жизни.

По мере развития гласности все настойчивее ставились вопросы об Афганистане, особенно после первых официальных намеков, из которых следовало, что новое советское руководство подумывает о выводе войск, используя канал малоэффективных и, казалось, чисто формальных женевских переговоров между представителями Кабула и Исламабада при посредничестве личного представителя Генерального секретаря ООН Диего Кордовеса. Весной 1988 года, все еще оставаясь, по существу, закрытым, афганский вопрос иногда всплывал в ходе дискуссии перед XIX партконференцией. Правда, его ставили мимоходом и боязливо.

Вскоре после партконференции я получил письмо читателя, которое заставило меня еще раз задуматься над отношениями государства и общества, государства и гражданина. Это было письмо от Анатолия Николаевича Шевченко из города Ковеля. Поводом послужило мое выступление по телевидению в программе «Время», где, говоря о десятом, «внешнеполитическом», тезисе ЦК КПСС к партконференции, я кратко упомянул наш «драматический опыт» в Афганистане. Товарищ Шевченко заметил «критическую нотку» и в других выступлениях журналистов и писателей, за которыми, как видно, внимательно следил. Но его не удовлетворяли всего лишь «недомолвки и намеки о допущенной советским руководством ошибке в афганском вопросе». И дальше Анатолий Николаевич писал:

«Как и в прошлые годы, по наболевшим вопросам с народом разговаривают неискренне и лицемерно, с недомолвками, намеками, загадками, отпуская правду в расщельях... Доколе будет так?

Почему до сих пор, если это не по силам политическим обозревателям, не найдется на самой вершине партийной власти человек, который бы честно и откровенно перед народом высказался по «афганским вопросам», не обойдя при этом причины того, что мы там оказались в военно-политической трясине, и конкретных виновников этой непродуманной и ущербной для нас акции.

Например, пусть бы выступил А. А. Громыко, бывший в пору принятия такого рокового решения министром иностранных дел СССР, и доказал правоту Брежнева, Устинова, свою и других членов Политбюро ЦК КПСС в этом подходе тогда к афганским делам...

Об Афганистане, о советско-«душманском» затяжном военном конфликте много сказано и написано, но, на мой взгляд, с официальной (уже устаревшей) точки зрения, без учета свободного мнения широких слоев советской общественности, без его анализа... Посмотрите читательскую почту наших газет и журналов и нигде вы не прочтете это мнение за все три года политики гласности. Молчат и партвожди, не говорят советскому народу главное по «афганским вопросам». Неуклюже выкручиваются по этим вопросам советские средства информации. Так где же та гласность? Где же та политика открытости, прямого и честного разговора с людьми?

Хотелось бы услышать ответ от Вас на эти мои вопросы. Желательно бы с экрана или на страницах газеты».

Дальше шла подпись и скупая душераздирающая приписка: «Написал по праву отца погибшего на войне в Афганистане солдата».

Я пытался пробить это письмо на страницы «Известий», в ту демонстрирующую новую смелость рубрику, которую назвали «Письма „...не для печати“». Не получилось. Письмо действительно оказалось не для печати. Смелость новой рубрики еще не доросла до смелости товарища Шевченко. Думал, что ему ответить, и долго откладывал

ответ, потому что трудно отвечать отцу убитого солдата В конце концов написал, что моя попытка предложить его письмо к публикации в газете не удалась, что он совершенно прав; по Афганистану наша гласность ущербная, недоговариваем, кто виновники и как мы там оказались. Конечно, писал я, рано или поздно вся правда будет сказана. Скорее поздно, как не раз было в нашей истории. Напомнил полуофициальные объяснения и оправдания того времени: нечего сыпать соль на свежие раны, когда еще не все наши солдаты ушли из Афганистана и им надо видеть какой-то смысл в своем нахождении, в своей службе там. И в конце написал, что не могу без волнения читать последние слова его письма: «...по праву отца погибшего на войне в Афганистане солдата».

Во втором письме Анатолий Николаевич поблагодарил меня за ответ, «даже если он разрывает мою душу». И снова подписался «отец солдата», выделив слово «солдат» красными чернилами и взяв его в черную траурную рамку — немое свидетельство неизбежного родительского горя.

У него отняли сына. Его лишают правды. Между тем, потеряв сына, он жаждет не лжи во спасение, а именно правды, и не мнимой, не «в рассрочку», а той извлекающей уроки, которую имел в виду поэт: «Память, как ты ни горька, будь зарубкой на века». Его горе невыносимо, но гибель его сына — и других сыновей — в общественном, общенародном смысле только тогда хоть как-то оправдывает себя, когда предотвратит другие авантюры, когда будет «зарубкой на века». Афганский урок должен стать предметом серьезного, честного разговора, а не дипломатического умолчания: что, дескать, скажут наши и без того находящиеся в критическом положении афганские друзья, если мы будем теперь разрывать рубашку на груди?

В сравнении с тем, что было три года назад, даже год назад, территория гласности и демократии необычайно расширилась, причем завоевана она во многом «с бою», общественностью и ее новыми настроениями, усилиями борцов за перестройку. Одновременно остается в силе: революция, начатая сверху, во многом носит дарованный характер, можно лишь то, на что нет возражений верха. Пожалуй, больше, чем к внутренней, это относится к международной журналистике и публицистике. По собственному опыту знаю, что еще полтора-два года назад даже в авторитетном перестроечном журнале не проходила элементарная мысль о том, что нашего военного вовлечения в Афганистан могло бы и не быть, если бы до вынесения решения в самом узком руководящем кругу этот вопрос — входить или не входить? — предварительно обсуждался и «консультировался» (пусть в закрытом, служебном порядке) в кругах научных и иных специалистов. Сейчас с самой темы снято табу — и заменено дозировкой. Правду в рассрочку или всю разом? Какая она — вся? Кто ее — всю — знает? Из геронтократии тех дней большинство уже унесло правду в могилу. Но ведь есть документы, и по крайней мере часть их надо опубликовать сейчас, по прошествии лет. Остались в живых и некоторые члены тогдашнего руководства, их осведомленные помощники. Многие из наших дипломатов, военных, партработников, экономических специалистов, журналистов прошли Афганистан.

Уроки Афганистана — вот важная тема для одного из первых публичных слушаний в новом Верховном Совете СССР, в его комиссиях по иностранным и военным делам. Это был бы поистине исторический старт нового, на деле отвечающего перед народом парламента. Это были бы просветительные уроки для всех — для политического и военного руководства, для средств массовой информации, для самого парламента, осваивающего непривычные функции контроля над исполнительной властью, для граждан, которые должны знать свои права и пользоваться ими.

Работая корреспондентом «Известий» в Соединенных Штатах в те годы, когда они вели свою вьетнамскую войну, я познал горький, но справедливый афоризм: «Первой жертвой на войне падает правда». С истиной об убитой правде, шовинистически разъяняя ее, переключался другой часто вспоминавшийся тогда афоризм, представлявший как бы кредо слепого патриотизма: «Права она или не права, это моя страна». Моя страна — и, значит, я как патриот готов не задумываясь оправдать все ее действия за рубежом, включая вооруженную интервенцию, если к тому же во время этих действий погибают мои соотечественники. Люби отечество, закрыв глаза и подавив совесть. Такую позицию занимали тогда в отношении вьетнамской войны твердолобые, ястребы, «стопроцентные» патриоты, нападавшие на участников антивоенного движения. Мы в своей прессе сочувствовали критикам войны и осуждали круговую, шовинистическую, имперскую поруку «стопроцентных». Правильно, конечно, делали,

что осуждали. Но легко осуждать или одобрять то, что не задевает тебя за живое, не касается лично тебя, твоей семьи, твоей страны. Советским журналистам пришлось познать это, когда правда пала жертвой нашей войны в Афганистане. Была убита не только чувством патриотизма, для которого в такие моменты своя рубашка ближе к телу и судьба соотечественников в военной форме заслоняет страдания другого народа. Правда была удушена завесой молчания, умерщвлена в тисках общих и частных руководящих указаний насчет того, как надо и как не надо освещать события в Афганистане и наше в них военное участие. Журналисты, прошедшие Афганистан, как правило, добросовестно делали свое дело, стремясь хотя бы намеками очертить объективную картину, но прокрустово ложе для их материалов всегда было наготове в московских редакциях. И, разумеется, на этом ложе удобнее других чувствовали себя люди с короткой, складной совестью.

Мне не довелось побывать в Афганистане — громадное упущение, которое не знаю, можно ли извинить тем, что годы были уже не репортерские, а также, честно говоря, тем, что не хотелось добровольцем укладываться на проклятое ложе Прокруста. Но профессиональной и, если хотите, нравственной памятью я помню начало афганской истории так же хорошо, как карибский кризис. И, может быть, не лишним будет короткий рассказ о том личном, в котором тоже отразилась общая природа времени и состояние общества, дилеммы, которые вставали и все еще встанут перед журналистом, если по подсказке совести и совету Салтыкова-Щедрина он не хотел бы путать понятие «отечество» с понятием «Его превосходительство», даже если Его превосходительство выступает в виде освобождающей тебя от всяких угрызений служебной и партийной дисциплины.

О предстоявшем вступлении советских войск в Афганистан я узнал за день-два до срока, 26 или 27 декабря 1979 года. Меня вызвал тогдашний главный редактор «Известий» П. Ф. Алексеев и, сообщив об этом, предложил написать статью. Имелась в виду статья «боевая», которая все объяснила бы и воспела.

Через полтора года после переворота в Кабуле, названного Апрельской революцией, мне, не специалисту по Афганистану, как и многим другим специалистам и неспециалистам, было ясно, что это езда на спине тигра, который не хотел остановиться и дать отдышаться ездоку. Марксизм, особенно в его левачком и безбожном варианте, не прививался в феодальной, многоплеменной, исламской стране, где неграмотного крестьянина невозможно было переманить в другую веру даже землей, отобранной у помещика. Вооруженное сопротивление новому режиму нарастало, обретя плацдарм в Пакистане, и поощрялось с двух сторон — Соединенными Штатами и Китаем. Они не хотели перехода Афганистана в советскую орбиту, тем более что тогда из американской сферы влияния, сузив ее, только что неистово, с треском выломился Иран. Захват власти не ослабил, а, напротив, усилил кровавые, с пытками, тюрьмами и казнями распри внутри НАПА. Лидер апрельского переворота Тараки уже стал жертвой жестокого, темного, властолюбивого Амина, во второй, как и первый, пытаясь удержаться на спине тигра, обращался к Москве с просьбой о вооруженной помощи, видя, что без нее с моджахедами ему не справиться и власть не удержать. В московском руководстве, как можно было понять, чаша весов пребывала в нерешительности, пока не лег на нее последний, то ли одиннадцатый, то ли тринадцатый по счету, запрос о присылке войск, а также мучительное подозрение, что Амин может перебежать, или уже перебежал, к американцам и Советский Союз вместо прибавки к социалистическому содружеству получит еще одну недружественную страну на своих границах. (Тут было сразу два крупных просчета, уже тогда различимых даже невооруженным взглядом неспециалиста: во-первых, ложная надежда, что и Афганистан удастся приплюсовать к странам, идущим «по пути социалистической ориентации», — о эти схоластические игры теоретиков развитого социализма; во-вторых, преувеличенное опасение, что традиционно добрососедская страна станет «антисоветской», «проамериканской».)

Из кругов политических все это так или иначе просачивалось в круги журналистские, хотя газеты наши привычно молчали о существовании происходившего. И вот уже не слухи, а решение Политбюро, еще неведомое народу и миру, и главный редактор вызвал меня для необычного ответственного поручения. У него был вид человека, знающего, что делается, но отнюдь не уверенного, то ли делается, что надо, — распристраненное, хотя и подслупное настроение тех дней. На лице его я не заметил воодушевления или даже возбуждения, лишь озабоченность очередным указанием, которое,

хочешь не хочешь, положено исполнять. Редактор был полностью отвечающей духу времени частичкой государственной машины, и все частички машины, проходя в такие моменты дополнительную проверку на лояльность, должны были функционировать четко. Того же — выполнения указания — он ждал от меня, одного из сотрудников редакции. Редактор не любил длинных разговоров и разговаривал обычно стоя или прохаживаясь по кабинету, что в его возрасте было полезно для здоровья. Кабинет был большой, и я до сих пор помню, в каком углу мы стояли там друг против друга и как он, слегка вздернув подбородок, выжидающе смотрел на меня сквозь толстые стекла очков в некрасивой старомодной оправе. Помню, конечно, и что я ему ответил. Нет, я не сказал ему, что не туда влезает и что этого делать нельзя. Не сказал, что выполнять его задание, хоть режьте, не буду. Нет, свой отказ я направил не в политическое, а в узкопрофессиональное русло, всего лишь сказав главному: «Это не моя тема...» И разъяснил для убедительности: «Я не специалист по Афганистану...»

Главный редактор вряд ли допускал возможность такого отказа в таком экстраординарном случае: при чем тут или не моя тема и где он, если следовать предложенной логике, найдет специалиста по оправданию ввода советских войск в другую страну? К тому времени он проработал в «Известиях» лишь три с половиной года и не знал или не придавал значения тому, что у меня, известинского ветерана, был особый опыт долгого (из Нью-Йорка и Вашингтона) освещения американской войны во Вьетнаме и что многие ее перипетии я когда-то пропустил через себя и сохранил в сознании как своего рода нравственный урок. Прежде всего вьетнамским опытом было подготовлено мое мгновенное прозрение относительно Афганистана в кабинете главного редактора: грязное дело. Хотя тогда я не мог предположить, что увязнем так надолго. Говорят, те, кто принимал решение, если и учитывали предшествовавший опыт, то скорее наш, августа 1968 года, в Чехословакии, когда «все» было сделано за несколько дней, а не американский во Вьетнаме: по их разумению, это было несовместимо и несравнимо — империалистическая авантюра и «интернациональный долг», и к тому же нам в принципе чужой опыт, как и чужой закон, не писан. Такими были государственные резоны. Но я, соглашаясь воспеть намеченную государственную акцию, должен был бы безжалостно перечеркнуть себя прежнего, потерять достоинство и самоуважение. Главный редактор не подозревал, что своим предложением протянул мне пистолет для нравственного самоубийства. И я не мог прямо сказать ему о пистолете, поскольку мои рассуждения выглядели бы неприемлемым для штатного сотрудника редакции чистоплюйством, а аналогия с американцами во Вьетнаме могла повлечь за собой упрек в политической незрелости. И потому, глянув в глаза за толстыми стеклами очков, я повторил односложное: «Это не моя тема...» И подумал про себя: будь что будет и пропади все пропадом, но через себя не переступлю.

И главный редактор, больше не настаивая, отпустил меня несколько неопределенным: «Ну что ж, идите...» И я ушел, совершив акт пассивного сопротивления и испытывая бессильное чувство крепостного человека, от которого требуется слепое послушание барину, а не разумная любовь к своей стране. Плетью обуха не перешибешь. Многие журналисты сторонились афганской темы, не желая кривить душой. А что касается невозможности перешибить плетью обух, то не смущало это лишь редачайшей гражданской смелости людей типа академика А. Д. Сахарова, поплатившегося за свою открытую оппозицию афганской политике ссылкой в Горький. Для него правда была, по определению Достоевского, «выше России», выше власти тех, кто говорил тогда от ее имени, и эта индивидуальная, непокорная правда истинного гражданина и патриота оказалась в конце концов более долговечной.

Через несколько дней моя газета напечатала подвал другого своего сотрудника — «Отпор проискам империализма. Афганская революция вступила в новый этап». В нем говорилось о подготовке афганских контрреволюционеров американцами в Пакистане и китайцами в Китае, о том, как в Вашингтоне и Пекине плетут «сети антиафганских интриг», а также о «кровавой клике узурпатора Хафизулы Амина и его приспешников», приговоренных к смерти революционным судом. Там, конечно, не упоминались сведения, которые уже дошли до Москвы от людей, побывавших в Кабуле, — что «приговор» был приведен в исполнение нашими командос еще до его вынесения.

Автором подвала, погребенного теперь в газетных подшивках, где история в ее преходящем газетном варианте выглядит странно и скучно, а иногда страшно и смешно, был старший мой коллега, когда-то помогавший и покровительствовавший мне, молодому журналисту. Ему выпало другое, жестокое и крутое время, уже взрослым он

прошел через горнило 30-х и 40-х годов, и постоянный выбор — быть или не быть? — сделал его журналистом, выполнявшим любые указания, участвовавшим в любых разоблачительных кампаниях и раз и навсегда убедившим себя, что в этом отрицании самого себя и состоит его партийный долг и само предназначение на земле. Он чутко учитывал «веления времени» и в последние годы своей жизни, выпавшие, увы, на годы махрового застоя, занимался контрпропагандой, то есть созданием образа врага. Думаю, что втайне он страдал, мучился, во всяком случае не относился к тем хладнокровным циникам, усилиями которых средства массовой информации, «когда надо», превращаются в средства массовой дезинформации.

В ход пошел приличествующий ситуации газетный лексикон Про «злобные происки внешних врагов афганской революции» в одной из корреспонденций из Кабула писалось: «Собаки лают, а караван идет...» «Собаки» на Западе лаяли, что безбожная Москва усыпила их бдительность, предприняв свою акцию в дни рождественских каникул.

Развернув газетные подшивки начала января 1980 года, вы найдете заявления Бабрака Кармала, разоблачающего «агента ЦРУ» Амина (позднее этот ярлык исчез) и обещающего исправить все его преступления, ошибки и перекосы. Найдете также ответы Л. И. Брежнева на вопросы корреспондента «Правды», в которых говорится, что вокруг афганских событий «нагромождаются горы лжи, развертывается беззастенчивая антисоветская кампания», что «для нас было не простым решением направить в Афганистан советские воинские контингенты», но что «ЦК партии и Советское правительство действовали с полным сознанием своей ответственности, учитывали всю совокупность обстоятельств».

Вот слова тогдашнего руководителя: «События в Афганистане не являются подлинной причиной нынешнего усложнения международной обстановки. Если бы не было Афганистана, то определенные круги в США, в НАТО наверняка нашли бы другой повод, чтобы обострить ситуацию в мире. Наконец, вся сумма шагов американской администрации в связи с событиями в Афганистане — замораживание договора об ОСВ-2, отказ от поставок целого ряда товаров, в том числе зерна, в СССР по некоторым уже заключенным контрактам, прекращение переговоров с Советским Союзом по ряду вопросов двусторонних отношений и т. д. — свидетельствует о том, что Вашингтон снова, как десятилетие назад, пробует заговорить с нами языком холодной войны».

В этом объяснительно-оправдательном заявлении обозначены элементы широкой картины, которые и в самом деле надо учитывать, чтобы понять афганскую акцию. В международной жизни возобладали тогда неблагоприятные тенденции. Разрядка в отношениях двух ядерных держав умирала под бременем сохранявшегося недоверия и военного соперничества. Запад, как уже говорилось, тревожили темпы нашего военного строительства, казавшиеся угрожающе иррациональными на фоне экономического застоя, который они — в отличие от нас (от нас — «официальных») — отчетливо видели. 1979 год был особенным. С одной стороны, в Вене после семилетних переговоров был наконец подписан советско-американский договор ОСВ-2. С другой стороны, процесс ратификации с таким трудом давшегося договора сразу забуксовал в американском сенате, где у президента Картера не обнаружилось должной поддержки. Острым участком противоборства неожиданно становился новый спор из-за ядерных ракет средней дальности в Европе.

Советско-американское взаимное непонимание критически усиливало тем, что в Соединенных Штатах приближалась новая кампания по выборам президента и в затылок Джими Картеру уже дышал Рональд Рейган, возглавляя старых и новых консерваторов, жаждавших обуздать Советы, если нужно, ценой невиданной, изматывающей гонки вооружений.

Это позже, на XIX партконференции в июне 1988 года, прозвучали слова, что со многими государствами отношения у Советского Союза улучшились и ни с одним не ухудшились. В 1979 году дело обстояло наоборот. Внешнеполитические результаты шедшего к концу (но кто знал это?) брежневского правления выглядели совсем по-иному. Обострившиеся отношения с Вашингтоном и Западной Европой дополнялись почти двадцатилетней глухой враждой с Пекином, который по вполне понятным причинам укреплении связи с США. Возраставшая подозрительность легко рисовала в воображении совместные американо-китайские козни в Афганистане, ставившие целью помешать усилению советского влияния. Словом, действовала опасная логика обострившегося непонимания, раздражения, противостояния, и когда советские войска вошли в Афганистан,

все наши оппоненты — США, КНР, Западная Европа, Япония, а заодно и «третий мир» — получили чрезвычайно убедительный пример советского экспансионизма, свидетельство правильности своих оценок политики Москвы.

В попытке объяснить причины афганской акции стоит выделить занявший непомерное место в нашей политике военный элемент. Как уже говорилось, на фоне отстающей экономики военная сила была самым веским, если не единственным, подкреплением статуса сверхдержавы, и этим, вольно или невольно, дорожило тогдашнее руководство, и это еще больше укрепляло влияние отечественных ястребов, нашего военно-промышленного комплекса. Сила играла, если не сказать — бесилась, требовала приращения, прокатывания, опробования. Когда-то мудрый сенатор Уильям Фулбрайт, возглавлявший комиссию по иностранным делам сената США, издал книгу, в которой, разбирая природу американского вооруженного вмешательства во Вьетнаме, дал определение — высокомерие, самонадеянность силы. Нравятся нам или нет такие «имперские» сравнения, но самонадеянность силы, к тому же не сдерживаемой уздой демократического, парламентского контроля, существовала и у нас. И так же, как Соединенным Штатам, нам надо было где-то испытать «пределы силы», силового фактора в политике. На этом пути — объективно — надо было где-то дойти «до упора». Так и случился Афганистан, став своеобразной кульминацией негативных тенденций в советской внешней политике брежневского времени. (Я не касаюсь тенденций позитивных, выражавшихся в нашей американской и европейской политике, которая решающим образом определила период разрядки в первой половине 70-х годов. Это факты хорошо известные и широко освещавшиеся, но однобоко преподносившиеся, как вся картина.)

Кстати сказать, в частных разговорах с некоторыми из наших политологов можно услышать, что Афганистан уберег нас от худшего — от послышки войск в Польшу, где в то время развивалось противоборство руководства ПОРП с профобъединением «Солидарность», состояние дел было кризисным и где правительство Ярузельского вело военное положение. Не буду разбирать эту гипотезу. Но со своей стороны хочу предложить гипотетическое рассуждение иного типа. Как ни кощунственно это звучит в свете понесенных нами потерь, а также в свете жертв и разрушений, причиненных Афганистану, объективно, в бесстрастном историческом смысле наша афганская «экспедиция» способствовала усилению здравомыслящих элементов в советском руководстве и прозрению или по меньшей мере ослаблению позиций тех догматиков и ортодоксов в политических и идеологических кругах, которые полагали, что и Афганистан может пойти по пути «социалистической ориентации». Насчет того, что не зазорно подтолкнуть афганского дехкана — при помощи нашего солдата — из феодализма в социализм, публично высказывались на первых порах и некоторые вполне прогрессивные наши обозреватели, исповедуя принцип все средства хороши для достижения цели, принцип, который на протяжении семидесяти лет не раз вел нас через тернии — и, как оказалось, отнюдь не к звездам.

Вот и представьте при таких умонастроениях: если бы «ограниченный контингент» не был послан в вооруженная оппозиция взяла верх над режимом НДПА, отечественные твердолобые, пожалуй, стали бы говорить, что напрасно проявили мягкотелость, дали слабину и упустили шанс. Теперь мучительным опытным путем обретена необходимая степень ясности, доказано: шанса на «социализм» в Афганистане не было... И к новому политическому мышлению новое наше руководство, думается, шло не в последнюю очередь трудными дорогами Афганистана. Они помогли укрепить один из главных его постулатов — о свободе выбора для стран и народов.

Чтобы извлекать уроки из прошлого, надо, не стесняясь, называть вещи своими именами. В случае с Афганистаном командно-административная система еще раз доказала, что в вопросах исторически важных она по-прежнему действует, не считаясь с мнениями и настроениями народа. Объяснение предпринятой акции было, по существу, такое же, как при решении направить ядерные ракеты на Кубу, — «интернациональный долг». Перед кем долг? Перед НДПА, составляющей незначительную часть афганского населения и разрываемой фракционной борьбой, или перед большинством афганцев, которые о таком долге знать не знали и ведать не ведали? Чей долг? Нашего народа? Тогда почему, перед тем как заставить его платить этот долг, с ним даже не потрудились посоветоваться? Увы, до перестройки и эти вопросы были чисто риторическими, только для семейного или дружеского круга.

Общее народное чувство, вернее народное чутье, с самого начала было верным и заключалось в неприятии нашей афганской акции. Простые люди, исходя из здравого

смысла, не поддаваясь политико-теоретическим дефинициям, смотрят в таких случаях в корень, и объясняется эта зоркость прежде всего стихийным пониманием естественных приоритетов государства и народным чувством самосохранения, нежеланием проливать свою кровь и разбазаривать ресурсы за рубежом, когда жизнь дома из рук вон плохо организована. Какие бы долги, включая интернациональный, ни брало на себя руководство, расплачивается за них народ.

К сожалению, в силу тех же порядков, в которых господствуют не демократические, а бюрократические структуры, обеспечивающие угодное власти внешнее единомыслие, народное чувство не превратилось в оформленное общественное мнение, в общественное давление, наконец, в антивоенный протест, как у американцев в годы вьетнамской войны. Это народное чувство не могло развиваться, потому что в эпоху безгласности люди политически отчуждены друг от друга, а война как бы невидима. Оно заявляло о себе едва ли не шепотом, одиноким горем людей, которые, хороня своих сыновей, доставленных в цинковых гробах из чужой страны, поначалу не имели права написать на могиле, где нашла их смерть в восемнадцатилетнем возрасте. Засекречивались даже мертвые.

Если бы наша печать была независимой и благодаря этому могла отражать народные настроения, это способствовало бы более рациональным и своевременным решениям руководства, а наши афганцы были бы дома задолго до 15 февраля текущего года.

Народная реакция на Афганистан в первые годы «учитывалась» старым способом — людей избавляли от ненужных волнений, практически ничего не сообщая о советских солдатах, воюющих там. Когда руководство сменилось, информации постепенно становилось больше, правда о положении дел в Афганистане начала проникать на телеэкран и страницы газет. Но процесс критического переосмысления наверху шел поначалу медленно, и свет в конце долгого темного тоннеля мы увидели далеко не сразу. Однако в конце концов Афганистан стал пробным камнем для репутации нового руководства — и внутри страны и вовне. Без вывода войск, без закрытия этой кровотокающей раны невозможно была бы истинная вера в перестройку, в демократизацию и обновление жизни. Внешнему, окружающему миру без решения афганской проблемы путем вывода советских войск невозможно было доказать, что новое политическое мышление — это практическая, качественно новая политика, а не очередная декларация. От этого в большой степени зависело доверие к нам и нашим намерениям со стороны США, Западной Европы, Китая, «третьего мира».

У истоков нового политического мышления находится знаменитый манифест Бертрама Рассела и Альберта Эйнштейна с его центральной исторической мыслью о том, что в ядерный век все мы прежде всего люди, призванные ради спасения рода человеческого забыть о всех своих разногласиях. Советское государство и Коммунистическая партия тридцать лет шли к практическому осознанию этой мысли и к тому, чтобы положить ее в основание своей внешней политики — к принятию верховенства общечеловеческого начала. При этом очень медленно изживалась как несостоявшаяся — и потому несостоятельная — другая мысль, лежавшая в основе догматического, мессианского взгляда на мир со времени Октябрьской революции: о неизбежном скором падении капитализма и столь же неизбежной скорой победе социализма нашего типа в мировом масштабе. Результатом этого изживания и стал не разъединяющий, а объединяющий акцент на верховенстве общечеловеческого начала. И как его логическое уточнение и пояснение еще одна мысль — о взаимозависимости сложного и противоречивого, но все-таки цельного и единого (своей судьбой) мира.

Итак, в начале нового политического мышления было слово, но в качестве доказательства его истинности требовалось дело. За первые три года (со времени XXVII съезда КПСС, а еще точнее — со времени первой женеvской встречи М. С. Горбачева и Р. Рейгана в ноябре 1985 года) новое слово было переведено в новое Дело двумя главными акциями — подписанием с США вашингтонского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (декабрь 1987 года) и женеvскими соглашениями по Афганистану (апрель 1988 года).

В женеvских соглашениях основными участниками были Кабул и Исламабад, а Москва и Вашингтон выступили в качестве гарантов, но их существо, ядро — с нашей точки зрения и, еще очевиднее, с точки зрения остального мира — состояло в том, что они устанавливали международно-правовые рамки для вывода советских войск. Великая ядерная держава получала скрепленную межгосударственными документами возможность упорядоченного выхода из тупиковой ситуации. Как можно было предполагать

с самого начала, Пакистан при скрытой и явной поддержке США не выполнил своих обязательств по соглашениям, оставаясь плацдармом вооруженной оппозиции режиму Наджибуллы и перевалочной базой для поставок моджахедам американского оружия. Формально это давало Советскому Союзу возможность отказаться от своей доли женевского пакета и продлить пребывание войск в Афганистане или отсрочить их вывод против согласованного графика. Намеки на такую отсрочку делались Москвой в конце 1988 года, накануне второго — и последнего — этапа вывода. Серьезные международные наблюдатели исходили, однако, из того, что советское руководство не может пойти на нарушение, пусть оправданное, женевских соглашений как по внутривнутриполитическим, так и по внешнеполитическим соображениям: советский народ ждал и жаждал обещанного прекращения непопулярной войны, а что касается международного резонанса, реакции Вашингтона, Пекина, других столиц, то Москва не могла рисковать процессом обретения доверия к своей новой внешней политике.

Войска были выведены точно в срок, чему самыми первыми свидетелями стали матери, отцы, близкие солдат, слетевшиеся отовсюду в Термез, чтобы сразу же, без промедления, в первые же минуты убедиться: живы-здоровы и навсегда осталась позади угроза их гибели на чужой земле. Войска были выведены не так, как введены, не тайно, а демонстративно открыто, телевизионно-театрально, с их командующим генералом Громовым, который на последнем бронетранспортере покинул афганский берег Амударьи и перед телекамерами обнимал своего тоже прилетевшего в Термез сына-подростка.

Войска из Афганистана выведены, ядерные ракеты средней и меньшей дальности уничтожаются — тоже по графику и даже с некоторым опережением как у нас, так и на территории США и их западноевропейских союзников, под наблюдением на месте американских и советских инспекторов. Американские инспекторы — на советском военном заводе в Воткинске, где когда-то родился П. И. Чайковский и где сейчас уже не производятся ракеты СС-20, которые перед уходом в небытие впервые обрели свое советское, а не чужеземное наименование — РСД-10. Американские инспекторы, международная пресса и сторонники мира из разных стран присутствовали на полигоне возле казахстанского поселка Сарыозек, где в первый августовский день 1988 года подорвали первую связку ракет меньшей дальности ОТР-22. Такова едва ли не фантастическая реальность перестройки, отменившей прежнюю нашу излюбленную и недвижимую, как Земля по системе Птолемея, «теорию»: ты не суй свое свиное рыло в наш советский огород.

Поразительно, как быстро и охотно принял эту необходимую открытость народ, хотя и не весь, есть и исключения, главным образом среди представителей старшего поколения. Значит, и эта перемена давно назрела, значит, и тут готов народ к прощению с иррациональным культом военной тайны, унаследованным и свято сберегаемым со времен сталинского культа. От этого наследства давно надо было отказаться, спокойно разобравшись в его корнях и характере. Разумеется, в каждом государстве есть понятие государственных секретов и военных тайн, как и суровые меры наказания за государственную измену. В правовых государствах все это строго регулируется законом. Но у нас понятие государственных и военных секретов вышло далеко за рамки общепризнанной необходимости и стало в 30-е годы самым распространенным, самым непрекаемым обоснованием массовых репрессий, расстрелов, беззакония особых совещаний. Сколько раз выстраивалась тогда в составленных с помощью пыток сценариях следователей НКВД эта «логическая» цепочка, эта кандаальная цепь, эта столбовая дорога, которой прошли к высшей мере наказания сотни тысяч, если не миллионы людей: враг народа — агент иностранной разведки — шпион, вынюхивающий военные секреты. Именно туда уходят корни нашей одержимости «секретами» — в сталинскую маниакальную подозрительность и жестокость, в сталинскую систему террора и страха, внушаемого всему народу. Но они так глубоки, эти корни, так «естественны», у них так много нынешних пропагандистов по долгу службы и добровольных, что и в голову не приходит спросить, откуда они, понять, что в этой одержимости секретностью, в этой излюбленной игре в шпионов, разведчиков и в «границу на замке» мы, нынешние, все еще остаемся детьми Великого Отца и Учителя. Вот уже реабилитированы и «враги народа», числившиеся заодно и агентами всевозможных иностранных разведок. Теперь они уже не агенты — начиная с Троцкого, Бухарина, Тухачевского, а также сонмы остальных. По иронии судьбы последним лжеагентом оказался Берия — ведь и его, чтобы приговорить к расстрелу, объявили агентом то ли Тито, то ли «мирового империализма». Конечно, ЦРУ не дремлет и бдительность нужна. Но не пора ли и в этом отношении установить

истинную картину тех же 30-х годов: сколько их было, настоящих агентов, и были ли они вообще? Не пора ли дать истинные пропорции действительно существовавшего и выдуманного с преступными целями, чтобы и эту часть нашего самосознания освободить от наслоений сталинских лет.

К двум наиболее важным предметным акциям нового мышления — уничтожению ракет средней и меньшей дальности и выводу войск из Афганистана — добавляются объявленные М. С. Горбачевым в декабре 1983 года с трибуны ООН односторонние меры по сокращению советских вооруженных сил в 1989—1990 годах. Как известно, общая их численность уменьшается на 500 тысяч человек, или на 12 процентов.

На венских переговорах о сбалансированных сокращениях вооруженных сил в Европе мы пятнадцать лет препирались с натовцами, требовавшими больших сокращений с советской стороны, и не двинулись дальше предложения, так и не принятого другой стороной, — вывести 20 тысяч своих солдат «в обмен» на 13 тысяч американцев. А теперь советские воинские контингенты в Восточной Европе в одностороннем порядке уменьшаются на 50 тысяч человек. 6 танковых дивизий (то есть около двух тысяч танков) выводятся из ГДР, Венгрии, Чехословакии и расформируются. Всего в европейской части СССР число танков сокращается на 10 тысяч, артиллерийских систем — на 8,5 тысячи, боевых самолетов — на 820. Из 10 тысяч танков 5 тысяч должны быть физически уничтожены, остальные превращены в тягачи для гражданских нужд и тренажеры; увы, их мирное применение маловероятно. Выводится 75 процентов советских войск, дислоцированных в Монголии, что с одобрением встречено Пекином. На Дальнем Востоке численность войск, опять же в одностороннем порядке, уменьшается на 120 тысяч человек.

Три главных дела, осуществляемых в порядке практической реализации принципов нового политического мышления, свидетельствуют: успехи советской внешней политики перестроечных лет прежде всего связаны с крупными шагами по пути демилитаризации. Мы двинулись по этому пути решительнее, чем наши партнеры на Западе, не только потому, что нас сильнее вынуждают к этому внутренние императивы перестройки, но еще и потому, сдается мне, что мы дальше своих оппонентов-партнеров зашли по противоположному пути — пути милитаризации. Предвижу, что такая резкая формулировка покажет ряду читателей по меньшей мере непривычной, неверной, непатриотичной. Нам все еще предпочтительнее уклончивые термины при определении чудовищных ненормальностей в нашей жизни, но если и в данном вопросе отказаться от «щадающего режима», то придется признать, что почти два брежневских десятилетия наша жизнь все сильнее военизировалась, пронизывалась милитаризмом. Для математически убедительных доказательств нужны, конечно, обобщенные точные цифры и сведения, а между тем об острой нехватке их — отнюдь не случайно! — позаботилась наша практика запретительства, которая при Брежневе чрезвычайно раздвинула и без того сказочные пределы цензурных ведомств — как общегосударственного, так и специфического военного. Когда-то Мандельштам писал о наступившем царстве отчуждения: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны...» Однако как бы ни скрывали от нас нашу жизнь, будто засекреченную технику под чехлами, мы живем на этой земле этой жизнью и даже под чехлами угадываем ее очертания и без статистики чуем кривую десятилетий, а международники среди нас могут, кроме того, сравнивать наше с тем, что «у них».

Милитаризм вкратце — это такое состояние дел в государстве, когда и в мирное время именно военным сторонам жизни и сознания, как бы они ни назывались, отдается предпочтение перед остальными, перед главным — уровнем и качеством жизни народа, разумным распределением его трудовых, духовных, интеллектуальных ресурсов, от чего зависит и нынешний день и перспектива на завтра. Командно-административная система при Брежневе, выхолощивая и подавляя подлинные проявления общественной жизни, стояла на трех все укреплявшихся опорах — партийно-государственная бюрократия, органы государственной безопасности и военный комплекс. Пирамиду символически венчал высший политический руководитель, обладавший высшим военным званием — Маршала Советского Союза. Кончив войну скромным генерал-майором-политработником с одним рядом орденских планок на груди, Л. И. Брежнев в мирное время «вырос» в крупнейшего военачальника, четырежды Героя Советского Союза, перешедшего всех по числу орденов и медалей (вспомните анекдот о том, как его положили

на хирургическую операцию, чтобы расширить грудь, на которой не оставалось места для новых и новых наград). И это посмешище в глазах собственного народа и всего мира отражало не только индивидуальное, абсолютно антиленинское тщеславие наградолюбца, не только успехи государственных подхалимов, делавших карьеру на «растлении многолетнего», но и — в более широком плане — образ мышления и действия тех, кто все еще воевал прошлую войну, не считаясь ни с чем, включая изменившуюся международную обстановку.

Другой пример. Разве не через призму военизации жизни и своей непомерной власти глядели на страну и народ те, кто распорядился брать студентов в солдаты, тем самым забывая гвозди электрическим микроскопом, как выразился в письме один читатель «Известий»? И это в мирное время, на пятом десятке лет после войны! Кто при этом потрудился измерить всерьез государственной меркой прибыль и убытки? Решающую роль сыграл чисто демографический фактор «недобора» и соображения чисто ведомственной «прибыли», а также уверенность, что перед их натиском и перед их ложно понятыми патриотическими резонами не устоят жалкие защитники студентов. Фельдфебеля в Вольтеры дам! — примерно таким, помнится, был ответ одного из видных генералов на страницах «Литературной газеты», когда из научной среды раздался голос сомнения в мудрости этой меры. Прошло несколько лет, прежде чем исправили очевидную глупость.

Между тем, как сообщил делегатам XIX партконференции председатель Госкомитета по народному образованию, по числу студентов на душу населения мы сползли за последние десять лет с девятого на двадцать третье место в мире. Думаю, однако, что по числу студентов, призываемых на военную службу, наверняка удерживали первое.

И еще один пример, более общий. В конце января этого года произошло примечательное событие: Комитет министров обороны государств — участников Варшавского Договора опубликовал конкретные данные — «О соотношении численности вооруженных сил и вооружений Организации Варшавского Договора и Северо-Атлантического союза в Европе и прилегающих акваториях». Советская общественность тем самым впервые получила возможность узнать, сколько войск и вооружений — без разбивки по районам — мы держим в европейской части нашей страны, а также в наших Группашах войск на территориях других социалистических стран.

Что обнаруживается из этих данных? У ОВД танков почти вдвое больше, чем у НАТО (59 470 на 30 690), хотя официальные натовцы утверждают, что ОВД все-таки снизила свое превосходство и что число «основных» танков в вооруженных силах стран НАТО не превышает 22 тысяч. У НАТО в составе фронтовой авиации в 1,5 раза больше ударных самолетов (4075), а у ОВД в 36 раз (1829) больше самолетов-перехватчиков войск ПВО, не способных действовать по наземным целям. У них в 1,6 раза (18 070) больше противотанковых ракетных комплексов, а у нас в 1,5 раза (70 330) больше боевых машин пехоты и бронетранспортеров, в 11,8 раза больше пусковых установок тактических ракет, а у НАТО в 11,9 раза больше кораблей с крылатыми ракетами и в 5 раз больше (499) крупных надводных кораблей, хотя по подводным лодкам в прилегающих к Европе акваториях мы их слегка опережаем. Численность вооруженных сил ОВД и НАТО в Европе и упомянутых акваториях примерно одинакова (3 573 тысячи на 3 660 тысяч). Подытоживая, министры обороны делают вывод: примерный паритет.

Но общество не может удовлетвориться этой чисто профессиональной оценкой. После ознакомления с данными о военном противостоянии в Европе приходят в голову соображения о другом паритете — не военно-стратегическом, а обыкновенно человеческом, не на уровне блоков, а на уровне «отдельно взятой» жизни. О паритете, которого нет. Речь идет о распределении бремени гонки вооружений. И вот простейшие расчеты. Население США и других стран НАТО составляет около 650 миллионов человек, СССР и других стран ОВД — примерно 400 миллионов. Совокупный валовой национальный продукт стран НАТО примерно в 4 раза превышает ВНП стран ОВД. При такой раскладке, даже сделав всевозможные скидки на относительную дешевизну нашего танка, самолета, реактивной системы залпового огня или содержания одного солдата, не уйти от неизбежного заключения: поддержание военно-стратегического паритета давит на наши плечи гораздо тяжелее, чем на плечи американские, на плечи других более благополучных жителей Запада. Причем сильнее всего гонка вооружений давит именно на наши, а не на польские, венгерские или, к примеру, восточногерманские плечи. Соединенные Штаты несут значительную меньшую долю расходов в совокупных военных усилиях НАТО в Европе, чем Советский Союз в соответствующих усилиях ОВД. Мы обес-

печиваем более двух третей общей численности вооруженных сил ОВД; США в НАТО — всего одну шестую часть, включая военно-морские силы. Мы своему блоку даем почти две трети боевых самолетов, они — седьмую часть, мы — более двух третей танков, они — менее трети, мы — почти 80 процентов боевых вертолетов, американцы — две пятых, мы — 220 из 228 подводных лодок, они — 57 из 200, мы — 101 крупный надводный корабль из 102, имеющихся у ОВД, американцы — 173 из 499, которыми располагает НАТО. И т. д.

Да, конечно, нужно сделать одно весьма существенное пояснение. Советский Союз — европейская (и азиатская) держава, содержащая все вооруженные силы в пределах своих границ и прилегающих странах и акваториях, а США — пришелец в Европе, у которого на старом континенте расположены пусть очень мощные, но все-таки аванпосты, а не главные силы. Верно. Но верно и другое: по народонаселению и экономическому потенциалу, по месту в мире и научно-технической развитости ГДР — это не ФРГ, Польша — не Франция, Чехословакия — не Великобритания, Венгрия — не Италия и Болгария — не Канада. Все это факты истории и жизни, в которых, надеюсь, не усмотрят ничего обидного наши союзники. И все они свидетельствуют (более того — вопиют), как тяжела и невыносима взятая нами на себя ноша паритета — быть по военной силе равными Соединенным Штатам плюс Западной Европе (плюс Японии и другим на Востоке).

Имеет ли это отношение к теме милитаризации? Вне сомнения. Как и к теме демилитаризации, одной из главных задач перестройки на том стыке, на том направлении, где она одновременно ведет и должна выигрывать две битвы — внутреннюю и международную. Так же как милитаризация нашей жизни была следствием ее бюрократизации, господства командно-административной системы, определяющей национальные приоритеты без совета с народом, так демилитаризация может успешно осуществляться лишь через демократизацию. Демократизация и демилитаризация не могут не идти нога в ногу. Так или иначе вовлекая народ в процесс управления страной, демократизация означает более разумную оценку приоритетов и неизбежное уменьшение военных элементов в нашей жизни, сокращение военных расходов и конверсию военной индустрии, которая должна теперь как бы выплачивать свой огромный долг обществу, уже не обирая мирные отрасли промышленности, а укрепляя, развивая их.

Демократизация, а вместе с тем и демилитаризация, будет весьма ущербной без открытости в военной области, без резкого повышения уровня осведомленности народа.

Например, на каком месте находимся мы в мире по числу военнослужащих на действительной службе? За неимением отечественных воспользуемся американскими официальными данными за 1986 год. На одну тысячу жителей в Советском Союзе приходится 16,1 военнослужащего, в США — 9,6, во Франции — 10,2, в Италии — 9,3, ФРГ — 8,1, Великобритании — 5,9, Китае — 3,9, Японии — 2 человека. Кто опережает нас по этому показателю? Ирак (49,9), Израиль (47,8), Сирия (38,8), КНДР (38,5), Куба (29,5), Никарагуа (23,4) и ряд других сравнительно небольших стран, воюющих или чувствующих повышенную военную опасность на своих границах.

Я взял цифры из последнего, 1989 года, издания американского справочника «Уорлд олменэк энд бук оф фэктс», который издается уже сто двадцать один год, рекламируя себя как национальный бестселлер номер один, разошелся за время своего существования тиражом в 52 миллиона экземпляров и может быть без труда куплен в каждом мало-мальски уважающем себя книжном магазине США, в газетно-журнальных киосках крупных отелей, аэропортов, железнодорожных вокзалов и т. д. и т. п. (включая те отели за границей, где останавливаются американцы или другие англоязычные путешественники). В этом дешевом и вполне компактном справочнике содержится, как сообщается на обложке, «более одного миллиона современных фактов». Справочник носит отнюдь не специально военный характер. Тем любопытнее — в порядке примера привычной для американцев открытости в военной области — кратко перечислить по позициям сведения из раздела «Национальная оборона», занимающего всего 10 из 928 страниц убогистого текста.

Этот раздел начинается с поименного перечисления, с указанием года занятия, должности всех членов штабов родов войск и всех главнокомандующих объединенных командований вооруженных сил США в разных частях света. Главное военное лицо страны (председатель объединенной группы начальников штабов) находится в подчинении штатского лица — министра обороны, который в этом разделе справочника не упоминается. Затем идет (с точными адресами и почтовыми индексами) перечисление всех глав-

ных военных училищ и учебно-тренировочных центров армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил, включая расположенные за границей,— общим числом 65. Точная численность родов войск по годам с 1940-го по 1988-й, с разбивкой на офицерский, младший командный состав и рядовых, а также на мужчин и женщин. (В сухопутных войсках на 30 марта 1988 года — 764 247 человек. Военно-морской флот на январь 1988 года — 582 246 человек. Морская пехота на 1987 год — 199 525 человек. Военно-воздушные силы на 1988 год — 575 603 человека.)

Отдельно перечислены генералы армии США — так называемые пятизвездные генералы, которых можно приравнять к нашим Маршалам Советского Союза. За последние сто двадцать лет таких генералов в американской истории было всего 8. Последним, еще в 1944 году, во время второй мировой войны, получил это звание Дуайт Эйзенхауэр, и с тех пор, в мирное время, оно никому не присваивалось. (В годы пребывания Эйзенхауэра на посту президента США звание было у него временно отнято — высшему должностному лицу страны не положено быть военным человеком, хотя по конституции он является главнокомандующим; звание было возвращено в марте 1961 года, после того как Эйзенхауэр покинул Белый дом.)

Кратко упомяну другую информацию из общедоступного справочника. Месячное жалованье военнослужащих всех рангов, начиная с четырехзвездного генерала или адмирала (от 5485,8 доллара в месяц до 7558,5 доллара с учетом выслуги лет) и кончая рядовым (620,7 доллара). Американские граждане имеют право знать жалованье всех лиц на государственной службе, начиная от президента, министров и сенаторов, поскольку их содержание оплачивается из кармана налогоплательщика. Численность вооруженных сил США на 31 марта 1987 года с разбивкой по местам дислокации: на территории континентальных США, на примыкающих территориях типа Аляски, Гавайев, Пуэрто-Рико, Гуама, в Западной и Южной Европе (с разбивкой по странам), в Южной Азии и на Тихом океане, включая Японию и Южную Корею, в Африке, на Среднем Востоке — с точностью до одного человека. «Всего на суше — 1 922 936. Плавсостав — 244 787». Отдельно приводятся данные о стратегических ядерных силах США и СССР, сведения о ядерных испытаниях США, СССР, Франции, Великобритании и Китая, о мировой торговле оружием (по оценкам 1985 года, СССР занимал первое место — 15,3 миллиарда долларов, США второе — 12,3 миллиарда). Раздел «Национальная оборона» в справочнике завершается цифрами общей численности национальных вооруженных сил (оценки 1986 года): Советский Союз — 4,5 миллиона человек², Китай — 4,1 миллиона, США — 2,289 миллиона, Индия — 1,515 миллиона, Вьетнам — миллион.

По принципу «семь бед — один ответ» без передышки подвергну читателя еще одной бомбардировке цифрами — цифрами о военном бюджете США текущего финансового года, начавшегося с 1 октября 1988 года. Они взяты не из справочника, который я использовал. Но также общедоступны, поскольку каждый год открыто продается отпечатанный в правительственной типографии толстый том бюджета США, одобренного конгрессом и подписанного президентом, и поскольку все эти сведения входят в официальные статистические сборники, а также в разные открытые документы исполнительной и законодательной власти. Наряду с американскими гражданами эти сведения без труда могут получить и граждане других стран, иностранные дипломаты, журналисты.

Итак... Непосредственные расходы на деятельность Пентагона и на «обеспечение основной разведывательной активности» определены в размере 282,4 миллиарда долларов. Вместе с расходами на военные нужды, проходящими по статьям на военное строительство и строительство жилья для военнослужащих (9 миллиардов долларов), а также выделенными министерству энергетики на производство ядерных боеголовок (8,1 миллиарда долларов) и на гражданскую оборону (около 400 миллионов долларов), они составят 299,9 миллиарда долларов.

На содержание личного состава вооруженных сил США в бюджете выделяется 78,49, на материально-техническое снабжение — 85,29, закупки вооружения — 79,32, осуществление различных программ развития вооружений — 31,33, на развитие видов вооруженных сил, проведение испытаний и исследований — 37,66 миллиарда долларов. В частности, на закупку 66 баллистических ракет «Трайидент-2» планируется

² Эта оценка 1986 года оказалась близка к официальным данным на 1 января текущего года (4,258 миллиона), впервые оглашенным М. С. Горбачевым 7 апреля этого года в речи в лондонском Гилдхолле.

израсходовать 1,9 миллиарда долларов, одной оснащенной ракетной системой «Трай-Дент» подводной лодки — 1,3 миллиарда долларов, на осуществление программы развития и модернизации боевого танка «М-1 Абрамс» — 1,4 миллиарда долларов.

Приобретение 84 истребителей «FA-18 Хорнет» обойдется в 2,5 миллиарда долларов, 3 эсминцев типа «DDG-51» — 2,1 миллиарда долларов, одной ударной подводной лодки типа «SSN-21» — 1,5 миллиарда долларов, двух ударных подводных лодок типа «SSN-688» — 1,4 миллиарда долларов, 550 боевых машин пехоты «Брэдли» — 674 миллиона долларов. На разработку ударных вертолетов «АН-64 Апач» выделено 863 миллиона долларов, на программы создания новейших боевых самолетов, в том числе с использованием технологии «Стелс» бомбардировщика «B-2» и новейшего истребителя — 3,1 миллиарда долларов, на закупку 180 истребителей «F-16 Фолкон» — 3,1 миллиарда долларов, 4 транспортных самолетов «С-17» — миллиард долларов, 12 ракет MX — 807 миллионов долларов и т. д.

В бюджете подробно расписаны все расходы по видам вооруженных сил и единицам приобретаемого вооружения, на осуществление исследований, разработок, проведение испытаний новых видов оружия, на программы военного строительства (баз и других объектов) и строительства жилья для военнослужащих.

Теперь отдохнем от цифр и перейдем к некоторым элементарным рассуждениям. За каждой из этих цифр — борьба интересов. На разных этапах американской общественно-политической пирамиды, не поддающейся простому графическому изображению, в борьбе участвуют тысячи и в конечном счете миллионы людей: пентагоновские чиновники и генералы с их запросами, разработчики вооружений, руководители военно-промышленных корпораций и их толкачи-лоббисты в Вашингтоне, конгрессмены и сенаторы, избиратели, голосующие или не голосующие за них с учетом их отношения к военным расходам, рабочие военных предприятий, чей заработок обеспечивается гонкой вооружений, оппоненты американского милитаризма из прессы и научных кругов, правительственные администраторы, бьющиеся за свою долю бюджетного пирога, разведывательные службы, оценивающие военный потенциал Советского Союза, и т. д. и т. п. — многообразнейшая, многосложнейшая человеческая деятельность, укрытая от глаз публики во многих своих проявлениях государственного, корпоративного, лоббистского плана. Много жульничества, нечестных посягательств на кормушку, в которой 300 миллиардов долларов в год.

В борьбе интересов корысть всегда стояла на одном из первых мест, и совсем не выдуманы, а взяты из весьма типичной американской действительности сенсационно-громкие примеры влияния военно-промышленного комплекса и его лоббистов на Капиталистском холме, о которых мы, советские журналисты, не забывали информировать своих читателей. Однако мы сосредоточивались лишь на одной стороне картины, на исключениях, через которые, сколь многочисленными бы они ни были, пробивается конституционное правило, принцип контроля над военными расходами, святой и незыблемый. Гражданин США имеет право знать что к чему и что почему. Это историческая опора американской демократии и свободы. Еще в колониальные времена сопротивление британской короне шло под лозунгом *no taxation without representation* (не может быть налогообложения без представительства, без права голоса тех, кого облагают налогами, без права знать, куда и на что идут их деньги).

Помню, как меня, молодого человека из другого общества, наученного пренебрегать земными реалиями ради веры в высокий социалистический идеал, неприятно поразило такое откровенно меркантильное толкование принципов демократии, когда, попав в США в начале 60-х годов, я впервые услышал старый знаменитый лозунг американской революции. Помню и другое — как министр обороны Роберт Макнамара, бывший президент автомобильной корпорации Форда, не раз жестоко высмеивался и нами и американскими критиками войны за внедрение в американскую военную деятельность не просто меркантильного, но, казалось, уже и кощунственного уравниения «стоимость — эффективность», что означало необходимость добиваться наибольшей результативности от каждого вложенного доллара. И до сих пор я не могу принять этот подход в его нравственном (или скорее безнравственном) корне, потому что в годы Вьетнамской войны эффективность заключалась и в возможно более экономном истреблении чужих людей, чужой земли, хотя, надо сказать, правительство и конгресс США, объединенные вполне понятным умонастроением, никогда не экономили на защите жизни американских воюющих солдат.

Теперь я смотрю на вещи иначе, и тогдашнее возмущение американской меркан-

тельностью представляется мне наивным и глупым, потому что меня пугает ее антипод у нас: за ценой не постоим! Мы слишком хорошо познали, что такое неумение и нежелание считать. Пусть это меркантильно, но это и рационально, это и демократично, когда все имеет свою всенародно объявленную цену — межконтинентальная баллистическая ракета МХ, атомная подводная лодка типа «Огайо», новый танк «М-1 Абрамс» и все остальное. Практически все, за исключением новейших секретнейших видов вооружений (общий объем трат на которые тоже, впрочем, известен). И все это, вместе взятое, включая численность и содержание солдат и офицеров, имеет общую цену — размер военного бюджета. Даже такой сильный и популярный президент, как Рейган, должен был, несмотря на все свои аппетиты, урезать и сокращать этот бюджет под давлением главного американского казначея — конгресса, который, взвешивая национальные приоритеты, не хотел отпускать (и не отпускал) большего.

Что могли мы поставить в порядке сравнения рядом с приведенным кратким изложением военного бюджета США? Обратимся к официальному документу — докладу министра финансов СССР Б. И. Гостева «О государственном бюджете СССР на 1989 год и об исполнении государственного бюджета СССР за 1987 год», сделанному 27 октября 1988 года на сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва. В перечислении расходов там есть одна строка (всего одна!): обеспечение обороноспособности — 20,2 миллиарда рублей. Что составляет, хотите — верьте, хотите — нет, всего лишь 4,1 процента от расходов госбюджета, например, в 5 раз меньше, чем целевые бюджетные дотации на продовольствие и другие социальные нужды. Впрочем, не верьте, не верить было официально разрешено с августа 1987 года, когда перед мировым сообществом, с трибуны ООН советским официальным представителем было официально заявлено, что указываемая в госбюджете СССР сумма расходов на обеспечение обороноспособности — это лишь часть наших реальных военных затрат. Она отражает только расходы Министерства обороны СССР на содержание личного состава вооруженных сил, материально-техническое снабжение, военное строительство, пенсионное обеспечение, но не включает финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также закупок вооружений и военной техники.

У нас все еще не существует известной народу и учтенной при составлении бюджета цены межконтинентальной ракеты, стратегического бомбардировщика, подводной лодки, танка, любого вида вооружения, а для того чтобы утвердить госбюджет на сессии старого Верховного Совета, ушло ровно столько времени, сколько требуется, чтобы поднять руки в единодушном одобрении.

У нас сами названия видов оружия держатся в строжайшей тайне, а привычка пользоваться их американскими «кличками» так привилась даже на официальных переговорах с Западом, что ей перестали удивляться не только мы, но и наши собеседники.

Когда в августе 1988 года в Советском Союзе побывал с официальным визитом министр обороны США Фрэнк Карлуччи, ему показали многое, демонстрируя возросшую открытость. Показали среди прочего и наш новый стратегический бомбардировщик — на авиабазе в Кубинке, под Москвой. Карлуччи осмотрел его снаружи и изнутри, заглянул и в пилотскую кабину. В связи с его визитом я написал комментарий о раздвигающихся границах возможного и, сам уносимый новыми возможностями, запасшись сведениями у знакомого генерала из Генштаба, решил упомянуть название советского бомбардировщика, в чреве которого побывал американский министр обороны, — «ТУ-160». Но меня из этих стратосферных высот быстро вернули на землю представители сначала Главлита, а потом военной цензуры. Они хорошо понимали нелепость ситуации, но не могли послушаться высоких генералов из ВВС, которые все еще берегли давно уже не секретный секрет, и в своем комментарии мне пришлось написать, что Фрэнк Карлуччи осмотрел советский бомбардировщик с американским названием «Блэджек».

Чувства юмора нам не занимать, но если перейти к серьезному тону, то не занимать нам и бесконечного ущемления и собственного и национального достоинства, ибо только привычным дефицитом достоинства можно объяснить детскую игру взрослых дядей в иностранные прозвища и псевдонимы для нашей военной техники. Под псевдонимом выступала у нас ракета СС-20 вплоть до подписания договора о ликвидации ракет средней дальности, когда нам открыли наконец, что истинное ее имя РСД-10. Под всеводонимами «Бэкфайер» и «Блэджек» прячутся советские бомбардировщики.

Многие могли бы привести свои примеры того, как и когда при входе в царство военных тайн узрели надпись: «Оставь надежду — на здравый смысл — всяк, входя-

щий сюда». Иногда это примеры высокого официального абсурда. От одного из наших главных переговорщиков мне довелось однажды услышать, что, разрабатывая с американцами договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, советская делегация до самого последнего момента не имела советских данных о числе наших ракет и боезарядов и пользовалась... американскими оценками.

У журналиста примеры мельче, чем у дипломата, но не удержусь еще от одного. Занявшись темой обычных вооружений в Европе и желая придать своим газетным материалам необходимую степень предметности, я в качестве спецкора «Известий» с разрешения и с помощью Главного политуправления весной 1988 года побывал в некоторых соединениях Группы советских войск в Германии (ГСВГ). Принимали меня хорошо, показывали что можно, трудности возникли позднее, когда материал был написан и поставлен на газетную полосу. Главлит вежливо предложил обратиться в цензуру военную.

«Может ли повториться прошлое? — спрашивал я в начале своих заметок, рассматривая нынешнее военное противостояние в Европе.— Может ли прийти новый Гитлер? Нет, история не копирует самое себя. Зарядят ли на нашу территорию американцы? Нет, потому что придерживаются иных, чем территориальные захваты, концепций поддержания своего влияния в мире». Военный цензор вычеркнул было эти рассуждения, но его поползновения на политическую правку редакция отбила. По другим позициям, однако, мы потерпели поражение. Военная цензура убрала номер танковой дивизии, которую я посетил, хотя название ее оставили, сняла название новейшего танка «Т-30»³, которое частенько мелькает в западной печати, устранила его цену (один миллион рублей), которую сообщили мне военные на местах, хотя я пытался смягчить этот факт, указав более высокую и открыто публикуемую цену новейшего американского танка «М-1 Абрамс» (2,6 миллиона долларов). Трудно винить военного цензора — он действует в рамках инструкций. Но поставить на обсуждение вопрос о засекреченной стоимости танка просто необходимо. Спросим самих себя: от кого держат в тайне тот факт, что стоимость одного танка составляет по нынешним временам примерно один миллион рублей,— от чужих или от своих, от потенциального противника или от собственного гражданина? Противнику от этого ни холодно ни жарко, и, кроме того, зная цену своего танка, он может прикинуть и цену нашего. А свой гражданин начнет заниматься прикидками цены этого танка не столько к чужому, сколько к своему — к своему жилью и зарплате, детским садам и поликлиникам, пустым магазинам и очередям за дефицитом. Свой, да еще при гласности, закричит: что же творится, братцы? без ножа режут! Особенно когда прикинет, сколько же могут стоять те 10 тысяч танков, на которые — в одностороннем порядке! — мы сокращаем свой танковый парк. Ведь половина из них физически уничтожается. Из Групп наших войск в ГДР, ЧССР и ВНР выводится 5300 современных танков. Это миллиардами рублей пахнет, на ветер выброшенными. Ведь если в одностороннем порядке, выходит, что у нас этих танков был явный перебор. Выходит, нам средства девать некуда кроме как в могучие чудовища с лазерными пушками, турбинными двигателями, разгоняющими их до скорости девяносто километров в час, и с особой броней в металлических пакетах взрывчатки, которые взрываются навстречу вражескому снаряду, отгаливая его. Нет, никакой западный разведчик не задаст такого количества вопросов, как свой обескураженный и вошедший во вкус гласности гражданин. Похоже, о его спокойствии и душевной уравновешенности как раз и заботится военная цензура, вычеркивая стоимость нашего танка.

Конечно, можно ему, гражданину, сказать, как всегда говорилось: так надо! Можно нажать на его необыкновенную притерпелость, на патриотическую самоотверженность, которой в мире не найти,— «лишь бы не было войны». Но прикрикнуть, как прежде, уже не удастся. Гражданин все пристальнее вглядывается в эту прорву: куда ж это все проваливается? работаем, работаем, а жить не лучше. Тем более что в этой прорве кое-что высвечивается первыми и робкими еще лучами гласности, брошенными на заподозренное царство военных тайн.

Возьмем ту же историю с танками, страшным превосходством в которых мы запугали Западную Европу и дали большие козыри тамошним и американским милитаристам. И посмотрим на нее, вооружившись кое-какими уже опубликованными официальными нашими предложениями. Итак, по упоминавшимся ранее данным министерства обороны ОВД, на 1 июля 1988 года на европейском театре страны ОВД имела 59 470 и

³ С тех пор дело двинулось и в этом отношении, и названия самолета «Ту-160» и танка «Т-80» уже встречаются в советской периодической прессе.

страны НАТО — 30 690 танков (натовцы, не сомневаясь в оценке численности наших танков, для своих все-таки настаивают на цифре 22 тысячи). Число советских танков в Европе составляло 41 580, а доля США в НАТО, по нашим оценкам, — 6980 танков. Как минимум двойной перевес в танках ОВД над НАТО раньше нами не признавался, о чем свидетельствует, к примеру, официозная брошюра «Откуда исходит угроза миру» (М. Воениздат. 1984, стр. 78), где утверждается, что «по общему количеству танков (25 тысяч) страны НАТО не уступают странам Варшавского Договора».

По боевым машинам пехоты и бронетранспортерам ОВД тоже имеет значительное преимущество над НАТО (70 330 на 46 900), причем у одного Советского Союза их в Европе почти столько же, сколько у всего западного альянса (45 тысяч).

У НАТО существует превосходство по ударным боевым самолетам фронтовой авиации, боевым вертолетам, противотанковым ракетным комплексам, но разрыв много меньше против танкового и сокращать их в случае договоренности Восток—Запад тоже придется значительно меньше.

Между тем перспектива поистине исторической договоренности приблизилась после активного начала в марте этого года в Вене переговоров 23-х о сокращении обычных вооружений в Европе от Атлантики до Урала. С обеих сторон был продемонстрирован конструктивный подход, выразившийся в первоначальных предложениях-заявках. Позднее, в мае, выявилось сближение позиций, ободряющее всех, кто ждет радикального снижения военного противостояния в Европе, — речь идет о дополнительных советских предложениях, изложенных М. С. Горбачевым при первой встрече с госсекретарем США Джеймсом Бейкером, и об ответных предложениях президента Джорджа Буша, выдвинутых в Брюсселе на встрече НАТО в верхах.

Не вдаваясь в детали, напомним, что по танкам, а также боевым машинам пехоты и бронетранспортерам Советский Союз принял лимиты, предложенные НАТО в Вене, и изъявил готовность с 1996—1997 годам сократить численность танков в ОВД на 40 тысяч, а боевых машин пехоты и бронетранспортеров — примерно на 42 тысячи единиц. Наша собственная доля в этих сокращениях будет исчисляться десятками тысяч единиц.

Какие бы резоны раньше ни выдвигались, наше гигантское превосходство в танках невозможно объяснить рациональными рамками чисто оборонительной доктрины. И не случайно, учитывая главный лейтмотив в озабоченности НАТО, советское руководство столь заметно ослабляет танковый компонент своих вооруженных сил в Европе.

Хотел бы привести одно читательское свидетельство. После очередной из своих статей я получил письмо от майора в отставке Н. В. Исаева, который дважды, в 50-е и 70-е годы, служил в Группе советских войск в Германии. «По роду своей службы, — писал Исаев, — часто встречался с гражданами ФРГ и особенно с членами западных военных миссий связи при Главкоме в ГСВГ». И дальше: «В откровенных беседах, длившихся часами (я владею немецким языком в совершенстве), во все времена западники испытывали животный страх перед нашими танками и мощью Вооруженных Сил. На мои жалкие, неискренние потуги как-то это объяснить они всегда говорили, что страна, имеющая такие силы, не может говорить о мире, а может мечтать только о наступлении, то есть захвате чужих территорий. В 60-х годах уже было ясно, что американцы не помышляют ни о каких нападениях на СССР. Они не могут об этом и помышлять (если они задумаются о потерях в войне с СССР), не имея добротных союзников (грубо говоря, пушечного мяса). А их союзники ни тогда, ни сейчас не были готовы на горячие дела против СССР».

Считаю, что мой адресат без околичностей берет быка за рога. И наша нынешняя готовность на радикальные меры, в том числе односторонние, по уменьшению военного противостояния в Европе доказывает его правоту. Он ухватил ту суть, которой руководствуется теперь советская политика, исходящая из более точного знания меры и более реалистической оценки сил и намерений противостоящей нам стороны. Американцы и в самом деле не помышляют о нападении на СССР и не готовы на горячие дела, как и их союзники, учитывающие демократически выраженную волю своих вполне преуспевающих в мирное время народов. Конечно, никакого намерения нападать нет и у нас, и это, видимо, умом понимали западные собеседники нашего отставного майора (поэтому страх у них был животный, а не рациональный), но создается впечатление, что, сосредоточивая на всякий случай (!) вдвое-втрое превосходящую армию танков в Центральной Европе, наши генералы, не признавая изменившейся обстановки, готовились к повторению той войны, к которой в 1941 году при Сталине как следует не подготовились, и хотели бы осуществить ту воспетую в песнях довоенную стратегию, которую осуще-

ствить не удалось: «И на вражьей земле мы врага разобьем — малой кровью, могучим ударом»⁴.

Однако вернемся к вопросу, с которого началось рассуждение на танковую тему. Осмелевший от гласности гражданин заглянул в прорву, в которой вот-вот исчезнут — вместе с брошенными на ветер деньгами — десятки тысяч танков, подлежащих сокращению. И думает: сколько же средств ушло впустую, сколько детских садов и поликлиник, жилья и дорог не построено! А ведь танки — это даже не половина того, что пойдет под нож в процессе снижения военного противостояния в Европе. В одной лишь Европе. Прикидывая дебет-кредит, начинающий пользоваться своими правами гражданин может вспомнить, что по договору по РСМД американцы ликвидируют 859 ракет средней и меньшей дальности и 283 пусковых установки, а мы вдвое и втрое больше — 1752 ракеты и 845 пусковых установок. И не потому уничтожаем больше, чем они нас перехитрили, как, увы, думает еще изрядная часть соотечественников, обработанная нашей же собственной пропагандой, а потому, что мы переусердствовали и тут гнали вал, сумев перегнать Америку, как и всех остальных. Гнали вал по отравляющим веществам («химический вал», о котором открыто говорил Э. А. Шеварднадзе) и при этом до недавнего времени отрицали, что они у нас вообще имеются.

В способе ведения государственных дел есть внутреннее единство, пронизывающее все области управления, и когда это единство неэффективности, то с военной деятельностью происходит в принципе та же история, что и с сельским хозяйством, в которое в 70-е и 80-е годы вложили около 900 миллиардов рублей и получили ничтожную отдачу. Только история еще не разглашенная, не вынутая из «почтовых ящиков». И в этой истории, если за единицу растративания взять, предположим, затраты на БАМ, этих единиц наберется, думается, немало.

В номере от 8 августа 1988 года американский еженедельник «Тайм» сообщил: «Маршал Ахромеев во время недавней поездки в США поразил американцев тем, что признался: военным руководителям в СССР точно неизвестно, сколько расходует ежегодно советское руководство на разработку вооружений. Закупки вооружения, исследования и разработки финансируются за счет центрального правительства, а эти расходы не фигурируют в военном бюджете. Окончательный итог состоит в том, что в Советском Союзе практически не контролируются военные расходы, — утверждает Стивен Ларраби, вице-президент нью-йоркского Института по изучению проблем безопасности Восток—Запад, — Большие цифры из докладов для служебного пользования вполне могут потрясти Горбачева».

Маршал С. Ф. Ахромеев, в то время начальник Генштаба ВС СССР, прибывший с первым официальным визитом в Соединенные Штаты, своим признанием поразил американцев, подтвердив догадку более осведомленных из них, что Москва и в самом деле не знала реальные объемы своих военных расходов. При отсутствии истинных данных советские эксперты или уходили от ответа, или, хуже, пытались доказать своим зарубежным коллегам, что наши оглашаемые два десятка миллиардов военных рублей вполне могут обеспечивать паритет с 300 миллиардами военных долларов. А за граница занималась и подсчетами и догадками: какой же процент советского валового национального продукта съедает военный бюджет — то ли вдвое, то ли втрое больше американских 6,7 процента.

Теперь гласность берет и этот важный рубеж.

Лед тронулся — почти незаметно для широкой публики — в августе 1987 года в Нью-Йорке, где в рамках ООН проходила международная конференция по связи между разоружением и развитием. Главная идея конференции заключалась в том, что сокращение военных расходов будет хорошим подспорьем в решении болезненных проблем развивающихся стран. Она содержалась и в приветствии М. С. Горбачева в адрес конференции. И как бы дополнительно укрепляя принцип «разоружения ради развития», советский руководитель заявил в своем послании: «Мы за расширение гласности и открытости применительно к военной деятельности и к военным расходам, настойчиво предлагаем провести сопоставление военных доктрин НАТО и Варшавского Договора. Это позволит подойти к реалистическому сопоставлению военных бюджетов с целью положить конец их разбуханию, ограничить уровнем разумной достаточности».

Затем было сделано и прямое признание — в речи главы советской делегации, за-

⁴ Поучительную, насыщенную фактами статью о танковой асимметрии опубликовал В. Шлыков в журнале «Международная жизнь» (1988, № 11).

местителя министра иностранных дел СССР В. Ф. Петровского. Он-то первым из официальных лиц и сказал, что «предпринимавшиеся до сих пор попытки сопоставления военных бюджетов не дали положительного результата вследствие принципиальных различий в структуре цен на вооружения, а также в механизме ценообразования». Он признал, что публикуемый Советским Союзом оборонный бюджет отражает лишь расходы Министерства обороны СССР, но не включает финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также закупок вооружений и военной техники, которые проходят по другим статьям государственного бюджета СССР. Советский представитель заверил мировое сообщество: «По завершении намеченной у нас радикальной реформы ценообразования появится возможность для реалистического сопоставления общих военных расходов». Слова были дипломатичными, но отражали подлинно революционный перемену. Впервые, хотя и не называя точных сроков, мы обещали перейти на принятую в развитых странах, облегчающую международное понимание и доверие позицию.

После этого мотив открытости в военной области, усиливаясь, зазвучал в советских официальных выступлениях. Памятной была пресс-конференция М. С. Горбачева в декабре 1987 года по итогам визита в Вашингтон, где он заявил: «Надо выложить карты на стол, обменяться всеми данными, оценить их, выявить асимметрию в вооружениях и войсках и приступить к решению проблем...» Все чаще говорилось о сокращении военных расходов, о конверсии — переводе военной промышленности на выпуск продукции мирной. Не столько внешние, сколько внутренние угрозы возникли в стране на пути перестройки, и все явственнее стал контраст между впечатляющими международными успехами советского руководства и внутриэкономическими пробуксовками, раздражающими народ.

В январе этого года М. С. Горбачев назвал три многозначительных цифры: на 12 процентов сокращается численность Вооруженных Сил СССР, на 14,2 процента уменьшается военный бюджет, на 19,5 процента — производство вооружения и военной техники. Это произошло во время его встречи с делегацией «Трехсторонней комиссии», видные члены которой были приняты в Кремле: бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший премьер-министр Японии Ясучиро Накасонэ, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и американский банкир Дэвид Рокфеллер.

Таким образом, были уточнены параметры нашего движения по пути демилитаризации. Конечно, странно, что важные цифры мы узнали в изложении беседы с иностранцами, а не из выступления перед своей, отечественной аудиторией. Приходилось считать это еще одной издержкой все еще нового и необычного для нас демократического процесса, когда верхи не всегда задумываются, как выглядят их действия внизу. Обнадеживало, однако, что если процент сокращения так точно назван, значит, уже подсчитан наш реальный военный бюджет и вот-вот будет объявлен во всеуслышание.

Как вы знаете, это было сделано 30 мая этого года на Съезде народных депутатов СССР, в докладе Председателя Верховного Совета М. С. Горбачева. Он впервые огласил цифру, которую назвал реальной, — 77,3 миллиарда рублей военных расходов в текущем году. Тогда же впервые мы узнали, что в 1987—1988 годах военные расходы были заморожены. Это дало экономию в 10 миллиардов рублей по сравнению с тем, что предусматривалось пятилеткой и не было доложено народу или прежнему парламенту. Тогда же было внесено предложение, которое станет предметом обсуждения, и будем надеяться, серьезного, — о новом сокращении военных расходов на 10 миллиардов рублей — в 1990 — 1991 годах.

Через несколько дней, выступая на Съезде, Н. И. Рыжков — опять же впервые — дал разбивку военных расходов по категориям. Среди них главные: на закупку вооружений и техники — 32,6 миллиарда рублей, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — 15,3 миллиарда, на содержание армии и флота — 20,2 миллиарда. Перечисляя отдельно расходы на космос, глава правительства — впервые — сообщил, что на «военный космос» в этом году ассигновано 3,9 миллиарда рублей. С учетом этой добавки наши реальные военные расходы оказались в 4 раза выше ранее объявлявшихся.

Итак, открытость в военной области все время расширяется. Это чувствует на себе автор предлагаемых читателю заметок, внося новые сведения в июньскую верстку своего преимущественно февральско-мартовского текста, предназначенного для августовского номера журнала. Гласность наступает, мрак неизвестности и ненужной секретности рассеивается и отступает. Но, как видите, медленно, нехотя, ведя упорные

арьергардные бои. Оглашенные теперь новые данные весьма скупы, что дает повод многим западным обозревателям относиться к ним со скептицизмом. Не сообщается о принципах и методике подсчетов. Нет доказательной детализации, которая отвечала бы на вопрос «что — почему?» относительно разных видов вооружений. Даже чрезвычайно краткое изложение военного бюджета США, которое приводилось выше, отличается в этом отношении куда как большей наглядностью и предметностью. И дело, разумеется, не в том, чтобы кому-то подражать, потрафлять, поддакивать, дело не в отношении к критике заграницы, а в отчете перед своим народом. Это он должен знать, ему нужно доказать, как в вопросах военного строительства и поддержания обороноспособности утверждается принцип «стоимость — эффективность», эта неременная составная универсального принципа разумности и демократии.

Без качественно нового уровня гласности и правды в военной области нам нельзя рассчитывать на стабильное доверие к нашей политике в окружающем мире. Но главную ответственность власть несет перед собственным народом. Нельзя говорить о победе нового политического мышления, пока не опрокинут этот столп мышления старого — иррациональная одержимость секретностью. Нельзя говорить и о рациональном ведении дел в стране, рациональной мобилизации сил и ресурсов на перестройку. Если народ действительно хозяин своей земли, если мы хотим утвердить его как действительного хозяина, не подлежит сомнению его право через своих полномочных, должным образом избранных представителей проверять, как ведется хозяйство, куда идет заработанное им богатство, каковы истинные расходы по одной из самых крупных статей — по оборонной. Речь идет не просто о бережливости, но о праве народа демократическим путем определять государственные приоритеты через приоритеты народные, общественные.

Так же как весь затратный механизм был связан с антидемократической сталинской системой управления, так и надежда на создание противозатратного демократического управления государством связана с политической реформой нашего дня, с передачей власти Советам, с новой ролью нового советского парламента. Не для формы, а по существу высший законодательный орган страны должен быть наделен полномочиями контроля над учреждениями власти исполнительной. В портфелях и папках наших парламентариев должны наконец лежать подробные сведения о том, во сколько обходится нашей стране поддержание обороноспособности, а в составе Верховного Совета, конечно, должна быть группа специальных, глубоко осведомленных и не повязанных ведомственными интересами депутатов, входящих в комитет по вопросам обороны и государственной безопасности. Этому комитету можно было бы дать много советов. Но вот только один из них. В порядке позднего, но весьма важного и полезного извлечения уроков, в порядке ликвидации одного из белых пятен истории ему следовало бы поднять соответствующие архивы и еще шире распространить свет гласности на те потемки, в которых долгие годы действовали затратная экономика, затратная политика, затратная система.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ

★

МАРИЯ ИВАНОВНА БАБАНОВА: ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

Марию Ивановну Бабанову еще при жизни называли великой актрисой. Ее — не найду другого слова — неземной голос и сегодня звучит по радио, доставляя нам истинную радость. Но знаменитая Таня, Джульетта, Лариса прожила длинную и не очень счастливую жизнь. Умерла она в 1983 году, восьмидесяти трех лет. Мне посчастливилось: я был дружен с ней почти четверть века. И только последние три года мы не общались. Так сложились обстоятельства. Прошло столько лет с тех пор, как были написаны эти ныне печатающиеся письма: первое — в феврале 1956-го, последнее — в 1979-м! Многое забылось, но сценическая и человеческая судьба Бабановой проступает в ее письмах со всей отчетливостью. Вот почему я решился их опубликовать, сделав небольшие купюры.

Был декабрь 1955 года, в Баку стояли безоблачно-яркие солнечные дни. Иногда, правда, дул сильный, насквозь пронизывающий ветер, «бакинский норд», но потом снова становилось по-летнему тепло. Афиши сулили праздник, в помещении Театра оперы и балета были объявлены гастроли Московского театра Маяковского. «Гамлет», «Гроза», «Зыковы» — спектакли, ставшие событием театральной Москвы. Я приехал к родителям из Москвы после сдачи экзаменов и был счастлив, увидев на афишах имя Бабановой.

И сейчас помню, как пришел на вокзал встречать театр в тайной надежде увидеть Марию Ивановну, но оказалось, что она приезжает завтра. Наутро вновь явился к поезду. Бабанова вышла из вагона в сереньком пальто, без шляпы, отчужденно улыбнулась встречавшим и быстро пошла по перрону. Было ясно, что ей не хотелось ни с кем общаться. И я не осмелился подойти. Однако несколько часов спустя с огромным букетом цветов я влетал в «Интурист», старую, уютную гостиницу, расположенную на берегу моря в конце знаменитого бакинского бульвара, у портье я узнал, что Бабанова живет на третьем этаже в номере 312, и постучал в номер. «Вам кого?» — спросила меня открывшая дверь Нина Мамиконовна Тер-Осипян, актриса театра, как оказалось, близкий друг Марии Ивановны. Ответить я не успел, из глубины номера мне навстречу шла Бабанова...

Играла она в Баку Софью в «Зыковых» и Диану в «Собаке на сене». Свободного времени оставалось много, и она любила бродить по городу, в котором когда-то ей уже доводилось бывать. Теплая погода, волны Каспийского моря, набегаящие на Приморский бульвар, Зеленый и Будаговский базары, полные овощей и фруктов, старенькие кинозалы в клубах имени моряков и заготзерно, где шли «Тереза Ракен» и «Жюльетта». Я ничего не знал о театральных буднях, и, может быть, именно поэтому Марии Ивановне было легко со мной общаться. Хотя я чувствовал, что настроение у нее отчаянное. Театр уехал из Баку в конце декабря, а в январе умер мой отец. Я написал Бабановой о его смерти и 14 февраля 1956 года получил от Марии Ивановны первое письмо.

Дорогой Виталий, прежде всего примите самое искреннее и горячее сочувствие в постигшем Вас горе. Достаточно было увидеть хоть один раз Вашего отца, чтобы про-

Вульф Виталий Яковлевич — автор книг «От Бродвея немного в сторону», «А. И. Степанова — актриса Художественного театра», переводчик англо-американской драматургии.

никнуться к нему самой большой симпатией и уважением. Такое горе делает человека человеком, в этом единственное если не утешение, то некая «компенсация», другого слова найти сейчас не могу. Я уже прошла через это и знаю, что это такое. Теперь и Вы знаете. <...>

Я не писала Вам потому — скажу откровенно, — что пребывание в Баку оставило страшную травму актерского порядка. <...> Вы все сами хорошо понимали. Говорить об этом трудно и даже писать об этом не хотелось, потому что надо скорее это забыть и постараться как-нибудь начать исправлять испорченное. Поверьте, мне нелегко было быть в положении «бывшего» человека, и я отчетливо поняла это положение именно в Баку, в силу прежде всего незанятости и занятости в старье, которое уже не котуруется ни мной, ни другими.

По приезду в Москву некто, кто имеет в виду меня стереть с лица земли как актрису, сделал попытку отодвинуть выпуск спектакля «Вишневый сад» еще на год. После этого я обрела ту твердость, которую придает отчаяние и которую я никак не могла обрести раньше, о чем не перестаю жалеть. В результате этой твердости, к которой призывали, кстати, меня и Вы, за что большое Вам спасибо, я временно победила. Говорю «временно», ибо все, что делается для меня, делается против его собственного желания. Репетируем и должны выпустить в марте — апреле. Это все-таки ничего. Дали Е. Самойлова на роль Лопухина, это тоже одно из моих давних предложений. Остальные все те же. Макет очень приятный, и если бы на месте Дугина (режиссер спектакля. — В. В.) был Всеволод Эмильевич, то я бы смело смотрела вдаль. Но боюсь всего. О мизансценах уже гадать сама, о музыке тоже, и обо всем, что не должно было бы касаться, — тоже. Так и работаем. Но все же если есть работа, то жить можно, и это, вероятно, наделило меня неслыханным нахальством дать себя уговорить выступить в роли Тани в 1000-м спектакле. Об этом не жалею, хотя неделю перед этим не могла ни пить, ни есть и играла, как в тумане. Этот спектакль несколько залечил рану, нанесенную мне в Баку обстоятельствами, я почувствовала себя живой и существующей и кому-то нужной. <...>

В Москве дикие морозы и «ничего взамен». Ни премьер интересных, ни интересных приездов. <...> Самый сердечный привет и соболезнования Вашей маме.

М. Бабанова.

8.II.56 г.

С Охлопковым — главным режиссером Театра Маяковского — отношения у Бабановой особенно осложнились после «Гамлета». Офелию Мария Ивановна сыграла всего четыре раза. Как мне потом рассказывали, на одном из спектаклей был Молотов, он остался недоволен тем, что Офелию играет не молодая актриса. Охлопков сразу ввел в спектакль Галину Анисимову, только начинавшую путь в театре. Марию Ивановну волновали не столько околотеатральные пересуды, сколько факт вынужденного ухода из «Гамлета». Гордыня оставалась едва ли не самой сильной чертой ее характера, ей трудно было примириться с тем, что убывала ее сила в театре, рольей было мало, и она рискнула поехать в Ленинград сыграть в Театре Комиссаржевской комедию Дж. Барри «То, что знает каждая женщина».

Сегодня нет в живых ни Бабановой, ни Охлопкова, в вечность канула «психодрама» между ними. Судьба дала им обоим не только талант, но и что-то дьявольское. Когда-то в 1943 году Мария Ивановна поддержала идею приглашения Охлопкова в Московский театр драмы, как назывался тогда Театр Маяковского. С истинно бабановским успехом сыграла она француженку Мари в его спектакле «Сыновья трех рек» по пьесе В. Гусева, ради этой эпизодической роли зрители военного поколения мечтали попасть на спектакль. Но потом что-то разладилось в их отношениях. Пройдут годы, и театроведы будут объяснять, как один крупнейший художник возводил свой «театр Охлопкова», рядом с которым «театр Бабановой» уже не мог продолжаться. Трещина обнаружилась на «Молодой гвардии». Бабанова репетировала Любку Шевцову и, как обычно, была в тревоге. На одной из генеральных Фадеев засомневался, годится ли она на роль по возрасту. Ей немедленно передали, она занервничала. В день премьеры у нее пропал голос. Шел 1947 год, «Холодная война» перешла в быт, искусство сплошь и рядом брало на себя пропагандистские функции, ожидали «высоких гостей», Охлопков не осмелился отложить премьеру. Он вызвал молодую Т. Карпову, присутствовавшую обычно на репетициях, и в один день ввел ее в спектакль. У него были диктаторские замашки, театр он держал в ежовых рукавицах. Премьера

состоялась. Т. Карпова получила за исполнение роли Сталинскую премию вместе с другими участниками. Бабанова вошла в спектакль, когда он прошел более десяти раз, и играла Любку недолго. Сохранилась радиозапись спектакля с Бабановой — Любкой. Мария Ивановна оказалась первой исполнительницей знаменитой песни тех лет «Одинокая гармонь». Всем, что произошло, она была задета очень сильно.

Второе письмо я получил 16 октября 1956 года.

Дорогой Виталий, спасибо большое за весточку.

...Я дошла до такой степени отчаяния в смысле отсутствия работы, что рискнула на необычайную для себя авантюру. Приняла предложение сыграть ту самую роль в той самой пьесе, которую отверг Охлопков и которую ставит один маленький ленинградский театр. Вчера приехала только оттуда, чтобы сыграть премьеру «Вишневого сада». Фактически этот спектакль был сыгран втихую, для сдачи плана, и только три раза прошел в поездке из-за болезни режиссера. Поэтому ничего не известно ни мне самой, никому, что из этого вышло. На днях выяснится, что мы провалились. Думаю, что Чехова театр не понял, а я только поняла, что не поняла, а сделать тоже не смогла. К сожалению, пьеса исключительно ансамблевая, чего нельзя сказать о нашем театре. С радостью ушла бы куда-нибудь — но некуда. Пробавляюсь пока «гастролями» в другом театре. Переезд в Ленинград из Москвы вообще и надолго страшен. Остается терпеть. Премьера комедии английской, о которой Вы пишете, будет скоро, так что мне предстоит пережить один провал за другим. Не думайте, что это актерское паясничанье. Я что-то потеряла уверенность всерьез и надолго, и работа либо вылечит меня, либо утвердит мои опасения. Итак, прыгаю с моста в воду. Особенно благодарю Вас за Ваше милое письмо в эти трудные дни.

М. Бабанова.

Комедию Барри Мария Ивановна играла недолго, один сезон. Жила в гостинице «Астория», как всегда, замкнуто, мало с кем общаясь. Только иногда в сопровождении известного ленинградского театрального критика Ю. А. Головащенко, любителя и знатока антиквариата, совершала прогулки по уцелевшим в Ленинграде антикварным магазинам, рассматривая старинные павловские вещи. Она обожала старину и понимала в ней толк, оставаясь глубоко равнодушной к драгоценностям, французской парфюмерии и прочим атрибутам роскошной жизни. Ленинград любила и часто бродила по маленьким закоулкам, думая свои горькие думы.

28 января 1957 года.

Дорогой Виталий,

«...» Я боялась Вам написать о том массовом гипнозе, который сопровождал незатейливую английскую комедийку («То, что знает каждая женщина» Дж. Барри.— В. В.), о которой я Вам когда-то говорила. Играем не бог весть как, поставлено просто плохо, но народ валит валом, и театр воспринял духом или, вернее, карманом от этой пьесы. С тех пор, как лягнули в прессе, этот гипноз усилился, и теперь дирекция собирает аншлаги в огромных Домах культуры, отчего моему брату не легче. Так вот и живем. Пьесу не запретили «...», в ней ничего вредного нет, но разве в этом дело?

«Вишневый сад», к моему огорчению, не получился в целом как ансамблевый спектакль, поэтому он идет редко, актеры намеренно подобраны похуже, оправдывают свое назначение, нет брата, нет Ани, нет никого, кроме Лопахина — Самойлова, Варя, да и то очень грубо. Главная беда почти всех теперешних наших спектаклей — грубая актерская техника. Что-то надо с этим делать, а главное другое, надо опять подыскивать работу, без перспектив работы жить нельзя. Ленинградский театр бешено ищет пьесу для меня, воображая, что я в любой роли буду помогать им делать «дело». Но я-то знаю, что это не так, и найти нелегко, поэтому предпочту подождать перемены барометра на «ясно», и тогда, может быть, сыграем пьесу Рэттигана. Его грама «Огни на старте» идет здесь и в Ленинграде незапятнанно И все-таки я не хочу рисковать — работать впустую, слишком дорого обходится вся эта «петрушка» театральная.

«...»

М. Б.

Пьесу Теренса Рэттигена «Глубокое синее море» (сейчас она идет в Театре имени Ермоловой под названием «Женщина вне игры») ей сыграть не пришлось, она заканчивала ленинградские гастроли и потом уже в Москве с волнением рассказывала.

как последний раз, любуясь, обошла город. Ей почему-то казалось, что она расстается с Ленинградом навсегда.

Осенью 1961 года Бабанова попала в Париж. За границу она выехала второй раз в жизни. (В 1947 году вместе с театром ездила на гастроли в Польшу и Чехословакию.) Помню, как провожал ее — в пять утра на такси заехал на улицу Москвина, где она прожила большую часть жизни. Бабанова сидела в пальто и, судя по всему, не ложилась. Отъезд из дому всегда был для нее мучителен, а тут еще поездка туристская, с чужими людьми. Мы молча доехали до аэропорта (тогда международный аэропорт был в Шереметьеве-1) и оказались первыми. Мария Ивановна примостилась в углу в кресле, а я отправился искать кого-нибудь из группы. Наконец все собрались.

Бабанова сидела в стороне, одинокая, немолодая, скромно одетая, раздумывая, похоже, о том, что ей уже незачем ехать в Париж. Однако вернулась она взбодренная и с идеей. В Париже ей рассказали о пьесе «Милый лжец». Я встречал ее в аэропорту, где в этот момент шли съемки фильма «Девять дней одного года»; Эм. Казакевич, ездивший в той же группе, восхищенно говорил мне о том, как украсила их путешествие Мария Ивановна. Ее острый критический ум, язвительные суждения, всегда меткие, лаконичные, безупречный вкус — все это успели оценить окружающие. А Бабанова была рада вернуться домой, потому что уставала «держаться» на людях. Она слишком привыкла к одиночеству. Сразу после возвращения из Франции Мария Ивановна уехала на дачу. Работы по-прежнему не было, и мне казалось, что Париж про шумел в ее жизни, не оставив большого следа.

Однако мысли о «Милом лжеце», пьесе Дж. Килти, сделанной по переписке Бернарда Шоу и знаменитой английской актрисы Патрик Кэмпбелл, всерьез занимали Марию Ивановну. Она передала пьесу Охлопкову и ждала его решения. В Москве в это время гастролитировал Ленинградский театр комедии. Н. П. Акимов первым в стране поставил «Милого лжеца», Мария Ивановна очень ценила Акимова и сразу отправилась смотреть спектакль.

После просмотра я получил следующее письмо:

Дорогой дружок, <...> Вчера была наконец на «Лжеце» и... успокоилась вполне. Первое, это не драматургия, и непременно надо что-то сделать режиссеру, чтобы облегчить работу актерам и зрителю. Было очень скучно, глинно, однообразно и мало вкуса, как это ни странно для Акимова. И оформление, и костюмы — все бедно, простенько и плохого вкуса. Роль женская, конечно, в первую очередь требует, чтобы показали актрису крупного масштаба, со всеми «штуками» актрис, вроде Сары Бернар, не меньше, да еще надо убедить две тысячи людей, что нельзя не быть в нее влюбленным. Представляете себе такую задачу?.. Помните открытку с изображением Сары Бернар? Мне кажется, такую актрису надо было сыграть и назвать пьесу «Милые обманщицы», так как она не уступает ему ни в чем. Все это не сделано в спектакле. Да и кто может это сделать? Во всяком случае не я и не мистер Дугин. Что касается человеческого, которое особенно выступает во втором акте, то тут тоже требуется большая и не старая техника, которой никто из нас не обладает... Ведь все-таки влюблен-то был Шоу, а никто другой! <...> Орлова репетирует в ЦТСА, Степанова — во МХАТе. Юнгер показала в Москве с хорошими рецензиями... Как Вы думаете, неужели надо мне лезть в эту свалку, не имея ни режиссера, ни партнера, ни своих прежних возможностей! Не спорьте, Вы теперь не переубедите, мой инстинкт правильно указывал на опасность. Надо будет искать что-то другое, а не тащиться в хвосте среднего поколения. <...> Если бы я на коленях просила дать мне сыграть эту роль, было бы то же самое, что и сейчас. Вот поставим советскую пьесу, а потом можно будет приступить, а тем временем произошло бы то, что и произошло. <...> Обнимаю Вас... Пишите о себе.

М. Б.

Мария Ивановна, как обычно, строила планы, мучилась сомнениями, уверенность прежних лет покинула ее. Она, познавшая невиданный зрительский успех, любовь поколения, теперь боялась провала. Сжимая кулачки, могла часами сидеть на диване, оставившись в одну точку, полускрыв глаза, в отчаянии и без надежд. Утомительное ожидание ролей изнуряло ее. Она хотела работать в своем театре, никто и ничто не могло ей его заменить. Мария Ивановна не была добрым сказочным су-

ществом, фантазеркой и любительницей возвышенных снов. Она смотрела в будущее без иллюзий. С годами появилась мнительность, она подозревала дурное иногда там, где его не было.

Мы радуемся сегодня возможности читать Набокова и Замятина, Гумилева и Платонова. После смерти писателей остаются книги. Когда уходят из жизни актеры — не остается ничего. В конце 20-х годов уехал за границу Михаил Чехов. В 1986 году издательство «Искусство» опубликовало два тома его литературного наследия — воспоминания, письма, записи. Мы остро воспринимаем степень утраты, сознаем масштаб личности актера, но искусство Чехова кануло в вечность, его лицо, голос, манеры, пластика — все утрачено безвозвратно... Имена Чехова, Германовой, Рощиной-Инсаровой — актеров, уехавших за рубеж, стали легендой. Бабанова была истинно советской актрисой, неповторимой создательницей советской классики, героиней пьес Погодина, Файко, Арбузова. Ее заботы о лице и голосе были не боязнью старости и не женским капризом. Она не могла не думать о том, как долгие простои попусту расходуют ее силы, духовные и физические.

На следующем письме Марии Ивановны стоит дата 30 января 1962 года.

*Дорогой Виталик, <...> на днях позвонил Дугин и сообщил, что в начале марта он приступает к репетициям «Милого лжеца». ????, не знаю. Конечно, отказаться нет мужества. Будь что будет! <...> хотя не исключено, что «обманщик» оправдывает свое название и в этом случае. Посему думаю о пьесе. Как ее сделать все-таки пьесой. Пока додумалась только до того, что эту штуку надо разделить не на два акта по 1,5 часа каждый — это нельзя, а на три, как раз делится, — и акт с репетицией «Пигмалиона» получается отдельным вторым. У Акимова взята музыка из американской музыкальной комедии, которую привозили к нам (забыла ее название!), и это не идет <...> а мне пока хочется в некоторых местах хорошую танцевальную музыку западного стиля. Она хороша как фон и кое-что прибавит к специфике их отношений, которые играть напрямую невозможно, учитывая толстый живот партнера и собственную серую физиономию. Ладно, молчу! Не знаю, как играть Элизу, и никогда не знала. <...> Собаки кланяются Вам и виляют гружелобно хвостами в знак того, что *Les amies de nos amies sont les notres*. (Друзья наших друзей — наши друзья.)*

Вчера на спектакле был японский посол и очень хотел лично что-то выразить, но я была в дезабиле и в вазелине, поэтому встреча не состоялась, но все-таки приятно. <...> Записалась в двух передачах полуподгонковского стиля. Одна с Варпаховским в роли режиссера, другая — с Липовецким. Последняя будет 18-го числа в 8 ч. вечера. Цензура вымарала треть передачи, поэтому получилось нечто просто непонятное, не говоря «за другое».

Ваша М. Б.

Бабановский голос теперь часто звучал на радио. Она ценила Леонида Викторovichа Варпаховского, режиссера, с которым была знакома еще с мейерхольдовских времен, и мечтала работать с ним в театре, а пока делала на радио передачи. С Розой Иоффе, знаменитым режиссером детского вещания, Мария Ивановна впоследствии записала «Маленького принца» и множество детских сказок, но всякий раз работа проходила трудно, это было бабановское свойство. Она была неумолима к себе и неумолима к другим. Радио она любила, проживая в сказках и читаемых ею рассказах все тревоги ума и сердца. Ее странные персонажи — Хозяйка Медной горы, Суок, Оле-Лукойе казались реальными и нереальными одновременно.

Было решено ставить «Милого лжеца». Долго обдумывали, кто будет играть Шоу. Промелькнула мысль, что сам Охлопков. Николай Павлович загорелся, но быстро остыл. Боюсь, что этому остыванию способствовала Мария Ивановна. «Он не играл сто лет на сцене. Шоу — это не Василий в кино, валиться вдвоем у меня нет никакого желания», — сказала мне она. Охлопков предложил на роль Шоу Свердина, Мария Ивановна — Штрауха. «Но Глизер ему не даст играть со мной», — тут же печально заметила она. Когда-то в годы войны в Ташкенте она сыграла со Штраухом пьесу Гладкова «Питомцы славы» (пьеса более известна под названием «Давным-давно»). Штраух — Кугузов, она — Шура Азарова. В глубине души Мария Ивановна сохранила теплые воспоминания о том давнем времени. Рассказывала, как много знал Штраух, как интересно было общаться с ним, как оригинально и мастерски он работал. С Юдифью Самойловой Глизер, женой Штрауха, отношения были сложными, хотя Мария

Ивановна считала ее самой талантливой актрисой Театра Маяковского. «Нет, нет, Штраух играть не будет»,— твердила она и оказалась права; на роль Шоу был определен Свердлин.

18 февраля 1962 года я получил письмо.

Дорогой Виталий.

<...> Не осуждайте меня за мой кошмарный пессимизм. Представьте себе, что на Вашей работе кто-то, кто решает (до какой степени) реально Вашу судьбу, не верит в Вас, Вы не нравитесь в своих идеях, чувствах, ощущениях — все разное, и это длится не день, не месяц и не год, а скоро уже будет двадцать! Это мне самой страшно, поверьте. Боюсь, что тысяча докторов, самых замечательных, не смогут так просто и быстро излечить искаленную психику и глубоко раненную гушу, оскорбленную в самых своих глубоких основах. Это начал покойный ныне мастер и продолжил псевдомастер, ныне здравствующий. Вот и все, дорогой. Знайте одно, что я глубоко благодарна Вам за Вашу подлинную духовную поддержку, и если я не показываю этого, то это только потому, что я не люблю прямых выражений ни в чем. За моей иронией наг хорошими вещами Вы должны понять и увидеть, что ирония — это только защитная ткань, так как слишком болезненны прикосновения жизни. Впрочем, думаю, что Вы это знаете... Крепко Вас обнимаю.

Ваша М. Б.

Наконец была назначена первая репетиция «Милого лжеца», хотя официального приказа не было. Помню, как провожал Марию Ивановну в театр и на лестнице, выходящей во двор, встретили Александра Павловича Лукьянова, ее постоянного партнера по знаменитым ролям в «Тане», «Собаке на сене», «Ромео и Джульетте». «Я очень рад»,— тихо шепнул он. «Преждевременно радуешься, Саша»,— ответила она и прошла наверх. Увы, и на этот раз она оказалась права: Патрик Кэмпбелл ей сыграть так и не пришлось. Чувство, что она в несправедливой опале, не покидало ее. В эти дни она часто вспоминала Мейерхольда, хотя обычно старалась о нем не говорить. Пройдет несколько лет, и в 1972 году в Театральном музее имени Бахрушина соберутся бывшие участники «Великодушного рогоносца», спектакля, после премьеры которого 25 апреля 1922 года Бабанова проснулась знаменитой. Мария Ивановна не придет. Ее будут просить прислать хотя бы фотографию с надписью для выставки к пятидесятилетию премьеры мейерхольдовского спектакля. Долго и мучительно раздумывала она, как быть. Ее не занимала молва, не беспокоило, что будут говорить о ее тяжелом неблагоприятном характере, высокомерии. «Научитесь не обращать внимания на пересуды»,— твердила мне она,— одни вас любят, другие — нет, все это не имеет никакого значения. Кто имеет право судить нас?» Наконец фотография была подписана, и мне было поручено отвезти ее в музей. Помню надпись: «Время сгладило горечь жестоких несправедливостей, пережитых мною в его театре. Осталась бесконечная благодарность судьбе за встречу с гениальным Мастером».

Теперь не было ни Мейерхольда, ни А. Д. Попова, никого из режиссеров, кто был бы заинтересован в ее актерской судьбе. Тера, то есть Нина Мамиконовна Тер-Осипян, оставалась до конца жизни самым близким ей человеком. Она была постоянным партнером Марии Ивановны, замечательно играла Дусю в арбузовской «Тане», кормилицу в «Ромео и Джульетте», Анарду в «Собаке на сене». Бабанова была для нее божеством. Мария Ивановна могла на нее сердиться, «испепелять», но Тера оставалась Терой, и заменить ее никто не мог. В начале 60-х годов в дом Бабановой вошла Нина Михайловна Берновская, кандидат филологических наук, преподаватель немецкой литературы, поклонница Марии Ивановны, впоследствии ставшая как бы членом ее семьи, она вела дом, в письмах фигурирует как Нина.

В Театре Маяковского Мария Ивановна по-прежнему играла мало и роли, которые не очень любила. Раз или два в месяц шла японская пьеса «Украденная жизнь» Каору Моримото и комедия Д. Угрюмова «Кресло № 16», в которой она выходила в роли тети Капы, бывшей старой актрисы, ставшей суфлером. На подаренной мне фотографии в роли тети Капы она написала: «А это грустное настоящее, чего человек не сделает от отчаяния...» В «Кресле» она пела песенку в финале второго акта, горькую и мелодичную, в это мгновение зал был в нее влюблен, остальные минуты в спектакле она чувствовала себя чужой. В водевиле Д. Угрюмова блестяще играли комедийные актеры К. Пугачева, Н. Тер-Осипян, В. Любимов, дорвавшиеся до коме-

дейных ролей. Газеты по-прежнему писали о бабановском мастерстве, но это был уже не прежний, незабываемый бабановский успех. И вскоре она ушла из спектакля.

Не помню, как впервые возникли в доме разговоры о пьесе Арбузова «Нас где-то ждут», поставленной впоследствии одновременно в Театре Маяковского и в Малом. Длинная повесть для театра в трех действиях. Спектакль ставил Охлопков. Для роли Ильиной (так звали героиню) Мария Ивановна была уже не очень молода, как и Свердлину было поздно в роли председателя райисполкома играть любовную линию. Но выручало мастерство, а больше сказать было нечего. В ходе репетиций я получил письмо (дата на конверте не сохранилась).

Дорогой Виталик,

«...» В начале репетиции шли без меня, и это меня просто убивало, вернее, убивало желание работать. Но в конце концов все дело объяснилось очень просто. Метр (Охлопков.— В. В.) удумал попасть в ближайшую разгачу Ленинских премий и во что бы то ни стало хотел в месяц поставить сложную пьесу Арбузова. «...» Но за месяц нельзя сделать ничего, кроме коллективного угробления. Посему я только на днях пришла, вернее приехала на репетицию, и все стало более или менее хорошо. Кроме того, он и Арбуз посетили меня на дому (нервов было ухлопано — ужас!), сие обстоятельство привело дирекцию в умиление, я даже заработала похвалу за «поднятие тонуса» репетиций, а зла я была на себя и на свою судьбу достаточно, чтобы нервы взлетели кверху. «...» Тера не вылезает из ВОКСа, мечтает о поездке в Швецию и Норвегию, будет формировать группу (!!), теперь все этим увлекаются. «...» На днях сдали премьеру пьесы Пановой, видела прогон — ничего, но не больше, а бывает ли больше? Не знаю, не слышала. Еще раз обнимаю Вас, дорогой дружок, приезжайте, а то «сезон» полумертвый из-за Вашего отсутствия.

Никогда я не встречал женщины, которая так не хотела стареть. Не хотела и боролась со старостью, что составляло еще одно свойство ее сложного характера. Помню, мы отправились в «Современник» смотреть «Двое на качелях» с Лавровой и Козаковым. Спектакль имел невероятный успех. Марии Ивановне в «Современнике» все было интересно, ей очень понравился спектакль Галины Волчек, она ценила ее незаурядную натуру, дарование Лавровой, игравшей Гитель, но я чувствовал, что она расстроена. «Это моя роль,— шепнула она в конце спектакля.— Та роль, если бы было не поздно, я перерезала бы себе лицо»,— вдруг с ненавистью к себе сказала она и замолкла.

Время уходило, и Бабанова сознавала это. Охлопков решил занять ее режиссерской работой.

Дорогой Виталик,

«...» Я все еще валяюсь (уже на диване), один раз была в театре и беседовала с Охлопковым насчет «Мари-Октябрь», другой — через большой промежуток времени — на радио по поводу Дикого, болтала чушь. Это все. Остальное время провожу в дикой тоске, лечении и воздерживаюсь от выхода на улицу. В общем, вся зима в четырех стенах. Читаю, не сплю и не хочу жить больной. Теперь общий «обзор». Охлопков не поехал в Америку. «...» Сейчас он ставит Штейна, от кот<орого> я отбоярилась (там была роль «княгини» — играет Глизер). Дугин на сцене репетирует Брехта, и конца не видно, выпуск не раньше половины марта. Потом Штейн и 21 апреля Охлопков полетят на фестиваль Шекспировский, а я буду репетировать пьесу «Мари-Октябрь». Это уже будет март — апрель — май, но выпуск осенью, в начале сезона. Когда просветляется голова, пробую заняться планировкой пьесы, это очень интересная работа, но боюсь, отвыкла и отстала. «...» Приезжайте, дорогой, я хочу, чтобы моя хата всегда была для Вас теплым углом, где Вас никто не обманет и не обидит.

Ваша М. Б.

То был уже 1965 год. Мария Ивановна продолжала возиться с «Мари-Октябрь», хотя работа не сулила большой удачи. Все уже видели фильм с Даниель Дарье, французскую ленту «Мари-Октябрь», имевшую большой успех, да и режиссура была не бабановским делом. 16 марта 1965 года она писала:

Дорогой Виталик,

⟨...⟩ премьера намечена на первое апреля. ⟨...⟩ Было много замен из-за болезни исполнителей, но в общем я скорее выиграла от этого. Так, вместо Самойлова играет Женя Лазарев, и хотя он мне годится почти во внуки, мы это учли и кое-что предпринем. Вместо Химичева (новый актер из МХАТа высотой с Ивана Великого) я «получила» Сашу Лазарева, который сразу «потянул» роль, а я его очень люблю. Чудесный человек и актер. Остальные: Кириллов, Левинсон, Аржанов, Лукьянов и Люлин — все «на месте», кроме меня, о себе я еще не думала, некогда, заниматься приходится всем, чем можно и не нужно, — макетом и музыкой и т. д. «Шо будить» — покажет время. ⟨...⟩

Ваша М. Б.

Спектакль вышел под названием «Встреча», шел недолго и был явно неудачен. Мария Ивановна отнеслась к этому довольно легко, гораздо больше ее заботило, что наступило другое театральное время и она не очень точно понимала его. Дело было не только в ее уникальных природных данных, как бы привязывающих ее к молодым ролям, которые теперь она уже не могла играть, дело было не только в ее консерватизме и ориентациях на вечные ценности. Она была слишком умна, чтобы не сознавать, что не случайно «Современник» и Таганка владеют умами. Да, она отличалась независимостью вкусов, не подчинялась общему мнению, увлекалась Диккенсом, обожала Достоевского, не стремилась играть Чехова, но теперь, в конце 60-х годов, мучилась, старалась проникнуть в тайное тайных современной жизни. В «Современнике» она бывала чаще, чем в других театрах, удивлялась умению актеров сливаться с залом, но потом всегда задавала один и тот же вопрос: «А что будет с ними, когда уйдет молодость и бесстрашие? Надо накапливать мастерство, а они приносят самих себя, вам это нравится, но этого мало». Приносить на сцену себя она не умела, а главное — не любила. Она росла в другое время, и ее талант развивался по другим законам. Теперь она подолгу жила на даче в Зеленоградской, искала пьесы, много читала и ничего не находила для себя. То возникала идея сделать вечер одноактной драматургии или отрывков из несыгранных ролей, то поставить Т. Уильямса, только только вышел сборник его пьес.

18 июля 1967 года.

Милый Виталик,

⟨...⟩ Кто Вам сказал, что мне не понравилась прелестная пьеса Уильямса «Стеклозверинец». Я испытала очень редкое наслаждение от всей книги и перечитывала некоторые места опять и опять. Удивительный художник! Я только сказала, что мне нечего играть и в этой пьесе, да и во всякой другой, наверное. Я уже утратила веру и надежду. Любить безответно, к сожалению, не умею, и если от театра получаю то, что получаю, то и он мне таким не нужен. А времени на ожидание у меня нет. ⟨...⟩ С самым сердечным приветом.

М. Б.

Вслед за томиком пьес Уильямса я послал на дачу сборник пьес Лиллиан Хелман.

22 июля 1967 г.

Дорогой Виталик,

бесконечно благодарна за Ваши ⟨...⟩ заботы о моей судьбе... Хелман — нет, к сожалению, да и вообще, дорогой, перестаньте думать о моей работе. Ее просто не может быть, а я без отвращения о Театре Маяковского думать даже не в состоянии. Поезд мой давно ушел, и я стараюсь с этим смириться. Уж если бедной и замечательной Вивьен Ли не было работы, какой ей хотелось, да еще не будучи в таком возрасте, как я, то о чем говорить? Я без конца о ней думаю, и так хочется знать о ней побольше... Я ее оплакиваю, как в свое время Цибульского — есть такие судьбы, которые что-то в тебе задевают за живое. Жаль, бесконечно жаль. ⟨...⟩ Еще раз спасибо огромное за все... Пишите, пожалуйста, о своей жизни.

М. Б.

Не было ни работы, ни надежд. Теперь она изредка заглядывала в прошлое. Вспоминала работу с Алексеем Диким в «Человеке с портфелем» А. Файко, рассказывала о несостоявшемся из-за ее робости знакомстве с Анной Ахматовой в Ташкенте, пора-

жалась смелости Фаины (так она звала Раневскую), которая легко и свободно общалась с Ахматовой.

Охлопкова уже не было в живых, театром руководил Дудин, и все понимали, что это временно. Как бы сумрачно Бабанова ни смотрела вдаль, единственное, что интересовало ее,— это театр, в магнитном поле которого она прожила жизнь. К пятидесятилетию Советского государства Мария Ивановна была награждена орденом Трудового Красного Знамени, но на вручение не пошла, поскольку была нездоровая, и уже после награждения месяца через полтора отправилась в Моссовет, где вручали награды тем, кто по разным причинам вовремя их не получил. Там Бабанова встретила с Ольгой Ивановной Пыжовой, которую не видела с довоенных времен. Они вместе в 30-е годы играли в «Человеке с портфелем», в «Ромео и Джульетте», дружили. Пыжова была свидетелем умения Бабановой чаровать зрителей и безраздельно властвовать над ними. И вот теперь на склоне лет встретились в торжественной обстановке вручения орденов. Потом у подъезда дома Бабановой при свете уличного фонаря они еще долго стояли не в состоянии оторваться друг от друга. Раздоры канули в прошлое, хотя Мария Ивановна помнила все. Особенно один из первых спектаклей «Ромео», когда перед выходом на сцену Пыжова, зная всю сложность отношений Бабановой с Мейерхольдом, шепнула ей, что в зале Мейерхольд и Зинаида Райх. Мария Ивановна почти потеряла дар речи, выйти на сцену не могла, второй акт задержали, потом она играла, как ей казалось, совсем в тумане. Зло, причиненное ей людьми, Мария Ивановна с годами попросту забывала, но рана, нанесенная Зинаидой Райх, так и не зажила. Помню, как Б. Львов-Анохин в кругу друзей рассказывал о новых подробностях насильственной смерти З. Райх. Неожиданно для всех Мария Ивановна перебила его жестко произнесенной фразой. Мы замолчали, потрясенные: что же должно было произойти много лет назад в стенах театра Мейерхольда, откуда Бабанова была вынуждена уйти, чего никогда ни забыть, ни простить не могла?

Близилось семидесятилетие Марии Ивановны.

11 августа 1970 г.

Милый Виталик,

спасибо за весточку. Хочу обратиться к Вам с огромной просьбой Ради бога, сделайте что-нибудь, чтобы не было статей и юбилейной даты. Умоляю. Жизнь и без этого ужасна. Надо было быть гурой, чтобы из гурацкого самолюба не скрывать возраст. <...>Сделайте все, что можете, от моего имени. Пусть не добивают меня и не пригваливают могильным камнем. Мне и без этого плохо живется. Сейчас вожусь с пьесой Алешина. <...> Заранее благодарю, так как верю, что Вы это для меня сделаете. Правда? Сделайте, дорогой, пожалуйста. Сердечно обнимаю.

М. Б.

Ей казалось, что можно обойти юбилейную дату, скрыться, но этого не удалось. Писали газеты, журналы, по радио передавали в очередной раз арбузовскую «Таню», дома собрались «свои», из театра были допущены завлит В. Я. Дубровский и тогдашний директор театра Р. Г. Экимян. Она была по-прежнему иронична и не допускала возвышенных выражений в свой адрес. В театре готовились к репетициям пьесы С. Алешина «Куст рябины».

Еще до юбилея она писала:

2 августа 1970 г.

Милый Виталик,

я была уверена, что Вы поймаете Нину по телефону, и поэтому не писала. Дела обстоят так, что Алешин согласился со всеми пожеланиями, которые были написаны в довольно твердой тональности, так что мне придется запеть «Ах, попалась, птичка, стой». Мало того, Алешин просит меня написать ему все, даже малейшие замечания по тексту, все очень благожелательно и дружелюбно. Что из этого будет — неизвестно, но деваться некуда. Кругом стены с надписью «Наго!».

Что касается Горького и Достоевского, то это все мимо. В «Дядюшкином сне» мне вообще делать нечего, хотя роль великолепная. О «Варварах» Вы сами верно написали, что там ничего нет, а я не Грановская.

Что касается предложения Натальи... забыла отчество (Викторовны?), то, как Вы догадываетесь, я не могу сказать «да», хотя и понимаю, что это было бы, м. б., неплохо. Верю и в Крымову, и в Эфросу — во всех, кроме себя. Да и не поздно ли? В общем, ко-

гда съедемся — поговорим подробно, так как я не представляю себе, что это такое. Прошу Вас поблагодарить их обоих и повторить свое неизменное желание встретиться с ним (Эфросом.— В. В.) хоть один раз в работе. Сердечный привет им обоим. Спасибо Вам за вечное беспокойство за мою судьбу... Хочу, как и Вы, покоя, а сейчас особенно, так как отдыха не было по ряду причин...

В театр в 1967 году пришел новый главный режиссер — А. А. Гончаров. Бабанову он любил, бывал на репетициях «Тани», которую ставил Лобанов, любимый учитель Гончарова, и сразу стал думать о работе для нее. Однако это было непросто. Мария Ивановна с надеждой встретила Гончарова, имя его ей было знакомо.

Письмо от 5 сентября 1970 года:

«...» Мне не хотелось заражать Вас черными мыслями и чувствами. Вам своего хватает. «...» О своих делах говорить и думать не хочу до отчаяния. Я не люблю больше театра — это такой неиссякаемый источник мучений, и мне ясно, что другого для меня не будет. Вот с этим и живу.

«Брожу ли я вдоволь улиц шумных...» Это за меня сказал молодой гений, мы же — простые серые смертные только повторяем то, что сказано больше ста лет назад, какая условная штука — время! Друзей у меня в театре нет, только А. А. Гончаров, и то относительно, весьма относительно. Каждый за себя и о себе. С этим пора гавно примириться, и я это и стараюсь сделать. Одно желание — чтобы меня не трогали, не вызывали на работу, не терзали гразнением того, что могло бы быть, но не состоится никогда. С горем жгу пьесы Алешина и слабой даже не надеждой, а гораздо меньше — пьесу Туров «Виза». Якобы для нас. Копаю землю, лью снотворное, разгражаю на грузей, вот и всё. Спасибо, что не забываете.

Ваша М. Б.

Благодаря энергии Гончарова началась подготовка репетиций пьесы Алешина «Куст рябины». Драматург и режиссер (на постановку был приглашен Б. А. Львов-Анохин) делали все, что просила Мария Ивановна. Суть нежелания играть в пьесе тщательно скрывалась, хотя была проста: она не любила играть старух (героине было около восьмидесяти лет). Помню, как однажды она прочла сцену из пьесы своим поэтическим голосом, что произвело на меня ошеломляющее впечатление, но при этом добавила: «Ненавижу старость, ненавижу», — и я понял, что этой роли не будет никогда.

Между тем поиски работы продолжались. Еще до пьесы Алешина Бабанова нашла пьесу итальянского драматурга Альдо Николаи «Бабочка» на трех человек.

Милый Виталик,

только что получила Ваше письмо и вот пишу. Действительно, «все не так просто» в жизни, да и сам боишься сложностей, а они есть, и от них никуда не спрячешься... Живу, если можно это живое слово употребить в данном случае, а по-моему, нельзя. Около трех месяцев жду прохождения безвредной и легкой пьески «Бабочка», теперь наконец оно есть, а пыл, хоть и небольшой, угас. Такой ценой гостается и так мало, что хочется собрать остатки разгавленной гордости и отказаться от всех этих благ. Что будет? И этого не знаю. Гончаров завяз с «Детьми Ванюшина». При посчете оказалось, что эта пьеса возьмет около 9 месяцев. Выпуск только в середине мая. Таким образом, если и будут в этом сезоне репетиции, то в самый разгар лета — июнь и конец мая. Зачем это мне? Выпуск все равно в начале будущего сезона. Вот мои дела. Настроение тупого отчаяния. Ничего не хочу, только бы не мучили, не дергали, не трогали ничем. Мне кажется, что я ничего не умею, ничего не смогу, чувствую себя плохо, много хворала, а от плохого настроения болезни вовсе не уходят. «...» Я живу без Нины, с постоянной работницей и двумя собаками. Позвоните мне в любое время, и если я буду в порядке, мы увидимся. Сердечный привет.

М. Б.

Это писалось в 1969 году. После очередной неудачи она вспомнила о «Круге» С. Мозма, который играла вскоре после войны, но спектакль попал в постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» (26 августа 1946 года), и «Круг» был снят. Он шел очень недолго и имел огромный успех, ставил его забытый ныне талантливый режиссер Ф. Н. Каверин, человек драматической судьбы.

Когда-то Охлопков взял «Круг» с целью найти для Бабановой возрастной переход. Он думал, что она сыграет леди Китти, действительно необычайно выигрышную роль, созданную для больших актрис, но Мария Ивановна отказалась и в том старом спектакле сыграла молодую Элизабет, как всегда, мастерски, с привычным для нее успехом. Теперь, спустя четверть века, она вернулась мыслями к этой пьесе, попросила Гончарова заказать новый перевод и поставить ее. Он немедленно откликнулся и послал старый вариант пьесы в управление культуры. Началось томительное ожидание.

Дорогой Виталик,

только-только заклеила конверт с письмом Вам — как принесли газету и Ваше письмо. Пришлось выбросить и написать снова. <...> Дорогой дружок, Гончаров будет добиваться разрешения, так мне передали. Ему я верю. К мысли об одноактных пьесах я никак не могу привыкнуть. Очень все стало для меня сложно. Бель — автор, конечно, «тот», но... подожду присылки американских пьес. <...> Мозм, к сожалению, встретил холодный прием (Дубровский говорил о «Круге» в «кругах»), огна надежда на Гончарова. Или придется положиться на волю божью (если бы на нее!). <...> Крепко-крепко Вас обнимаю и горячо благодарю за все.

Ваша М. Б.

Долгие годы фактической безработицы привели к развитию мнительности, боязни сцены, появлению предрассудков. Мария Ивановна продолжала вести свою, отдельную от театра, жизнь. По радио по-прежнему часто звучал ее голос. Передавали то «Ель» Андерсена, то «Маленького принца», то знаменитую сказку того же Андерсена «Оле-Лукойе». Радиоработы увеличивали число восторженных почитателей актрисы в новых поколениях, а она жила в отчаянии и предчувствии неизбежного конца. С немногими допущенными она то дружески сближалась, то раздражалась до ненависти, на нее старались не обижаться и несмотря ни на что оставались во власти необъяснимой бабановской магической силы. В это время у меня родилась мысль о книге, в которой была бы написана правда не только о ней, но о жизни, которую она прожила вместе со страной. В юности Мария Ивановна рано вступила в комсомол, увлекалась общественной деятельностью, была одним из первых в актерском мире депутатов Московского Совета. И только после 1937 года отошла в сторону. Узнав об аресте Мейерхольда, она замкнулась уже навсегда. Никто и ничто не могло заставить ее подписать какую-либо бумагу против Мейерхольда или в одобрение закрытия МХАТа 2-го. В годы кампании против космополитизма она оставалась бесстрашной и твердой. Ее молчание, его ирония по отношению к сталинскому стилю казались опасными. Тер-Осипян до сих пор вспоминает, как она избегала разговоров с Марией Ивановной на политические темы, чтобы не ссориться, поскольку та довольно ядовито посмеивалась над ее постоянным одобрением того, что происходило вокруг. Еще до войны, в марте 1941 года Мария Ивановна одна из первых в стране получила Сталинскую премию. Тогда А. К. Тарасова получила премию первой степени, а М. И. Бабанова — второй, и обе актрисы были приглашены в Кремль на вручение. Было это ночью, что-то около часа. Рассказ Бабановой о единственной встрече со Сталиным запомнился: премии вручал он сам. Небольшой группой они шли по Красной площади, у Алены Константиновны каблук попал в щель и застрял. Туфлю не смогли сразу вытащить. Потом И. М. Москвин на ходу прибавал каблук. Они много смеялись, шутили, наконец дошли до ворот и началась проверка документов, их проверяли множество раз по пути в зал. Долго потом стояли в зале, ждали, дверь отворилась, и вошел Сталин. Бабанову поразила его внешность: маленький рост, рябоватое лицо и взгляд — «здесь зверства древнего еще кишат микробы», — любила она повторять, переиначивая, ахматовскую строчку...

Книгу о Бабановой написал Ю. А. Головащенко и прислал ей экземпляр в Москву на прочтение. С Головащенко она была знакома «тысячу лет», принимала у себя, ценила его знания, а книга резко не понравилась ей. «Одни комплименты. Кому это нужно? Если писать обо мне — то всю правду о времени, в какое я жила», — раздраженно говорила она и, мучаясь, написала автору письмо с просьбой книгу не публиковать. Головащенко горько пережил эту историю, но мужественно согласился с желанием Марии Ивановны, больше они не встречались.

Однажды я привел в дом к Марии Ивановне Майю Туровскую в надежде, что они понравятся друг другу и Майя Иосифовна станет автором книги о ней. Книга

о Бабановой действительно была написана и имела большой успех, сохранив ту редакцию, в какой она легла на стол Марии Ивановне, не сразу и не легко примирившейся с откровенностью автора. В одну из встреч Майя Иосифовна предложила Марии Ивановне сыграть «Дядюшкин сон» Достоевского или «Варвары» Горького. Мысль о «Дядюшкином сне» теперь показалась привлекательной, и М. О. Кнебель начала репетировать. «Черные мысли» были отброшены прочь, и работа закончилась успешной премьерой. Бабанова писала:

Милый Виталик,

сейчас льется дождь, топится печка, и это в разгаре лета! Приходится жить ожиданием осени, которую ненавижу. Ни о чем хорошем писать нет сил. Все кажется безотрадным. О театре почти ничего не знаю. Тера писала скупо, мало, как всегда... Что еще о себе? Просто ничего: радио, пасьянс, осточертевший текст пьесы (не умею учить ролей без партнеров и мизансцен, а время заставляет это делать). <...> Огурела от сырости и «цигизма сельской жизни». Обнимаю Вас.

М. Б.

В начале 70-х годов Мария Ивановна приняла предложение Натальи Крымовой участвовать в передаче по телевидению. Снимали ее в театре в пустом зале. Крымова ей нравилась все больше и больше и теперь часто бывала у нее дома, кажется, и Анатолий Васильевич Эфрос прикоснулся к работе над телевизионной передачей «Бабанова». Но шла эта передача только раз. В вечер ее показа Мария Ивановна гуляла с собакой по Москве, себя видеть не хотела, да и телевизора у нее в доме не было. Успех у передачи оказался небывалый, в «Правде» сразу появилась хвалебная рецензия. Наталья Анатольевна уговорила Марию Ивановну прийти к ней в гости, когда соберется съемочная группа: всем хотелось поближе познакомиться с Бабановой. Мария Ивановна не бывала в гостях уже много лет, ей это было трудно, но она согласилась. Вечер выдался шумный, демократичный, кто-то из чуть подвыпивших гостей стал говорить ей «ты». Она веселилась, хотя потом, на улице, я увидел, какая она усталая и раздраженная.

Саму передачу она посмотрела недели через две. Крымова отвезла ее на телевидение. Ничто так не выводило Марию Ивановну из себя, как ее старое лицо. Она не могла себя видеть. Бабанова просила не снимать ее крупным планом, не делать ее портретов. Наталья Анатольевна отнеслась к этому легко, не придав просьбе серьезного значения. Увидев себя на экране, Мария Ивановна помрачнела, подбородок у нее стал каменный. Впоследствии она рассказывала, как они доехали до дому, не сказав друг другу в машине ни единого слова. В тот же день Мария Ивановна сделала то, что не делала никогда: позвонила Лапину на телевидение и попросила передачу больше не показывать. В 1987 году, готовясь к вечеру памяти Бабановой, Гончаров хотел просмотреть пленку крымской передачи,—оказалось, что пленка смыта и передачи больше не существует... Долго еще Мария Ивановна не могла смириться, что не вняли ее просьбе, и продолжала бушевать...

Она всегда говорила, что в молодости ей было даже неловко получать зарплату: «За что? За удовольствие, какое сам получаешь? Ведь это игра!» Зарплату за нее получала Тер-Осипян по старой укоренившейся привычке, даже теперь, когда Бабанова редко-редко выходила на сцену, играя небольшую роль матери в пьесе А. Салынского «Мария». То был первый выход на сцену при Гончарове в его спектакле после долгой паузы. Андрей Александрович предоставил ей полную свободу. Премьера прошла с успехом, Бабанову ждали, все были рады, что она на сцене.

Потом выдвигали исполнителей главных ролей на соискание Государственной премии РСФСР имени Станиславского, в список ее не включили, и она отнеслась к этому как к естественному ходу вещей, «один выход, одна сцена»,—говорила она. Но однажды вечером ей позвонил Салынский и первым поздравил ее с Государственной премией. «Афанасий Дмитриевич очень деликатный человек, у него радость, и он решил поделиться со мной, что наш спектакль получил премию»,—сказала она мне по телефону, но явно была в недоумении. Оказалось, что в театр приезжал Комитет по Государственным премиям, и М. А. Ульянов, узнав, что Бабанову не выдвинули, настоял на включении ее в список лауреатов. «Бабанова есть Бабанова»,—говорил он, так ей передали.

Не столько награда, сколько отношение Ульянова долго еще согревало ее, она хотела ему написать, не решилась, посчитала, что выйдет неловко, но не забывала об

этом никогда... До войны она обычно играла двадцать шесть спектаклей в месяц, практически каждый день: Таня, Диана, Лариса, Джульетта. Сохранились старые программки 1940 и 1941 годов в ее коробках. «Как вы выдерживали?» — спрашивали ее. «Работала», — коротко отвечала Мария Ивановна.

В ее удивительно красивой квартире было по-прежнему тихо, только иногда шумело радио, которое она любила слушать. Театр превратился в источник терзаний и мук. Ее не успокаивало, что иногда ей звонила Раневская и горько жаловалась на безработицу. Убедить ее в том, что это естественно, было невозможно.

Однажды я принес ей пьесу Т. Уильямса «Сладкоголосая птица юности». Мне казалось, что роль Принцессы Космонополис создана для нее. «Вы не правы, — ответила мне Мария Ивановна, — вас увлекла мысль о совпадении темы с какой-то стороной моей жизни. Уильямс — замечательный, но особенный драматург. Он пишет бисером, а играется чаще всего грубо, но дело даже не в этом. Во-первых, я стара и уже не способна сыграть на сцене «зов плоти», а сыграть надо прежде всего эротический слой, без этого нет Уильямса, а я этого не умею, да и поздно. А во-вторых, — добавила она после паузы, — кто будет играть Чанса? Красавца-жиголо в театре не найти: или „дворники“ или „облако в штанах“». Она решительно отказалась.

Спустя годы, услышав по радио запись мхатовского спектакля с А. И. Степановой в роли Принцессы, она заволновалась. Позвонила мне по телефону, восхищалась пьесой — «как я могла с ней разлучиться?!» — чувствовалось, что она в смятении. Опять что-то пропустила, прозевала, а время ушло. Уильямса она так и не сыграла.

23 августа 1976 г.

Милый Виталик,

<1...> Из-за невыпуска пьесы Сальинского мне не удалось перейти на сцену (из-за отсутствия режиссеров предпочла попробовать сама). Но пришлось в корне менять оформление, и музыку, и костюмы, естественно, и я перерасходовала свои силы. Не знаю, что будет, так как Арбузов требует спектакля, а зрители требуют отдыха, который не состоится. Вот и все мои дела. <1...> Я очень по Вас соскучилась, поверьте. Никого не вижу и никому не хочу показываться, очень «небогато» выгляжу. Пишу как безграмотная домработница, это результаты нервов, как, впрочем, всегда Вам было известно. Обнимаю Вас и надеюсь, что Ваша жизнь лучше моей и намного. Это нормально...

Дело в том, что Алексей Николаевич Арбузов давно написал для нее пьесу — «Старомодная комедия». Но все не клеилось — ни роль, ни декорации, ни костюмы. В сущности, не было и режиссера. Какой-то юноша-практикант вел репетиции Пьеса казалась Марии Ивановне многословной, она начала ее кромсать. Арбузов злился, написал письмо в театр, поскольку сам был бессилем уговорить Бабанову не делать этого. Пьеса была уже сыграна в театре Л. Сухаревской и Б. Тениным с большим успехом. Впервые в жизни Марии Ивановны она должна была выступить во втором составе. Роль не получилась, думается, Бабанова просто опоздала к ней, сыграла она спектакль три раза, и это был, что называется, провал. Зритель устраивал овации, Гончаров понимал, что это неудача, но предотвратить ее не решился. Короче — лучше это не вспоминать. Вскоре Мария Ивановна вместе с В. Я. Самойловым, актером театра, записала «Старомодную комедию» на радио, и оказалось, что это одна из лучших ее работ. Чудо бабановского искусства вновь проступило в радиоспектакле, и песенка из «Старомодной комедии» принадлежит к ее уникальным созданиям.

Арбузова она любила и, когда встречалась с ним, светлела лицом. Как-то я вытаскил ее на просмотр в крохотный зал редакции журнала «Искусство кино», там мы встретили Арбузова, он кинулся к Марии Ивановне, был ласков, нежен — с ним была связана одна из лучших страниц ее творческой жизни, а для него она была идеалом. Размолвка на «Старомодной комедии» мало что изменила. Последние годы они редко виделись. Не забыть мне лицо Арбузова на похоронах Марии Ивановны, оно было смято горечью: кажется, это был первый случай, что Алексей Николаевич пришел на похороны.

Шла новая жизнь, совсем не похожая на ту, в которой Мария Ивановна прожила большую часть своей. Теперь М. Терехова снималась в киноленте «Собака на сене», и Ф. Г. Раневская просила Марию Ивановну поговорить с ней о роли. Эфрос делал

на телевидении «Таню», и Ольга Яковлева возникла на экране в белой меховой шапочке, похожей на ту, которую когда-то надевала Бабанова. В Москве появились первые видеомагнитофоны, а у нее так и не было телевизора.

19 июня 1979 г.

Милый Виталик,

по совету людей, которые были у нас вчера, я решила не покупать вообще сюда на гачу большой телевизор, даже подержанный. Его обязательно уведут зимой, кроме того, наша собачья сырость сделает свое злое дело. Тащить в Москву мне некуда, да и пока я не в «пансионате», воздержусь от излишней траты энергии...

Ваша М. Б.

В Театре Маяковского она больше не бывала, последний раз ее привезут сюда в гробу в день гражданской панихиды. Ей оставалось жить еще четыре года. В последние годы ее жизни у Олега Ефремова возникла идея пригласить Марию Ивановну на роль во МХАТ. Ему нравилась пьеса Олби «Все кончено». Я передал ей пожелание Олега Николаевича, но сам он не звонил, пока все точно не определится. Театр долго искал режиссера, заказывал новый перевод. Все время что-то откладывалось. Мария Ивановна уже и не верила в то, что это может произойти. Наконец ей позвонил Ефремов и сообщил, что пьесу будет ставить Л. Толмачева, актриса театра «Современник». Бабанова переступала порог МХАТа со страхом и сомнением. Работала она трудно. Премьера состоялась 30 декабря 1979 года. Потом был юбилей (единственный в жизни) на сцене МХАТа.

Последний раз мы встретились на этом вечере за кулисами. В фойе филиала на улице Москвина после спектакля были накрыты столы. Народу было немного: участники «Все кончено», группа пришедших поздравить Марию Ивановну из Театра Маяковского, актрисы Демидова, Доронина, Яковлева. Было весело и шумно, лицо Марии Ивановны освещало серьезное любопытство. «Вот и „все кончено“», — шепнула она мне и грустно улыбнулась. «Скажите что-нибудь», — подсказывал любимый ею в последние годы Леничка (так она звала Л. И. Эрмана, ныне директора «Современника». — В. В.). «Нас приучили молчать», — ответила ему она, но покорно, слушаясь его, взяла слово. Вспоминала забавные эпизоды театральной жизни, шутила, острила, потом очень серьезно говорила о Мейерхольде, Попове, Алексее Диком. Пирушка кончилась поздно, начали расходиться, хотя всем почему-то не хотелось расставаться друг с другом. Больше я ее не видел.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛ. ГУСЕВ



СВОБОДЫ СЕЯТЕЛЬ ПУСТЫННЫЙ...

Как и следовало ожидать, постепенно мы в наших «спорах и размышлениях» уперлись в вопрос, без разрешения которого сами эти споры давно бессмысленны. Это вопрос о свободе творчества. Я его затрагивал в нашей печати¹, но требуется попытка поставить точки над «и».

Все понимают, что, во-первых, тут есть внешняя сторона дела. Разумеется, наша печать ныне более свободна, чем была в последние лет шестьдесят, но подлинной свободы печати у нас пока нет, и все это про себя прекрасно знают. Особенно мы это чувствуем, когда речь идет о современных проблемах, порой трагических. Трагических в ином смысле, чем, положим, в 30-е годы, но тем не менее. Да и дело не только в этом — не только в позволенной степени критицизма по части острых проблем. Нет просто самой свободы высказывания на современные темы. По частностям — да, а в принципе — нет. Видели ль вы в печати мнение людей, которые против перестройки? Не «толкуют ее по-своему», а просто против? Видели ль вы в печати критику в адрес существующего правительства, что есть в любой стране Запада, на который мы так страстно равняемся ныне в смысле тяжелых роков и демонстрации голых задов по телевидению? Обсуждался ли всерьез вопрос о Ленине? Об однопартийной системе? Об армии? О принципе «самоопределения вплоть до отделения» (нации)? О жесточайшем расслоении современного нашего общества: голодные и миллионеры, причем отнюдь не по труду?² Ну и так далее. Я не говорю, что сам я занимаю во всех этих вопросах ка-

кую-нибудь крайнюю позицию, отнюдь нет. Но вопросы не обсуждались, и нечего нам — в очередной раз — хвастать тем, чего у нас нет, то есть полной свободой печати.

Да, это внешняя сторона; но если бы все было так просто, если бы речь шла лишь об очередном разрешении, в данном случае полной и реальной, свободы печати. Разрешили, не разрешили — вот и весь казус.

Но мы чувствуем, что, столкнувшись, скажем так, с более реальной, чем прежде, свободой печати, мы чем дальше, тем крепче испытываем и некие тайные, духовные трудности, суть которых никак не сформулируем на уровне языка. И от этого никуда не уйти.

Искусство свободно, говорит мировая традиция в философии, философской эстетике; говорят и сами художники. Искусство служит морали, и своему народу, и всему человечеству; оно помогает в «исправлении» жизни, отвечают другие — порой и власть имущие, и власть не имущие, и сами писатели, и сами читатели, зрители и слушатели. А не только профаны, как говорил Пушкин в адрес этой позиции.

За теми и другими мы ощущаем определенную не то что правоту, а силу — некий ветер с моря, от объективной жизни и истины. Что из того, что искусство покамест никого не исправило, что все предупреждения, положим, Толстого и Достоевского грядущему человечеству и своей стране оказались втуне, ибо Толстого и Достоевского читали одни, а на расстрел людей водили другие. Впрочем, были и те, кто читал Достоевского и Толстого и при этом водил и на расстрел; как-то это все совмещается в человеке. Но снова и снова раздается: борись, исправляй нравы.

Проблема в том, что позиция исправления нравов противоречит чувству свободы («Любовь и тайная свобода...»). Отсюда бо-

¹ «Любовь и тайная свобода...» («Литературная газета», 13 мая 1987). См также: Вл. Гусев. Неожиданность очевидного. М. «Советский писатель». 1988, стр. 186—194.

² Статья была сдана в редакцию до начала работы Съезда народных депутатов. (Ред.)

лезненная реакция художников на эти призывы: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!» (Пушкин)

Чехов представляет свое alter ego — своего героя «Скучной истории»: «Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо». Самоирония? Да. Но и крик о свободе. А если вспомнить, что Чехову, как писателю без «служения», предлагали спиться и помереть под забором, то все и совсем понятно. И вот эта знаменитая инвектива:

«Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без но; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние десять — пятнадцать лет: ни одной замечательной, и не обойдешься без но. Умно, благородно, но неталантливо; талантливо, благородно, но неумно, или, наконец — талантливо, умно, но неблагородно.

Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы... Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества».

Я когда-то уже приводил цитату почти в этом виде применительно к нашей новой текущей литературе; с тех пор появились голое тело, нарочитая «чернуха» и откровения об экономике, о прошедших лидерах государства, но принцип остался.

У нас в XIX веке были свободные художники — Пушкин, Чехов; за это их сладоно ругали, тем более что человек есть человек и Пушкин наряду с чувством свободы мог испытывать чувства, выраженные в «Клеветникам России», и тем самым давать повод к упрекам в непоследовательности. Хотя у него и сама эта непоследовательность — фактор свободы... Лермонтов свою свободу выразил в основном через отрицание, что есть уже некое ограничение; а Гоголь, Толстой, Достоевский исправляли нравы, они же или другие «служили своему народу». Это последнее особенно выразилось в работе передвижников в живописи и «могучей кучки» в ее композиции и исполнении. Моцарт свободен, а Мусоргский при всей его гениальности все время служит народу; может, он и вызывает более житейских симпатий, чем Моцарт, но полной свободы тут нет. Напряжение вместо свободы как таковой.

А мы втайне знаем, что без чувства свободы, вроде бы и не **нужного** для житейских дел, для пользы и для морали, для народа и человечества, — что без этого чувства не только искусство, но и сама жизнь лишается всякого смысла, пусть это и недоказуемо средствами логики. Это, конечно, знали и Толстой и другие при всей их любви к дедукции и морали. Нам не хватает культуры чтения, и мы порой просто душно толкуем тезисы авторитетов в духе чистого буквализма: «Толстой сказал» и т. д. А Толстой сказал еще и такое: «Теперь, когда прошло первое раздражение вновь открывшейся деятельности, прошло и торжество успеха, когда долго сдержанный прорвавшийся политический поток, угрожавший поглотить всю литературу, улеся и утих в своем русле, общество поняло односторонность своего увлечения. Послышались толки о том, что темные картины зла надоели, что бесполезно описывать то, что мы все знаем, и т. п. И общество было право... есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа, литература, доступная человеку всякого народа и всякого времени». Достоевский говорит о красоте, которая спасет мир, и о всемирном, общечеловечески-духовном в Пушкине как высшем в его развитии. Ему, например, вторит и автор, в

общем, не близкий по духу XIX века, но тоже склонный ставить искусству внеположные ему задачи: «Он (Некрасов.— В. Г.) стыдится петь вечное, т. е. любовь и красоту, в то время как народ несчастен. Но сам народ, который все-таки больше страдает, чем за него страдают, не стыдится красоты, а любит ее, как жизнь, как свободу» (А. С. Мережковский). Тут дело не в том, в чем правы и не правы Толстой, Достоевский, Мережковский, а в том, что они, само собой, знали о проблеме. А то мы все учим да учим классиков.

Есть вещи, которые необходимо напомнить.

Иначе мы никуда не придем...

Мы много толковали о свободе как «осознанной необходимости» и забыли о том, что свобода — это просто свобода, что определить ее трудно, однако же всякий знает, что это такое.

Гораздо напряженней вопрос, в чем разница между свободой и так называемым произволом. Ведь не случайно же это мэфистофельское понятие сопровождает все наши штудии о свободе. Мы не можем без чувства свободы; и в то же время мы не можем не сознавать с очевидностью, что, доведенное до своей материальной предельной логики, это чувство есть источник самых диких разрушительных сил, которые есть на свете. В самом деле, в чем все же разница меж свободой и произволом? Где грань? До какой меры варвар, пришедший в Рим, есть вершитель судеб одряхлевшей империи, революционер и «осколок стихии» (Блок), а с какой меры он — убийца, зверь и погромщик цивилизации? До какой меры диктатор — «борец против контрреволюции», а с какой меры он — просто головорез, садист? Где свобода? Где произвол? Да, какова мера? Ну и так далее.

Как же быть?

Мысль различных философов, религиозных и прочих мыслителей сводится именно к тому, что царство свободы — это царство духа, но не царство косной материи. Чем ближе к материальному, тем менее и реальная свободы. «Заслуга писателя... тем больше, чем меньше он обязан материи» (А. Шопенгауэр). Кто не понимает этого и, с одной стороны, лишает дух человеческий его исконной свободы («А может быть, такие средства уже изыскиваются?» — А. Блок, «О назначении поэта»), а с другой стороны, переносит законы духа на быт, на ток материальной жизни, тот и вступает в сферы, отрицающие законы свободы: в ложь и замену глубокого внешним,

общего частным, высокого низким в первом случае, в пресловутый произвол — во втором.

Кант считает первейшим условием истинного творчества свободную игру духовных сил, полную (материальную) незаинтересованность в этом процессе; наш Бахтин, во многом опираясь на Канта, делает эту идею еще более напряженной; здесь не место входить в детали и разночтения, тем более что «кантовскому» принципу Бахтина у нас интеллектуально противостоит мощная неоплатоническая, онтологическая линия А. Ф. Лосева, а ранее — объективный идеализм Вл. Соловьева, православно-онтологические идеи П. Флоренского, С. Булгакова и других. Так что все уравновешивается; важен сам тезис: на духовном уровне все свободно, а по мере приближения к материальному, «житейскому» уровню фактор свободы уступает место сознанию равновесия («...мир цветущий из равновесия диких сил»), необходимости и системы.

Это закон, проверенный временем; кто нарушает его исходные, тот нарушает некие первичные основы жизни и духа. Дело не в «идеалистической» терминологии, не в словах. Речь идет о том, что некие глубинные, тайные силы жизни обладают свободой; но по мере продвижения к формам более внешним и косным все более вступают в строй и другие факторы.

Так как же с нашим «благом», пользой, «служением»?

Строго говоря, художник ничему не должен служить, кроме чувства своей художественной истины — чувства полной свободы; но и ей он не служит — она лишь просто владеет им. Он не властен над своим текстом. Сложное давление Свободы и Жизни, а не сам художник как человек, дает нам этот его текст, это его Произведение; мы запутали отношения духа и жизни, материи и духа, а вообще-то нам надо помнить, что — при всех противопоставлениях — все это сугубо Одно, и у этого Одного есть суть, и ее-то и выражает художник, чувство ее целостно. Истины вообще-то довольно банальные, их подробно разъяснил, например, еще Шеллинг. Установив, что свобода в искусстве одновременно является и необходимостью, что лишь укрепляет позицию художника, да и нас не удивляет, Шеллинг идет и дальше: «Мы требуем для разума, как и для способности воображения, чтобы ничто в универсуме не было подавлено, жестко ограничено и подчинено чему-то. Мы требуем для каждой

вещи особенной и свободной жизни. Толко рассудок подчиняет вещи друг другу, в разуме же и в воображении все свободно и движется в однородном эфире, не стесняя и не задевая друг друга». (Рассудок здесь — бытовое сознание, зависимое от материи, «явления»; разум и во многом воображение — факторы духа, искусства.) Разумеется, художник не свободен от общества ни внешне, ни даже внутренне, и это следует учитывать как простой объективный фактор. Да, он зависим внешне, об этом верно говорил Ленин; но Ленин не говорит о самом процессе творчества, он говорит лишь о последующей зависимости художника от факторов социальных (перечитайте заново «Партийную организацию и партийную литературу»). Да, художник и внутренне не свободен на некоем уровне; он сознательно борется за мораль, как Толстой, он предупреждает о бесах, как Достоевский, он, не сумев художественно выразить свои главные идеалы, начинает, например, прямо проповедовать, как надрывный Гоголь. Да, это следует учитывать... Но речь идет об основной духовной персpective творчества. Служи, положим, и своему народу, и всему человечеству, и морали, но если за этим нет исходного чувства Первоисточника Жизни, то есть полной свободы, то и ничего нет. Ведь все те «службы» — они ведь в иных слоях Жизни: более близких к поверхности. Вас. Белов в «хронике» «Год великого перелома» озабочен идеей жизни и смерти, труда и трагедии своего крестьянства. Это всегдашняя и заветная вся его идея, мы понимаем ее, мы готовы к ней и, зная Белова, соединяем ее, идею, со всей его личностью и сочувствуем ей; но как-то не видно нам последнего света. Идея судьбы крестьянства со времени и «На Иртыше» Залыгина, и произведений Е. Носова, Можаяева, раннего того же Белова и других подается именно трагедийно; но есть ли ощущение трагедии общей души, трагедии мира? В итоге Сталин у Белова — лишь дурной характер и враг крестьян; между тем вопрос мог быть поставлен и более свободно, более онтологически. Ю. Домбровский, мне кажется, более свободен в «Хранителе Древностей», нежели в романе «Факультет ненужных вещей»; здесь Домбровский специально поставил себе целью обсудить, например, поведение человека на торемных допросах, этой задаче минутами подчинено все: «Наступило молчанье. Он сидел, склонив голову, и о чем-то думал. „Ничего не знают и не подозревают и никого, конечно, не разыски-

вали. Это хорошо, держись, Мишка! Больше у них за пазухой, кажется, нет ничего. Но сейчас узнаем...» Хотелось бы нам здесь ощущения, что и эти мысли героя — они преходящи, что не в них тут последнее Слово Жизни... Этого нет; автор увлечен своей моральной игрой — посрамить тех и возвысить этого, и хотя он всех в конце как будто духовно уравнивает (эти трое на одной скамье), но сам этот очевидный «композиционный ход», конечно, идет скорее все же от несвободного ума, чем от тайной свободы жизни... Вас. Гроссман непрерывно дает шапки-формулировки по вопросам расы, нации, «культы личности» и фашизма и тем самым обнаруживает, как говорится, публицистичность течения образной мысли: «...партия, зачем тебе все это? Иосиф, Коба, Сосо. Каких ради грехов побил столько добрых и сильных? Надо опасаться не вопросов следователя, а молчания, того, о чем молчит,— Каценеленбоген прав. Ну, конечно, начнет о Жене, ясно, ее арестовали. Откуда все пошло, как все началось? Да неужели я тут сижу?..» Это трагедия, но не трагедия мира земного как мира. А высшее искусство — именно об этом и о Свете, который этому противостоит.

Я беру острые случаи из произведений, посвященных наиболее темным и грозным событиям нашей новейшей истории, в каждом случае автор, на мой взгляд, строго говоря, проявляет все же некое художественное малодушие, недостаточность чувства свободы — чувства стихии творчества; пугаясь сам своего материала, он начинает специально служить чему-то успокоительному. Практически, как правило, — моральной риторике.

«Снисходительно» говоря о морали, я имею в виду, конечно, не ту высшую нравственность, о которой говорили и Кант и другие как о сути жизни, которая имеет в своем истоке сами первоисточники природы и жизни, высшие силы духа и которая в искусстве, положим, воплощалась в том же Шекспире с его свободой, размахом и чувством рока. Я имею в виду ту житейскую мораль, которая принята в новейшее время взамен абсолютной и «как» абсолютная; которая изобретена человеком для своих частных нужд, насквозь утилитарна, торопливо названа гуманизмом и не связана с высшими силами мира или связана настолько же косвенно, насколько и всякая бытовая «духовность», будь то частная красота, истина или что иное, связана с Красотой, Истиной, идущими от первоисточников жизни и духа. В конечном

итоге они происходят Оттуда, но давно отцеплены от источника, приспособлены для благ сиюминутной человеческой жизни. Отсюда и ощущение их вторичности: «материя», а вернее, выгода, польза здесь первичны... Грань именно вот она: там — чувство высших сил мира, здесь — «польза для человека», «гуманизм» этот. Но истинный гуманизм состоит не в одном лишь удовлетворении низших нужд человека, а и в признании того, что он на земле все же представляет от высших, глубинных сил мира, может, порой неведомых ему самому, но реальных.

Те же Толстой и Достоевский, конечно, знали и это, всю жизнь колебались между высшими, более общими, и более частными пониманиями морали, «служения».

Процесс творчества идет в этом смысле в две стороны: в сторону частной морали, пользы и вообще того или иного «служения», то есть в сторону «материального», вернее житейского, жизненного в узком смысле, полезного, подвластного «рассудку»; и в другую сторону — в сторону высших сил мира, духа, абсолютной свободы.

Так сложилось в России в последние двести лет, что сама духовная деятельность, и прежде всего искусство, всегда весело и сознательно шла в первую сторону и часто неохотно — во вторую; да, хотелось быть полезными народу и обществу; да, всем хотелось быстрого и морального и материального рая земного; но сама сила гения и сила культуры, христианской и языческой, которая наполняла мощным ветром

паруса Толстого и Достоевского, не позволила им остаться в пределах утилитарного, в том числе утилитарной морали, которой они декларативно и не прочь были послужить, и выводила их на шекспировские пределы искусства. Иное дело XX век. Здесь уже не хватало потенций старой культуры и старого духа: «жизнь» давила, брала «свое». Это видно по сей день (или по сию пору) и на деятельности писателей. Борьба за русское крестьянство или борьба против фашизма, тоталитаризма, как мы это видим у Белова и, с иной точки и стороны, у Гроссмана и других, — это справедливое дело; но мы не чувствуем тут голоса рока — зова свободы, а видим лишь самое «борьбу» (за что-то или против чего-то) средствами творчества». Но где не соблюден сам принцип свободы, там все же нет в конечном итоге и частных свобод, морали и пользы. Весь XX век нам заново показал это.

Если ты следуешь своему исконному личному, ясному художественному чувству, идея служения, в том числе благу, нравственности, своему народу, национальным богам и проблемам, выразится сама — ей не надо помогать искусственно, несвободно; если не выразится, искусственно все равно не поможешь; даже Добролюбов говорил («Луч света в темном царстве»), что лишь обыкновенные таланты и «служат», а Шекспир никому не служит, им владеет сама истина о природе, о человеке; впрочем, разумеется, это личное дело каждого — его потенций, забот, нужда; ну а Дух свободен.

В. КАМЯНОВ



ГДЕ ТОНКО — ТАМ НЕ РВЕТСЯ

1. НЕ ТОЛЬКО ЗА ВОЛЬНОДУМСТВО

Когда-то Чехов заметил, что пока жив Лев Толстой, русская литература — под присмотром, следит за собой, стараясь не уронить достоинства, а стоит Толстому умереть, останется после него «беспастушное стадо».

Минули многие десятилетия, и в отсутствие Льва Толстого (но в присутствии других, назначенных авторитетов) достоинству отечественной словесности был нанесен немалый урон. Теперь же, с наступлением поры гласности, распахнулись двери для авторитетов подлинных, полноправных наследников высокой классики.

Опальные книги крупнейших художников века явились к читателю конца 80-х пахнущими непросохшей типографской краской. А в подписные месяцы на обложках периодических изданий анонсируются не знакомые широкой аудитории вещи И. Бунина, А. Ремизова, В. Набокова, Г. Иванова.

Но если писатели начала века росли вблизи Толстого, почти непроизвольно отзываясь на его присутствие, как младшие в семье отзываются на слово или взгляд авторитетного главы семейства, то писатели середины столетия, строго говоря, — безотцовщина или «беспастушное стадо» Идеологически поднадзорные, они оставались духовными сиротами, лучше помня основоположников родной словесности (дедов своих и прадедов), чем отцов, осужденных на разные сроки изоляции.

Теперь же писатели, только что возвращенные, заново дебютируют в окружении преемников, объясняя им среди прочего, за что подверглись гонениям. Кажется, объяснения тут излишни — за правдолюбие и вольнодумство. Не только. Художники, верные духу классики, наносили вольным перекройщикам мира тягчайшую из обид: они не соглашались признать разум верховным распорядителем Жизни, отказыва-

лись верить, что настоящее и будущее подвластны государственному умозрению.

Романтику-рационалисту, преобразующему мир, легче оградить сотню прямых политических выпадов, чем однажды выслушать непочтительное мнение о «чистом разуме», да еще от художника — вечного конкурента правителей в борьбе за умы и души. Нет, преобразователю совсем не по нраву, когда его толкают под руку, объявляя негодным или ограниченно годным такой род оружия, как чеканный силлогизм; пусть уж лучше современный художник не маячит перед глазами со своим философским недоверием к «рацио». А заодно пусть побудут в тени его учителя, титаны российской словесности, у которых рационалист, не привыкший ждать милостей от природы, обязательно оказывался в дураках, если не в преступниках, как Раскольников или Петраша Верховенский. А Булгаков, Платонов, Пастернак были прямыми наследниками сердечной мысли классиков, умевших далеко вперед проследить пути горделивого «рацио», о котором, например, Достоевский отзывался без всякой церемонности: «Повадливый ум человеческий». Завещана, таким образом, сугубая бдительность к головному схемотворчеству.

Недаром платоновский «сокровенный человек» Пухов с комическим вызовом рекомендует себя: «Я — природный дурак!» — вставая в оппозицию к «умному, научному человеку», большому мастеру «соблюдать конкретность цели». Что ж, Иванушка русских сказок тоже слыл дураком, но, хранимый своим простодушием, всякий раз выходил цел-невредим из сетей, сплетенных хитроумным недругом: вроде бы сама Природа мирволит простаку, отворачиваясь от «научного человека», в котором угадывает профессиональную хватку коновала.

Рационалист новейшего покроя, дотянувшийся до рычагов власти, конечно, сам себе голова; ни небо, ни преисподняя ему не

указ. Наследие великих художников прошлого с их оппозицией рационализму он волен отодвинуть в тень либо процедить сквозь фильтр доцентского «ведения» и тем обезвредить. Но от новейших мастеров, когда те мешают пороть горячку и конструировать жизнь по логическим чертежам, ему приходится отмахиваться рапповской дубинкой и грозным ждановским постановлением.

Казалось бы, отмахнулись, пресекали, добившись желанного идеологического комфорта; оппоненты умоляли, все тихо.

Но идеологический комфорт редко бывал полным. И регентам хора приходилось одергивать то В. Померанцева с его опасным тезисом об искренности в литературе, то В. Дудинцева, объявившего чиновных вельмож своего рода «пятой колонной», то Д. Гранина с А. Яшиным.

Когда отдельные авторы дерзали заглянуть за ампириный фасад здания, где прописана вольная семья народов, им тут же указывалось, что правильный подход к правде жизни один — со стороны фасада. Они не верили, задавая работу службе порядка, которой грозила бы безработица, не прорываясь сквозь оградительную цепь отдельные правдолюбцы.

Все глубже увязая в мифотворчестве, наши любители стиля ампири и гимнов развитому обществу вынуждали честных писателей сосредоточиться на расчистке завалов вранья и развенчании мифов. До творческих взлетов дело доходило не всякий раз, ибо львиная доля сил расходовалась на расчистку взлетной полосы все от тех же завалов.

А «задержанные» Платонов, Замятин или Пастернак владели, так сказать, искусством вертикального взлета. С мифотворцами и схематиками они если и спорили, то на гносеологическом уровне, выбывая у них из рук оружие схемо- и мифотворчества.

2. МУЗАМ — ПРОТИВОГАЗЫ!

...Не так давно известный очеркист Аркадий Ваксберг предпринял рискованный для профессионала шаг: он щедро процитировал стенограмму с записью речей сановников республиканского масштаба, которые проморгали в своих рядах правдолюбца и теперь, спохватившись, предадут его идеологической анафеме (очерк «Бурные аплодисменты», «Литературная газета», № 38, 1988).

Цитируя речи сановников, очеркист рисковал распухать нынешнюю аудиторию, которой по опыту известно, что такое китайская пытка методичным капаньем на темя.

Чиновные речи («Труженики республики работают с огромным подъемом, стремятся перевыполнить государственные планы», «Как говорил недавно на торжествах в Баку товарищ Леонид Ильич Брежнев, прикрепляя орден Ленина к знамени...») воспроизведены у А. Ваксберга в масштабе один к одному: автору очерка важно передать не только треск и скрипы политической риторики, но и хоровую слаженность, вальяжную повадку златоустов, привыкших часами изнурять ословелых сограждан. И как ни скулоломны затверженные словеса, их бречанье по-своему впечатляет, ибо перед тобой — парад сплоченной силы, которую голыми руками не возьмешь. Эта сила радикально реформировала речь, задвинув подальше значения слов и сделав упор на их тональность — торжественную, заклінательную, юбилейно-величальную, но в любом случае сановно-умиротворяющую: мол, все идет как надо и ответственные лица бдят.

Обрядовое слово, сохранив лишь шумовую оболочку, сделалось паролным; по бесстыдству, с каким чиновный декламатор предается толчению воды в ступе, люди его клана определяют: на Шипке все спокойно, нас терпят! Заменять паролные слова не принято — можно сбиться, применяются же ими демонстративно и прилюдно (как в очерке А. Ваксберга), ослабаясь на притихших свидетелей: «Есть кто рисковый? Помешай!» Когда слежавшиеся фразеологизмы, пропагандистские шлакоблоки десятилетиями трутся один о другой, в воздухе повисают тучи шлакообложной пыли; она хрустит на зубах, от нее отплевываются (молодежь — та изобретает свой сленг, чтобы очистить легкие), но ее и глотают, ибо пыль вездесуща. Механическое оказанное слово, речевой, мыслительный стереотип упрямо толкаются в беллетристические тексты, принуждая автора поминутно быть начеку, прятать лицо от пылевых нахлестов, и дыхание его стеснено, будто свою дистанцию он преодолевает в противогазе.

А «задержанной» литературе не требуются пылезащитных приспособлений, ибо она с самого начала внеположна любой инструкторивной схеме и счет времени ведет по-своему, наблюдая широкий его поток и не вперяясь слишком усердно в циферблат.

Булгакову, Платонову, Цветаевой, Ахматовой уже оттого не дано стареть, что каждый из них сумел укротить (буквально на поведьях повиснув) характер своего вздыбленного времени, не позволив ему одичать, вовсе оторваться от старины. Эти писатели отлично сотрудничали между собой,

сохраняя традиционный счет ценностей, помня, что прежде Демьяна Бедного или Ф. Гладкова литературой занимались Шекспир, Гете, Пушкин, Толстой, и умея в обычном вопросе «который час?» расслышать пастернаковское: «Какое, милые, у нас тыщелетелье на дворе?»

С дружным возвращением к читателю плеяды первоклассных мастеров в литературе словно развиднелось: поосела шлакоблочная пыль, раздвинулись горизонты, не так уже лихорадят сроки квартальных отчетов, зато слышнее «темный времени полет» (Блок) и отчетливей голоса классиков, столь чутких к этому «полету».

Так, может, и впрямь на путях и перекрестках культуры близится торжество «нового мышления», которое, если разобраться, есть не что иное, как хорошо забытое старое?

3. ПРОСТРАНСТВО ЭПОСА

Давно ли наши избранники муз в предчувствии творческого подъема прогуливались под навесом из четких идеологических установок, призывов, директив, понемногу забывая, что вверху, над любым навесом или кровлей,— небесный свод, неохватность Космоса?

Но с наступлением поры гласности утилитарная эстетика получила немало пробоин. И сегодня, просматривая журнальное оглавление, можно среди названий критических материалов обнаружить вовсе непривычное: «Мирозданье Василия Гроссмана».

Такое сразу остановит. Тем более что статья о Гроссмане («Дружба народов», 1988, № 10) написана Львом Аннинским, который «космических» слов на ветер не бросает. Критик переводит взгляд от эпизодов батальных к эпизодам в концлагерях, где на последнем круге тоталитарного ада маются узники той и другой воюющих держав, потом на толпы пленных, взятых под Сталинградом, или смертников, согнанных в гетто... Общие планы смыкаются, и, как при уменьшающей оптике, возникает образ растревоженных людских скоплений, над которыми опрокинута небесная чаша. Такова у Гроссмана картина вздыбленного войной мира, то есть примерно так ее воспринимает критик.

Сама собой напрашивается аналогия с Толстым (а к ней сегодня прибегают многие). Взгляд на Землю как бы из глубин Космоса, прозрачный купол неба над полями сражений, переход от крупных планов к общим, от них к планетарным — все это из толстовского творческого арсенала, о

чем, конечно, Л. Аннинскому и без нас известно. Он и не отрицает: да, у Гроссмана очень многое от Толстого. Но между художественными мирами того и другого пролегал, по Л. Аннинскому, резкая грань. Какая же? Подходим к самой горячей точке рассуждений критика и будем внимательны.

Итак: «То, что видит художник двадцатого века, у Толстого не прочтешь. Толстовская капитальная идея, что ужас жизни можно вынести, если внутренний порядок жизни не нарушен»... Читая дальше, усваиваем, что наш век испытал идею порядка «реальностью, мало представимой в толстовские времена». Что же выяснилось? Ничего отрадного для деи. Во всяком случае, по заключению Л. Аннинского, «старые (читай — толстовские. — В. К.) мерки не работают».

Есть ли у кого-то доказательства, что принцип объемлющей мир гармонии или внутреннего порядка и на исходе нашего века несокрушим, как гранит? Если и есть, то нам их пока не предьявляли. И прав Л. Аннинский: та реальность, на почве которой и майданеки произрастали и ядерные грибы, в толстовскую пору трудно представима.

Хорошо. То есть хорошего, конечно, мало, но посылку критика оспаривать не будем: да, качество жизни на планете стало иным, и нашу жизнь резко сдвинуло в сторону абсурда. Однако призовем себя к последовательности и спросим: раз под сомнением сама идея порядка, а Гроссман выстроил не просто здание — мироздание, то каким же образом оно держится не накрепкаясь? Как, например, выглядит у Гроссмана действие общего закона, по которому сходятся или расплываются людские множества?

Л. Аннинский нащупывает в гроссмановском тексте метафорический ключ к работе такой закономерности — слово «квашня». Слово найдено и прижилось; раз за разом выныривая то в одном, то в другом абзаце статьи, оно обрастает целой семьей синонимов и смежных понятий: «хлябь», «каша», «биомасса», «магма», «торф» И ведь отыскалась эта «квашня человечества» не в самой авторской речи, а в реплике второстепенного персонажа, но критику пришлось по вкусу, ибо согласуется с образом той вязкой, вспученной и ползучей реальности, которую он отделяет жирной чертой от строго уравновешенного мира Толстого. Но, знаете ли, задействованные метафоры самоуправны. И если талантливо пишущий Л. Аннинский успел вдавить или втереть в мое читательское соз-

нание «квашню» с «кашей» и «торфом», оно уже не примет «мироздания» — из-за перебора по части всяких вязкостей и липкостей.

По-моему, критик увлекся облюбованной метафорой и повредил почти готовую модель «мироздания» по Гроссману. А увлекся он неспроста: слишком велик соблазн вывести свой век прочь из общего строя, сказать ему, пусть даже с печалью в голосе: «Разъединственный ты мой, ни на кого не похожий, квашню вон замесил из судеб миллиардов!» А может, слишком уж решительно заявлено о Толстом и его веке: «Старые мерки не работают?»

В великой эпопее Толстого, подобно сердечной мышце, работает одна распорядительная метафора: история — океан. Или — море. Войско французов хлынуло на российскую равнину — это «волны большого движения»; бегство завоевателей и натиск наседающих на них русских казаков, партизан — «противодвижение». Соединенная сила людская — волна, участница вселенских сдвигов и катаклизмов. Волне есть дело до неба, небу — до волны. И человек, который отдает свою энергию людскому потоку, очень мало похож на разваренную крупинку в булькающей «каше».

Нет, разумеется, если Апокалипсису суждено сбыться и времена настали последние, тогда не только толстовский принцип гармонии — весь мир художественной классики, увы, архаичен. Если же истории суждено продлиться, волна все равно возобладает над «квашней».

«Квашня», «каша», возможно, лучше в волны сопрягаются с ГУЛАГом, Колымой, Куропатами, печами Освенцима, экстазом толп, славящих диктаторов, но небу безразличны и с космическими силами в словоре не состоят. А потому два «мироздания», противительно связанные Л. Аннинским, изначально неравноправны. И горечь наших разочарований, наша тяжба с XX веком не отнимают у толстовской Вселенной качества универсальности.

После московских процессов конца 30-х и фантазмагории гитлеровского, сталинского геноцида мы разуверились в мировой гармонии? Классические «куполы» или «своды» Толстого тут ни при чем. Он нас учил двигаться лабиринтами сцеплений, сводить, сопрягать далекое, а не галлюцинировать о социальном Эльдорадо.

Созданная Толстым Вселенная целиком располагается в сфере Поэзии, подчинена ее закону, а потому бесконечна. Текст его эпопеи наделен свойством сверхпроводимости, отчего даже мелкое усадебное

происшествие, успешнее, казалось бы, себя исчерпать в пределах главы, рождает отголоски и через десятки, и через сотни страниц, о чем, впрочем, достаточно написано в специальной литературе.

Выдерживает ли книга Гроссмана проверку критерием гармонической слаженности, взаимопроницаемости сил, вовлеченных в действие, когда каждая из этих сил развязана, но ни одна не свободна? Боюсь, что для замечательного романа о минувшей войне такое испытание все же чрезмерно.

Сам же Л. Аннинский, отвлекаясь от параллели Гроссман — Толстой, пишет о «суховатой», «дробной», «графично-непрозрачной ткани» гроссмановского письма. А повествовательная ткань, когда она «суховата», «дробна», «непрозрачна», и мирозданию не позволит развернуться во всю ширь; возникнет аритмия в движении «светил», сбой небесной механики.

4. ТИРАНИЯ БУРСАЦКОЙ ЛОГИКИ

Я вовсе не горю желанием свести роман Гроссмана ступенью ниже той высоты, куда он помещен Львом Аннинским. С учетом места и времени это редкостная по глубине и бесстрашию мысли книга. Только, выбирая для нее достойный литературный ряд, тень Толстого лучше не тревожить.

Конечно, «жизнь» и «судьба», вынесенные в название романа, — категории вполне «космические», однако у Гроссмана та и другая гораздо больше говорят нашей сметливости, абстрагирующему уму, нежели чувству и воображению. Поэтическая тема, словно боясь остаться непонятой, избегает надолго уходить в междустрочье, паузу и мало противится рациональному истолкованию; речевая пластика готова признать над собой власть силлогизма и просветительского пафоса.

Удивительного тут ничего нет: путь советского писателя-эпика особенно тернист хотя бы из-за того, что эпике практически невозможно уберечься все от той же шлакоблочной пыли, разносимой средствами информации. Рассказчик, автор лирической повести — те еще могут, зажав нос, сдерживая дыхание, благополучно преодолеть свою дистанцию. У эпика дистанция маратонская, и он открыт идеологическим, пропагандистским ветрам.

Двинуться против них грудью? В. Гроссман так и поступил, дерзнув пойти на рекорд сталинско-сусловской социальной мифологии. Но как одолеть напор непре-

рекаемого «державного» стиля? В условиях сверхжесткой централизации умы придавлены догматом, уставной формулой и, дабы сбросить тяжесть, вынуждены приложить логическое усилие, отыскав в догмате слабину. Недаром самый жесткий порядок в умах наводил у нас деятель бурсацкой выучки, уже в молодости пристраившийся к логическим упражнениям для начинающих демагогов. Его сентенции, оценки, приговоры, пророчества, уроки идеологической ортодоксии из года в год вбивались в сознание миллионов.

...«Что же, товарищи, получается, если стоять на платформе оппозиции? Если стоять на ее платформе, получается, что...» От этого вопросно-ответного нажима на мозги, от лязга и скрежета логических сочленений негде было укрыться и литературе. Избегая «уклонов» и шатких «платформ», она рефлекторно хваталась за вырочалочку формулу, брала уроки тактической расторопности и газеты. Причем груз таких уроков сильнее всего давил к земле именно эпос, который пользовался негласным статусом отчетного доклада с набором наглядных примеров наших достижений и недочетов.

Если искать случаи прорыва советского эпоса сквозь сеть заграждений, идеологических предписаний к толстовской эпико-поэтической традиции, то это прежде всего «Тихий Дон» с его художественной органикой, хотя на хроникально-обзорных главах романа, на эпизодах с Бунчуком или Штокманом все же отпечатались следы заградительной сети. А в романе Гроссмана? Творческое усилие здесь заранее рассчитано на преодоление казенного догмата, сквозь повествовательную ткань хорошо видно, как пульсирует мысль автора, готовая самоопределиться с помощью формулировки, вылиться в открытое рассуждение на этическую либо философскую тему.

Четкая пульсация мысли, ее напор способны раззадорить и читателя-полемиста, привыкшего выводить авторов на чистую воду. Такой читатель, поглядев на просвет повествовательную ткань, мигом разгадывает вpletенную сюда «идеологию».

Открываем статью А. Казинцева «История — объединяющая или разобщающая» («Наш современник», 1988, № 11). Критик особенно охотно цитирует те места «Жизни и судьбы», где чаще попадаются слова «личность» или «отдельный человек», а набрав нужное ему число подходящих реплик, чьих-то признаний, обмолвок и недомолвок, выводит заключение, что Гроссман «не замечает народной общности», что у

него «человек и народ стоят на разных полюсах». Поднакопив «улик» и разогреб себя мрачными догадками о том, куда клонит автор, А. Казинцев поднимается к высотам прокурорского пафоса: «В романе нет народа, но Гроссману не удалось рассказать и о человеке на войне и в тылу».

Очень характерный образчик идеологической экспертизы, методика которой отработывалась десятилетиями. А. Казинцев вычитывает из текста сведения об идейной подкованности или, напротив, недопустимой раскованности писателя, будто не роман перед ним, а опросный лист о причинах нашей победы под Сталинградом, пригом неверно заполненный. Подхвачена давняя традиция «патрульных» вторжений критики на территорию искусства.

Но именно в такой обстановке тотального нажима контролеров-идеологов на художественную мысль складывался талант Гроссмана, вырабатывая закалку, необходимую для частых встреч с прямолинейной бурсацкой логикой.

«Не поймать меня на дряни, на прохожей паре чувств», — писал поэт. А. Казинцев старается поймать Гроссмана как раз «на дряни», на «прохожей паре» если не чувств, то мыслей. Но мысли автора «Жизни и судьбы» — в системе, к тому же масштабной, даже мирообъемлющей, что сразу же оценил и чем вдохновился Лев Аннинский. А система не дает себя растерять по частям, оставляя А. Казинцева с пучком выдранных цитат в горсти.

Но примерно так же она противилась бы А. Казинцеву и в том случае, если бы была не романной, а, скажем, трактатной. И тогда щипкам и уколам критика-эксперта противостояли бы объем, разветвленность мыслей. А впрочем, к чему такие допущения? Ведь читатель «Жизни и судьбы» вправе говорить о поэтике гроссмановской прозы, о ее эстетическом качестве, при котором к роману попросту не липнут ярлыки-нашлепки вроде «не замечает... общности», «нет народа». И если мы больше упираем не на многозначность поэтического образа а на бестрашие, широту гроссмановской социологии и философии, то виноват тут Лев Аннинский с его сопоставлением: «Мирозданье Василия Гроссмана — мирозданье Льва Толстого».

И не в том лишь дело, что Толстой, вызванный на соревновательную площадку, убавляет роста Гроссману. Существенней другое: две разных стихии сошлись. И чем вольней, победительней одна, тем — по контрасту с ней — скованней другая. Если толстовский поэтический Космос — живой

аналог Вселенной, то гроссмановский — рукотворная ее модель.

Да, Гроссман проявил бесстрашие, подвергнув перекрестному опросу казарменно-лагерные режимы Запада и Востока, но феномен тоталитаризма писатель исследовал, устремляясь к свету из тоталитарных теснин. Сразу ли по выходе открылся взору вся ширь мироздания или сначала нужно освоиться на открытой местности, приучить зрение к простору?.. Нет, главное даже не в сроках, необходимых для адаптации. Важнее другое — что скованная мысль, раскрепощаясь, крушит догму и прямизна логических выкладок ей вовсе не претит — привычна.

Собственно, любой авторитарный режим, раскрывшись над сферой искусства, обдаёт его великой сущью доктрин, и, даже вольнодумствуя, оно больше работает за «смежников» (философию, педагогику, социологию), ворочая тяжести, с которыми удобнее справляться им. На такие заключения наталкивает развернутая Львом Аннинским параллель мирозданье Гроссмана — мирозданье Толстого.

Стоило критику хотя бы бегло очертить контуры толстовской Вселенной, как обнаружился главный стопор, не позволяющий даже замечательному образцу новейшего эпоса приблизиться к высокой классике, — дефицит непредсказуемости, поэтического своеволия и в развороте картин, и в работе авторского стиля.

Можно ли надеяться, что не за горами наша встреча с новинками прозы, к которым попросту совестно подступаться с расщепочными мерками — настолько эта проза «вся в себе» и не спешит объясняться шершавым языком плаката либо трактата?

Уместны ли вообще хлопоты о таком искусстве? Последний вопрос — из области экологии культуры. Если все заждались философии, не сводимой к руководящим положениям, социологии и статистики без «мнимых чисел», педагогики, не сползающей в риторику вокруг да около школьных тем, то есть нужда и в искусстве, которое умеет оставаться собой и не согласно без конца угождать «смежникам».

При избытии повестей-хроник, романов на документальной основе, пространных деловых очерков под жанровым обозначением «повесть», бойко-разговорчивых романов-эссе, мемуаров эпопейного размаха у нас возник дефицит прозы, которая любит держаться особняком, думает о своем и по-своему, не отнимая лавров у публицистики.

Вообще нынешняя наша раскрепощен-

ность — всего лишь полраскрепощенности: даже если мы отрунули сталинско-сусловские догматы, в наш внутренний состав, увы, впечатаны и стадия их зубрежки, и полоса мучительного преодоления. Все это относится и к сегодняшнему искусству, которое слишком хорошо помнит себя в скульптурной позе Лаокоона и должно как-то восстановить чувство внутренней свободы.

Впрочем, еще два слова о Гроссмане. По завершении романа «Жизнь и судьба» он написал очерк о поездке в Армению «Добро вам!», опубликованный в конце минувшего года на страницах «Знамени» (№ 11).

Еще не располагая нынешним объемом сведений о размахе сталинского геноцида, Гроссман делает смелый по той поре вывод, что Сталин — «один из самых бесчеловечных злодеев истории». Но, как ни странно, склонен удерживать армянских антисталинистов от крайних суждений «о великом друге и вожде»: «Мои собеседники не хотели присвоить ему и кванта заслуг в строительстве тяжелых и сверхтяжелых заводов, в руководстве войной... Эта абсолютная необъективность...» Поскольку на «сбалансированной» оценке деяний диктатора и сегодня настаивают многие (и Рой Медведев, завершая труд «О Сталине и сталинизме», присоединил свой голос к хору тех, кто не устает повторять, что Сталин — фигура сложная и противоречивая. — См. «Знамя», 1989, № 4), ненадолго задержимся на этой теме и поставим вопрос: какой же конструкции должны быть весы, чтобы, отяжелив одну чашу заводами, мы смогли уместить на другой перечень так называемых культовых «ошибок»? Тут и механизм формальной логики забуксует, ибо у «плюсов» и «минусов» нет общей меры. Не вычитать же нам килограммы из километров, а вес промышленной продукции из статистики массовых репрессий.

Тоталитарным режимам дорог сговорчивый ум; когда нужно, он и километры вычитет из килограммов, и гения со злодейством совместит. А stokратно клычатый «абстрактный гуманизм» невосприимчив к механической логике и твердо знает, что оборотная сторона великодушия или «объективности» к палачу — новое надругательство над его жертвами.

Нормальному нравственному чувству не нужны рассудочные подпорки. Выслушивая доводы о военных либо хозяйственных успехах кровавого диктатора, оно оставляет умственную каверзу без внимания, не согласно присвоить тирану «и кванта заслуг», ибо тот поставил себя вне закона и пере-

чень его заслуг заведомо недействителен как противоречащий азбуке человечности.

Пример Гроссмана тут особенно нагляден, ибо и ему, протестанту, неуклончивому искателю правды и антисталинисту, не удалось вовсе отколоться от строя литераторов, обученных хитрой логической алхимии, для которой нет невозможного (каким-то чудом на одни весы ложатся заводы-стройки и... геноцид!).

Убеждаемся: намного проще свалить с плеч груз догматов, чем одолеть инерцию размеренно-скрипучей рассудительности, которая становится опознавательной метой художника эпохи директивного единомыслия. Не всякого, разумеется, художника.

5. ВСЕ ДВЕРИ НАСТЕЖЬ?

В одном из критических выступлений минувшего года, где автор задался целью смазать остроту споров о «годе великого перелома», можно прочитать, что платоновский «Котлован» «рожден душевной болью, реакцией на извращения, беззакония, какими сопровождалась коллективизация» (М. Синельников, «Должны быть все-таки святыни...» — «Литературная газета», № 13, 1988). Ничуть не подвергая сомнению, что разгул насилия над крестьянством отозвался в Платонове душевной болью, усомнимся, однако, что именно ею рожден «Котлован».

Во-первых, повесть не совсем о том и деревня, оглушенная обвалом директив, лежит несколько в стороне от центра действия. Во-вторых, сколь ни похвальна оперативность отклика на злобу дня и острота реакции на «извращения», одобрять Платонова за такие качества значит путать его с кем-то другим.

Перед ним — российская бескрайность, ставшая кочевьем для неприкаянных мечтателей, бродяг нового призыва, чутких и к подземному гулу, разбудившему равнину, и к сполохам на горизонте.

Отыскав «среди этой равнины» подходящий овраг, они стали расковыривать пуповину планеты, дабы заложить основу «будущей башни посреди всемирной земли». Такова завязка. И авторской «реакцией на извращения, беззакония» тут даже отдаленно не веет.

Сквозь платоновскую словесную вязь просвечивает состояние людских душ или даже одной соединенной души, которая дождалась настоящего часа: вот сейчас углубятся, пробьют котлованом «смутное вещество земли», а после башню поднимут («общепролетарский дом»), проколов ею

небеса. Это же разворот во всю вселенскую ширь! Восторг одоления вековой тоски, «скуки жизни»!

Значит, братание и размягченность сердец? Если бы!

Любая трещинка в чьих-то мнениях об одном и том же мигом раздается вибрирующей. Закипает злоба, сыплются агитпроклятья: «право-левый уклон», «оппортунизм», — хрястают скулодробильные удары. Сподвижники лютуют друг против друга, ибо несогласный или брякнувший слово не в попад — реставратор скуки, остудитель пыла, вражина-супостат, явившийся с постной рожей на праздник окрыленных душ.

И не случайно у самой земли, между ног артельщиков перекачивается полный ярости инвалид Жачев, «урод империализма», готовый изуродовать любого, кто пошатнулся или уклонился, — каратель «из низов», вышибала чуждого духа.

А директивная власть? У нее и вовсе пудовый кулак, нацеленный на главных строптивцев — «кулака», «подкулачника», — не готовых организованно воссламеняться и раскручивать планету волчком. Здесь у Платонова директива вырывается из того же бродильного чана страстей, что и проект коммунальной башни для пролетариата или азарт мечтателей землекопов.

И жертвы директив сознают, что против них — стихия. Почти все они безропотно сносят поношения, «выпуклую бдительность актива», тычки и удары, а отобранные для «ликвидации» мужики покорно ступают на бревно плота, не добавляя лишних хлопот активистам-«сплавщикам». Непротивление? Да, и не столько властям, сколько грозным тектоническим силам, разыгравшимся под родным суглинком, силам, рванувшимся наружу через свещ котлована. Моральные заслоны смяты. Энергия нетерпения полуоседлого барачного люда, сельских люмпенов, подстегнутых директивой, раскрепощена. Копившаяся веками, она встретила теперь с государственной агроутопией (тоже поощренной зудом социального нетерпения). Получилась гремучая смесь.

О вспышке разгулявшейся стихии, где перемешаны энтузиазм веры и застарелые, унаследованные обиды, хмель обретенного всевластия над миром и растерянность перед его величием, охота порадеть завтрашнему, лучшему человеку и молодецкое: «Раззудись, плечо!» — обо всем этом мы узнаем из платоновской «странной» картины, в которой бок о бок с людьми действует, к примеру, медведь-молотобоец.

А. Эльяшевич в статье «Приглашение к разговору» («Звезда», 1989, № 1) ставит воп-

рос: «Разве в «Котловане» и «Чевенгуре» Андрея Платонова тема противостояния власти народу не составляет основу повествования?» Нет, не составляет — ответим мы. Отчего же? По той самой причине, по какой формула «протест против несправедливости» ни на полшага не приблизит нас к уяснению пафоса «Котлована»: платоновское «инакомыслие» не укладывается в критические стереотипы. Если Платонов наблюдает сверхъяркие вспышки социального фантазерства, бег наперегонки от заплыванного барака к чудо-башне, где тут, спрашивается, место для показательного размежевания «власть — народ»?

«Сколка» с реальности у Платонова нет. Есть замкнутый в себе художественный мир, существующий на правах спутника возле мира непридуманного с его лихорадочкой социальных страстей, приступов ожесточения либо эйфории. Второй отражен в первом и хотел бы не спеша разглядеть свое отражение. Но первый, как уже сказано, замкнут, отражает состояние второго не зеркально, а внутренним своим строением. Структурой.

В условиях железной централизации, когда учрежден тотальный надзор над всеми сферами жизни, закрытые структуры подозрительны: ведь своим от своих скрывать нечего. А потому объявлять художественную логику какой-то особенной, отличной от логики циркуляров и передовиц значит наносить обиду Хозяину, как бы сужая границы его владений или захлопывая перед его носом дверь, которую следует держать открытой.

Именно такую обиду наносил властям Платонов. И не он один. Наносили Булгаков, Бабель, Пастернак, обэриуты... все те, кто не хотел либо не догадывался держать двери настезь.

А прежняя полуприказная открытость художественных структур никуда не девалась. Получив новые стимулы и меняя идеологические знаки, у многих повествователей она перетекла в горячую публицистичность, дружно одобряемую критикой, которая, подобно начальству, не любит упираться в закрытые двери и подолгу греметь ключами на пороге поэтической тайны. Литература, сбросившая путы многих ограничений, ощутив под рукой жгучий материал, очень редко томит критику на пороге. В большинстве случаев та может входить без стука.

Прозу скрытого действия (новейшую) приходится сегодня отыскивать, словно скиты староверов, затерянные в дебрях, зато на самом виду проза, готовая сво-

бодно и раскованно объясняться с читателем, не утаивая заветных идей.

Читатель, возбужденный новейшими общественными веяниями, быть может, вовсе и не ищет высокого порога условностей (художественных), готов общаться с автором накоротке, то есть как бы «через порог».

А дальше? Пройдут сроки, иным станет настрой публики. И не окажется ли, что образная ткань, прорванная при попытках объясняться с аудиторией напрямую, уныло обвисла? Что, пристально поглядывая на читателя-собеседника, автор невольно отвлекался от дела, рассеивался, сбивался с ритма?

Андрей Битов, тончайший аналитик, уловитель еле уловимых волевых и душевных импульсов, и раз и другой прерывает рассказ о филологе Леве Одоевцеве («Пушкинский дом») ради прямых объяснений с публикой. Обращаясь к ней без обиняков, Битов словно бы не вполне уверен, тот ли взят тон, и за некоторой фатоватостью манеры прячет скованность затворника перед многолюдством.

Изобретателен, блестящ битовский монолог. Но... посреди ярких пассажей — рефлексия и заминка: «Запутали вы нас вашими аллегориями, — скажет читатель». Скажет или нет? Возможно, и не подумает ничего похожего, но реакция автора на собственное подозрение мгновенна: «А вы и не читайте». Прорвалась скрытая взвинченность повествователя. Он хорошо оборудовал свой Пушкинский дом, но, отвлеченный мыслями о публике, вышел наружу, крепко хлопнув дверью, и внутри что-то посыпалось. А как не нарушиться поэтическому порядку, если художник сам себя неволит, пробуя разом быть в двух местах: и в «доме», где обитателей одних не оставишь, и снаружи, где собралась публика, у которой неведомо что на уме?..

6. ЧТО ЗА СТРОКОЙ?

Такой «полукрытой» поэтике, когда художнику-аналитику трудно усидеть в недостроенном «доме» — за порог тянет, особенно резко противостоит сегодня высокотрагедийная проза Варлама Шаламова. Она, кстати, заметно выбивается из потока повествований о казематно-лагерной костоломне времен Ежова и Берии. Если А. Ларина-Бухарина, А. Жигулин, Г. Серебрякова, Л. Разгон общительны, ловят взгляд читателя-друга, идущего рука об руку с ними кругами каторжного ада, то Шаламов замкнут. Ему важно сосредото-

точиться и разобратся, чем заняты души, когда тяготы уже не в подъем и нет места праздному слову.

Подробностями каторжного быта, всем набором пыточных средств, припасенных для узников, у Шаламова размечено пограничье «жизнь — смерть», от которого персонажам не дано отвести взгляд. И от северной стужи им ни под каким ворохом лохмотьев не спастись, потому что и о т т у д а, из-за края, где обрывается жизнь, холодом тянет — не уймешь озноба.

Зарисовка: по зоне в отдалении от работающих под дождем зеков проходит лагерница. Что ж, хоть изредка, но на их горизонте мелькает женщина — в отраду взорам (рассказ «Дождь»). Только мимо лежит ее путь, мимо... Нет, заметила, как стих скрежет инструмента и союзники дружно оборотились в ее сторону, провожают глазами. Отчего же их не подбодрить? Улыбнулась. Подняла руку, указывая вверх, куда-то «в угол небосвода». Ответом на мимолетный знак понимания и контакта стал «радостный рев» мужчин в лагерных робах.

Точная зарисовка с натуры. И только? Но шаламовские зарисовки получают свой настоящий вес и значение благодаря паузам. В паузах слышно нудное бормотанье дождя, под которое продрогшие вымотанные люди что-то скребят или долбят. Зачем? Ради черпака баланды? Едва прорисованные подробности обозначают смутное недоумение узников (к чему вся морока?), которому соответствует рассеянный взгляд в пространство и беглый прищур на равнодушное небо.

Настроение сложилось, но настроение и взорвано — редким явлением существа иного пола. Взорвано ли? Шлепающая по грязи проститутка (низкий статус незнакомки обозначен без всяких околочностей), почувствовав к себе интерес, указывает ввысь, «в угол небосвода». Ее жест можно читать по-всякому. Например, так: «День на убыль идет, скоро пошабашите!» Или: «Дождь помочит, солнце посушит!» Но тем же самым жестом словно бы угадан и рассекречен тайный вопрос узников к небесам: «Это что же за мир такой?» — вопрос, подобный немому воздеванию рук.

Человек В. Шаламова хоть краем души да соприкасается с бескрайностью, хочет пробить глухоту молчаливого и угрюмого мира: «Ты звал меня? Я вот он. Зачем звал-то — на муку и поношение?»

Если, к примеру, у В. Гроссмана узники тоталитарных режимов раздражены умственно, выискивают один против другого

веский довод, то в кругу персонажей Шаламова больше любых доводов весит молчание. Там, где у Гроссмана монолог или сшибка мнений, у Шаламова — скупой жест человека подконвойного, которому интересней не вздорить задним числом с агитпропом, а своей судьбе-конвоирше в самые зрачки поглядеть, нрав ее, быть может, разгадать: при случае он ей припомнит дуло, упертое ему в спину.

В первом случае, когда много умственной диалектики и довод ударяется о довод, искусство как бы вызывает нас на пограничный пункт, где кончаются его владения, для прямых переговоров по ряду общественно-политических вопросов. Во втором до нас никому нет дела, а все внимание обращено, допустим, на проститутку, бредущую через зону. Она бредет, поднимает глаза на притихших зеков. «И тут кончается искусство...»

Или, напротив, — начинается? Во всяком случае — «дышат почва и судьба». Именно судьба и человек, помеченный гулаговским инвентарным знаком, в этом сюжете — протагонисты.

Он — подконвойный, но и она у него на прицеле, обозрима, не вольна укрыться от его последней яростной зоркости, как и весь перекошенный жестокий мир.

Подобного рода сюжет целиком — в границах искусства. Равно как сюжеты «Котлована», «Чевенгура», «Приглашения на казнь». Книги, на разные сроки изъятые из обращения, а теперь украсившие ряды дефицитных новинок, — своего рода наставницы для текущей литературы. В них, помимо частных поэтических достоинств, видно высокое достоинство поэзии, которая целиком полагается на себя, умея нам внушить, что по-настоящему достоверен мир не «отображенный» (любимое словечко теоретиков соцреализма), а присвоенный и пересозданный живым чувством.

А сейчас? Многим ли активно действующим прозаикам близка поэтика скрытых связей и перекличек, где неприложимы рассудочные мерки и где лучшая форма исповеди не речь, а жест?

Успев пропитаться духом просветительского прагматизма, мы очень часто и литературу подбираем себе под стать — ту, которая мыслит по-нашему и о том самом, чем заняты наши головы. А для литературы, мыслящей по-своему и о чем-то своем, с трудом находим место в наших синодиках.

Сенсационным стал бы, к примеру, доклад правления ССП очередному пленуму или съезду, где зазданные перечни открывались именами... Гранта Матевосяна, Люд-

милы Петрушевской, Валерия Попова или Владимира Маканина. И не оттого лишь подобное было бы дивом, что нарушена иерархия сановных имен и тематических предпочтений. Нет, сверх прочего, совершенно неведомо, как непривычное свести к привычному, отыскать в сюжетах этих авторов какую-нибудь выпирающую скобу, дабы, зацепив, вытянуть сюжеты на открытое место и объять «державным» тезисом.

Скажем, при чтении Матевосяна всегда улавливаешь гул, напор большого Времени. Пролетевшие над древней землей Цмакута тысячелетия рассказывают о себе очертаниями гор; караванами облаков, плывущих от моря давним торным путем; звоном ручья, выбегающего из-под ледника; полусонным кружением ястреба над ущельем; натруженным шагом старого коня Алхо, влекущего поклажу к перевалу... Так было всегда. И обитатели этой земли, словно бы приподнятой к небу, наделены особым чувством своей неотрывности от природных циклов, вечного круговорота жизни.

А как же счет ближайших минут? Он, по наблюдению Г. Матевосяна, день ото дня становится все лихорадочней и нервней. Покой вечных гор уже заметно потревожен доносящимся издали, с промышленных площадок, шипеньем пара, запахом карбида, одышливым перестуком механизмов.

Из недавней повести «Хозяин» читатель узнает, что на ближние к Цмакуту холмы уже вползают фабричные думы, что окрестные леса почти сведены, в самом селении царит сезонник либо дачник, что неписанные обычаи земледельцев, пастырей стад вконец распатаны чехардой административно-хозяйственных экспромтов, шумных починов, и взращенный затяжной неразберихой браконьер прицеливается к остаткам неразворванного... Под действием потребительской горячки массив большого Времени оплывает, словно воск, ритмы «большой могучей вечности» (матевосяновское сочетание) слышны все слабей за лихорадочным скоком секунд.

Нет, ритмы еще различимы все в том же рисунке гор, но больше — в трудном и смутном течении дум здешнего старожилы, который теперь как раз думами несуетен, а в ближних расчетах и соображениях суетлив.

Грязевым селем пронеслась над Цмакутом череда перестроек, недостроек, реорганизаций, запретов, утеснений, оставив по себе непорядок в душах, черты безверия, самопопустительства, неопрятной алчности, когда на всякий случай насыщаются впрок из боязни: а вдруг отнимут!

Если верхний, говоря условно, «селевой» слой хоть на минуту соприкоснется с подспудным течением дум, с еще не остывшей памятью о круге родства «мы и наши горы» — тут же пробегает искра, сшибаются полярные силы, и человек, чья душа сделалась ареной их сшибки, буйствует на ровном месте, словно бесы в него вселились.

Такого рода невротические вспышки и раз и другой зигзагами прочерчивают весь образный строй этой эпически неторопливой прозы, высвечивая ее скрытый драматизм.

В первой книжке «Нового мира» за текущий год мы прочитали: «Вот какое новшество произошло на этих днях, на наших глазах: Вечность канула в Лету. Вместо Вечности — Выживание...» — таково заключение Сергея Зальгина. Новшество и впрямь жутковатое, горькая очевидность, от которой теперь не укрыться. Но еще в 60-е одним из первых, если не первым среди нынешних авторов, о близости экологического кризиса предупредил нас Матевосян. И принялся выяснять, надолго ли еще хватит «большой могучей вечности», которая на приараратском высокогорье почти осязаема, и как растянуть ее запасы.

В глубине матевосяновской строки, на втором или дальнем плане эпизодов из жизни Цмакута, развертывается противоборство укорененных начал бытия — и стихии моральной анархии, безначалия. Накал схватки разогревает строку. Туда, где всего горячее, стягиваются главные линии действия. И хотя схватка впрямую не прокомментирована, хотя ее место — междустроичье, именно ею сцементирован весь художественный состав этой прозы, верной своему внутреннему закону и независимой от любой из сопредельных систем речи.

Однако закон законом, а темперамент повествователя не всегда с ним в ладу: ведь буквально на глазах рвется цепь Времен. И авторский голос вдруг вклинивается в хор персонажей, припечатывая хлестким словом кого-нибудь из тех, на чем облик — особенно резкая печать суетности и для кого вовсе оборвалась нить традиции.

Значит, и тут взломан рубеж между поэтической и ораторской речью? Если угодно. Только на сей раз от подобных инцидентов есть даже свой прок. Какой именно? Ну, скажем, если у вас на глазах из натопленной бани люди прыгают в сугроб, вы, наверно, не о том подумаете, как им на снегу зябко, а о том, как же их там, в парилке, проняло.

При всплесках публицистического темперамента Матевосяна примерно тот же эф-

фект: границы поэтической условности как будто прорваны. Но прямое авторское слово, крутой приговор персонажу не столько нарушение, сколько продолжение скрытого сюжетного действия, в зоне которого настолько горячо, что оно переплещивается через край или пусть через границу условности. А такое нарушение границ не в ущерб целому. Скорее во благо.

7. «ЧУВСТВО ЖИЗНИ»

Поиски знакомого в непривычном, подгонка новых поэтических идей под готовые рубрики — наше давнее увлечение. Когда Владимир Маканин рассказал о двух романтиках общественного обновления, разбуженных «оттепелью» 1956-го, а затем сникших (повесть «Один и одна»), критика почувствовала себя уязвленной и потянула маканинских персонажей к ответу: а какое у них, неудачников, право говорить и действовать от лица славного поколения «шестидесятников»? Замечательный опыт пересадки собственных мыслей в голову прозаика!

Откуда стало известно желание Маканина придать своим неприкаянным одиночкам черты типичных предстателей? Из тех же, видимо, источников, какими пользовались новейшие ценители «Котлована», чьи суждения здесь уже приводились. Помните? В одном случае основной платоновского повествования была объявлена «тема противостояния власти народу», в другом провозглашалось, что «Котлован» рожден болезненной реакцией Платонова на эксцессы раскулачивания и авральной коллективизации. Не самообман ли?

Героям маканинских повестей сквозь сеть ближайших обстоятельств видно собирательное «обстоятельство» — Жизнь. Они — каждый на свой манер — прилаживаются к ней, этой «реке с быстрым течением» (название одной из маканинских повестей), рассчитывая хотя бы взбуровить воду, которая несет их куда-то, либо, не надеясь на себя, бросают грести и отдаются течению.

Но в любом случае им важно перемолвиться с Жизнью, реплику ей подать («За что давишь?» или: «Врешь, не возьмешь!») — главной своей собеседнице, с которой — самый длинный разговор.

В текстах Маканина почти всегда сквозь ближайший план просвечивает особый сквозной сюжет о том, как душа персонажа силится объять необъятное — Жизнь. Тут и труд души, и негаснущая эмоция, у кото-

рой нет обиходного обозначения (Платонов говорил: «чувство жизни»). И эта эмоция — тайная суфлерша, даже распорядительница более отчетливых и оперативных чувств.

Маканинские люди — пловцы по реке быстрым течением. На тех местах, где бег реки ровен, они вдруг принимаются усложнять и разнообразить свой заплыв, отмахивая саженками, ныряя, пробуя достать дно (способ пересечения русла поддонным путем описан в «Утрате»), поднимают тучи брызг или, напротив, отдаются воле стихии.

Что же их роднит? Раньше всего чувство длинной дистанции, привычка оглядываться, прокручивать про себя, наподобие видеоленты, весь отмеренный им путь — от старта до финиша.

Иное у Матевосяна. Его людям не свойственно рефлектировать на тему «Моя неповторимая судьба». Их сильнее беспокоят судьбы рода, крепость союза «мы и наши горы», сохранность старины. И если Маканин незаметно вводит нас в особые видеозалы, где персонажи смотрят удлинненную программу — каждый про свой удел и капризную повелительницу Жизнь, то у героев Матевосяна и видения, и смутные думы все больше про уходящую древность родной земли, вольный дух гор, к которому уже подмешана вонь карбида.

Но при всем различии русского и армянского прозаиков у обоих за ближайшими, ясно обозначенными поворотами действия открывается долгодействие, своего рода длинная «интрига» между потоком Времени и силами души, ее молодым порывом и остужающим знанием: «Ничто не вечно».

Рассказ о подобном долгодействии обращен к тому уровню нашей духовной восприимчивости, куда не пробиться ни пылкому слову проповедника, ни деловой речи социолога либо очеркиста.

Вот и «Котлован», «Чевенгур», рассказы Шаламова — из разряда книг про вселенское поприще души, которая к своим тайнам никого, кроме художника, не подпустит.

По утверждению Есенина, «слово, прорывающее подпокрышку нашего разума, беззначно». И слово художника о душе, ее тягбе с основами мироустройства особенно убеждает, когда оно литерами не набрано. Беззначно. Стремится убеждать и сегодня, в условиях новорожденной гласности, повышенного спроса на открытое веское слово, которое никак «подпокрышек» не прорывает...

8. ПОЧВА И «ФРУКТЫ»

В период брежневского застоя наша городская проза нашла и выставила на общее обозрение тип душевно разболтанного и крайне повадливого современника, в чьей практике грех странным образом перетекает в добродетель, а добродетель припахивает пороком.

Обозвав этого морального кентавра «амбивалентным», критика распространила свое неудовольствие и на прозаиков («С кого они портреты пишут?»), не упуская, однако, случая с толком и расстановкой порассуждать о дурных наклонностях «амбивалентного» героя. Меньше — о взрастившей его среде (на среду, уклад, систему тогда не поднималась рука).

Между тем проза (а следом театр, кинематограф — вспомним «Полеты во сне и наяву»), дивясь открытому ею типу, бросала косые взоры окрест: свой ведь он, кровный, вспоен-вскормлен не зарубежьем, а на диво развигитым обществом!

Психологическая приметливость авторов прямым путем вела их к социальному критицизму: вот он, налитой едкими соками плод наших воспитательных усилий, надкусываем, морщимся и вправе судить о стволе, корнях и почве, откуда корни тянули соки. И хотя критика вставала горой за высокую репутацию нашего общественного уклада, социальной почвы (на которой не должно быть места недостойным «фруктам»), сам непредвиденный персонаж шаггал широко по страницам прозы, формируя целую отрасль словесной индустрии.

А что, собственно, в том худого? Разве не почтенна писательская задача уловить опасное поветрие, выволочь из тени на яркий свет эгоцентрика новейшей формации: вникайте, граждане! Кто же спорит — почтенна. И общество вправе ждать от литературы регулярных бюллетеней о состоянии своего нравственного здоровья, о появлении тревожных психологических поветрий или синдромов. Но вправе ли сама литература довольствоваться составлением таких бюллетеней? Хлопотать внутри очерченного (социальным заказчиком) круга забот?..

Еще совсем недавно задача запечатлеть душевно всклокоченного горожанина, уязвить, если угодно, им общество, прирученное к лести, мыслилась не просто граждански смелой — творчески масштабной.

Нужен был нынешний ренессанс «задержанной», загнанной в подполье культуры, чтобы по контрасту с нею обнаружился практицизм даже той словесности, кото-

рая умело, тонко, с вызовом царящей рутине портретировала «амбивалентного» героя.

Впрочем, практицизм творческих установок новейшей прозы нередко обманчив, не так-то она бывает проста и беззащитна перед нашей искушенностью. Откройте, например, книгу рассказов Людмилы Петрушевской «Бессмертная любовь» («Московский рабочий», 1988). Окиньте взглядом пеструю вереницу ее персонажей. Наверно, «амбивалентные» эгоцентрики из городской прозы 70-х — начала 80-х покажутся рядом с ними воплощенной респектабельностью, лишь несколько опрометчивой в минуты морального выбора. Но, челочно двигаясь между полюсами добра и зла, они по крайней мере держались своего порядка, вычерчивали повторные зигзаги, не слишком сбивая с толку наблюдателя. У Петрушевской же люди двигаются, перескакивают от выбора к выбору непредсказуемо, словно подражая полету моли. А в душах у них — броуновская толчея побуждений и склонностей.

В центре большинства сюжетов «Бессмертной любви» — случаи-вспышки из чьих-то путаных-перепутанных биографий, служебных или семейных отношений, фрагменты судеб с зазубренными краями. И голос повествующего лица — обычно служилой москвички средних лет — ни одной модуляцией не предскажет плавного причала впереди. Только новую качку на житейской зыби.

Мы слышим бойкую речь эмансипированной и компанейской современницы, для которой любой непорядок — в порядке вещей. Привычной скороговоркой, как бы с хрипотцой и как бы выпуская сигаретный дым после затяжки, она выкладывает свои обыкновенные истории либо их обрывки, с лета вторгаясь в область интима, без запинки произнося весьма рискованные словечки и не делая больших глаз при виде удивительного, которое у нас всегда рядом.

Стилистикой, лексикой, тоном рассказов нам явлен тип молодой женщины, ветерана застоя, готовой в два счета рассеять любое из ваших недоумений, доказав повторность всего уникального и заурядность любой фантазмагории.

И одному лишь потоку времени дано смутить закаленную душу. Стоит его шуму достигнуть слуха, вдруг делаются по-особому приметны обвисшие щеки сослуживца или соседа, чей-то погасший взгляд, сеть ранних морщин. И всплывает такая, скажем, ассоциация: отмеренный нам путь подобен глинистому полю, по которому бре-

дешь, увязая и скользя, не ведая, где же край («Через поля»).

Или все же ведая? Упомянутая ассоциация у Петрушевской нетривиальна как раз потому, что ее персонажам не дано позабыть, что сразу за глинистыми буграми обрывается Время. И они затевают на вязкой почве утешительные игры, ища партнеров, с которыми удобно отвлекаться от веяний оттуда, где обрывается «поле».

Особенно удачно скооперировались для утешительных игр участники еженедельных дружеских застолий из рассказа «Свой круг». За каждым из тех, кто сюда вхож, закреплена роль, исполняемая обычно со старанием, но без подъема и вопреки склонностям: один (молчун и скромник) изображает похотливого сатира, другая — валькирию; особа баскетбольного роста поочередно плюхается на колени мужьям своих подруг (хотя к сильному полу ее вовсе не влечет); сама же героиня-рассказчица упражняется в злословии, говорит приятелям гадости, восстанавливая компанию против себя: пусть ей будет хуже!

Иными словами, всегдашатаи Дружеских слетов жмутся друг к другу, боясь при этом обнаружить потерянность, незащищенность и оттого бравируя напускным цинизмом: мы, мол, бывальые, тертые, так просто в руки не даемся! Подростковый, в общем, синдром самоутверждения через дерзкую позу и вызов.

«Жестокий реализм», — говорят о рассказах Петрушевской, где продрогшие безопорные души отвешивают миру столько-то «фунтов презрения». Или еще было произнесено: «другая проза». Значит, автору свойственно острее всего приглядываться к неприглядному. И только-то? Но ведь проза жива движением мысли...

Вернемся к «Своему кругу». Ткань рассказа про растерянных граждан, их дерганья под ритмичную музыку, про перетасовку супружеских пар внутри тесного союза прошита нитью сквозной интриги. Оказывается, героиня-повествовательница держит марку начинающей ведьмы не просто из любви к ломанью, а с дальним прицелом. Ей важно прослыть сущим монстром и непременно плохой матерью, чтобы обеспечить жалость и опеку всего «круга» сыну Алеше.

Что за фантазия? Не станем спешить. Интрига — дело умственное, и к затеям ума тут нужно присмотреться.

В своем месте о героине другого рассказа было замечено, что она «умна каким-то коротким умом». Притом за это свойство ей не приходилось дорого платить. Напро-

тив, ему она более всего обязана неким подобием семейной идиллии («История Клариссы»). У повествовательницы из «Своего круга» ум как раз «длинный», и мотив «я — умная» не затихает в рассказе.

А момент высшего обострения этой темы у Петрушевской весьма рискован: отлично освоившись с ролью местной ведьмы, мамаша-рассказчица на глазах у оторопевших приятелей жестоко избивает своего мальчика, удовлетворенно отмечая про себя выкрик подруги: «Лишение материнства, вот что!»

Пока мы следили за тем, как разматывается клубок взаимоотношений внутри «своего круга», понемногу прояснялась подоплека ядовитых выходов и выпадов главной героини, ее плохо скрытой нервозности, эпатирующего тона: да она самой же себе зубы заговаривает. Ей ведь жить самую малость осталось: уже налицо все симптомы наследственной болезни, которая незадолго до того свела в могилу ее мать. И, приближаясь к последней черте, героиня изобрела головоломный трюк, прямо-таки шахматную комбинацию с целым каскадом жертв, оплевала себя в глазах приятелей, дабы выиграть в главном — обеспечить Алешке надежную опеку.

Дичь, шизофренический вывих на почве отчаяния? Нет, зачем же. Все исполнено по плану («Мой расчет был верным», — трезво замечает рассказчица). Но неужели возможна такая гримаса рассудочности, подмявшей под себя простой и властный инстинкт, материнскую, женскую природу? Поверить почти невозможно, конечно, если не принимать в расчет успехов нашего истребительного наступления на природу — безгласную, а равно и одушевленную. Женскую — в частности. Не заплачено ли за эйфорию всевластия над природой притуплением не только морального чувства, но и жизненнозащитных рефлексов?..

Сейчас, однако, наша речь не о том, вполне ли достоверна в рассказе патология скандальной выходки героини, ее жестокости напояк. Речь о внутреннем сюжете этой прозы, где присутствует полузабытый нынче элемент — интрига.

Обычно благодаря развороту интриги проза выглядит подтянутой и энергичной, мускулатура ее напряжена и рельефна, лишнего веса нет, а окрестный мир бодр, соизъятелен, материален и упражняет людские души на своих освещенных площадках. У Петрушевской же площадка устроена с наклоном и без страховки; совсем рядом — обрыв и крошечность. И героиня, против себя же интригуя, соскальзывает к краю.

А с нею и приятельский синклит (где каждый вцепился в соседа) тоже немного скользит.

И не удивительна судорожность вакхических утех «своего круга», захлеб злословия, острословья, натужное залихватство, перлы интеллигентского эротического фольклора, а все вкупе — род местной анестезии, примерка клоунских масок с уголками губ вверх, тогда как под масками уголки губ опущены, на лицах — печать недоумения: чем же себя занять — не на вечер — на годы (сколько их там впереди?), к чему приспособить...

На самом виду — кружение масок, суета, а за суетой и мельканием — тяготы духа, который опор не нашупал, а вынужден держать ответ за целую судьбу. Эмоциональный поток двоится. Скоротечному оживлению застолий и амуров возражает долгосрочная озадаченность — как быть с собою? Ритм работает сквозь ритм. Деловитость интриги корректируется неотвратимым для героини и близким исходом, против которого не затеешь интриг.

Так что «словоохотливый» вроде бы текст — скрытен. Знает не просто более того, о чем прямо говорит, а — другое.

О ком у нас только что шла речь? О тех прозаиках, у которых твердая, укатанная повседневность подобна тонкому льду, под ним — глубина потока времени, совокупного опыта поколений, и люди, торопясь и опьяняя, отзываются на колебания толщи под тонким льдом. Сама же проза держит в поле зрения эту черту отзывчивости, более того — вводит ее в свою структуру.

Тут водораздел: для литературы деловито-рассудительной колыбель души и законодательная инстанция — социальная среда, для Платонова, Шаламова, Матевосяна колыбель души и духа — совокупный опыт поколений. Первая питает слабость к афоризмам: «Личность — продукт среды и воспитания», «Все мы — дети своего времени», у вторых есть возражение: «Разве тысячелетия бездетны?»

Повествовательная ткань у этих (и родственных им) художников сверхпроводима, отзывчива даже на слабые душевные импульсы; сквозь шорох обложного дождя позволяет уловить ропот узников против судьбы-мачехи; спад, откат волны общественного возбуждения понять через расслабленный жест, шаркающий шаг и сбереженные «остатки чувства» вчерашних энтузиастов обновления...

Выясняется: где тонко, там не рвется, то есть не рвется диалектическая связь, «воля

Истории — самостоянье человека», крепкая традиция, воспринятой от старого, директивного искусства.

Литература, недавно возвращенная, и произведения таких авторов, как Матевосян или Маканин, сомкнули фронт и против самих затверженных доктрин, и против методики ткачества ими по темени, против логических схем, «матриц», с которых снимались оптические очередных догматов.

Когда Сталин объявил социализм построенным полностью, но не окончательно, он принуждал умы разводить врозь слова одного значения, будто подкову разгибать. Упорно внедрялась практика логических уловок и спекуляций. Как при нем, так и позднее, умы, дабы не сбиться с четкой линии, вынуждены были упражняться в пустой, но предписанной софистике. Занятие иссушающее.

И разве не о том рассказала Л. Петрушевская, как женский ум ее героини («Свой круг») стал умом-извращенцем, выучился довод нанизывать на довод, будто колючую проволоку разматывать, дабы оплести ею и подавить естество?..

О проволоке-колючке сталинских, ждановско-сусловских доктрин, о лагерном режиме для умов и душ говорится часто. Кажется, настала пора уточнить: идеологической муштрой задевались тончайшие структуры сознания, мысль, едва успев зародиться, получала проникающую травму, под угрозой оказывалась сама способность к суждению, отличному от патентованного.

Иными словами, своего заклятого врага — духовность — тоталитарная система наловчилась душить уже в колыбели.

И как раз на этом уровне опорных навыков сознания тоталитаризму возражало искусство. Возражало особенно веско, когда оставалось собой, не затевая с идеологами режима семинарских диспутов.

Умственная бутафория тоталитаризма хотя бы издали похожа на что-то путное, некий плод теоретических усилий. Писатель-полемист и тираноборец сокрушает ее целенаправленно (выполняя работу, которая вполне по плечу публицисту или социологу) и вынужден подолгу распутывать хитросплетения казуистической логики (смотри внутренние монологи Сталина и его приспешников в новейших «антикультовых» романах), отдавая щедрую дань гимнастике ума. А у Платонова, Зощенко, Бабеля обломки такой бутафории, вся барабанная риторика умело вправлены в раму авторского стиля, остранны, работают на образ времени, вздернутого на дыбы (а если жестче — на дыбу).

Писатель, занятый прямым развенчанием тоталитаризма, шагает в пешем строю бок о бок с историком, социологом, публицистом. Но те — кадровые «военные», а он — ополченец, вынужденный осваивать тактику ближнего боя, когда в ход идут рассудочные аргументы. Напротив, поэт, который, по Цветаевой, «издалека заводит речь», не покидает своей территории, выталкивая противника в иное измерение, где реален вес духовных ценностей, почти осязаем поток большого Времени и где у тюремщика душа сплошное мелькание в глазах.

Против любой словесной конструкции, скрепленной «значит», «следовательно», «исходя из...», у него свой набор конструкций, а за поэтической мыслью ему не уследить. Погоняйся-ка с дубинкой за солнечным лучом!

Как пресекается прямое вольнодумство и

опрокидываются чуждые «платформы»? Приемов хватает. Как приструнить альтернативный тип сознания? Задача со многими неизвестными (что такое, к примеру, Вечность, Бытие, Душа?..). И слава богу: должна ведь среди открытых форумов, политических, научных, полу- или псевдонаучных словопрений оставаться зона альтернативного мышления («инако-мыслия»), где спекуляция «повадливому уму» вне закона и где нематериальная субстанция — Душа — гораздо реальнее.. прокатного стана!

Сегодня, когда художники дружно спешат на форум (поводов к тому достаточно), особенно важен союз возвращенной классики и той новейшей литературы, которая и в строке, и в междустрочье хранит высшую правду с мире и человеке.

Лучший способ хранения, нежели тот, каким владеет поэзия, кажется, не придуман.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Елена Ермилова. Там осеняет землю сад... — Марина Новикова. Круг и путь.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Сергей Ушанов. Меж информацией и интуицией.

Литература и искусство

ТАМ ОСЕНЯЕТ ЗЕМЛЮ САД...

Анатолий Передреев. Стихотворения. М. «Советский писатель». 1986. 158 стр.
Анатолий Передреев. Любовь на окраине. Стихотворения. М. «Советская Россия». 1988. 158 стр.

Сборник «Стихотворения» — последний прижизненный сборник поэта Передреева, «Любовь на окраине» — первый посмертный (еще им самим составленный). К глубокой нашей скорби, с 1987 года поэзия Передреева начала свою новую, самостоятельную жизнь, отдельно от ее автора.

Она теперь может предстать перед нами как законченное целое, беззащитное перед историко-литературным анализом и обобщением. В этом посмертном осмыслении для тех, кто хорошо знал Передреева-человека, — особая трудность... В стихах Передреева есть нераздельность человеческого «я» и «лирического героя» — попросту говоря, поэтическая честность. Ее последнее, крайнее проявление в том, как надолго Передреев переставал писать стихи, когда угасал дух, слабел лирический напор (по причинам личным ли, или «общественным»). Он был мастер, профессионал, он умел писать стихи, ему ничего не стоило создать более или менее удачную лирическую конструкцию, но ему это было неинтересно и скучно.

Он вошел в поэзию победно, легко — как многие входили в те шестидесятые.

В стихе его сливались экспрессия и «деланность», что тоже не было резко индивидуальным свойством. Как и многие, он прошел «школу» Бориса Слуцкого, и это была хорошая, плодотворная учеба. Властная, гяжелая поступь этого стиха отозвалась в ранней поэзии Передреева — в синтаксической обстоятельности, в замедляющих стих повторах и «переносах», в прозаических деталях:

Когда с плотины падает река,
Когда река свергается с плотины...

В вагон вошел я по билету,
А ехать мне четыре дня...

Но по лестнице известной гряды — «манера, лицо, стиль» — надо было суметь и отказываться от наработанной налаженной манеры, от ее жесткого каркаса, чтобы проступило «лицо» и главная поэтическая тема.

В это время поэзия и проза совершают огромной важности открытие: «Равнина. Родина. Земля», — открытие, которое сразу оказалось полным глубокой внутренней тревоги. Несколько пренебрежительное наименование «тихая лирика» было, конечно, ус-

ловным. Если и была тишина, то отнюдь не идеалическая:

Как случилось, как же это вышло —
Вместо игр и песен тишина...
Все, что было здесь, ушло неслышно,
Лишь все та же надо мной луна...

В сущности, это та же «тишина», что в известных есенинских стихах:

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

Именно эта тишина так глубоко осознана и так гнетет душу в стихотворении Передреева «Баня Белова»:

Бескрайние эти великие дали
Мне душу безмолвьем своим угнетали.

Отношения поэта с миром природным сложны и лишены идеальности. Во всяком случае, классическое, некрасовское «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор» выступает лишь как одна сторона этого отношения: внезапное открытие, а не заданное переживание, — «словно в первый почувствовал раз».

Ты, как прежде, проснешься, поэт,
На рассвете летящего лета.
И, как прежде, встречая рассвет,
Ты опять не узнаешь рассвета.

.....
Ты стоишь у ограды сырой,
И душа твоя бедная рада,
Что меж вами — тобой и зарей —
Только тихая эта ограда...

Тут есть и соблазн безотказно привлекаемого штампа. Ведь вспомнив «полей нетронутую даль», так легко почувствовать превосходство над суетным, оторванным от почвы горожанином. Но —

Но летит надо мной колокольня,
Но поет пролетающий мост...
Я не вынесу чистого поля,
Одиноко мерцающих звезд!

«Я не вынесу» — конечно, не потому, что мне это чуждо, что я безнадежно оторван от таинственного бытия природы. Но прикосновение к ней требует такой полной и подлинной отдачи всего существа, такой душевной сосредоточенности, которые трудно вынести, если это всерьез. А поэзия Передреева совершенно правдива.

И как здесь точно стоит эпитет — «бедная душа». Или в другом месте (в сходном контексте): «С душою бедною своей, как с нищею сумою». Так только — смирившись и умалившись — и может он прикоснуться к природной, космической стихии, одновре-

менно и возвышающей и тревожащей «бедную душу».

Тревога эта и как бы настороженность живет и в других стихотворениях, там, где поэт оказывается, скажем, лицом к лицу с миром ночной природы:

И все живет вокруг, толпится,
И по мерцающей земле
Идет ко мне, и прячет лица,
И вновь скрывается во мгле...

Этот мир может предстать и вовсе пугающим, подстерегающе тревожным:

И в поле чистом, в поле чистом,
Над лунным сумраком дорог
Всю ночь проносится со свистом
Такой знобящий ветерон!

Тут еще одна тема Передреева; создания рук человеческих, элементарные продукты цивилизации выступают как защита от этой чрезмерной ответственности, от «страха ночного», от знобящего холода из космоса. Всплывают фары случайной машины — и разрушается опасное обаяние ночного мира:

И все в ночной и одинокой
Душе моей очнется вдруг
И ответится на далекий
Живой, работающий звук.

Поэт не стилизует себя под одинокого отрешенного созерцателя, способного один на один встретиться с природным, космическим миром. «Я не вынесу чистого поля...»

Поэтому самые главные, самые «представительные» стихи поэта — об окраине, олице, лебеди у дороги, о том пограничном, порой мучительном, бытии, которое ему так внятно, так совпадает с его душевным состоянием. Думается, что «Лебедь у дороги», как и «Окраина», — стихи символические, выражающие в равной мере и сложную бытовую реальность, и состояние души поэта. И некую идеальную действительность («...владенья совершенства»), в существовании которой поэт не сомневался. Это мир, «в котором все в цветенье и разгаре», это тот «безмятежный сон», который видит «мертвый сад» (в одноименном стихотворении) «за стужего железной»:

Там осеняет землю сад
Таинственною коуцей,
Листвой, летящей наугад,
Оградю цветущей.

Он обнимает небосвод,
Звезду легко колебля...
И соловей его поет
Во мгле великолепья.

Если попытаться выделить ведущую черту лирики Передреева, ведущую в буквальном смысле, то есть динамическую, формирующую идею, то это, наверно, и будет

та страстная, иногда напряженная жажда гармонии, совершенства или хотя бы благообразия, которая владела Передревым — человеком и поэтом. Это было сознательное «умирение», одоление хаоса жизни — внешнего и внутреннего. Он мог бы сказать вслед за близким ему В. Ходасевичем:

Нелегкий труд, о Боже правый,
Всю жизнь воссоздавать мечтой
Твой мир, горящий звездной славой
И первозданною красой.

Ему важно отстоять чувство живого, гармонического, разумного космоса от угрозы хаоса или холодной пустоты Пространства:

Где вы, где вы во Вселенной,
Хоры стройные светил?
.....
Бесконечностью пусто
Мчат миры, себя круша,
Нет у неба над тобою,
Беззащитная душа.

Так зачем порой ночью
Ты глядишь в него, глядишь
И не с черною дырою,
Со звездой говоришь.

Несмотря на то, что тишина над «родной забытой» напоминает скорее кладбищенское безмолвие, чем «врачующий простор», поэт не может примириться с умиранием деревенской России, с тем, что «все пути ее, дороги ведут отсюда — не туда». У него есть очень печальное стихотворение «Свети, как прежде, надо мною...»: после высказанной надежды («Не станет прошлою страной моя прекрасная страна») поэт обращается к себе или к читателю с заклинанием: «Не верь»:

Не верь, когда обступят тени,
Что там, в мерцающей траве и вод,
Она живет во мгле видений
И мертвый водит хоровод.

Четыре строфы о печальном запустении ведут за собой единственное краткое опровержение, которое уже почти не в силах перевесить их горький смысл. И только одно в конце противостоит распаду: «И остается незабвенной лишь мать печальная одна». Этот вечный и святой образ всегда обозначает у Передрева возвращение к единственно прочным ценностям. В «Обруче» — одном из самых ранних стихотворений — судьба вырывается из рук поэта («Мой обруч получил такой разгон, что долго впереди меня катился») — и возвращает его к истоку:

Все тоньше, тоньше пело колесо,
Все глуше отзывалась мостовая...
Все ближе, ближе улица кривая
И матери печальное лицо.

И в одном из самых поздних стихотворений, в «Бане Белова», именно дом друга и сияющие глаза его матери возвращают поэту веру в прочность и неизменность светлого начала, в неокончателность смертного оцепенения:

И сразу просторы исполнились смысла,
И небо иначе над нами нависло,

И дали, что с новой встречаются далью,
Уже не дышали такою печалью.

Все сделалось радостней, стало
прочней —
Земля при деревне и небо при ней!

Те, кто знал Передрева, помнят, насколько это было личным его свойством — глубокое уважение к дому: к каждому в отдельности и к Дому вообще как воплощению мира и «лада». Его страстная жажда гармонии и благообразия выражалась в быту настойчивым стремлением — и, надо сказать, настоящим даром — создавать вокруг себя атмосферу идеального общения, в которой каждый раскрывался бы с самой прекрасной своей стороны. Конечно, никакой идиллии и тут не было: скорее это было и инстинктивное и сознательное обережение себя от грозящего со всех сторон, а также изнутри неблагообразия и хаоса.

Передрев создал страшные стихи о сжигающей нас беде — всенародном пьянстве (они впервые опубликованы), которому и сам отдал дань, которое в конце концов и свело его в могилу.

.....
Не беду, не тоску разгоняют,
Просто так соберутся и пьют.
И не пляшут совсем, не гуляют,
Даже песен уже не поют.
Тихо пьют¹. Как молятся — истоиво.
Даже жутко — посуду не бьют.

.....
Люди пьют... Все устои рушатся —
Хлещут насмерть, не на живое.
Разлагаются все содружества,
Все сотрудничества и супружества, —
Собутыльничество живет.

Это было пророчество, потому что в годы, когда стихи писались, был еще в этом море и разгул и размах, был «аполлоно-григорьевский» гитарный надрыв, еще ясно слышался «знакомый звон забытых бубенцов», и была атмосфера доверия и открытости, которую так любил и так умел создавать Передрев. Жесткая и темная тоска наступила позднее. И все труднее и реже давалось поэту в жизни и творчестве соз-

¹ Удивительно, как в этой «тихой лирике» тишина все время обнаруживает какой-то зловещий смысл.

дание этого «лада»... «Нелегкий труд, о Боже правый...»

Как и Ходасевичу, для «воссоздания» изначальной красоты мира Передрееву необходим был тот же посредник — русская поэзия XIX века. К этому миру может быть разное отношение: можно ощущать его как традицию или наследие (еще синонимы: «сгусток», «памятник», «вещь»), которое можно по желанию принять или отвергнуть. Ныне широко распространена «поэтика реминисценции»; цитаты, как застывшие, окончившие свою жизнь в вещи, располагаются на письменном столе современника рядом с другими вещами — телефоном, лампой и пр. Для Передреева этот мир — непреложная и непреходящая реальность, — подобная реальности живого, цветущего сада в его «Мертвом саде», хотя ее голос в ны-

нешнем нашем запустении до нас почти не доходит.

В стихотворении «Романс» поэт просит Друга:

Настрой же струны на своей гитаре,
Настрой же струны на старинный лад,
В котором все в цветенье и разгаре —
«Сияла ночь, луной был полон сад».

Строчка из любимого фетовского стихотворения сама выступает как воплощение живой и трепетной жизни, в которой навсегда «все в цветенье и разгаре». И смиряясь перед этим цветением, поэт готов сделать собственные строки как бы рамой — для распахнутого окна в ту вечно сияющую благодатную ночь...

Елена ЕРМИЛОВА.



КРУГ И ПУТЬ

Л. А. Аннинский. Три еретика. М. «Книга», 1988. 352 стр.

Не верю глазам своим. Лев Аннинский выпустил книгу — и о чем же? О русских классиках XIX века, да притом классиках «второго ряда»: «этнографах» уездного захолустья, монастырей, семинарий, мастеровых артелей, раскольничьих скитов. Положим, писал он о классике и раньше. Так ведь когда — в глухую пору листопада, под занавес застоя, тогда все спасались классикой. И о какой — Лев Толстой в киноэкранизациях. А сегодня, сейчас, когда все — или почти все — про всех можно? Сейчас-то зачем?

Впрочем, предупреждал С. Чупринин в предисловии к книге: Л. Аннинский сам «еретик», под стать своим персонажам. Испытал «эйфорию пятидесятых — шестидесятых и похмелье семидесятых — восьмидесятых (первой их половины)», но не вписался полностью ни в то, ни в другое, а все норовил высказать особое мнение. Особенно особое, добавлю я, по жгучему национальному вопросу.

Хотя жгучим он в 50-е годы еще не казался. И писал Л. Аннинский тогда о произведениях оттепели, «ничейных», ибо «всеобщих». Потом, с исчерпанием таковой, двинулся вглубь и вширь — в «республиканский материал». Который и обжег сразу же нестандартным нацвопросом. Но и критик ответил нестандартно: принялся читать этот материал под углом зрения не всякого читателя, а читателя русского (книга «Контакты»).

Восприняли книгу как очередной эпатаж и выбрык. С мест вежливо недоумевали: зачем это москвичу, постороннему?.. Из центра: зачем это такому блестящему критику? Прошло менее десяти лет; нацпроблема развернулась во всю; «русский вопрос» тоже — тут бы и пожать лавры и войти в общее русло.

Л. Аннинский опять еретичен.

«Русский вопрос» в его новой книге — не тезис и не антитеза (к примеру, вопросу «масонскому»), не идеологема, не знамя и не клич. Тогда что же? И почему ставить этот вопрос автор вознамерился на классических примерах?

В книге два сюжета. Сюжет первый — броский, но побочный: «либеральный террор». Цена, которую платила печать по-реформенной России за отвоеванное право полного — или почти полного — голоса, прямой — или почти прямой — политической речи. Зрелище для потомков знобюще-страшноватое и поучительное. Режут в газетах и журналах тогдашних по живому, хоронят целые писательские репутации. То есть в условиях, когда иные способы выражения социальной мысли отсутствовали, перекрывают единственный кислородный шланг.

Не приходится оговариваться, что Л. Аннинский не путает «Отечественные записки» с «Русской речью», вялую «Русскую речь» с огнедышащим «Русским сло-

вом», а дальше и вовсе журналы «за пределами спектра». «Колокол» по одну сторону, «Русский вестник» — по другую. «Инфракрасная» революционность — и «ультрафиолетовая, презренная, адская бездна» реакции.

И все же... Реакционеры, официоз, цензура, осведомители штатные и самодеятельные — те еще ладно. Те могут (бог милостив) хоть что-то проморгать. Прогрессисты — талантища; нюх гончий, перо убойное, авторитет неформальный; эти не упустят: все «не свое» обнаружат и в порошок сотрут. Как были разгромлены за «антинигилистические» сочинения три писателя, герон Л. Аннинского.

Так что сетующим — по части нынешних ледовых побоищ публицистики — поставлено ретроспективное зеркало. Было уже, было. Могучее, лихое племя, богатыри, не вы. Плюрализма не хватает? Альтернативного мышления? Так припомните прапрадедушек, которые альтернативное мышление дубиной мозжили.

Ну-ну. И это — побочный сюжет? Для Л. Аннинского — несомненно. Эту проблему лично он лично для себя уже прошел и решил. Его проблема нерешенная, лишь нутром, социальным и художническим, у чужая — другая. Она во втором сюжете.

Сюжет — о русской почве и корнях. Или, в транскрипции Л. Аннинского, о дебри. До-прогрессистской, до-либеральной, до-радикальной, «до-петровской». Как, не о Писемском? Не о Мельникове-Печерском? Не о Лескове? Нет, и о них, конечно, — постольку, поскольку они несут в себе дыхание этой стихии. Этого подземного гула, который даже в «рациональной», литературной записи породил «Тысячи душ» и «На горах», «Соборян» и «Запечатленного ангела» — вещи, сто с лишним лет разгадываемые читателями и историками, да так (по резюме Л. Аннинского) до конца не разгаданные.

На вопрос, каковы все-таки основы, духовная первоткань у этой самой дебри, Л. Аннинский отвечает не колеблясь: язычество. Слово он, правда, предпочитает иное — ересь. Так удобнее для книги. Тема ереси объемлет оба ее сюжета. Еретины писатели, не влившиеся в основное русло идеологических баталий оттепели XIX века. Еретины их персонажи: раскольники, староверы, низоверы (да позволит мне необходимый неологизм). Писатели еретины относительно неофициальной «передовой идейности». Персона-

жи — относительно официальных «православия и народности».

Впрочем, путаницы с терминами тут нет. Во всех христианизированных культурах Европы, не только в культуре русской, так и было. «Неофициальная», «несанкционированная» космологичность мироощущения могла опереться на единственную альтернативную толщу — на язычество. По сути, у низов иного мировоззренческого выбора и не было. Энциклопедизм просветителей, «голубой цветок» идеалистов-романтиков, изящная скорбь экзистенциалистов (вплоть до неореалигий буддистского или индуистского толка) оставались в пределах Европы опытами «верхних» или «средних» классов, преимущественно же интеллигенции.

Итак, язычество... Или второе, вытекающее определение: в историчность существования и мышления. Послепетровская история прокатывается над миром Печерского, Писемского, Лескова, словно и не затрагивая его нравов и духовных первоначал. Третье определение этой стихии — бесструктурность. Ее внешние формы — поведенческий алогизм, «блажь», «дичь», «юродство». Или «эксцесс», «кэшмар», «бред» — с выходом на пушкинский приговор: «...русский бунт — бессмысленный и беспощадный».

...Спор один шел, пустынный; головушкой о мостовую спорщика приложили — он и помер. Дочка от тайной любви понесла, открыться любящему (!) отцу не посмела — и померла. Мастер золотые руки блоху подковал, его за границу стажироваться послали, а вышло все его мастерство без надобности, вернулся домой — и помер. Прибавьте сюда описями по «трем еретикам» идущие поджоги, погромы, постриги невольные, браки немилые, запои с горя, подвиги потехи ради... Что же в сердцеvine-то у этих людей? А парадоксальная смесь. Беспредельная покорность всему навязанному извне — и абсолютное непокорство изнутри. Ибо изнутри покоряются люди «древнего письма» чему-то совсем иному.

Стоп. Вот центр книги, вот исходная точка моего вопрошания.

Ничему не покорны или чему-то высшему все-таки покорны? Есть у «блажного» и «бунташного» народа цель — или нет никакой цели: бытийной, «всемирно-исторической»? Это ведь понятия взаимосвязанные. Где цель, там и смысл. Договорю: там и структура, «космос», «лад».

«Лад» — так озаглавил одну из своих книг В. Белов. В самые низовья патриархальной русской культуры заглянул, в вещь-

ный, узорчатый, песенно-обрядовый, аграрно-трудовой подклет ее. Л. Аннинский — туда же. И — отпрынув, с воплем: дებрь! По Лескову: «ни крестом» ее, «ни пестом».

Чему не покоряются таежно-уездные «еретики», выяснено. Умному англичанину и тупому отечественному чиновнику. Казенному «духоустроению» и насильственному «порядку». Царю и графу, но также либеральным программам просвещения народа, но также радикальным иллюзиям насчет грядущего «народоправия». Ни в каком праве эта сила не нуждается и ни у кого разрешения на саму себя испрашивать не станет.

Густо выписана Л. Аннинским тактика этой силы, ее умение то словчить, то на самосожжение послать, но вновь и вновь утвердиться. Но где же тут стратегия? Где цель?

Ответа нет, говорит критик. «Безлетная» народная глубь живет, чтобы жить. Круговоротом. И сминает (или поглощает) всех, так ей жить мешающих.

Выглядит грозно. Однако верно ли?

Фольклористы и этнографы давно уже за ключили: никакая язычество не дებрь. Не мрачная буреломная стихия. Напротив, любой архаический мир тщательно структурирован; это не «половецкие пляски», а годичный, земледельческий или скотоводческий цикл «трудоу и дней», пронизанный безусловным оптимизмом. Русь тут исключения не составляла. Но современное духовное сознание примиряется с идеей цикла слабо. Не хочет оно цикла, круга — хочет пути: не природного обмена веществ, жизнью-смертью, не генеалогической сменой поколений — высшей цели выискует и личности, этой цели преданной.

Насчет слепого обмена веществ и вязкого болота языческой доисторичности — это мы, сегодняшние, конечно, сильно ошибаемся. Нашего историзма Древний человек и впрямь не ведал; зато для него история всегда космична, «священна», во-первых. Во-вторых же, Космос, «весь свет», не только касался каждого, но и каждым творился (точнее, восстанавливался в своем бытии). Это и есть цель языческого человека. Ведь никто ему этот космический «лад» бесплатно, без усилий не гарантировал. Природный круговорот протекал, но по «исполнению времен» разрывался. И в точке разрыва (например, в обряде Нового года) надо было всякий раз заново, общими, но и собственными усилиями эту порвавшуюся нить времен воссоединять. Отгонять хаос и возрождать космос.

А как же свидетельства триады «еретиков»? Их дებрь гудящая? Или она у них такая оттого, что статьи К. Чистова, В. Иванова или В. Топорова о язычестве они не читали?

Да нет, не в том дело. Между пращурами язычниками и лесковско-печерскими героями пролегло еще одно духовно-историческое звено — христианство. К личности, выделившейся к тому времени из родового и природного лона, оно и обратилось. Ее и взялось не только восстановить в Великой Цели Бытия, но и направить к Великой Цели Бытия, к жизни «в духе».

Сорвалось, считает критик. Неудача всемирной истории.

Во всемирном объеме обсуждать проблему здесь не место: все-таки от «грех еретиков» это далековато. Обсудим часть проблемы — ту, что поближе к заволжским лесам и тульским кузням.

Места действия в романах «еретиков» — не простая география, даже не простая этнография, а культурология. Именно по этим местам шли «на заре времен молодые народы» (И. Бобровский). В нашем случае: на заре новых времен, нового миропонимания — славянские народы, племена русичей. Их продвижение к «Оковскому лесу» (по слову Нестора-летописца) имело серьезные культурные последствия. В том числе и такое: молодое восточнославянское христианство, растекаясь вширь, не только «перевоспитывало» неславянских язычников аборигенов, но и само «перевоспитывалось» под их воздействием. Поглощаемая ижора и весь, мордва и меря, пермь и мурома никуда не исчезла. Она «вошла в состав» (М. Цветаева). И, войдя, — состав изменила.

Я сейчас говорю не о генетике — о духовной культуре. О проснувшейся внутри самих славян, как бы вернувшейся к ним языческой архаике — в виде двоеверия и «ересей». Кому нужны доказательства, пусть опять-таки посмотрят работы фольклористов: как, положим, молитвы на Мезени «оборачивались вспяты», в заклатья — и чем ближе к деревням коми, тем картографически наглядней.

Могут спросить: отчего же такой гармонический (хотя временами и драматичный) древний лад при встрече с новым мироощущением превратился в грозную дებрь? Да потому же, почему языческие боги стали для «новой эры» бесами. Лад покоится на непротиворечиво «своем», монолитном духовном укладе. Пока мир «крута» был единственно возможной миро-

вой моделью для языческого человека, он и давал чувство космического лада. Когда же человек вышел в своем историческом движении к модели «пути», модель «круга», оставаясь еще живой, вытесняемой, но не вытесненной, окрасилась в «бесовские» тона. «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам...» — будет сказано в пушкинских «Бесах», одном из самых пронзительных описаний «русского человека на радеву» с собственным языческим прошлым.

Так ясный, «дневной» мир язычества стал «ночным» миром бесовства; так двоеверие загудело истступленно беспощадной дебрью.

Результаты этого «чудного», «чудного», «чудовищного» (тут уж все зависит от конкретной ситуации), но в любом случае «чуждого» духовного сдвига и запечатали через столетия трое «еретиков». С разными, само собой, акцентами. Писемский — скорее констатируя. Печерский — деятельно сопротивляясь. Лесков — то отчаиваясь, то с надеждой отмечая знаки просветления этой гудящей дебри светом нового «самостоянья человека» (А. С. Пушкин), а отсюда — и новой этики.

Одну (но показательную!) передержку допускает Л. Аннинский: когда сводит реакцию своих писателей на изображенную ими «дебрь» только к ужасу. Ужасен у Лескова финал «Тупейного художника» — но беспросветен ли? Да, «тебя высекли. И наложницей сделали. И к свиньям отправили. И жениха твоего зарезали, да не граф-кровопийца, а свой брат, простой...» И сосет после всего этого старушка Люба тайком водочку — а душа - то жива. Душа — просит мальчика-воспитанника никогда не носить на простых людей, потому что «простые все ведь страдатели...».

Или Настасья у Печерского, которая, умирая, тоже просит не мстить обманувшему ее любимому, — беспросветна ли ее смерть? Откуда ее предсмертная стыдливая улыбка? Да оттуда же: душой победила — и смерти смерть попраала.

Этого ни язычество, ни дебрь, ни гул не подкажут. Это — язык другого времени и другого духа.

Так есть ли дебрь у «трех еретиков»? Дебрь — есть; за в о р о ж е н н о с т и дебрь — нет. Есть художественное и провидческое остережение.

Историко-политические адреса его Л. Аннинский сформулировал прямо. «Мужиковствующим интеллигентам» остережение: не больно-то полагайтесь на вашу концепцию «народа-богоносца», разных «богов» он в себе носит. Левым радикалам остережение: не слишком рассчитывайте, «что мужик готов всем миром перейти сейчас же в светлое будущее, надо только взорвать препятствующее тому государство...».

Но историко-духовный адрес предостережений у настоящей литературы всегда шире. Он охватывает любую страну, любой народ, любого человека. Дебрь или лад? «Круг» или «путь»? Вопросы эти нынче не запишешь уже ни по узко-«религиозному», ни по узко-«национальному» ведомству. Писатели насквозь русские, и Лесков, и Мельников-Печерский, и Писемский подводят к выводу универсальному. К а ж д о м у народу негоже ни кичиться собой, ни отчаиваться. В к а ж д о м сосуществуют и дебрь и лад. Вопрос в направлении пути.

Все-таки пути? Не круга? Но кто доказал, что народы (как и люди) живут не по круговой модели? Л. Аннинский, что ли, доказал?

Не он — последующая история. У него в книге народ другой и человек другой — не нашего ультимативного времени. Тот народ, тот человек еще могли ощущать историю как «вечный круговорот». Сегодня мы знаем: вся она может кончиться радиоактивной пылью. Те люди еще могли веровать в «вечный круговорот» природы. Сегодня экология констатирует: природа Земли перестала быть вечной.

Нет больше круга, хотелось бы нам его или не хотелось. Ни для кого нет: ни для отдельной личности, ни для отдельного народа, ни для человечества в целом. Только путь. Только выбор пути. И только духовный труд над самими собой как залог правильности этого выбора. «Душа обязана трудиться» (Н. Заболоцкий); и для народа и для человека задача эта стала равновеликой.

...А ведь недаром именно теперь Л. Аннинский напечатал своих смятенных «Трех еретиков».

Марина НОВИКОВА.

Симферополь.

Политика и наука**МЕЖ ИНФОРМАЦИЕЙ И ИНТУИЦИЕЙ**

Ускорение и перестройка в системе научно-технической информации СССР. М. ИИЕТ АН СССР. 1988. 187 стр.

Зарубежная практика оперативного использования научно-технической информации. М. ИИЕТ АН СССР. 1988. 206 стр.

Институт истории естествознания и техники АН СССР издал два сборника научных статей. Это не ученые труды в собственном смысле слова, скорей уж трагические мартирологи десятилетиями длящейся незримой войны чиновников с наукой.

18 миллиардов рублей ежегодно! Столько, если верить прикидкам авторов этих сборников, уже сегодня геряет наша страна из-за чудовищно отсталой, просто доисторической системы информационного обеспечения науки.

Сборники дают много впечатляющих сведений о развитии средств научной информации в других странах. И всякий раз сравнение оказывается далеко не в нашу пользу. Скажем, в одних только США издается 12 тысяч специальных научных журналов. В СССР — 760. В США выходит 10 тысяч научно-технических еженедельников. В СССР — ни одного. И т. д. Читатель, начинающий постепенно понимать, насколько далеко мы отстали в информационной области от развитых стран, неизбежно приходит к мысли: медлить нельзя, нужно срочно догонять лидеров. Но где, например, взять бумагу? Действительно, тут нам с Соединенными Штатами равняться не приходится: бумаги и картона наша страна производит почти вдесятеро меньше.

И при всем том, как отмечают авторы сборников, процветает волюющая, я бы даже сказал — почти демонстративная, неразумность использования этого нашего скудного достояния. Нет, я говорю не о мелочах вроде лишних полей, абзацев и форзацев, на которые повадились делать истребительные набеги сторонники экономной экономики. (Горе-экономы добились того, что даже справочники, которым самой их сутью назначено лежать раскрытыми на столе, уже выпускаются без швов и полей: раз раскроешь — и больше уже не закроешь, том развалился надвое.) Речь совсем о другом: любая газета, журнал, сборник, не исключая и двух рецензируемых книг, расточительны. Читатель использует по назначению лишь небольшую их часть, интересную именно ему, а остальное получает как нагрузку, платя за нее свои деньги и поневоле принимая посильное участие в раз-

базаривании убогих бумажных запасов страны. Яркий пример — одновременное опубликование какого-нибудь доклада или коммюнике сразу всеми газетами, а то и журналами. То же самое выходит отдельной брошюрой, а затем воспроизводится на страницах толстого тома (уж будьте уверены — и со швами, и с полями, и даже в суперобложке). Тома же эти потом долго служат деталями интерьера наших книжных магазинов и библиотек.

Недавно председатель Госкомиздата СССР еще раз официально разъяснил со страниц «Литературной газеты» всем маловерам, что непроданными у нас остаются лишь 2,5 процента книг. Для меня этот факт — загадка почище тайны НЛО. Каждый, кто бывал в книжном магазине, знает, какие огромные залежи бумажного вторсырья там скопились. Ни одно из этих изданий вы никогда не купите сами и не увидите в домах своих знакомых. Кто же тогда выручает торговую статистику?

Зарубежный более чем обеспеченный бумагой издатель платит за все из собственного кармана. А потому каждый непроданный экземпляр книги для него — как украденная из кошелька банкнота. И американцы, например, все чаще делают теперь так. Текст выставленных на полке книг записывают на магнитных дисках. Пока вы пьете в книжном магазине кофе, лазерный принтер (печатный станок, уместающийся на письменном столе) быстро отпечатает вам экземпляр приглянувшейся книжки. Ее тут же сброшюруют, приклеят обложку — получите! Вот результат такой работы: ни одного непроданного оттиска.

Западные издатели могли бы уже сегодня сделать решающий шаг — вообще отказать от бумаги. Роль книг играли бы те же магнитные диски, которые можно читать на персональном компьютере. Но этому пока противится привередливый западный покупатель, предпочитающий традиционные томтики...

Мне трудно всеерьез отнестись к отчаянным призывам отдельных авторов этих сборников: давайте, мол, для возрождения увядающей науки сознательно поужмемся, кое-какие тиражи поурежем — и выкроем новым научным изданиям спасительную бу-

магу. Вряд ли это разумный путь. Во-первых, как ни перекраивай бумажный триш-кин кафтан, больше от этого он не станет. Во-вторых, кого все-таки начнем урезать ради науки — «Новый мир»? «Огонек»? «Литературную газету»? Издания, свободную подписку на которые отстояли с таким боем?

Нет, для коренного улучшения дел с информативным обеспечением науки компьютерная перспектива — единственно возможный выход. Кому как не научно-информационным издательствам, где образованные люди работают для не менее образованных и умных читателей, торить тяжкую тропу компьютеризации, чтобы потом по ней пошла все?

Конечно, выбор нужно делать с открытыми глазами. На компьютерном пути трудностей вначале будет не меньше, чем с бумагой. Даже больше: если по части бумаги мы добрались до одной десятой американского изобилия, то в области компьютеризации пока прочно сидим где-то между одной сотой и одной тысячной. При всех гигантских затратах денег и сил на компьютерный вариант издательского процесса его несомненная выгода в том, что расходы-то требуются главным образом однократные. Издателям необходимо будет купить персональные компьютеры — микро-типографии будущего, — приобрести комплект соответствующих редакционных программ — вот, собственно, и все. Подобные электронные издательские системы, давно существующие на Западе, так и называются: desktop publishing (издательство на столе). Они дают тот же результат, что и привычные нам многолюдные редакции, типографские цехи с устрашающими зубчатыми колесами линотипов, верстальными столами и т. п. Все традиционные операции — редактирование, набор, корректура — у экрана компьютерного дисплея делаются намного быстрее и дешевле. Готовый текст статьи или книги компьютер записывает на тоненький магнитный диск размером с почтовый конверт. В худшем случае современные диски вмещают около 200 страниц машинописи (объем тонкого журнала), но есть диски вдвое и даже вчетверо более емкие. Эта «вечная бумага» чрезвычайно выгодна: стирать и вновь записывать на ней информацию можно много раз. Диск способен хранить не только текст, но и картинку, даже целый мультфильм с цветным движущимся изображением.

Правда, потребителю такой информации будет уже недостаточно пары глаз — ему понадобится персональный компьютер. Раз-

нообразные достоинства персонального компьютера так велики, что он уже сегодня стал совершенно необходим и ученому, и писателю, и художнику, и школьнику. Даже при нашей нынешней компьютерной нищете многие научные работники общаются с ним на службе, а кое-кто и у себя дома. Почему бы не дать ему еще одну полезную работу? К тому же компьютер не просто текстовое табло или телевизор — он как бы библиографический кабинет в миниатюре: может быстро вести сложный информационный поиск, систематизацию, анализ, что особенно ценно для любого читателя научной литературы. А неизбежные пока недостатки продвинутой техники (привязку к письменному столу и чуть-чуть не дотягивающее до типографского качество изображения на экране) всякий разумный человек ей, конечно, простит...

Персональные компьютеры не только освобождают людей от нудной рутинной работы, отнимающей (и отнимающей) у человечества так много умелых рук и светлых голов. Сегодня они — необходимое условие выживания социальной системы. Эта мысль стала столь общим местом, столько горьких и гневных восклицаний слышали мы на сей счет, что позорное положение СССР в остальном уже весьма компьютеризованном мире выглядит едва ли не как намеренный вызов. Кому?..

Трудно, почти невозможно поверить, что могущественная сверхдержава не в состоянии насытить свой рынок хорошими компьютерами собственного или хотя бы чужого производства. Не так много и понадобится этих машин, как кажется на первый взгляд: умственным трудом занимается далеко не большая часть населения. Импортировать такую технику сегодня, может быть, важнее даже, чем зерно: заокеанская пшеница позволяет стране сносно прожить год (до следующей закупки), заокеанские «персоналки» способны приблизить долгожданное будущее, когда уже не потребуются больше ввозить ни зерно, ни электронику.

С этим делом у нас и сейчас не все ладно, по крайней мере «режима наибольшего благоприятствования» на таможенно-компьютерные товары так и не получили. Может быть, не столько не можем, сколько не хотим? Как привычно и легко управлять обществом, обитым, подобно несчастному Лаокоону, пагубными дефицитами — дефицитом бумаги, компьютеров, информации... Порвись эти пути — кого же тогда заставили испытывать «чувство глубокого удовлетворения» от благожелательного взгляда ведающего дефицитами начальства?

Впрочем, чисто технические или экономические трудности никогда не были в наших условиях самыми главными. Есть проблемы иного рода, решить которые куда проще и одновременно сложнее. Авторы рецензируемых сборников с негодованием повествуют в своих статьях о том, что на пути научной информации к читателю искусственно создан почти непреодолимый бюрократический барьер. Сама история создания этих книжек служит тому прекрасной иллюстрацией. Редактор-составитель А. Н. Кривомазов рассказал с телевизионного экрана о своих мытарствах в недрах ведомственной цензуры. «Очевидное — невероятное» — так называется телепередача, в которой он поведал стране о своем опыте издания научных трудов в наше время перестройки и гласности...

История «охраны государственных тайн в печати» все еще ждет своих разыскатель-

ных исследователей. Проникнуть любопытным взглядом в эту по-прежнему закрытую не только для критики, но и просто для обзора зону необычайно трудно. Даже самое заинтересованное из заинтересованных лиц — автор рукописи — практически лишен возможности понимать и тем более оспаривать действия невидимых цензоров: инструкции, по которым они могут признать какой-то пассаж «не подлежащим оглашению», автору недоступны, ибо тоже «не подлежат».

Информация — мать интуиции. Вспомня этот афоризм, мы можем сегодня с грустью констатировать: у нас пока все совсем наоборот — интуиция рождает информацию. Что это за несчастное дитя, хорошо видно по более чем скромным успехам нашей науки и техники...

Сергей УШАНОВ.



КАК МНЕ ВИДЯТСЯ СЕГОДНЯШНИЕ ЗАДАЧИ

В последние годы Политбюро ЦК КПСС предприняло много хороших шагов к исправлению нелепостей прошлого, к оздоровлению страны. Дарованный плюрализм мнений позволяет увидеть сложности нашего бытия с разных точек зрения и, может быть, позволит найти менее головотяпские и менее кровавые пути дальнейшей жизни и ее улучшения, нежели бывало в нашей истории.

Судьбы нашей страны — это судьбы и правительства и общества. И если в недавнем прошлом общественному деятелю оставалась практически единственная возможность простоять перед отчизной «воплощенной укоризной», то сейчас притворяется надежда на конструктивное сотрудничество общества с правительством (или, что равносильно, правительства с обществом). Я принимаю участие в политической жизни страны примерно лет сорок. Чем-то я горжусь, чего-то стыжусь. Но сейчас я хочу писать не о себе, а о том, как с позиций своего опыта вижу главные проблемы, стоящие перед моей родиной в свете этого сотрудничества. Поэтому мои аргументы будут частично обращены к правительству и даже к неповоротливым жестким группировкам в нем; частично — к обществу и даже к крайним конфронтирующим течениям в нем. Я хочу изложить свое личное видение, рассказать, что мне кажется первоочередным, что вторичным, а что вообще можно отодвинуть на пятнадцатое место, предоставив решать потомкам. В чем-то мое понимание совпадает с уже опубликованными мнениями, я вынужден кое-где повторять известное, но это неизбежно для цельности изложения. Оговорюсь, что не мыслю себя компетентным разбирать задачи, которые кажутся первоочередными, например, в Армении или в Узбекистане, а потому ограничиваюсь только Россией, а не рассуждаю обо всем СССР. По складу ума своего я все воспринимаю на фоне истории, с нее и начну.

История хозяйственной функции государства. В 1939 году И. В. Сталин произнес несколько слов насчет функции социалистического государства¹, которые потом нам тщательно разжевывались преподавателями дисциплины «Основы марксизма-ленинизма». Выходило — по сталинским преподавателям, — что, мол, главное отличие государства социалистического от государства буржуазного состоит в наличии у первого хозяйственной, экономической функции. И хотя в тогдашних курсах марксизма и в речениях Сталина правды было немного², известная доля реальности отражалась в таком противопоставлении. Да, начиная с 30-х годов Советское государство — а точнее Советское правительство³ — взваливало и в конце концов взвалило на себя хозяйственную функцию, которая в большинстве стран принадлежит самому обществу, а не правительству или, как у нас с инфантильной небрежностью

¹ «XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет». М. 1939, стр. 35.

² В частности, неправдой были утверждения, якобы в капиталистических странах царит необузданная анархия производства, а государство ни во что не вмешивается. Умалчивалось про кардинальные перемены в «капиталистической формации» с XIX по XX век, про то, что возникли две новые «общественно-экономические формации» — американский капитализм и западноевропейский капитализм.

³ Под словом «правительство» я разумею совокупность всех министерств и комитетов, а также тех, кто дает им обязательные указания.

выражаются, государству. Если еще в 1940 году в среднем по стране на душу населения приходилось на 80 тогдашних рублей в год товаров, которые правительство (Наркомторг) продавало населению, то нынче сумма менее чем 8 рублей в год выглядит смехотворно и неправдоподобно. И штаны свои, и детскую коляску, и мороженое, и хлеб, и масло, и губную помаду, и жильё, и услуги — от сантехника до телеателье, и врача — все мы приобретаем у правительства, в государственных магазинах и учреждениях, куда и поставки ведутся по госплану, в которых и цены устанавливает правительство, в которых и весь регламент обслуживания клиентов утвержден министром или выше. По Сталину выходит, будто так и должно быть. Страшнее, что не один Сталин так думал — мы все принимаем как должное, что у нас и на спичечных коробках и на бутылках лимонада написано: министерство такое-то. Мы позабыли, что и отпускные и бюллетени в принципе оплачивает не государство, позабыли из-за того, что профсоюзы выродились в разновидность министерства. Мы позабыли различие между государственной службой и службой на государственном предприятии. Мы сжились со сталинскими представлениями.

Но практика примерно полувека, из которых более сорока лет протекли в мирное в основном время, показывает, что правительство не справляется с этой функцией. И масла в большинстве городов, а тем паче сел нет. И чай стал черт те какой травой И тувель в магазинах не сыщешь. А отремонтировать комнату — целая эпопея. Вобла, которая когда-то была самой дешевой и непретенциозной закуской, исчезла, а пригодных дорог в сельской местности не появилось. Конечно, продукты делаются ужасно нервными во время войны и прячутся, толковали персонажи пьесы Шварца. Но ведь не из-за войны «попрятались» и мясо, и кофе, и масло, и прочее. К слову, такой перекос, когда практически все, что съедается городским населением, и значительная часть того, что съедается населением сельским, поступает населению через учрежденные правительством каналы, весьма опасен именно в военном отношении, когда нарушается транспорт. Мы сумели выстоять в 1941 — 1945 годах, в частности, и потому, что население в основном могло само себя прокормить. Были жалкие карточки у горожан, но большинство кормились с собственных огородов, собственным молоком, ловя самостоятельно рыбу и даже кое-где охотясь. Сейчас этого резерва продовольственной надежности, можно сказать, нет.

Другим глобальным последствием централизаторского хозяйствования сделались экологические бедствия. Земли — земельные участки — превратились в собственность (или, юридически точнее, попали в безраздельное неограниченное распоряжение) одного хозяина — правительства. Поэтому глобальные задумки по «преобразованию природы» не встречали противодействия, на которое они неизбежно бы наткнулись, кабы берега Днепра или Волги принадлежали сотням разнообразных полноправных хозяев. Одно дело, когда жителей станицы Вешенской можно ради Волго-Дона переселить в административном порядке куда угодно, и совсем иное, если бы для этого строительства московским проектировщикам пришлось откупать землю у владельца круга Области Войска Донского! Вообще дробность земельного владения служит важной гарантией сохранения природного равновесия, чистоты экологии — при условии, что в обществе присутствуют силы, заботящиеся об экологии, информирующие о ее состоянии всех потребителей и производителей. История знает немало примеров, как громадные катастрофы постигали те древние страны, где правительство имело власть бесконтрольно распоряжаться всей землей страны...

Итак, правительство обанкротилось с затеей взвалить на себя хозяйственную функцию. Об этом по-разному, но одинаково гневно писали в последние годы такие авторы, как Абалкин, Астафьев, Белов, Васильев, Куликов, Лацис, Петраков, Попов, Распутин, Селюнин, Солоухин, Стреляный, Шмелев, Штемлер и многие другие. В анализе, в терминологии, в предлагаемых мероприятиях эти авторы порой не сходятся друг с другом, но в констатации фактов по сути разногласий между ними нет. Можно считать такой факт общеизвестным. Это ощущаем все мы. Осознали это и само правительство (или отдельные группы в нем, не знаю, но подобная тема выходит за рамки данного размышления) и сделало шаги в направлении устранения сего дисбаланса. Нам дозволили «кооперативную» и «индивидуальную» трудовую деятельность. Прекрасное направление мысли И мне кажется, самая главная задача

российского общества сейчас — помочь правительству избавиться от исполнения хозяйственных функций. Вернуться к досталинским структурам хозяйствования. К досталинским представлениям об экономике.

Все хозяйственные дела общество должно взять на себя, владея и распоряжаясь землей и фабриками, предприятиями и урожаями, закупками и продажей. У правительства имеются и другие, весьма непростые, задачи — вести дипломатию, оберегать страну от войны, охранять общественный порядок, удерживать стабильность финансов, поощрять социальную справедливость, защищать потребителя от монополий промышленников... Кормить и одевать население — дело самого населения. Но для этого население должно иметь соответствующие возможности. В первую очередь владеть средствами производства, полноправно распоряжаться продуктами своего труда.

Хотел бы напомнить, что согласно коммунистическому учению все средства производства должны принадлежать обществу. Обществу, а не правительству. И вообще при коммунизме не должно существовать никакого правительства, ибо коммунизм — безгосударственный строй, так учили до Сталина, сталинский же «марксизм» надо забыть. Поэтому в том, что я говорю, нет никакого противоречия с конечной установкой на коммунизм. Властный централизм в принципе противоречит социализму и коммунизму. Больше к этой теме я возвращаться не стану. Мне кажется, что многие социально-политические термины, которые мы все вынуждены были усваивать по сталинским учебникам, настолько исказились, что для обсуждения реальных проблем полезнее не пользоваться ими до той поры, пока им не будет возвращен первичный, исходный или логически безупречный смысл.

Итак, на мой взгляд, первоочередная и главнейшая задача нашего общества и правительства — это достижение экономически хозяйственной самостоятельности общественных сил и организаций. Создание возможно более дробной в разумных пределах системы хозяйствования. Системы, в которой не было бы места ни для правительственной централизации, ни для монополизма промышленных объединений. Иными словами — против гигантомании и за самостоятельность. Пусть хозяйства будут разнообразными: от арендного подряда и кооператива до муниципальных (городское, районное, областное). Они, конечно, могут переплетаться, вступая в связи друг с другом, но эти связи должны быть исключительно экономически обусловленными, а не исходить из административных затей. А правительство и общество должны следить, чтобы эти связи не переродились в монополии.

Все прочие задачи и намерения в аспекте намечаемого сотрудничества общества и правительства, на мой взгляд, должны быть подчинены цели самообеспечения. Есть много других прекрасных мечтаний: чтобы все нации возлюбили друг друга, чтобы русские перестали пить и чтобы вообще люди стали ангелами... Но эти проблемы складывались веками. Так что не надо тщиться решить эти проблемы за считанные годы. Будет здоровый экономический фундамент, станут люди сытно есть — и водка будет не так ударять в голову, да и не потянется к ней здоровый человек, когда возникнет какая-то перспектива в жизни. Вот и начнем без суматохи решать все эти многовековые проблемы. Конечно, лень и недобросовестность в труде — национальный бич. И хотелось бы от них избавиться. Очень плохо, что при Иване Васильевиче мы продавали англичанам пеньку, а покупали у них канаты. Что 50 процентов всего национального дохода при Николае Павловиче составляли продаваемые за границу сибирское золото и сибирская пушнина. Что при Александре Александровиче мы продавали немцам пшеницу зерном, а покупали у них пшеничную муку. Что при Леониде Ильиче продавали нефть. Что столетиями не трудом своим торговали, а естественными богатствами. Но от этих бед национального характера нельзя избавиться посредством постановлений «о повышении трудовой дисциплины», облавами в кинотеатрах, как в 1982—1983 годах, да кампанией борьбы с несънами. Это медленный процесс, сопоставимый с пресловутым выдавливанием из себя по капле раба.

С главной проблемой связано много-много неразрывно подчиненных ей «второстепенных» подпроблем, без разрешения которых едва ли можно управиться с главной. Ведь разрушение хозяйственного фундамента нашей страны сопровождалось

подгонкой всех сторон жизни под удобства централизаторского монстра. Первая из таких «вторичных» проблем — проблема информации.

Если у меня имеются земля, луга, коровы, есть голова и руки, я могу содержать стадо и надаивать прекрасное молоко. Но для содержания всего хозяйства в устойчивом благополучии мне необходима информация об экономическом состоянии соответствующей территории: кто еще производит молоко на продажу? есть ли поблизости молокоперерабатывающие фабрики? в какое время года транспорт не доберется до моих ферм? кто будет потребителем? какие химикалии спускают в воду и почву соседние заводы? имеются ли свободные рабочие руки в сезон? Погодные прогнозы, наконец. Известная фирма «Зингер», изготовлявшая в Пруссии швейные машинки, собирала в 1900—1925 годах в Туркестане сведения о роде занятий населения, о состоянии дорог, о размерах посевов, о поголовье скота, о промышленности и торговле. Это позволяло фирме предвидеть рынок сбыта, учитывая возможных конкурентов и дополнительные потребности покупателей.

А мы живем вслепую. И что толку винить правительство в лишении нас этой информации, оно само не успевало переваривать ее, а лишь засекречивало. Надо самим создавать эту информацию. Начинать, может быть, следует с табличек, которые (если верить Ильфу и Петрову) стоят при въезде в американские города: «Название. Здесь проживает 10 317 человек, по сведениям на конец прошлого месяца». Все общественно значимые сведения должны быть социологизированы, то есть зафиксированы в общественно доступной форме.

Информация и реклама. Я покупаю у кооператоров блузку, которая после первой же стирки садится и линяет. С кого спросить? С тех, кто лишает кооператоров типографских средств, не позволяя напечатать ярлыки на свои изделия. Ибо ярлыки-паспорта дают возможность предъявить гражданский иск в суде — и можно не сомневаться, что в иске против кооператива судьи не откажутся бы.

Вообще любая информация возможна только при наличии средств информации — материальных средств, материальных носителей ее. Это могут быть и старомодные типографии. И ксероксы. И лазерные принтеры компьютеров. Затевать же современное хозяйство без общедоступной множительной техники — это все равно что затевать его без телефонов. Представьте только, что для разговора по телефону-автомату вам предварительно требовалось бы предъявить письменное разрешение спецчасти на разговор именно такого содержания! Это сравнительно мелкая проблема, положительно решить которую ничего не стоит (достаточно согласия одного ведомства), но в которую упирается гораздо более важная проблема оздоровления нашей экономики.

Другая проблема, тоже связанная с информацией, потруднее. За сталинские годы к прессе выработалось отношение как к инструменту воспитания. А на прессу надо смотреть прозаичнее, более по-деловому. Это инструмент информации населения о нем самом. Орудие для сообщения значимых новостей. Новость о пожаре, например, вовсе не только повод для острых ощущений или ругательств в адрес виновников и уж вовсе не инструкция по противопожарной безопасности. Это информация для тех, кто имеет завал неходовых изделий — привози, тут раскупят: погорельцам все нужно. Информация для благотворительных учреждений — обратите взоры сюда! Информация для строителей — можно подработать. Информация для дачников — здесь можно дешево купить участки. Информация для планировщиков городского строительства — наконец-то на этом месте можно начать строительство многоэтажного «Трансагентства» и так далее.

Следующая сопряженная с главной задачей проблема — проблема обеспечения названной дробной системы хозяйствования хоть какой-то относительно эффективной соответствующей правовой основой. Собственно, дело создания вполне правового государства — дело долговременное, по трудности вполне сопоставимое с задачей разрешения межнациональных противоречий. Поэтому я не думаю, что им можно заниматься сейчас во всем объеме. Но какие-то шаги обязательны.

Ведь все эти семейные подряды и кооперативы возможны как устойчивый экономический фактор только при условии правовых гарантий. Коли у нас всякое десятилетие будут меняться законы, коли мы утром, развернув газету «Известия», будем узнавать, что принят новый указ, тема которого не обсуждалась ни вчера, ни позавче-

ра, но который, однако, кардинально меняет социально-экономическое пространство, если телефонный звонок завотделом обкома позволит не считаться ни с сегодняшним указом, ни со вчерашним законом, то ничего долговременно позитивного ни в законодательстве, ни в хозяйстве, ни в отношении к труду не возникает. Законы должны (как уже многими писалось) быть четкими, недвусмысленными, стабильными, обращенными к конкретным адресатам. Все подзаконные акты должны быть также доступны к обсуждению на стадии проекта; министерство инструкциями не смеет перекраивать их. Министерские же инструкции должны быть обязательными только для очень узкого круга чиновников соответствующего ведомства, но никак не применительно к гражданам, жизнь которых регулируется только законом и публичными подзаконными актами. Устойчивость хозяйствования, рост надоев молока упираются в устойчивость аренды, аренда же — юридическое понятие, затрагивающее не две стороны, а гораздо большее число участников, и как таковое может быть стабильным, лишь когда все юридические отношения устойчивы по отношению к их толкованию, к коррупции, волонтаризму.

В этой связи у части общества, особенно у тех, кто соприкасался с функционированием карательных органов, накопилось много претензий к правительству. Мне кажется, что нецелесообразно выплескивать их все сейчас. Еще менее разумным кажется мне припоминать претензии к году 1917, или к году 1905, или к Петру I. Мы живем сегодня, и надо решать сегодняшние проблемы. Нецелесообразно ставить задачу сразу достичь какого-то идеала — все равно, доморощенного или заимствованного. Вообще путь претензий мне кажется неделовым. Возможна только одна «претензия» — не мешайте общественным силам оздоравливать хозяйство родной страны. То, что связано с таким оздоровлением, созданием дробной системы хозяйствования, и постольку, поскольку связано, то и будет сейчас (сегодня и завтра) актуально, то и может стать предметом правовых обсуждений. Глобальные же и нервные споры о правах личности могут завести в тупик. Еще хуже, если кто-то станет на путь требований к правительству: повысить-де заработную плату на нашем заводе, не то забастовку организуем! Ничего не надо требовать от «барина», надо все по возможности создавать самим. Лишь бы «барин» не мешал, не встречал с некомпетентными безответственными беспрекословными указаниями.

Поясню высказанную выше мысль на примере. В Уголовном кодексе имеется статья 209-я, карающая «ведение... паразитического образа жизни», в просторечии — затунядство, под чем милицейские инструкции понимают несостояние на госпредприятии свыше трех месяцев. Эта статья чудовищным образом вредит экономике, не позволяя возникнуть слою людей, заинтересованных в сезонной работе, из-за чего сезонные работы выполняются с отрывом трудящихся от постоянного производства. Она пресекает появление изобретателей и других творческих деятелей, которые для вынашивания своих замыслов нуждаются во многих месяцах уединения и «ненормального» образа жизни. Эта статья наполняет производство людьми, не желающими трудиться, что приводит ко всеобщему падению производительности...

Наконец, с той же хозяйственной задачей сопряжена проблема обсуждения путей развития методов хозяйствования, трудностей в информации, словом, проблема общественного мышления и социального диалога. Опять же само «общественное мышление» — это составная часть «духовного состояния общества». Но одна проблема долговременная, а другая сегодняшняя. Конечно, дух нашего общества, примирившегося с несправедливостью, коррупцией и пресмыкательством, утратившего и гордость, и совесть, и ощущение добросовестности, и непосредственное чувство милосердия, и доверие к вечным ценностям, — инфантильный и одновременно циничный, дух общества, не умеющего выразить словом своих интересов и в лучшем случае огрызающегося рок-громыханием на всепроникающую одурь телевидения, — большой дух. Но духовное возрождение, установление подлинно нравственных связей, обретение истинных ценностей — это то, что либо приходит естественно с повзрослением общества, либо не приходит. Во всяком случае оно не является по заказу или по чьему-то требованию. Я оптимистически смотрю на возможности духовного роста нашего общества. Конечно, выплеснулось множество пены, нередко преимущественное внимание уделяется обсуждению псевдопроблем, но если сравнить, с чего мы начинали, с тех дискуссий в газетах тридцатилетней давности, кого из двух тонущих — физика или лирика — следует спасать в первую очередь, то повзросление нашего общества гигантское!

Совершенно неудовлетворительна — это ясно каждому — наша формальная пресса из-за ее неповоротливости. Между сдачей в набор очередного номера толстого журнала и получением журнала подписчиком проходит три-четыре месяца, а ведь сдаче в набор предшествует многомесячное нахождение рукописи в портфеле редакции. Таким образом, автор, статья которого опубликована в «Новом мире» или «Нашем современнике», только через полтора-два года после того, как он написал статью, сможет на страницах того же журнала прочитать ответ на нее. В условиях такой медлительности всякое обсуждение в журналах делается декоративным, бутафорским. От такого обсуждения культура мышления не возрастает.

К неформальным, «самиздатским» журналам упрек этот обратить нельзя. Они оперативны. Но зато ареал их распространения слишком мал. Я давно настаиваю на том, чтобы неформальные журналы не стесняясь рекламировали себя, проводили бы подписку на свои издания, давали бы объявления о себе в формальной прессе, отводили бы часть своего журнального объема на обзор опубликованного в других журналах. В частности, надо подумать о возрождении издававшегося в 1979—1981 годах в Ленинграде «самиздатского» «Реферативного Журнала Сумма» — на общесоюзной основе, ов был певен тем, что реферировал на одних страницах и официальные публикации, и неформальные, «самиздатские», и типографские «тамиздатские» произведения русского зарубежья. Возможно, есть для этого и другие пути. Было бы хорошо в этом плане, если бы наша пресса и телевидение рецензировали или хотя бы аннотировали неформальную прессу конкретным указанием авторов, названий, мест издания. Нелепо же в самом деле, что в минувшем году «самиздатский» художественный журнал «Часы», который ввел в литературу десятки авторов, отметил двенадцать лет своего бесперебойного существования (он издается в Ленинграде раз в два месяца с 1976 года, вышло уже свыше семидесяти номеров), а ни один официальный литературный журнал не уделил ему места в своем литературно-критическом обозрении!

Повторяю, главной задачей я считаю экономическую — содействовать правительству в избавлении его от хозяйственной функции, перейти к дробной системе хозяйствования, к самообеспечению населения. Все прочие вопросы я затронул только как «подчиненные», а не как самодовлеющие. Ведь, поставив цель, приходится рассматривать неизбежные препятствия на пути ее достижения. В этом и состоит анализ: в презумпции, что желаемое достигнуто, посмотреть, каковы необходимые минимальные усилия для такого достижения. Какие препятствия надо преодолеть, а какие можно обойти. Я затронул лишь то, что связано с этой целью в области информационного, правового и духовного обеспечения. Я не затронул огромного числа проблем, связанных с обсуждаемыми проблемами и напрямую и своим обратным влиянием. Так, очевидно, что нынешняя система всеобщего равного принудительного псевдообразования неудовлетворительна. Что надо устранить все препятствия для свободного труда детей и подростков. Что честное поведение должно автоматически вознаграждаться экономическими и правовыми механизмами. И многое другое. Но обо всем не скажешь...

А завершить эти заметки мне хотелось бы цитатой из письма И. С. Тургенева А. П. Философовой: «Для предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума — ничего крупного, вылающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие терпение; нужно уметь жертвовать собою безо всякого блеску и греску — нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работы. <...> Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего, хорошего развития, разложения и сложения; ей нужны помощники — не вожаки, и лишь только тогда, когда этот период кончится, снова появятся крупные, оригинальные личности».

Револют ПИМЕНОВ,

доктор физико-математических наук.

Сыктывкар.

КУЛЬТУРА В ПРОВИНЦИИ

Что поэты рождаются в провинции, а умирают в столице — истина известная. Вот только почему-то ударение в этом изречении чаще делается на последних словах, будто умереть для поэта достижение большее, чем родиться. Спрашиваешь у московских знакомых, с именами каких писателей, художников, деятелей культуры и науки связывается в их представлении город Калинин, и слышишь в ответ:

— Калинин?.. Тверь?.. Вроде бы Пушкин туда наезжал... Да, а Щедрин не там ли родился?

Случается, к Щедрину прибавят Венецианова, к Пушкину Афанасия Никитина.

— Ну а Новгород? — спросишь. — Новгород кем знаменит?

— Новгород, Новгород... А кто в нем, Новгороде, жил-то? (Дескать, и жил ли кто?) — И вдруг осеняются радостной улыбкой: — Феофан Грек! Так?

Хорошо, в Новгороде жил Грек, в Рязани — Есенин, в Смоленске — Твардовский и Исаковский, а вот в Пскове, случается, никто не жил. Никто не жил в Брянске, Курске. В Калуге, слава богу, жил Циолковский, но в Пензе, Тамбове — опять же ничего не было? Так ли это?

Наверное, нужно признаться, что плохо, очень плохо знаем мы свою местную, региональную культуру, ее историю, имена ее творцов и подвижников. Безвозвратно уходят в прошлое, исчезают песни, костюмы, обычаи, ремесла, самобытные образцы живописи, литературы, народной архитектуры.

Региональная культура? Культура провинции? А почему бы и нет? Была ведь, к примеру, тверская школа иконописи (обязанная, кстати, своей самобытностью и тверским краскам — «землям», полученным из местных минералов и придававшим иконам и фрескам особый, ни на что не похожий колорит). Разве эта столетиями развивавшаяся живопись не обогатила отечественную культуру? Была и тверская литература. «Похвальное слово» ивока Фомы, профессионального писателя, жившего в Твери в середине XV века при дворе князя Бориса Александровича, — высокий образец тверской и вместе с тем отечественной литературы, так как отражало оно и исторические судьбы Руси, и уровень культуры своего века.

Да и в последующие века, вплоть до нашего времени, русская провинция давала отечественной культуре и науке немало видных художников, ученых, литераторов, актеров.. Перечень и анализ их достижений — предмет особого большого разговора, отдельного серьезного исследования. Сейчас же речь об истоках нашего нынешнего исторического беспамятства. О причинах того страшного духовного оскудения, того запустения и упадка, что отличают сегодняшнюю жизнь русской провинции.

Наверное, я не открою нового, если скажу, что культурная жизнь, в широком смысле этого слова, состоит в постоянном и любовном обороте идей и традиций исторических и современных. Как плут оборачивает все отжившее в лоно земли и поднимает наверх залежь, так и человек культурный извлекает из прошлого забытое, в силу каких-либо обстоятельств отложенное, обращаясь к тем идеям прошлого, росту которых мешали в свое время политические, социальные, экономические и другие причины.

С первых лет революции в провинции возник интерес к собственной культуре Молодой А. Чижевский вместе с научными работами выпускает в Калуге брошюру «Академия поэзии», где возводит поэзию в ранг общественной дисциплины, мечтает развернуть во всю ширь художественные способности страны. Ю. В Кондратюк в далеком Новосибирске работает над книгой «Завоевание межпланетных пространств», осознанной наукой только в наше время. Свой расцвет в эти годы переживает и тверская историко-краеведческая школа. Учреждается Общество по изучению тверского края, ставившее целью «содействовать культурному развитию края путем всестороннего исследования его прошлого и настоящего для научных и практических целей в естественноисторическом, историко-культурном, общественно-бытовом и народнохозяйственном отношении». Общество объединило видных кооператоров, тверскую интеллигенцию для широкой просветительской работы. В 20-е годы здесь издавалось более двадцати журналов «Тверской кооператор», «Наш журнал», «Налле хозяйство», «В наши дни», «Спутник активиста», «Пахарь», «Эхо тверской кооперации», «Жизнь и творчество», «Спутник

коммуниста» и Другие. Выходили и альманахи. И не только в Твери, но и в Бежецке, Калязине, Ржеве. Тверское кооперативное общество «Природа и знание» издавало свой детский журнал «Зернышки». (Заметим, что до революции в Твери было всего два журнала: «Тверские епархиальные ведомости» и «К свету» — орган тверского общества трезвости; еще два журнала — исторический «Тверская старина» и сатирический «Тверское жало» — выпускались в уездной Старице.)

Об уровне театральной и музыкальной культуры тех лет свидетельствует хроника журнала «Тверской кооператор». В губернии, по его данным, числилось 128 деревенских самодеятельных театров с десятью тысячами самодеятельных артистов. Там же сообщалось, что в деревне Мамулино Никулинской волости в помещении народного дома силами оперно-концертной группы «Тверского посреднического товарищества кооперативов» поставлена опера Чайковского «Евгений Онегин».

Но не следует думать, будто по уровню развития музыкальной культуры Тверь превосходила другие провинциальные города России. Если верить руководителю Московского камерного хора, народному артисту РСФСР В. Н. Минину, это был вполне средний по тем временам уровень.

«Хоровое пение, когда-то составлявшее славу, гордость России, ныне в упадке, и причины этого отнюдь не в неизбежной объективности, а в сложившейся музыкальной политике, — сказал Минин в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» 10 апреля 1988 года. — Ныне состояние хоровой музыки в мире гораздо выше, чем в России, когда-то неизменно побеждавшей на международных встречах мастеров хора. Хоровое пение много веков было выражением этических и эстетических идеалов русского народа, инструментом духовного совершенствования нации. И вот такой удивительный и могучий инструмент утерян...»

Минин приводит показательный факт. В 1913 году в Перми инспектор учебных заведений Городцов устроил состязание хоров. Триста местных хоров пели отрывки из «Жизни за царя» М. Глинка. Не менее поразительный факт приводит в той же газете 6 апреля директор Дворца культуры из Комсомольска-на-Амуре Ольга Шестерина: «В нашем городе нет ни одного профессионального концертного коллектива... Ни один участник (художественной самодеятельности Дворца культуры. — М. П.) ни разу не слышал живой хоровой музыки...»

Пример больших скрытых возможностей провинциальной культуры показали в 20-е годы весьегонцы. Достаточно сказать, что первой советской книгой стала книга весьегонца А. Тодорского «Год — с винтовкой и плугом», написанная по горячим следам революционной борьбы и выпущенная в уезде Весьегонске 25 октября 1918 года, к годовщине Октября. (Известно, как высоко оценил эту книгу Ленин.) А 8 января 1919 года Весьегонский уисполком вновь обсуждает издательские планы. В те годы здесь выходило две, а временами четыре газеты (советская, партийная, комсомольская и женская), печатались книги. Заправляя этим делом уисполком, 8 января он поручил А. И. Тодорскому и А. В. Киселеву собрать исчерпывающий материал по истории весьегонского края и издать новую книгу к 1 мая 1919 года.

Менее чем за четыре месяца два молодых автора собирают материал, пишут книгу «Черные страницы Весьегонской истории», а уездная типография выпускает ее к 1 мая 1919 года.

Интересна и вторая часть постановления Весьегонского уисполкома: «Коллегии озаботиться в нынешнюю же зиму собрать по деревням уезда все народные песни и былины, рассказы и сказки, чтобы сохранить их в собранной книжке на память грядущему потомству, которое бы знало, какими чувствами и думами было полно крестьянство как в годы мрачного произвола, так и — в наступившие дни воли. Коллегии предоставляется полная самостоятельность в работе».

Вторую часть постановления первого Весьегонского Совета ни весьегонцы, ни тверичи так и не выполнили до сих пор...

Приведу названия некоторых книг, изданных в Твери и в губернии в 20-е годы: Д. Базанов, «Аграрный вопрос в Тверской губернии накануне 1917 года»; А. Вершинский, «Хлопчатобумажная промышленность России и английские кризисы 60-х годов XIX в. По переписке Морозовых»; А. Ильинский, «Климат Тверской губернии»; Г. Гельгард, «К изучению языка и стили»; А. Савинов, «Из истории аграрной Тверского края 19 века»; М. Савина, «Полезные ископаемые Тверской губернии и их промышленное значение»; семь выпусков «Материалов Общества по изучению Твер-

ского края». Всеми этими и многими другими книгами, выпущенными в те годы, до сих пор пользуются и краеведы, и историки, и ученые, и писатели. Других книг у нас нет...

Известный критик Б. Гусман в книге литературных портретов «100 поэтов», изданной, кстати, в Твери в 1922 году, приводит имсна по крайней мере двадцати тверских поэтов, выпустивших здесь свои книги «исключительно за счет предприимчивости самих писателей». Рядом с известными С. Дрожжиным, Е. Нечаевым, Н. Власовым-Окским в библиографии Гусмана можно найти и поэтов менее известных, почти забытых: М. Дудорова, И. Милютину, М. Гроховского, И. Синякова, П. Раменского, Н. Сулейкина, поэтов из Кашина В. Дворяшина и Н. Свирельника, группу осташковских литераторов. Большинство тверских поэтов группировались вокруг Литературно-художественного общества имени Никитина, тогда же действовал, долгое время безуспешно, Пролеткульт. В Бежецке, по свидетельству Н. Рогожина, существовал «союз поэтов, в котором нередко бывал покойный бежечанин Н. Гумилев и до сих пор продолжает бывать Анна Ахматова».

Среди тверских поэтов тех лет, правда, нет литераторов, равных смолянину М. Исаковскому, калужанину А. Чижевскому или омичу Л. Мартынову, но о поэтах тверской «Зарницы» сочувственно упоминал в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» В. Брюсов, а С. Городецкий посвятил тверской поэзии часть обзора в журнале «Красная новь» (1921, № 4). Что касается прозы, то ей, надо сказать, Тверь дала писателей более именитых, например романистов И. Васильева и С. Клычкова. Как автор сборников «Шутейные рассказы» и «Диколече», романа «Ватага» был известен российский читателю бежечанин В. Шишков. В зените славы находился молодой Алексей Тверяк, начавший писательскую карьеру у себя на родине в Осташкове в 1922 году, а к 1929 году издавший уже два романа («Передел» и «Две судьбы») и повести «Ситец» и «На отшибе». Тогдашняя критика ставила его в ряд лучших крестьянских писателей.

Публицистическими статьями, написанными в лучших традициях русской журналистики, вошли в сознание читателя тех лет тверские публицисты В. Малейн, М. Неведомский, М. Клевенский. В 30-е годы многие из упомянутых здесь произведений тверских литераторов были названы сталинистами кулацкой, меньшевистской, бухаринской литературой. Перестроиться на сталинский лад честные писатели не смогли. Одни — И. Васильев, С. Клычков, И. Макаров — были расстреляны, другие — В. Шишков, А. Чапыгин — взялись за исторические романы, третьи отошли от литературы навсегда.

Два удара по культурной жизни провинции были особенно ощутимы: административно-территориальные переделы страны, в результате которых были разрушены складывавшиеся веками культурно-исторические связи, и провозглашение в начале 30-х годов краеведения буржуазной лженаукой.

Краеведение в Твери имеет более чем двухвековую историю. В 1866 году был открыт губернский краеведческий музей — один из лучших и известнейших в России, а восемнадцатью годами позже организована Тверская ученая архивная комиссия — ТУАК, — труды которой и сегодня могут считаться образцом конкретно-исторических исследований. Очень интересен и опыт школьного краеведения в Твери. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в изданные типографским способом и бережно сохраненные старейшим тверским краеведом Н. А. Забелиным «Отчеты общества организации путешествий учеников Тверской гимназии» за 1913—1914 и 1915—1916 годы. По содержанию это настоящие детские краеведческие журналы с прекрасными иллюстрациями и путевыми заметками и очерками. Отроческие строки о путешествиях к истоку Волги, в село Кушалино, в Нилову пустынь на Селигер похожи на первые робкие признания в любви:

«...Часто выплывают картины виденного и так ярко, как будто еще их и теперь видишь. Так, например, мне представляются истоки Волги. Что-то родное чувствуется там, что-то маленькое, простое, но свое, русское; охватывает какое-то невыразимое чувство при виде того, о чем так много приходилось слышать от других...»; «...хотелось обнять весь мир и закричать во весь голос: „Чудно создан Божий мир!“»

Читаешь и начинаешь понимать, почему для героев М. Булгакова и А. Толстого разлука с Россией была трагедией: любить родину еще и учили...

Для идейного обоснования разгрома краеведения (родиноведения, как говорили тогда) был выдвинут один весьма нехитрый тезис: мол, при поступательном развитии

общества по восходящей линии изучение прошлого (и особенно на местах) просто теряет свое значение — сравнивать плохое прошлое с хорошим настоящим и светлым будущим не имеет никакого смысла. А так как наше общество начиная с 1928 года неизменно процветало и жить с каждым годом становилось все лучше и веселей, краеведение и объявлялось лженаукой. Последствия этого оказались не менее, а, быть может, даже и более разрушительными, чем от провозглашения лженауками генетики и кибернетики. Ведь в данном случае непоправимый ущерб был нанесен человеческой душе, нашему национальному культурному достоянию, народной памяти. Эпоха создания «героических элементов своей истории», своих ярких воспоминаний, своей поэзии, которая, по Чаадаеву, должна была составлять (и составляла везде, кроме России) необходимую основу всякого общества, была насильственно прекращена враз, едва начавшись. Разрушали храмы и монастыри, стирали с земли памятники гражданской архитектуры, переплавляли на шестерни церковные колокола и на чугуны уральское литье, возами сжигали иконы и монастырские книги, изменяли названия городов и сел, повсеместно ликвидировали общества краеведов, вскрывали и выбрасывали мощи таких русских святых, как князь Михаил Тверской, краеведение вычеркивали из школьных программ.

В городе Мышкине Ярославской области на старом кладбище в конце 20-х годов вышестоящие власти распорядились провести заготовку металлолома. Были выкорчеваны все металлические ограды, кресты, разрушены усыпальницы, сняты чугунные плиты, многие из которых имели культурную ценность, так как являлись образцами уральского литья. Варварскую акцию эту провели силами несовершеннолетних преступников, содержащихся в местной колонии.

Тогда же в селе Татеево ныне Оленинского района Калининской области был вскрыт семейный склеп профессора Московского университета С. А. Рачинского, основателя и учителя татеевской школы для крестьянских детей. Останки Рачинских выносили из склепа.

Эти два примера характерны и для тысячи других провинциальных городков и сел, поскольку подобного рода действия были актами не только личного произвола — они поощрялись вышестоящими властями как акты отречения от старого мира. Потом, когда в конце 30-х годов в сибирских лагерях произойдет встреча тех, с чьего согласия осуществлялось это варварство и произвол (ибо посягнуть на покой умершего во все времена являлось верхом произвола и беззакония), с теми, кто непосредственно творил его в конце 20-х и в начале 30-х, первые ужаснутся жестокости и беспринципности бывших беспризорников. Что ж, уроки вседозволенности и моральной распущенности уголовники во многом получили тогда, когда безнаказанно вскрывали склепы, выкорчевывали могильные ограды, оскверняли святые мощи...

Не меньший урон культуре русских городов нанесли административно-территориальные переделы: упразднения старых губерний и уездов, создание новых областей, округов, районов. Тверская губерния, например, сполна хлебнула этой бюрократической благодати: она успела побывать и центром округа Московской области, и Калининской областью; многие ее районы отходили то к Смоленской, то к Московской областям, а к ней присоединялись районы Новгородской, Псковской, Смоленской областей и т. д. Переименовывались населенные пункты, города становились селами, центры волостей — деревнями, безвестные деревни — центрами сельсоветов и даже районов, и все это без согласия жителей, но «учитывая пожелания трудящихся». (Кстати, когда трудящиеся Калининна подняли вопрос о возвращении городу его исконного имени, никто так и не смог отыскать писем и обращений тверичей, в которых бы содержались просьбы переименовать Тверь в Калинин. Видимо, и не было этого.) А переделы, конечно же, сопровождались всеми вытекающими из нового положения того или иного населенного пункта последствиями: урезались или увеличивались фонды, сокращались или увеличивались штаты, закрывались музеи, театры, перевозились музейные экспонаты. Покидала родные места интеллигенция.

Как правило, новое административно-территориальное деление проводилось не только без учета культурно-исторических факторов заселения, но и вопреки им. Памятники истории, архитектуры, искусства, археологии, то есть культурно-историческая среда, которая формировала человека на протяжении многих веков, отчуждалась от него. Многие древнейшие памятники отечественной истории и архитектуры оказались за колючей проволокой. Я имею в виду те десятки монастырей, которые были превращены в тюрьмы и исправительно-трудовые лагеря. У нас в области таковым оказался

древнейший в России Борисоглебский монастырь в Торжке, тот самый, летописями которого пользовался, по преданию, Н. М. Карамзин. Шедевром русской архитектуры XVIII века считается собор этого монастыря, построенный по проекту Н. А. Львова. Друг Львова известный русский художник В. А. Боровиковский написал для собора иконы...

Ликвидация в конце 20-х годов Общества по изучению тверского края, Литературно-художественного общества имени И. С. Никитина, кооперативного общества «Природа и знание», научного сельскохозяйственного общества имени А. Н. Энгельгардта, закрытие журналов и кооперативных издательств не могли не затронуть корней местной культуры. Происходит первый после революции исход представителей тверской интеллигенции в Москву и Ленинград. И уже другие книги печатаются в Калининне, такие, как «План весенней посевной сельскохозяйственной кампании 1932 года», где вместо трезвого и обстоятельного анализа наличных средств сельского хозяйства тверского края пошла в ход разрушительная артиллерия категорических императивов: «довести до сведения», «принять срочные меры», «приступить к севу», «доводится план».

В 30-е годы из Калининской области уехали Григорий Бутковский, Иван Рябов, Борис Полевой, Николай Тряпкин, Александр Макаров. Интересно, что в 50-е годы, когда в Калининне вновь организовали издательство и выходил литературный альманах, отток писателей резко сократился, зато после закрытия издательства в 1961 году он опять ускорился. В «тишайшее» двадцатилетие из Калининна уехали Иван Васильев и Андрей Деметьев, Алексей Пьянов и Мария Аввакумова Привожу только имена литераторов, да и то лишь те, которые на слуху у читателя. А ведь перечень покинувших свою малую родину можно существенно расширить, включив в него и актеров, уехавших в лучшие московские и ленинградские театры, и окончивших консерватории, но не вернувшихся домой музыкантов, и художников, и архитекторов, и известных журналистов. Большинство из них оставили родной край в самом плодотворном творческом возрасте, видимо, так и не найдя поддержки своему растущему таланту, боясь за его судьбу.

Тверь вновь превратилась в глухую провинцию, погрузилась в летаргический сон Да и как иначе, если в городе с полумиллионным населением вот уже около тридцати лет нет ни издательства, ни журнала, ни альманаха, где бы пишущий человек мог напечатать рассказ, очерк, краеведческий материал, искусствоведческую статью. (Для сравнения скажем: в Лодзи — четыре издательства, во Врцлаве — два.) Как иначе, когда в области площадью в две Эстонии, на родине Василия Андреева не то что симфонического — оркестра народных инструментов и того нет, а из трех существующих драматических областных театров два не имеют своего помещения, работают, где приютят.

С 1926 года население области уменьшилось более чем на миллион человек...

Историческое, да и не только историческое, беспамятство провинции поразительно. Зайдите в любое учреждение, в любую контору района, области и — десять против одного — вы не добьетесь мало-мальски подробной исторической справки о деятельности этой конторы. Спрашиваю в школьном отделе горкома комсомола: «Сколько средних школ было в районе в 1970 году?» Никто не знает. Звонят в районо. Не знают и там. Звонят в райисполком. Тот же результат. И все к тому же искренне удивляются «А зачем нужны эти сведения?» Действительно, зачем? А вдруг они заставят задуматься, а там, не дай бог, что-нибудь делать?..

Причин, порождающих историческое беспамятство, много. Одна из них — отсутствие самостоятельной издательской базы. (Кто видел десятки книг Тверской ученой архивной комиссии, тот поймет, почему и через шестьдесят лет после ее ликвидации в Калининне еще сохранилось краеведение.)

Говоря о местной издательской базе, пекусь даже не об издании сегодняшних калининских писателей Мы как-то уже притерпелись без него Но пришло время переиздания местной исторической, краеведческой, публицистической, художественной литературы, за которую вряд ли возьмутся сориентированные сегодня в основном на прибыль и закладывающие в планы стотысячные тиражи столичные издательства.

Какие книги я имею в виду? Ни разу не переиздавались в советское время и стали библиографической редкостью «Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского

края» Д. Карманова, «История Тверского княжества» В. Борзаковского (по насыщенности историческими сведениями эта работа сравнима разве что с Древнерусскими летописями), «Прошлое и настоящее г. Твери» В. Колосова, «Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении» В. А. Преображенского. И так далее и так далее...

А литература по народным промыслам и ремеслам: изразцовому, кожевному, овчинному и многим-многим другим? При сегодняшнем повороте к кооперативному производству эти книги могли бы стать бестселлерами. Кстати, кооператоры 20-х годов первыми взялись за возрождение местной культуры и изучение местных условий. Именно по их инициативе было создано Общество по изучению тверского края, в программе которого говорилось: «В то время когда народнохозяйственная жизнь дошла до крайней степени упадка, очевидно, под впечатлением гнетущих вопросов: «Где же выход?», «Как наладить в корень расстроенную жизнь?» — в это время как-то особенно ярко всеми стала сознаваться необходимость глубокого знания того, что нас окружает, — знания, основанного на научном исследовании...» Ни в какое другое время не выходило у нас столько книг по истории, экономике, промыслам, как тогда. Причем, как подчеркивалось в уставе, нашлись «местные люди, желающие и способные провести работу по изучению той или иной стороны жизни местного края». (Ну а успехи тогдашних кооператоров сегодня общеизвестны: в 1928 году Россия кооперативная превзошла по валовому производству сельхозпродукции 1913 год на 24 процента.)

В 20-е годы Н. К. Пиксанов писал: «Подчиняясь централистским тенденциям, наша историческая мысль под новой русской культурой и литературой понимает собственно культуру и литературу столичную, не учитывая, просто забывая областную... в движениях и поворотах «русской», т. е. общерусской, столичной литературы мы многого не поймем, если не изучим областных культурных гнезд. Не случайно Ломоносов пришел в Москву: он был воспитан богатым северным центром и делегирован им в общерусскую культуру. Не случайно Волков и «ярославцы» заняли такое большое место в столичном театре: их воспитала старинная ярославская культура... Явление Кольцова из Воронежа могло казаться случайностью. Но когда оттуда вскоре явился Никитин, невольно пришлось подумать, что здесь не случайность». А сегодня? Не хочешь, да вспомнишь горькие строки из стихотворения Н. Паученко «Павлу Филонову, Александру Чижевскому и другим калужанам — великим и безвестным»:

«В России плохо с мужиками, чтоб с головою да с руками — и не одна война виной, и неурядицей одной не оправдать — тоска их съела. Попробуй посиди без дела, к беде Отечества спиной?! Борцы, аскеты, сумасброды, земной презревшие уют, копают тупо огороды и водку пьют или не пьют. Их нет в искусстве, нет в науке, их запах выдрали из книг, чтоб внуки их и внуков внуки учились жизни не у них...»

Что же случилось? Почему так сузилась география нашей отечественной культуры? Или все таланты немедленно переезжают в Москву, или перестала российская земля рождать собственных Платоновых, Чижевских, Циолковских, Мальцевых, Кондратьевых? Имена Шаталова, Илизарова, Распутина и других деятелей провинциальной культуры и науки нашего времени говорят об обратном. А вот то, что сегодня в Калуге не издать бы своих произведений ни Циолковскому, ни Чижевскому, — за это ручаюсь. Думаю, одно название рукописи «Пенетронтное и солнечное излучение и жизнь» привело бы редактора в шоковое состояние. А ведь подобные книги были рядовым явлением русской культуры еще в 20-е годы.

Обязательную ориентацию на столичную культуру укрепляет в нашем сознании пирамидальный централизм органов культуры. Репертуары театров обязательно утверждаются в областном управлении культуры, затем — в Министерстве культуры республики и т. д. Идей централизма пронизано музейное и даже библиотечное дело, начиная от подготовки новой экспозиции и кончая комплектованием фонда библиотек. Зайдите в любую областную картинную галерею. При всем их различии, уверен, вы заметите одну общую черту: желание сделать из картинной галереи маленькую Третьяковку, маленький Русский музей. Вот почему творения малых русских мастеров портретной живописи XVIII — начала XIX века, большей частью безвестных и безымянных, но не так уж редко незаурядных, увы, продолжают пылиться в запасниках. Они до сих пор лишь представлены и в провинциальных и в столичных музеях; и представительство это зачастую формальное, иллюстративное. Равняяс на столицу, и в провинции стремятся показать все тех же Ф. Рокотова, И. Вишнякова, А. Антропова, Д. Левицкого. Правда, для приличия местные музеи все же включают в свои экспозиции две-три работы наиболее почитаемых провинциальных живописцев (в Калининне — Е. Камяжни-

кова и М. Колокольникова, в Ярославле — Н. Мыльникова и И. Тарханова и т. д.) да одну-две работы неизвестных художников, но тем и ограничиваются.

Найдется мало людей, не любящих творения Рокотова, Кипренского, Антропова, но нельзя же искусственно сужать огромный мир русской живописи только до этих имен. Не один Пушкин, Толстой и Достоевский исчерпывают русскую словесность XIX века. Есть еще и К. Н. Батюшков и В. А. Жуковский, есть С. В. Максимов, А. Н. Энгельгардт, Г. И. Успенский, Н. Н. Златовратский. Понять противоречиво развивающийся мир русской литературы без них так же невозможно, как и без картин провинциальных художников мир русской живописи.

Провинциальный портрет XVIII века — это русское национальное достояние, бесценный материал для изучения отечественной культуры, истории, яркая страница живописного искусства. По вниманию к духовному миру человека, широте охвата всех слоев общества (от царских особ до крестьянина) провинциальный портрет не менее интересен и значителен, чем портрет XIX и XX веков, а как художественное течение может быть вполне сопоставим с таким явлением, как голландский пейзаж XVII века. Но вот что обидно: малых голландцев мы можем посмотреть и в Эрмитаже, и в изданных не раз альбомах, а «малых русских мастеров» (термин А. Эфроса) — Россию XVIII века с ее надеждами, скорбями, величием — увидишь, если только очень повезет. (Единственный в своем роде альбом, изданный в 1986 году, — «Ярославские портреты XVIII—XIX веков», где собраны работы провинциальных художников ярославского круга, едва ли заполнит этот пробел в нашем эстетическом образовании.)

Множество бесценных произведений живописи, таких, как иконы тверской школы, полотна Венецианова и его учеников, малых русских мастеров, уплыло из Твери в центр в 20-е, 30-е, 40-е годы. Не могу читать без боли в нашей краеведческой литературе такие вот ставшие типичными сведения: «Картины А. В. Тыранова хранятся в музеях Ленинграда и Москвы. Несколько картин Тыранова есть в Калининской картинной галерее. В Бежецком музее творчество Тыранова представлено репродукциями с картин художника...» А ведь Тыранов родился, жил, творил в Бежецке!..

Китайской стеной отделен от источников провинциальный ученый, краевед, литератор. Занимаясь провинциальной культурой, где только не приходилось мне читать своих тверяков! Д. П. Шелехова я читал в библиотеке ВАСХНИЛ в Москве, его же «Курс опытного русского сельского хозяйства» и «Путешествие по русским проселочным дорогам» в Публичной библиотеке в Ленинграде, В. И. Симакова в Москве в ЦГАЛИ, «Новые главы духоборческой эпопеи» П. Тверского в Пушкинском Доме. В Ленинграде знакомился с «Основами веры и знания» П. Бакутина, тверскими журналами «Пахарь», «Сельский хозяин», «Тверской край», «Тверская старина», «Тверское жало», «Зеленый журнал», тверскими альманахами и сборниками 20-х годов, в Москве с книгами С. Шарاپова «Будущность крестьянского хозяйства» и «По русским хозяйствам».

Централизация культуры в 60-е и 70-е годы еще более усугубила процесс оскудения областной культуры. Вот некоторые цифры, подтверждающие это. В 30-е годы у нас в области было 6 вузов, сейчас их 4, и все они в Калининe, тогда как полвека назад 2 вуза были в провинциальных городках — Кимрах и Вышнем Волочке. В 30-е годы в нашей области насчитывалось 55 техникумов, сегодня их 40, и 10 из них в Калининe. В 30-е годы в области работало 10 профессиональных театров, сегодня их 5, и 3 из них в Калининe, как и в 30-е годы. В 1927 году у нас было 15 музеев, сегодня их, правда, 32, но положение провинциальных музеев тяжело, научной работы там не ведется, издательских возможностей у них нет и не ожидается, здания большинства музеев требуют срочного ремонта, фонды во многих районных музеях утеряны, разворованы и не пополняются. Под предлогом очищения фондов и централизации библиотек и сельских клубов в 60-х, а затем в 70-х годах были закрыты десятки культурных учреждений, растащены по частным библиотекам тысячи редких книг. Разорение, которое принесли культуре провинции эти варварские акции Министерства культуры, сравнимо только с нашествием Батя на русскую землю. Но тогда в городах и селах, которые обошла степная конница, книги все-таки не сгорели, остались, централизация же библиотек и чистка их фондов лишили и села и районы всего ценного, оставшегося от личных собраний Бакуниных, Кутузовых, Нарышкиных, Унковских. Сегодня даже в районе трудно сыскать энциклопедию Брокгауза и Ефрона, а в 60-е годы она стояла во многих сельских библиотеках...

Сравним эту статистику со статистикой демографической. В 30-е годы в провинциальных городках области жило 392 тысячи человек, сегодня живет 732 тысячи. За эти годы здесь в несколько раз выросла численность рабочего класса, специалистов, административно-управленческого аппарата, увеличились прибыли, а вот число учреждений культуры и количество работников культуры уменьшилось. Соответственно уменьшился и удельный вес гуманитарной и творческой интеллигенции. Например, число учителей по сравнению с 1940 годом сократилось в полтора раза (11,6 тысячи против 16,5), в области не хватает даже по штатному расписанию 500 культработников. Прибавим к этому нехватку в провинциальных и сельских школах учителей, слабую материальную базу школ, клубов, библиотек, отсутствие спортивных залов, музыкальных и художественных школ — и получится, что все эти годы провинция только работала; ткала, пряла, растила хлеб, не получая взамен и доли того, что она зарабатывала.

Провинции некогда и негде было подумать о душе...

И вновь невольно обращаешься к прошлому. Тверь — один из старейших в России театральных городов. Первый спектакль под названием «Декламация ко дню рождения Елизаветы Петровны» был поставлен в ученическом театре Тверской духовной семинарии в феврале 1745 года, то есть скоро можно будет отмечать 250-летие нашего театра. Больше того, автором «Декламации...» и «Оперы об Александре Македонском», которая была поставлена вскоре после «Декламации...» на семинарском празднике в честь окончания курса, по мнению ученых, является преподаватель пиитики и риторики Тверской семинарии Михаил Тихорский. Оставленные им записи лекций по своему предмету говорят о прекрасном знании им латыни и его широкой начитанности. Интермедии же, исполнявшиеся в паузах между актами и живыми картинами (балетами), написаны тверскими семинаристами, о чем свидетельствуют многочисленные следы тверского говора, характерные просторечия.

Кто-то, быть может, скажет: зачем забираться в седую древность, если не осталось не только ничего общего между сегодняшним калининским театром и семинарским, но и сама память о нем стерлась? Отвечу: у наших братьев сербов такого вопроса не возникает. Они горды тем, что рукопись «Декламации...» хранится у них, ее изучают, русисты защищают по ней диссертации, исследуя южнославянское влияние на формирование русского литературного языка. Потому что именно такая память отражает глубину культуры нации. Мы же о своем театре знать не знаем. Последняя печатная работа, если не ошибаюсь, по этой теме относится к 20-м годам, она опубликована в сборнике «Старинный театр в России XVII—XVIII вв.» в 1923 году. Один город — Москва — не может помнить все за всю огромную Россию, в Калинин же сегодня об этом помнить некому. Жил в Твери местный историк В. И. Колосов — помнил. Написал о семинарском театре в «Истории Тверской духовной семинарии», привлек внимание ученых. Я полистал эту «Историю...», изумился. Кого только не было среди выпускников семинарии! Ректоры крупнейших университетов, известные ученые, языковеды, филологи, переводчики, историки, писатели, религиозные деятели. Все забыты!

Чем же оборачивается наше беспамятство?

Сегодняшние историки литературы не знают находок современных краеведов, писатели не имеют представления, чем занимаются историки, а это, конечно, приводит к ошибкам, к искажениям исторических фактов, к отсутствию местного патриотизма. Областную библиотеку, основанную Щедриным, мы называем библиотекой Горького. Гонясь за романами Лажечникова (этого «русского Вальтера Скотта»), мы нисколько не страдаем оттого, что в городе нет мемориальной доски в его честь (зато в честь А. А. Жданова — есть). Мы забыли о том, что одним из самых крупных на Руси восстаний против монгольского ига было восстание 1327 года в Твери, поднятое дьяконом Дюдко, а ведь это событие достойно памятника. Не всколыхнул нас и такой факт: по результатам опроса американских телезрителей лучшей передачей семидневной советской телепрограммы в прошлом году названа передача «Играй, гармонь!», записанная в Калинин. Увы, богатейшая народная музыкальная культура Верхневолжья лежит под спудом. Народной культуры, как и до революции, у нас в области до сих пор занимается художественная самодеятельность, а на профессиональных сценах продолжают культивировать западную музыкальную культуру — джаз, рок. Почему-то американский композитор Пол Уинтер находит нашу народную музыку универсальной и пишет на основе ее оригинальные произведения, а мы ее почти не знаем. Видимо, подражать

всегда было легче, чем идти своей дорогой. Разве что Пол Уинтер повернет нас к нашим истокам, нацелит не на подражание, а на раскрытие своей собственной музыкальной природы?

Обратимся теперь к сфере экономической.

Тверской край славился своими промыслами, народной промышленной культурой. Ткачи, сапожники, башмачники, валялы, резчики по дереву, бондари, гончары, мельники, лукошечники, лодочники, каменщики, печники, штукатуры, позолочники, кузнецы — всех не перечислишь — составляли славу Волговерховья. Это сегодня слова «кустарь» и «ремесленник» вызывают у нас негативную оценку. А ведь с тверского, нижегородского, ярославского, владимирского, ивановского кустаря начиналась русская промышленность: машиностроение и металлургия, бумагопрядение и бумаготкачество, фарфоровое и фаянсовое производство. Еще в 20-е годы на долю мелкой промышленности, то есть на долю кустаря и ремесленника, мелкого артельщика, приходилось до 60 процентов промышленного производства. Кустарям, имеющим учеников, правительство предоставляло льготы, а в начале 30-х годов промкооперация, объединявшая кустарей и ремесленников, в плановом порядке снабжала квалифицированными рабочими заводы, стройки и фабрики, в том числе знаменитую Магнитку, ЧТЗ и т. д.

Тверские мастера были прекрасными строителями. Тверь никогда вплоть до новейшего времени не приглашала строителей со стороны, о чем с гордостью упоминают все местные историки и краеведы. Строили тверичи так, что за время существования тверской земли в ней не завалилось ни одно строение.

Замечательной крепостью и теплоизоляционными свойствами отличался тверской кирпич. Достаточно сказать, что кирпич из Старицы и Твери возили за четыреста пятьдесят верст еще в 1481 году на строительство Спас-Каменского монастыря, что на Кубенском озере. Такой же, если не большей, известностью пользовался знаменитый старицкий известняк.

В Тверском уезде выделывали шляпы, корзины, деревянные шторы, портняжили. В селе Едимонове находилась знаменитая школа сыроваров, основанная для крестьян Н. В. Верещагиным; сыры крестьянских кооперативов охотно покупали в Англии, Германии и даже Швейцарии. В Ржеве в прошлом веке жило семейство Волосковых, которое занималось изготовлением красок на основе льняного масла и местных минералов. Карминные краски Волоскова принесли ему золотые медали Парижской промышленной выставки конца прошлого века. В Толстиковской волости Ржевского уезда процветал топорный промысел. После заточки толстиковским топором можно было побриться, он подолгу не тупился, местные кузнецы получили не одну золотую, серебряную и бронзовую медали на выставках в Лондоне и Вене. В Калязинском уезде славилась кружевница, здесь же начиная с XVII века делались высокохудожественные изразцы, также многократно отмеченные в прошлом веке медалями на различных выставках; калязинские резчики по дереву были известны и в России и за ее рубежами.

Кустарь был хранителем народной промышленной эстетики. Борьба, начатая с ним в 30-е годы, лишила промышленность кропотливого учета эстетических потребностей заказчика. Без преувеличения можно сказать, что уничтожение кустаря и мелкого кооператора имело такие же последствия для промышленности, как для сельского хозяйства коллективизация. Фабрика и завод превратились в бюрократические учреждения по производству товаров.

Исчезли калязинские кружевницы, башмачники, валялы, резчики по дереву, камню, мастера керамики, кимрские и ошастковские сапожники, тверские гармонщики. Да что гармонщики! Не найти столяров, которые могли бы сделать фигурные рамы.

Кому не приходилось видеть церкви, десятилетиями одетые в леса. В лесах они часто потому, что нет мастеров, умеющих повторить то, что делали их отцы и деды.

Стоит ли убиваться по каким-то гармонщикам и валялам, возразят мне. А вот капиталистическое хозяйство, которое, по прогнозам наших экономистов, давно должно бы было уничтожить своего кустаря, бережет и холит его, собирает международные съезды кустарей, экономически поощряет их, так как кустари помогают крупной промышленности более оперативно реагировать на возникающие потребности общества — они ближе к рядовому потребителю.

Составной частью провинциальной культуры была культура земледелия. Здесь также есть утраты — и существенные. Вместе с кустарем исчезли фигуры ростовского

и московского огородника, псковского, рязанского, тульского и курского садовода, отхожего огородника, ходившего из отдаленных сел и деревень русской провинции арендовать на лето землю рядом с крупным городом. У подобного арендатора отпадала надобность в перевозке продуктов к рынку; зелень и овощи поступали на прилавок отменно свежими, только что сорванными с грядок. Да мало ли было разумного, веками освященного, потом уничтоженного и сегодня забытого!..

Ну а не стало земледельческих промыслов — исчезли фигуры сыроделов, маслобойщиков, мельников, пекарей, калашников, квасников, сбитенщиков...

Исчезли эти фигуры — обнищали русские базары и ярмарки на чухонское, вологодское, русское, парижское масло, тверские сыры, льняное и горчичное масло, на ростовский и бежецкий лук, на вязниковскую вишню, на русский крыжовник, самую дешевую садовую ягоду, на яблоки и яблочную пастилу, на пряники, лепешки и кренделя...

Тверская земля богата минеральными водами. Просматривая старые тверские журналы за 1926 год, я нашел в «Тверском крае» статью А. Треплина «Минеральные воды Тверской губернии, их открытие и использование». Автор перечислил в ней более десяти источников, которые были уже исследованы. Это Олсуфьевский источник, что в двадцати двух километрах от Кашина, Высоковские воды близ этого города и воды самого Кашина (последние — единственные минеральные воды, которые сегодня используются в области, но они, заметим, далеко не лучшие в сравнении с водами других источников); источники вокруг затопленного Иваньковским водохранилищем города Корчевы — у деревень Уходово, Новоселье и в самой Корчеве; Пенские воды близ Калязина, Старицкие воды близ деревни Заднее Поле и редкие по составу источники Святой Ключ, дающие воду с сернистым запахом, близ Оковцев Осташковского района и йодистые источники у города Бежецка.

Из известных, но не используемых источников сегодня известнее других Андреапольские воды, на которых в XIX веке генерал-майором С. А. Кушелевым был устроен курорт для инвалидов Отечественной войны 1812 года. Источники эти, сегодня даром истекающие в Западную Двину, приравниваются специалистами к Пирмонтским водам, добываемым в долине реки Эммер в Германии. Сверх того, по отзывам врачей, Андреапольские воды помогают в излечении болезней нервной системы и пищеварительного тракта и системы кровообращения, способствуют они и восстановлению сил организма после изнурительных хронических болезней. Менее известны минеральные источники в самом городе Калинин, находящиеся в устье Тьмаки. Они приравнивались к минеральным водам бельгийского курорта Спа, который и поныне привлекает тысячи людей, страдающих недугами печени, желудка, анемией, истерией и др.

А ведь как трудно, а подчас и невозможно где-нибудь на ткацкой фабрике или камвольном комбинате заполучить профсоюзную путевку не только что в Kisловодск, но даже и в Кашин, тогда как рядом, прямо под нами находятся целительные воды, не уступающие по своим свойствам минеральным источникам европейского ранга.

Еще пример. В Калининской области, как и во всем Нечерноземье, очень плохие дороги, но построить своими силами новые не удастся, поскольку считается, что у нас нет достаточного количества своего песка, щебенки, гравия. Считается, несмотря на то, что в области большие запасы и гравия, и щебня, и песка. Все насыпи железных дорог в области отсыпаны до революции из местных материалов. И достаточно открыть книгу М. Савиной «Полезные ископаемые Тверской губернии и их промышленное значение», изданную в Твери в начале 20-х годов, чтобы понять — кроме песка и щебенки, у нас огромные запасы известняка, по красоте мало уступающего мрамору, а по прочности граниту, есть огнеупорные, фаянсовые и даже скульптурные глины. У нас имеются залежи москательных красок — желтых и красных охр. Все это когда-то служило народу, а теперь лежит втуне, не разрабатывается, не применяется, забыто. А гравий и щебенку для дорог, видимо, легче привезти из Карелии (и взять!); благо не на себе и не за свой счет.

Кажется, наконец-то мы поняли всю гибельность дальнейшей централизации народного хозяйства, осознали ее экономический, нравственный, политический вред. Мы поняли, что нельзя командовать из Москвы, когда сеять в Рязани и пахать на Алтае, где и какие строить заводы и в каких домах всем нам жить, какую платить зарплату и по каким ценам продавать товары. Мы поняли, что в экономике играют не меньшую

роль душа человека, человеческий интерес, что из миллионов желаний, воля и потребностей рабочих, крестьян, инженеров, конструкторов, а вовсе не из интересов и потребностей ведомственных чиновников, узурпировавших право распоряжаться народными ресурсами, в конечном счете складываются и национальный доход и национальные богатства...

Не пришла ли пора сделать еще один шаг и наконец понять не меньшую, а, может быть, даже большую губительность, которую несет нашему обществу централизация культуры? Развенчивая командный стиль в руководстве экономикой, мы не заметили, как этот же стиль буквально нивелировал в недалеком прошлом самобытную культуру нашей провинции, во все века русской истории представлявшую общерусской культуре оригинальных художников, поэтов, композиторов, деятелей искусства. Исчезли богатейшие архитектурные традиции, создавшие неповторимые лики городов, утрачены многие певческие стили, прекратили существование художественные и литературные школы. Оглядываясь в прошлое, с горечью думаешь о том, что сегодня даже представить невозможно, что где-нибудь в провинциальном Пскове или Новгороде архитекторы и местные власти отстаивают собственный градостроительный стиль, а в Иркутске или Красноярске миллионным тиражом издается журнал, который рассказывает о духовных, нравственных проблемах жителей Сибири. Проживая в разных климатических, географических, социальных и даже политических условиях, в городах и селах с разными культурно-историческими традициями, мы носим одинаковые одежды, населяем одинаковые дома, едим одинаковую пищу за одинаковыми столами и в одинаковых столовых, читаем десяток одних и тех же журналов, смотрим одну-две одинаковые телепрограммы, где нам демонстрируют свое искусство два-три десятка одних и тех же актеров, музыкантов, певцов. Это ли не символы подавления в человеке стремления к творчеству, это ли не примеры государственного недоверия к человеку?

Легко соглашаясь с данными науки о том, что процент способных людей одинаков как для столицы, так и для провинции, мы так же легко цитируем строки Экзюпери о мальчике, который мог бы стать Моцартом, да помешала война. Сегодня нет войны, но многие одаренные мальчики из русской провинции никогда не смогут стать Моцартами, Суриковыми, Есениными, так как в провинции на сегодня не хватает не только музыкальных и художественных школ, но даже и обыкновенных учителей музыки, рисования в общеобразовательных школах.

Стоит ли удивляться тому, что провинция сегодня глуха ко многим нравственным, политическим, экономическим идеям, провозглашаемым в столице, что здесь живет, устойчивее, явственней пережитки недавнего прошлого, медленнее идет перестройка. Евг. Евтушенко, назвавший в «Юности» русскую провинцию Вандеей, сегодня, верно, недалек от истины. Вандеей русская провинция во многом стала потому, что у нее отняли возможность самостоятельного культурного развития — закрыли издательства, журналы, театры, вывезли в Москву редкие книги, произведения искусства, разрушили исторические памятники, создали тяжелую для творческого, интеллигентного человека атмосферу.

Присвоив монополию на развитие культуры и общественной мысли в стране, Москва сделалась государством в государстве. В Москве утверждают работы художников Камчатки и скульпторов Сибири и Дальнего Востока, рассматривают эскизы интерьеров общественных зданий Сахалина и архитектурные проекты Пскова и Новгорода, обсуждают репертуары театров, принимают концертные программы филармоний и ресторанных оркестров.

Как же возродить самобытную культуру провинции, без чего, убежден, культура отечественная неминуемо придет в еще больший упадок? Путь, думается, один: вернуть провинции то, что было у нее в свое время отнято, — самостоятельность культурного развития. Уравнивать ее в правах со столицей, как это должно быть во всяком цивилизованном государстве, отказаться от порочного, но ставшего уже привычным для многих взгляда на культуру как на некий продукт, производимый исключительно в центре и экспортируемый оттуда на периферию. Корни самобытной культуры провинции в ее самостоятельности. Убежден, художественные образы воронежца Андрея Платонова никогда бы не создал донской казак Михаил Шолохов; мировая культура не знала бы композитора М. П. Мусоргского, не родился он в самобытном песенном крае Псковской губернии. Край этот остался, а вот песен там не поют.

Как о золотом веке культуры читаешь о том что в 1913 году в России было 575 книгоиздательских фирм, что с 1900 по 1917 год в стране было издано 1103 альманаха, в которых напечаталось 7061 автор, что в 1915 году издавалось 235 литературно-художественных и публицистических журналов, из них 128 — на русском языке. И это в «отсталой» стране, в два раза уступающей по численности населения современной России!

Наша журнальная пресса по тиражам, наверное, давно уже заткнула за пояс империю Херста, которой меня пугали начиная с октябрятского возраста как символом подавления духовной, политической и творческой свободы художника и читателя. Знакомясь со сводками об увеличении подписки на центральные издания, я всякий раз вспоминаю гимназический журнал, выходивший в Твери в начале века. И всякий раз задумываюсь о том, на какой же ступени гражданского развития мы находимся, если тверской гимназист имел возможность напечатать свой путевой очерк, стихотворение, а мы, деятели культуры, писатели, историки, лишены этого?

Отглядывая наследство, оставленное всем нам живописцами, писателями и учеными края, иногда ловишь себя на «крамольной» мысли: неужели же не заработали они своими миллионными тиражами и немалыми прибылями, приносимыми государству, на то, чтобы на их родине выходил небольшой малотиражный журнал, постоянно функционировали два-три выставочных зала? Провинция в свое время немало потрудилась на благо отечественной культуры, пришла, думаю, пора отдавать ей долги. Может, столичные журналы-миллионщики, проповедующие со своих страниц идеи милосердия, гуманизма и демократии, наконец-то займутся благотворительностью по отношению к культуре, на деле, а не на словах возьмут шефство над отсталой сегодняшней провинцией?

Может быть, издатели, выпускающие миллионными тиражами Толстого, Есенина, Пушкина, Маяковского, подумают о нынешних талантах, которые, кто знает, прозябают поныне в провинциальных городках, не имея возможности быть услышанными не то что страной, но даже и своими земляками. Пора бы вспомнить о них и устыдиться, что до революции, как об этом пишет в книге «Русская интеллигенция в 1900—1917 годах» В. Р. Лейкина-Свирская, «характерной чертой книжного дела в России было постоянное наличие идейных некоммерческих издательств». Куда же сегодня катимся мы, ставя одну лишь прибыль во главу угла святого дела культурного строительства?..

М. ПЕТРОВ.

Калинин.

КОРОТКО О КНИГАХ



Б. ЗИНГЕРМАН. Театр Чехова и его мировое значение. М. «Наука». 1988. 384 стр.

Б. И. Зингерман обращается к исследованию театра Чехова не впервые. В книге «Очерки истории драмы XX века» (1979) он рассматривал его в контексте «новой драмы», представленной европейскими именами Стриндберга, Ибсена, Метерлинка, Гауптмана и др. Логика исследования приводила к тому, чтобы выделить Чехова особо: «...своеобразен гений и собственным величием велик», как сказал некогда Баратынский. В новой работе Зингермана акцент перенесен на «собственное величие» Чехова, которым в конечном счете и определяется его мировое значение.

В пьесах Чехова в отличие от его прозы представлена не «вся громада России» (Вас. Гроссман), а только один срез — обитатели скудеющих дворянских гнезд. Но на этом материале исследователь приходит к пониманию всего пути Чехова как пути свободы, пути духовного раскрепощения человека.

На первый взгляд книга кажется вольным собранием эссе: сначала о времени и пространстве в пьесах Чехова, потом о теме столицы и усадьбы, затем очерк о водевилях; последние разделы отведены «Иванову», «Чайке», «Вишневому саду». Однако внимательный читатель поймет: эти статьи скреплены целостной концепцией, мыслью о человеческом достоинстве, о человеке, настойчиво ищущем правду и смысл жизни, причем духовными исканиями «озабочены люди, казалось бы, ничем не выдающиеся, погруженные в мерный поток обыденности». Эти поиски не привилегия (или крест) избранных, но призывание каждого человеческого существа. Оно осуществляется не в экстраординарных поступках и чрезвычайных событиях (случаи, на которых строилась эстетика традиционной драмы), но внутри обычной жизни, через напряженные душевные усилия, — здесь источник чеховского драматизма.

Мерно текущее будничное время — стихия жизни героев Чехова, но они не принадлежат ему целиком: «...живут в нескольких временных измерениях: стиснутая повседневностью, их душа чутко внемлет мгновенным впечатлениям бытия и распахнута вечности».

Пространство в пьесах Чехова — это, по замечанию автора, «расширяющаяся вселенная». Формально действие протекает в ограниченных пределах дома и парка — старый закон единства места не нарушен.

Вместе с тем в диалогах персонажей встает запредельный мир со множеством дорог — пройденных, предстоящих, ожидаемых. Это и Москва, куда рвутся, как в обетованную землю, три сестры, и уездный город, куда с тяжелым сердцем уезжает Нина Заречная, и Париж, магнитом притягивающий Раневскую. Тихая усадьба ощущается островом посреди обширного закулисного пространства.

Б. И. Зингерман оригинально и глубоко интерпретирует чеховскую тему усадьбы, гибнущего усадебного уклада. Он находит в ней ту художественную диалектику, которая составляет замечательную особенность Чехова, — способность видеть вещи неоднозначно, антиномично, под разными углами зрения. Усадьба с ее пейзажем — принадлежность старого помещичьего быта и в этом качестве приговорена историей к исчезновению; она же — элемент культурной традиции, который исчезнуть не может. Красоту и поэзию усадебного ландшафта (в широком смысле) стали особенно остро чувствовать уже тогда, когда он перестал быть естественной частью бытового уклада. (Зингерман проводит здесь тонкое сопоставление образа усадьбы у Тургенева, Чехова и Пастернака.) Сад — извечная метафора земного рая; мечта о далеком будущем, герои Чехова представляют себе землю, ставшую цветущим садом. «Усадьба у Чехова, — говорит автор, — это воспоминание о прошлом и мечта о будущем, своего рода утопический мотив, заветная мечта, это место, по которому можно судить, как люди жили когда-то, и о том, как они, может быть, будут жить когда-нибудь».

Усадьба — тихая пристань — превращается в тюрьму человеческого духа, если ею замыкается горизонт, если она становится пределом стремлений, как у чиновника из рассказа «Крыжовник». Но усадьба прекрасна, если она — родное гнездо, куда возвращаются перелетные птицы из далеких странствий. Человеку свободному нужно и то и другое — полет и возвращение, движение и оседлость, весь мир и родной очаг.

Так же и вообще быт, житейский уют, получает двойственное осмысление у Чехова: он и воплощает спасительную силу земного притяжения, без которого жизнь пуста, безумна и бездна, но он и губителен, когда человек им поработен. «Драматических героев от водевильных не отделяют ни богатство, ни положение в обществе, ни дурные или хорошие манеры — ничто, кроме постоянного душевного уси-

лия; стоит усилию ослабнуть, как герой переходит на сторону водевильной среды и поглощается ею». Автор показывает, что в ранней пьесе «Иванов», более других зависимой от театральной традиции, драматические герои, прежде всего сам Иванов, и водевильная среда, его теснящая, еще слишком прямолинейно разделены и сопоставлены. А в других драмах, особенно в последнем шедевре Чехова «Вишневый сад», новаторская лирико-комедийная стилистика определяет собой всю атмосферу пьесы, включая характеры: водевиль и драма переплелись, светотеневые переходы нерезки, герои — какие они? положительные, отрицательные, смешные, возвышенные? — они «прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, люди!..».

Большой знаток театра, Б. И. Зингерман, однако, воздерживается в своей книге от оценок чеховских постановок и тем более от советов и рекомендаций. Его анализ художественной диалектики Чехова сам по себе предостерегает от упрощенных режиссерских решений, как то: элементарное разделение на черное и белое, попытки установить «вину» героев, абсолютизация конфликтов между ними. Автор показывает, что суть не в конфликтах, вспыхивающих и сходящих на нет. «„Чайка“, — говорит он, — написана о том, что в жизни есть нечто более важное, чем битва противоположно направленных волей и интересов». «Старая привычная логика антагонистических человеческих отношений утрачивает свою непреложность». Мысль замечательная, может быть, именно теперь для нее настало время. При насыщенности материалом и мыслями изложение отличается той изысканной простотой, которая делает восприятие необременительным: научность без натужного наукообразия, легкость без нарочитой облегченности.

Остается пожалеть, что увлекательная книга Б. И. Зингермана издана тиражом в 3700 экземпляров.

Н. Дмитриева.



ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. О литературе. Избранные работы. М. «Советский писатель». 1988. 493 стр.

Двадцать лет назад Г. Белая, рецензируя сборник статей В. Полонского «На литературные темы», констатировала: «История советской критики еще не написана... Это находится в странном противоречии с усилением нашего интереса к прошлому». Тогда, двадцать лет назад, «еще не». Нам же сегодня приходится говорить: «...все еще не». И слава богу, что хоть повод есть для напоминания.

В последнее время становятся доступными широкому читателю работы критиков прошедших десятилетий. В 1987 году вышел сборник «Начало пути» со статьями А. Луначарского, А. Воронского, В. Полонского, В. Правдухина, Н. Осинского, А. Лежнева — лучших критиков 20-х годов, не ставших критиками 30-х (двое из шести умерли в начале десятилетия далеко не в старческом возрасте, остальные были тогда же вытеснены из

критики и во второй половине 30-х репрессированы), псывились толстый том А. Воронского «Искусство видеть мир», довольно адекватно представляющий критическое творчество этого талантливейшего человека, и том А. Лежнева «О литературе» с библиографией его работ.

1988 год дал в этом смысле меньше, но дал необходимое — сборник В. Полонского (1886—1932), почти в полтора раза более объемистый, чем издание двадцатилетней давности. Жаль только, что эти два издания все-таки во многом совпадают. Не вдаваясь в разбор достоинств и недостатков подбора статей в новом издании, хочу сказать о главном: собранные в книге работы чрезвычайно интересны, и не только как страница истории нашей критики. Новомирские статьи В. Полонского о Фурманове, Бабеле, Артеме Веселом, Вс. Иванове, Б. Пильняке, Ю. Олеше, Фадееве, Маяковском, текст сравнительно ранней, 1919 года, брошюры о Горьком, полемические работы о Бакунине и Достоевском, о методологии критики (спор с напостовцем Г. Лелевичем), отрывки из «Очерков литературного движения революционной эпохи (1917—1927)» и из теоретической работы «Сознание и творчество» — все это в большинстве случаев не утратило актуальности до сих пор. Правда, порой эта актуальность с обратным знаком. Так, на страницах книги мы дважды встречаем утверждение, что «русского интеллигента... хлебом не корми, только дай ему возможность покаяться», и видим, как изменилась с тех пор русская интеллигенция — но к лучшему ли?

Содержание книги позволяет проследить за литературной судьбой одареннейшего критика. Увы, в судьбе этой, тесно связанной с историей нашей литературы, было много и противоречивого, а порой и драматичного. Во вступительной статье составителя сборника В. Эйдиновой показано, что уже в 1931 году Полонский был поставлен в условия, когда многое в его литературном поведении было вынужденным: «Его выступления этого периода... производят противоречивое и тяжелое впечатление. Здесь слышится голос человека, который, с одной стороны, стремится не отойти от своей верной и партийной борьбы за революционную и высокохудожественную литературу вне зависимости от социальной принадлежности авторов, а с другой — вынужден признавать свои «правооппортунистические ошибки» в отношении к попутнической литературе, ошибки, которых — не совершал».

Тогда же, в декабре 1931 года, В. Полонскому пришлось уйти из «Нового мира», журнала, который под руководством его предшественников Ю. Стеклова и Ф. Гладкова успел заслужить определение «скупноватого и сероватого» (Луначарский), а при Полонском (с 1926 года) стал самым читаемым: 28 тысяч подписчиков в 1927 году по сравнению с 12 тысячами у «Красной нови» А. Воронского и 2,5 тысячи у «Октября». Эти цифры, кстати, показывают, насколько тогдашняя литература и литературная журналистика — не по содержанию, а по своему общественному месту — были «элитарными» (что такое даже 28 тысяч подписчиков для огромной страны).

В 30-е годы широчайшая, но неглубокая культурная революция волной полуграмотных энтузиастов захлестнула тех подвижников культуры, которые реально в ней работали. В. Эйдинова цитирует (увы, очень неточно) неоправленное письмо Полонского Горькому («Новый мир», 1986, № 7): «Малой культурностью молодняка следует объяснить дикие нравы, существующие в нашей литературе, — совершенно безобразная полемика, заканчивающаяся буквально мордобоем, полная неуважения к противнику, к его труду... Каждый кружок обзаводится своим собственным «критиком», и до чего доходит иногда разнузданное славословие «своим» — представить себе трудно... Вот с этой болезнью я понемногу начинаю драку».

Это апрель 1928 года. Сил Полонского в «Драке» хватило ненадолго, и не его в том вина. Болезнь же, диагноз которой он поставил, оказалась живучей. И есть своя закономерность в том, что только сегодня мы начинаем открывать книги, подобные сборнику работ Полонского. Сборнику, дающему представление о возможностях той гуманитарной, общественной мысли, которая слишком долго не получала поддержки и развития. Давно пора оплатить долги предшественникам, во многом еще не потерявшим права быть нашими учителями.

С. Кормилов.



Й. ХЕЙЗИНГА. Осень Средневековья. М. «Наука». 1988. 540 стр.

Книга, принесшая автору всемирную известность (она появилась в 1919 году), переведенная почти сразу на все европейские языки (кроме русского), имеет подзаголовок: «Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах». Рекомендую ее всем читателям, интересующимся и профессионально занимающимся историей, хочи с самого начала предостеречь. Вы не найдете здесь привычного изложения исторических событий и явлений в хронологической последовательности. Вы не найдете привычной наукообразности, придающей солидность историческим трудам. Не найдете и каких-то ошеломляющих открытий. Более того, прочитав все примечания, вы обнаружите, что Хейзинга допустил некоторые ошибки. В чем же секрет успеха его книги?

Она появилась в период, когда гуманистически настроенная западная интеллигенция очень остро ощутила закатность, кризисность своего времени. (Вспомним «Закат Европы» О. Шпенглера.) Первая мировая война означала крах наивно-оптимистических представлений о линейном и неотвратимом характере прогресса. Кризис западной мысли стал и кризисом исторической науки, подпитывающей этот оптимизм раз-

машистыми картинами всемирно-исторической поступи человечества. Отсюда интерес Хейзинги к позднему Средневековью, которое он рассматривал как увядание. Отсюда и нежелание следовать канонам традиционной методологии, прежде всего отказ от попытки создать цельную картину исторического процесса. Вместо этого Хейзинга пытается описать человека, поставив его в центр исторического исследования. Автор не отрицает возможности познания закономерностей исторического процесса, он просто игнорирует эту исследовательскую задачу.

Свежесть и плодотворность нового взгляда на историю проявляется уже в названиях глав книги: «Яркость и острота жизни», «Мечта о подвиге и любви», «Стилизация любви», «Образ смерти», «Чувство прекрасного»...

Хейзинга не единственный, кто начал поиск в этом направлении. Сам он считал своим предшественником швейцарского историка Я. Буркхардта. Можно в этой связи вспомнить и французскую школу анналов (М. Блок, Ф. Бродель) с ее реконструкциями исторических структур повседневности. Стремление понять и описать человека в истории требует от историка особых профессиональных качеств, здесь большую роль играют не аналитические, а синтетические способности исследователя, умение охватывать материал единым взглядом, учитывать многообразные факторы культуры и данные различных наук — от лингвистики до этнографии. Он должен уметь вживаться в эпоху, сопереживать событиям со своими героями. Такая история чем-то сродни художественному творчеству...

Все это есть у Хейзинги в его «Осени Средневековья». Но секрет успеха автора не только в этом. Поставив в центр исторической науки человека, гуманизировав ее, он в новых условиях продолжил европейскую гуманистическую традицию, подвергшуюся именно в XX веке наибольшим нападкам. В этой связи особое значение приобретает факт личной биографии голландского ученого — его пребывание в фашистском концлагере...

Советская историография долгое время развивалась в отрыве от поисков и находок западных коллег, в атмосфере искусственной конфронтации с наиболее авторитетными и интересными направлениями зарубежной историографии. Это одна из причин отсталости исторической науки в СССР. Приветствуя усилия редакции «Памятников исторической мысли» по переводу и изданию наиболее выдающихся трудов историков XX века, мы вправе ждать появления в печати сочинений О. Шпенглера, А. Тойнби, К. Ясперса, Р. Арона, Б. Кроче и многих других пока неизвестных русскоязычному читателю авторов.

А. Кредер,
кандидат исторических наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Е. Комаров. Бюрократизм — на суд гласности! 334 стр. Цена 95 к.

О. Лацис. Выйти из квадрата Заметки экономиста 416 стр. Цена 1 р. 60 к.

Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая редакция. Принята XXVII съездом КПСС. 80 стр. Цена 10 к.

Р. Рашкова. Ватикан и современная культура 416 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Гранин. Собрание сочинений в 5-ти тт Т. 1. 591 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Заболоцкий. Столбцы и поэмы, Стихотворения. («Классики и современники») 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Хинт. Избранные Романы. Перевод с эстонского 845 стр. Цена 3 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи, Воспоминания. Публикации. 831 стр., с илл. Цена 4 р. 60 к.

Н. Ильина. Белогорская крепость. Сатирическая проза. 1955—1985. 382 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Крутикова-Абрамова. Дом в Верколе. Л. 376 стр., с илл. Цена 2 р. 10 к.

Т. Набатникова. Каждый охотник. Роман, рассказы. 394 стр. Цена 1 р. 40 к.

«КНИЖНАЯ ПАЛАТА»

А. Ахматова. Я — голос ваш... Сборник. («Популярная библиотека») 382 стр. Цена 5 р.

В. Высоцкий. Поэзия и проза. («Популярная библиотека») 447 стр. Цена 3 р. 50 к.

Б. Пастернак. Доктор Живаго. Роман. («Популярная библиотека») 430 стр. Цена 6 р

«НАУКА»

Л. Баткин. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. («Из истории мировой культуры») 272 стр. Цена 65 к.

Р. Маннамара. Путем ошибок — к катастрофе. Опыт выживания в первом веке ядерной эры. Перевод с английского. 149 стр. Цена 60 к.

Д. Роули. Принципы китайской живописи. Перевод с английского 160 стр. Цена 65 к.
Тит Ливий. История Рима от основания города. В 3-х тт. Перевод с латинского. («Памятники исторической мысли») Том 1. 576 стр. Цена 5 р. 50 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Андрей Белый. Старый Арбат. Повести. («Литературная летопись Москвы») 589 стр. Цена 2 р. 80 к.

В. Кобрин. Иван Грозный («История Москвы: портреты и судьбы») 175 стр. Цена 45 к.

А. Фет. «Был чудный майский день в Москве...» Стихи Поэмы, Страницы прозы и воспоминаний Письма. («Московский Парнас») 400 стр. Цена 1 р. 90 к.

М. Цветаева. «Поклонись Москве...» Поэзия. Проза. Дневники. Письма («Московский Парнас») 528 стр. Цена 2 р. 40 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Брюсов. Избранная проза. («Классическая библиотека «Современника») 671 стр. Цена 3 р. 50 к.

М. Булгаков. Письма Жизнеописание в документах. 576 стр., с фотоилл. Цена 3 р.

А. Ремизов. Крестовые сестры. Повесть. 124 стр. Цена 55 к.

В. Шульгин. Дни. 1920. Записки. («Память») 559 стр. Цена 5 р.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Э. Ветемаа. Лист Мёбнуса. Роман. Авторизованный перевод с эстонского. Таллинн. «Ээсти раамат». 255 стр. Цена 1 р.

Б. Зайцев. Голубая звезда Рассказы, роман, повесть, главы из книги «Москва». («Отчий край») Тула. Приокское книжное издательство. 365 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Кёстлер. Слепящая тьма. Политический роман. Трагедия «стальных людей» Рассказ. Перевод с английского. М ДЭМ. 207 стр. Цена 4 р. 50 к.

А. Никольская. Передай дальше. Рассказы, повесть Алма-Ата. «Жазушы». 272 стр. Цена 1 р. 30 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крушин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 19.05.89 г. Подписано к печати 05.07.89 г. А 11021.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.), 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.595.000 экз. (4-й завод 665.001—1.015.000 экз.). Зак. 4997 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

*«Новый мир» до конца текущего
и в 1990 году
предполагает опубликовать:*

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ: Чингиза Айтматова — «Богоматерь в снегах»; Андрея Битова — «Записки из-за угла»; Василя Быкова — «Облава»; Даниила Гранина — «Источник любви»; Александра Солженицына — главы из «Архипелага ГУЛАГ», «В круге первом», «Раковый корпус»; а также — В. Астафьева, В. Белова, Р. Киреева, А. Кривоносова, М. Кураева, В. Маканина, Л. Петрушевской, Е. Попова, В. Пьецуха, В. Распутина, М. Рощина, Т. Толстой;

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: Владимира Винниченко — «Слово за тобой, Сталин»; Алексея Ремизова — «Взвихренная Русь»; Владимира Тендрякова — «Революция, революция, революция...»; а также — Г. Газданова, Ю. Домбровского, Е. Замятина, Б. Зайцева, Ю. Казакова, В. Короленко, В. Некрасова, А. Платонова, М. Пришвина, М. Хвылевого, В. Ходасевича, М. Цветаевой, К. Чуковского, И. Шмелева;

ПОЭЗИЯ — стихи С. Аверинцева, Е. Благиной, В. Василенко, Л. Горнунга, Т. Ефименко, В. Корнилова, А. Кушнера, С. Соловьева, Ф. Сухова, О. Чухонцева, В. Шировского и других известных и неизвестных русских поэтов и поэтов из национальных республик;

ПУБЛИЦИСТИКА — очерки, статьи И. Клямкина, В. Селюнина, В. Шубкина, главы из книги Р. Конквеста «Жатва скорби», записки А. Марченко «Мои показания», исследования А. Зиновьева;

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА — М. Волошиной, Р. Гуля «Я унес Россию», Б. Слуцкого, А. Твардовского, а также государственных и политических деятелей, ученых, военных;

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ — очерки и статьи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А. Новгородцева, Ф. Степуна, С. Н. и Е. Н. Трубецких и других;

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА — размышления о путях современной культуры И. Золотусского, А. Латыниной, К. Мяло, С. Семеновой, М. Чудаковой; статьи критиков Л. Аннинского, М. Злобиной, Ю. Карабчиевского, Ст. Рассадина о прозе и поэзии; статьи о творческом наследии Н. Гумилева, Л. Добычина, В. Зазубрина, В. Набокова, П. Романова, А. Чаянова;

ИНОСТРАННАЯ ПРОЗА — Сол Беллоу, «Лови момент»; Е. Анджеевский, «Страстная неделя» (повесть); публицистика Дж. Оруэлла.

Подписка на журнал «Новый мир» принимается всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.